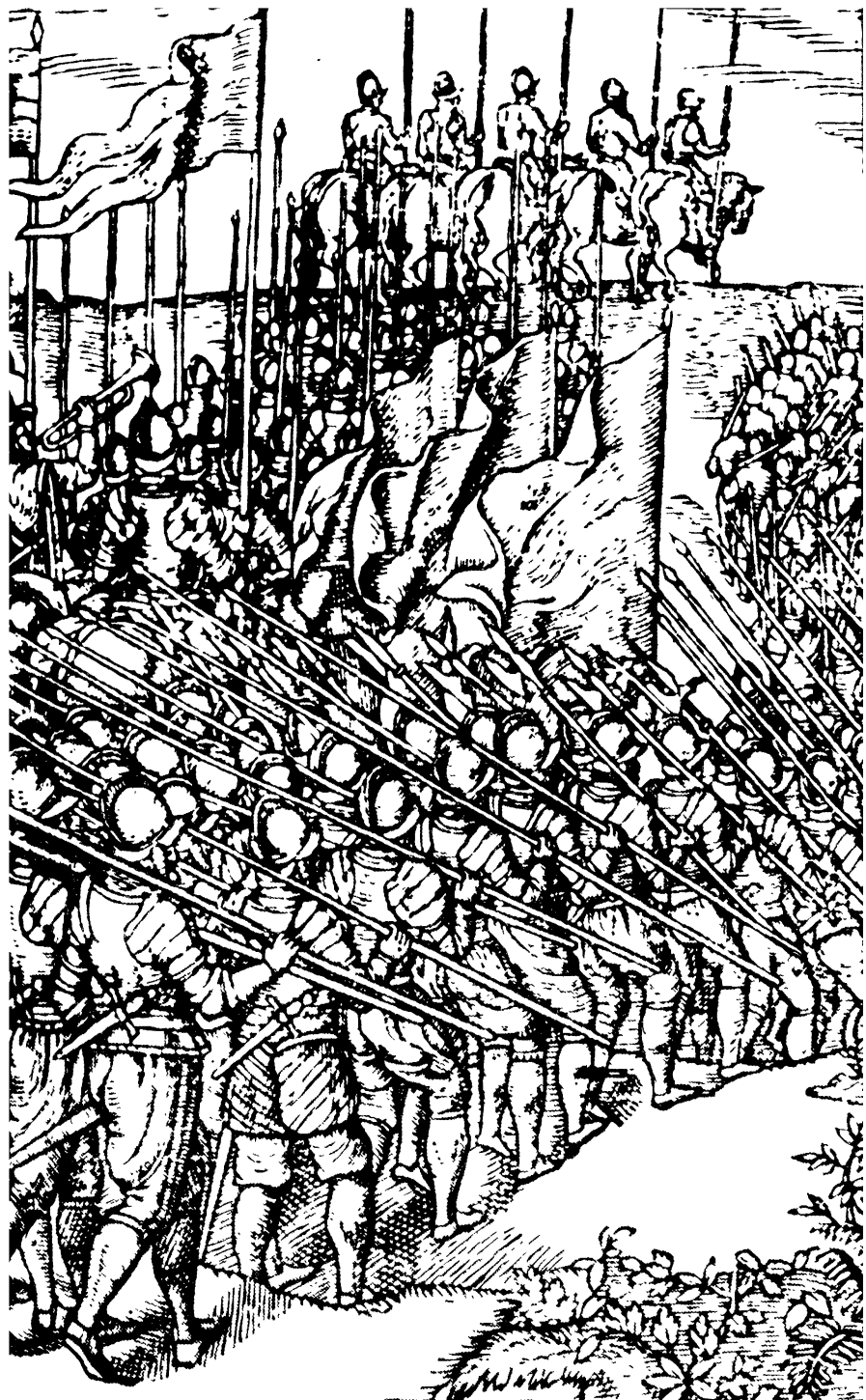


М.А. Барг Великая  
английская  
революция  
в портретах  
ее деятелей







**М. А. Барг. Великая  
английская  
революция  
в портретах  
ее деятелей**

Iam redit Aethra. Redeunt Saturnia regna;  
 Iam nova progenies, caelo Demittitur alto.

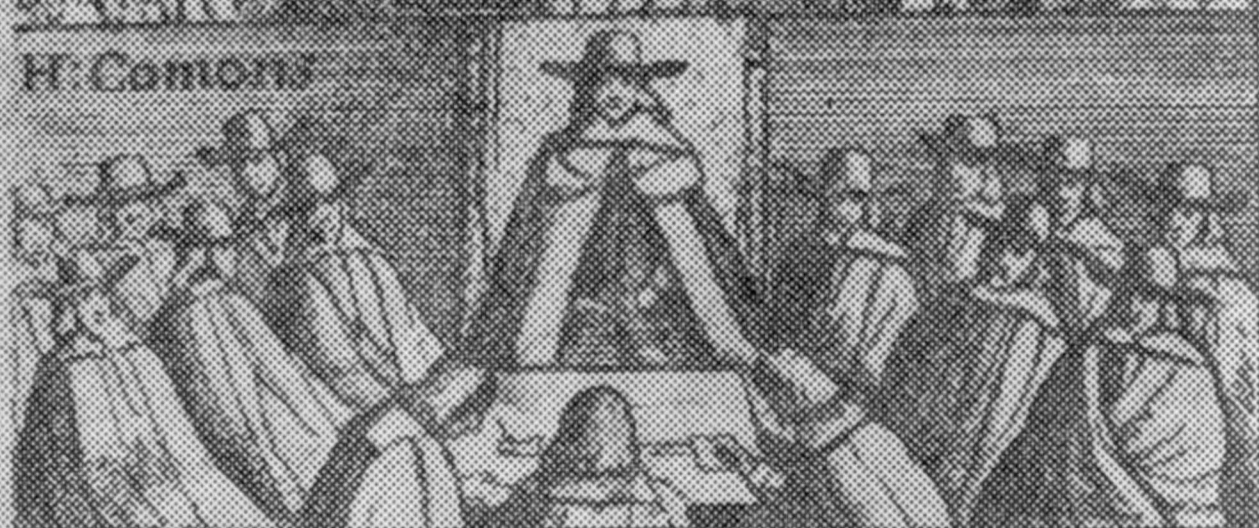
H. Lords:

Clara Domini  
 Sabula

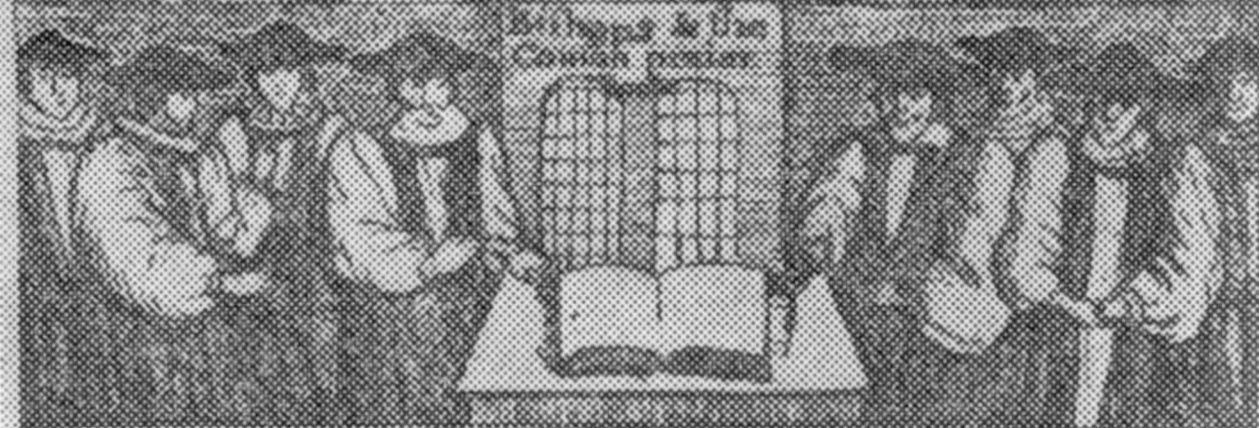
Magna Domini  
 Sacramenta



H. Commons



De Regibus & Libris  
 Canonis primum



Travlers rewarded



Secharias rejected;

М.А. Барг



Великая  
английская  
революция  
в портретах  
ее деятелей

НБ ПНУС



559051



Москва «Мысль» 1991

ББК 63.3(4Вл) 51  
Б 24

Редакция литературы  
по всеобщей истории

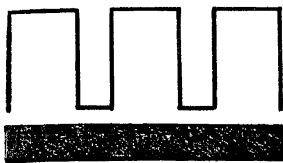
Б  $\frac{0503010000-084}{004(01)-91}$  12-90

ISBN 5-244-00448-2

559057

© Издательство «Мысль». 1991

**БІБЛІОТЕКА**  
Ісако-Франківського  
педагогічного інституту



Если бы во времени, так же как и в пространстве, существовали степени высоты, то я искренне убежден в том, что высочайшим временем оказалось бы то, которое минуло между 1640—1660 годами.

Томас Гоббс

## От автора

История человечества знает даты, высоко поднятые над чередой не только лет, но и столетий, даты, которыми отмечены битвы народов за свободу. Одной из них является Великая английская революция середины XVII века.

Это был поистине героический период в истории английского народа, обогатившего своим революционным творчеством сокровищницу всемирно-исторического опыта освободительной борьбы. Из этой сокровищницы революционной мысли и революционного действия черпали исторические уроки социальные и политические мыслители последующих времен, причем не только в Англии, но и далеко за ее пределами. К ним обращались крупнейшие умы европейского Просвещения, «отцы» конституции Соединенных Штатов Америки и члены революционного Конвента времен Великой французской революции.

В качестве первой социальной революции европейского масштаба, провозгласившей политические принципы нового, буржуазного общества, шедшего на смену феодальному старому порядку, «Великий мятеж» в Англии выражал в то время в гораздо большей степени потребности Европы, нежели потребности самой Англии, которая, кстати, в плане сугубо экономическом отнюдь не была самым развитым ее ареалом. Но именно в этом и заключается типологический смысл этой революции в ряду социальных революций, ей предшествовавших и за ней следовавших.

В качестве социально-политического переворота, доведенного до конца, т. е. завершившегося уничтожением монархии и установлением республиканского строя, эта революция, невзирая на последовавшую за этим реставрацию политических структур и видимое сохранение старых социальных структур, провела столь глубокую борозду в истории этой страны, что в действительности сделала необратимым процесс становления буржуазных общественно-политических порядков в Европе в целом. Именно поэтому и провозглашенные ею политические принципы стали историческим достоянием *новоевропейской цивилизации*.

Если же от выяснения всемирно-исторического значения революции середины XVII века обратиться к определению ее места в истории самой Англии, то необходимо указать на два решающей важности момента. Во-первых, без учета первого акта



революционного переворота в 40-х годах XVII века невозможно объяснить то обстоятельство, как быстро страна эта созрела для «второго его акта» — революции 1688—1689 гг., превратившей Англию в конституционную парламентарную монархию, и, вторых, почему именно Англия стала родиной промышленной революции XVIII века. Поскольку речь идет о первом из указанных моментов, то нельзя не видеть причинно-следственной связи между двумя английскими революциями XVII века: революция 1688—1689 гг. не была бы столь «легкой», бескровной и «славной», если бы ей не предшествовала революция, отличавшаяся невероятно ожесточенным сопротивлением ее врагов, растянувшаяся на десятилетие и потребовавшая для достижения победы героических усилий восставших, их кровопролитной борьбы с приверженцами абсолютизма Стюартов в ходе двух гражданских войн. Не видеть этой связи — значит оставаться в плену стереотипов вигского исторического мышления XIX века.

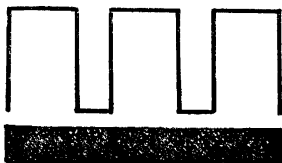
Наконец, нелишне напомнить, что исторический опыт Английской революции середины XVII века наряду с опытом Французской революции конца XVIII века не только послужил для К. Маркса и Ф. Энгельса фактическим основанием научно-критического осмысления европейской истории в период, когда она становилась ведущим фактором истории всемирной, но и в равной степени был предметом их анализа в процессе разработки теории материалистического историзма в целом.

В данной книге автором предпринята попытка представить в сравнительном плане политические биографии трех выдающихся деятелей Английской революции середины XVII века — *Оливера Кромвеля, Джона Лильберна и Джерарда Уинстенли*. При этом в центре нашего внимания не только находились извывы их личной судьбы, но и решалась задача более сложная, а именно представить сквозь призму индивидуальной психологии, специфики восприятий и реакций, переживаний и поведения *менталитет больших социальных групп*, к которым каждый из названных деятелей революции принадлежал, — одним словом, обрисовать персонифицированное социальное поведение этих групп в ходе революции, проливающее свет на их политическую зрелость и устремления.

Успешное решение этой задачи предполагает, что привлечение наше внимание деятели Английской революции наложили отпечаток своей личности если не на ход ее в целом, то по крайней мере на события отдельного ее этапа. Итак, если отобранные с этой точки зрения деятели лагеря революции — по манере мыслить и действовать — должны характерологически предстать в качестве персонификации вполне определенного социального типа эпохи, то не будет преувеличением утверждать, что среди тех, кто в различные периоды революции словом и делом двигал ее вперед, не было более репрезентативных фигур, чем Кромвель, Лильберн, Уинстенли. Именно в их представлениях о сути происходивших событий, о целях борьбы и способах их достижения наиболее полно проявилась предельная грань рево-

людионности поборников трех типов социально-политического радикализма тех лет: буржуазно-дворянского, мелкобуржуазного и крестьянско-плебейского.

К сожалению, если не прибегать к «художественному» вымыслу, а придерживаться только того, что отложилось в исторической памяти, то окажется, что возможности сколько-нибудь полно воссоздать личностный, точнее — психологический, план задуманных биографий, в особенности для периода, предшествовавшего появлению данного деятеля на сцене истории, невелики, а то и полностью отсутствуют. Мало, очень мало сохранилось в этих материалах живых деталей, которые вводят в душевный мир человека, позволяют представить его в «частной» жизни, в кругу семьи, друзей. К тому же если Оливер Кромвель стал впоследствии слишком заметной исторической фигурой, привлекая внимание современников ко всем периодам его жизни, в том числе и к раннему (в который, кстати, за отсутствием свидетельств вплетено немало «легенд»), то Джон Лильберн, проведший долгие годы в тюремных застенках, и по характеру, и по направленности своей деятельности уже не достаивался столь пристального внимания составителей мемуаров, и уж совсем покрыта мраком неизвестности биография Уинстенли. И случилось это, быть может, потому, что Уинстенли был личностью наиболее неординарной и уже в силу этого отверженной, личностью, мысли и деяния которой просто не укладывались в здравый смысл тех, кто владел пером и располагал досугом, чтобы им воспользоваться. Неудивительно, что практически вся его жизнь, за исключением ряда ее эпизодов, осталась за пределами исторической памяти. Такова специфика документального материала, диктовавшая свои условия автору, с которыми придется считаться и читателю, если он, разумеется, пожелает знать именно то, что о данном предмете знает история.



## Введение

# Европа в столетие революций

К середине XVII века страны Европы были уже столь тесно связаны между собой экономически, политически и общей традицией культуры, что многие фундаментальные исторические процессы — при всей специфике их проявления в рамках отдельных стран и этнополитических общностей — носили в своей подоснове *подлинно общеевропейский, континентальный характер*. Иными словами, универсальный характер сложившейся здесь цивилизации был зримым фактом.

Не случайно достаточно прозорливым современникам той поры уже представлялось очевидным, что каждое действительно крупное событие национальной истории имеет международный аспект, без учета которого оно не может быть надлежащим образом понято и оценено. Наиболее ярким подтверждением этой истины является так называемый кризис XVII века, который в историографии охарактеризован как «всеобщий». И это не только по той причине, что кризис охватил большинство европейских стран, но и прежде всего в силу того, что он оказал влияние практически на все стороны их общественной жизни.

По словам известного современного французского историка Р. Мунье, «семнадцатый век являлся эпохой кризиса, который затронул человека в целом, во всех сферах его деятельности — экономической, социальной, политической, религиозной, научной и художественной, все его существование на глубочайшем уровне его жизненных сил, его чувствования, его воли». Так, если в хозяйственной жизни он проявился в смене циклов рыночной конъюнктуры — цикл высокой конъюнктуры в XVI веке сменился депрессией в XVII веке, то в области социально-политической многие европейские страны были в XVII веке охвачены массовыми движениями, в основе которых лежал глубокий кризис существующих в них общественно-политических систем. И хотя по своему социально-историческому характеру, т. е. стадияльно, эти движения весьма и весьма различались — от социальной революции

40-х годов XVII века в Англии до крестьянской войны на Украине во главе с Богданом Хмельницким, от Фронды во Франции до восстаний в Неаполе, Барселоне и Лиссабоне, тем не менее все они составляли звенья одной цепи социальных возмущений. Сама *синхронность* этих проявлений кризисных общественно-политических ситуаций свидетельствовала об универсализме глубинных противоречий, процессов, не знавших национальных границ, иначе говоря, о превращении Европы в категорию историческую.

Столь же общеевропейский характер носили сдвиги в ментальности европейских народов. Как известно, кризис мироощущения, порожденного Возрождением, наметился уже во второй половине XVI века — духовный оптимизм сменился глубоким пессимизмом. Этот кризис помимо всего прочего был обусловлен реформационными и контрреформационными движениями, каждое из которых, впитав немало элементов ренессансной духовности, оказалось по своей сути враждебным ей. Наиболее отчетливо эта тенденция проявилась в течении скептицизма — в философии, в торжестве эмпиризма в науке, в распространении стиля барокко в искусстве и течения мистицизма в религии. Смена же культурно-исторических эпох, которую относят к XVIII веку, началась еще в лоне XVII века. Таковы основные проявления ситуации «всеобщего кризиса», окрашивающего этот период европейской истории.

Рассмотрим их вкратце и каждое в отдельности. Историки, изучающие сравнительную историю цивилизаций, дойдя до XVII века, более или менее единодушно восклицают: в Европе после 1500 года свершилось чудо! Отставая вплоть до конца XV века по большинству параметров исторического процесса от стран Востока (в частности, от Китая), европейская цивилизация в течение одного следующего столетия по многим из этих измерений ушла вперед, по пути, которому суждено было стать всемирно-историческим. Суть указанного чуда заключалась в том, что Европа оказалась способной перейти к более интенсивному способу производства — к капитализму, а страны, подарившие ей порох (и тем самым огнестрельное оружие), магнитную иглу, технологию производства шелка, бумаги и многое другое, этот переход к тому моменту совершить не смогли.

Мы, естественно, не можем в рамках данной работы останавливаться на причинах этой дивергенции, ограничимся лишь одним замечанием: даже трудно себе предста-

вить, наличие скольких исторических предпосылок потребовалось только для того, чтобы стало возможным, казалось бы, довольно простое новшество — сосредоточение на сравнительно небольшом пространстве относительно значительного числа наемных работников, объединенных процессом производства одной и той же потребительской стоимости. Объяснение того, почему в одном случае эти предпосылки оказались в наличии, а в другом их не оказалось, — интереснейшая и актуальная научная задача. Важно только иметь в виду, что генезис капитализма в пределах европейской цивилизации явился в XVI веке и порождением хозяйственного механизма зрелого феодализма XIV—XV веков, и его отрицанием.

Недвусмысленным указанием на наступление новой эпохи, прежде всего в социально-экономической истории Европы, служило перемещение ведущего центра хозяйственного, политического и культурного притяжения большинства стран континента из Средиземноморского региона (Венеция, Северная Италия, Испания) в регион Северо-Западной Европы. Хозяйственное оскудение и упадок первого опосредованно содействовали упадку Юго-Западной Германии и ряда других, в прошлом тесно связанных со средиземноморской торговлей областей Центральной Европы. На той же нисходящей фазе своей истории находилась Ганза, до той поры монопольно распоряжавшаяся в торговом обмене стран бассейна Балтийского моря. В свою очередь это сказалось на хозяйственной конъюнктуре остэальбской Германии, Польши, Дании и Восточной Прибалтики. На новой общественно-экономической основе расцвела Голландия — «образцовая капиталистическая страна» XVII века, вслед за которой на авансцене европейской истории появилась Англия и частично Франция, Швеция, Прирейнская Германия. И дело не только в том, что речь идет о регионе, выгодно расположенном по отношению к Атлантике — новому пути мировой торговли, ведущему в Новый Свет и — вокруг Африки — в страны Востока.

Не менее важным обстоятельством, которое, однако, гораздо реже учитывается и анализируется при изучении этого действительно эпохального сдвига в размещении «силового поля» европейской цивилизации, явилась *социально-экономическая готовность* «приатлантических стран» к этой роли, их способность воспользоваться громадным расширением как внутриевропейского, так и заморских рынков для создания массового, капиталистически организованного производства, прежде всего

с целью сбыта товаров на внешний рынок, приносявшего наибольшие материальные выгоды стране, монополю на нем господствовавшей.

Очевидно, что степень зрелости капиталистического уклада в той или иной стране являлась основной предпосылкой подобного рода «готовности». При этом важно учесть, что степень зрелости измерялась в тех условиях не столько удельным весом этого уклада в экономике данной страны, сколько его мобильностью, способностью к грядущему и быстрому росту, что в свою очередь зависело от степени разложения, размытости традиционных, средневековых общественно-экономических, политических и идеологических структур. Уровень правовой и хозяйственной самостоятельности крестьянства, степень товарности сельскохозяйственного производства, наличие и объем рынка труда, мера свободы ремесла от цеховых уз (в связи с перенесением центра тяжести промышленного производства в сельскую округу корпоративных городов), накопленный в городах денежный капитал, политическая централизация страны и наличие единого национального рынка, меркантилизм в экономической политике государства, наконец, этика индивидуализма и накопительства — таковы вкратце исторические предпосылки, которые в сочетании с географическим положением обуславливали в рассматриваемую эпоху функциональную роль в экономике континента, положение той или иной страны на экономических и геополитических картах Европы. Очевидно, далее, что от соотношения перечисленных факторов зависела интенсивность и быстрота формирования общественных структур, соответствовавших требованиям рождающегося нового мира, в котором движущим нервом жизни общества, внешней и внутренней политики государства становились «презренные деньги» вместо «облагораживающего кровь» землевладения.

Одним словом, в середине XVII века Голландия являлась образцовой общеевропейской «школой капитализма». Ответ на закономерный вопрос: почему именно Голландия? — потребовал бы целой книги. Здесь же привлечем внимание лишь к ряду обстоятельств. Начать с того, что вопрос о степени разложения феодальных аграрных общественных структур здесь был в основном снят ходом предшествующего общественного развития: в одних провинциях они были до основания расшатаны, а в других (приморских) так и не успели в свое время сложиться. В результате если в сельском хозяйстве господствующими фигурами являлись свободный земледе-

лец-собственник, либо держатель надела, либо арендатор (потребительского или коммерческого типа), производившие частично или главным образом для рынка, то в промышленности решающую роль уже играли капиталистическая кооперация и мануфактура. Фигура купца-мануфактуриста, на которого работали сосредоточенные в мастерских (открытые) или у себя «на дому» (скрытые) наемные рабочие, олицетворяла основные формы организации промышленного производства в этой стране. К ним следует присовокупить слой крупных оптовых купцов, сосредоточивших в своих руках львиную долю международной торговли того времени, судовладельцев и финансовых воротил международного класса, а также немногочисленный, но политически влиятельный слой землевладельческой знати, прочно связавшей свои интересы с интересами купеческой олигархии, — на одном полюсе и обширный слой сельского и городского плебса (батраков, моряков, грузчиков) — на другом. Такова была социально-экономическая стратификация этого общества.

Динамизм этого насквозь коммерциализированного общества не имел себе равных в тогдашнем мире. Неудивительно, что Голландия вплоть до середины XVII века прочно удерживала господствующее положение в мировой экономике (мануфактура, рыболовство, торговля, транспорт, финансы). Голландская агрикультура на польдерах (отвоеванных у моря землях) была столь эффективной, что обеспечивала наиболее интенсивное перемещение рабочей силы из земледелия в промышленное производство, морской промысел, транспорт в сравнении с другими странами Европы. Среди отраслей перерабатывающей промышленности особенно выделялись текстильная и судостроительная. Если индекс промышленного производства в 1584 г. принять за 100, то в 1664 г. он уже составлял 545.

О том, насколько технология этой промышленности превосходила даже английскую, свидетельствует тот факт, что английские сукна экспортировались в Голландию некрашеными и неотделанными, Голландия же после этих операций перепродавала их в другие страны, присваивая себе 47 % стоимости изделий. Голландия обладала наибольшим в Европе торговым флотом как по числу, так и по тоннажу судов. Эффективность голландского судостроения славилась вплоть до России (недаром молодой Петр I, отправившийся «на выучку» за рубеж, первую свою «практику» проходил на голландской судовой верфи). Эффективность голландского судостроения объяснялась

относительно высоким по тем временам уровнем механизации работ (лесопилки и грузоподъемные устройства, приводившиеся в движение ветряными двигателями) и стандартизацией деталей.

В результате стоимость строительства одного корабля в Голландии была ниже на 40—50 % в сравнении со стоимостью того же строительства в Англии. В совокупности с рядом других преимуществ это привело к тому, что стоимость перевозок на голландских судах обходилась клиентам гораздо дешевле, чем на судах англичан.

Роль флота в голландской экономике станет более зримой, если напомнить, что львиная доля всех других отраслей промышленности основывалась на переработке привозного сырья или полуфабрикатов. Благодаря флоту Амстердам превратился в крупнейшую в мире перевалочную базу товаров, собиравшихся со всего мира и растекавшихся отсюда по странам Европы, извлекая огромную прибыль от посреднической торговли (прежде всего восточными пряностями). Хотя Амстердам по численности населения в XVII веке уступал Лондону (в 1650 г. в нем насчитывалось 200 тыс. человек), однако по деловой активности — промышленной, торговой, финансовой — он, несомненно, его превосходил. Накопление значительных капиталов в особенности благодаря прибыльной посреднической торговле содействовало превращению Амстердама в международный финансовый центр. В 1602 г. была учреждена Голландская Ост-Индская компания, совмещавшая спекулятивную торговлю и колониальную политику. В 1609 г. был основан депозитный банк, притягивавший обеспеченностью вкладов капиталы со всех концов Европы, в том числе из традиционных банковских центров Северной Италии. Сюда же за займами обращались не только негоцианты, но и коронованные владыки, кланявшиеся низко владыкам золотых мешков.

Однако перечень характерных черт первой в мире страны, в которой восторжествовала буржуазная цивилизация, был бы неполон, если к нему не присовокупить систему беспощадной эксплуатации наемного труда, в особенности женщин и детей, республиканское государственное устройство, широкую веротерпимость и свободу духовного самовыражения личности.

Описание того, почему Голландия уже к концу XVII века уступила Англии гегемонию в мировой экономике Европы, выходит за пределы данной книги. Суть этого драматического соперничества (вылившегося в знаменитые Навигационные акты и англо-голландские вой-



ны) и конечной победы Англии сложна и одновременно проста: в середине XVII века началась *новая фаза* всемирно-исторической переходной эпохи от феодализма к капитализму, фаза, которая потребовала от страны, наиболее адекватно воплощавшей лидерство в этом процессе, не столько посреднической функции в торговле, сколько владения собственной мануфактурой, способной ответить на запросы все расширявшихся европейского и мирового рынков.

Иначе говоря, наступила промышленная фаза экономического лидерства, и Англия стала ее воплощением. Недаром К. Маркс датировал серединой XVII века начало периода классической мануфактуры. В конечном счете победа Англии в соперничестве с Голландией объяснялась не только наличием в ней богатых естественных топливных (каменный уголь) и рудных ресурсов и собственного сырья для текстильной промышленности (шерсть), но и *неповторимой в истории этой эпохи близостью политико-экономических процессов в городе и деревне.*

Победоносная буржуазная революция 40-х годов в Англии сделала весь процесс перехода от феодализма к капитализму в общеевропейском масштабе необратимым. В результате на северо-западе Европы сформировался регион новой, капиталистической цивилизации и, как уже указывалось, новый гравитационный центр европейской экономики и политики. Исходившие от него импульсы лучами распространялись на остальную Европу, пребывавшую в основном еще во власти старого порядка. Между тем влияние, оказывавшееся капиталистическим ядром Европы на феодальные структуры различных стран континента, было по своим последствиям различным. Если в одних странах оно содействовало укреплению и расширению уже существовавшего здесь капиталистического уклада при одновременном укреплении феодально-абсолютистского режима (классическим примером явилась Франция), то в других странах, а таких было преобладающее большинство, оно, хотя и в различной степени, содействовало консервации феодальных экономических и политических структур, движению вспять. При этом, однако, «модели» подобной консервации также оказывались различными. Одно дело — исторические формы реакции в Испании, другое — в Юго-Западной Германии, в Южной или Северной Италии и, наконец, в регионе к востоку от Эльбы. Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Специфическая особенность эволюции Франции в XVII веке, если отвлечься от особенностей отдельных провинций, заключалась в том, что в обмен за «покровительство», оказывавшееся ранее сформировавшемуся, прежде всего на северо-востоке страны, капиталистическому укладу, абсолютная монархия получила от его протагонистов в среде бюргерства и дворянства достаточно не только материальных, но и административно-правовых средств для преодоления затяжного политического кризиса середины XVII века и продления старого порядка в этой стране еще на полтора столетия. Новый расцвет французского абсолютизма при Людовике XIV (1643—1705) свидетельствовал не только о степени «органической» живучести феодальных структур в этой стране, но и о том, что на определенной стадии своего становления капиталистический уклад на время содействует их укреплению, оживлению старого порядка, в лоне которого он складывался, в особенности при условии, если этот уклад надстраивается над традиционным строем отношений, в определенном смысле срачивается с ним, вместо того чтобы функционировать в качестве его открытого антагониста.

Далее, в таких регионах, в которых генезис капитализма оказался к XVII веку обратимым, как Испания, Юго-Западная Германия, Северная Италия, с гибелью мануфактуры товарно-денежные отношения снова свелись к узкому внутреннему рынку, обслуживавшему в значительной мере нужды феодальной и патрицианской верхушки общества, и к натурализации рентных отношений в деревне.

Самой парадоксальной, однако, оказалась реакция на возникновение европейского капиталистического рынка общественно-экономических структур центральных и восточноевропейских регионов (Дании, остэ debateйской Германии, Польши, Прибалтики, Чехии и Венгрии, части Австрии). Землевладельческие классы в этих странах проявили себя в такой степени экономически и политически влиятельнее третьего сословия, что в ответ на расширившуюся на Западе емкость хлебного рынка они ввели при содействии аппарата государства основанную на барщине закрепощенных крестьян поместную систему хозяйства, нацеленную на производство в больших объемах зерна, предназначенного для вывоза на западноевропейские рынки. Это был откровенно реакционный поворот — от ранее господствовавших здесь натуральной и денежной форм ренты к наиболее непосредственной и грубой форме

феодалной эксплуатации крестьянства. Этот поворот не совсем точно назван «вторым изданием крепостничества», поскольку речь шла о феномене, ранее здесь неизвестном, — превращении более чем пестрых и разнохарактерных форм крестьянской зависимости в универсальное крепостничество основной массы земледельцев.

Следует признать, что многолетняя дискуссия по вопросу о социально-исторической сущности этого поворота не приблизила историков к согласию. В то время как одни продолжают считать превращение рыцарских поместий в работающие на рынок, хотя и крепостнические, «фабрики зерна» в качестве свидетельства перехода и остэльский региона к «капиталистическому типу хозяйства», другие, наоборот, усматривают в нем попятное движение к самым примитивным формам сеньориально-крестьянских отношений, другими словами, сеньориальную реакцию на развитие капитализма на западе Европы. Думается, что, хотя второе заключение представляется автору этих строк более близким к исторической истине, нежели первое, тем не менее и оно нуждается в углублении. Нет сомнения в том, что между сугубо коммерческой целью поместного (господского) хозяйства и чисто феодалным (внеэкономическим) способом ее достижения существовало глубокое противоречие, в котором и проявлялся переходный характер всей этой системы, как и эпохи в целом. Это во-первых. Во-вторых же, будучи доведенной до логического конца, эта система превращалась в форму ее самоотрицания, т.е. весьма эффективный способ конечного подрыва самой ее способности функционировать в качестве производственного механизма. И причина проста — подобная система истощала с течением времени жизненные силы крестьянского двора, его способность содержать крестьянина и его семью.

«Как только народы, у которых производство совершается еще в сравнительно низких формах рабского, барщинного труда и т. д., — писал по этому поводу Маркс, — вовлекаются в мировой рынок, на котором господствует капиталистический способ производства и который преобладающим интересом делает продажу продуктов этого производства за границу, так к варварским ужасам рабства, крепостничества и т. д. присоединяется цивилизованный ужас чрезмерного труда».

Проявляемая крепостником безграничная потребность в прибавочном продукте убивает работника. В результате то, что являлось в странах так называемого вторичного издания крепостничества первоначально безусловно фео-

дальней реакцией на возникновение европейского капиталистического рынка, превращалось со временем в свою противоположность, оказывалось формой разложения этих структур. «Коммерческое» барское хозяйство, основанное на труде дворовых холопов, живших на так называемой месячине, так же мало напоминает классическую феодальную модель производственных отношений, как и крепостническая мануфактура — капиталистическое предприятие. Ранний капитализм вообще рынку свободного труда, неразвитому и не всегда дешевому, предпочитал принудительные, подневольные его формы, практиковавшиеся и в мануфактуре — достаточно напомнить о «рабочих домах» в Англии XVII века.

Подведем некоторые итоги. Итак, на континентальном уровне анализа в истории Европы XVII века только один-единственный общественно-экономический процесс был подлинно ведущим и определяющим все многообразие локальных процессов — новая мануфактурная фаза процесса становления капитализма.

Если в XVI веке мануфактура побуждалась к движению и росту резко возросшей в результате Великих географических открытий емкостью рынка, импульсами его запросов, то в XVII веке функциональная связь мануфактуры и рынка постепенно становилась обратной: мануфактура (прежде всего в Голландии и затем в Англии) достигла такой эффективности, что в свою очередь превратилась в решающий фактор расширения рынка сырья и сбыта готовых изделий вплоть до пределов рынка подлинно мирового.

Однако переломный характер европейской истории в XVII веке этим не исчерпывается. Установление политической системы новой, буржуазной цивилизации в Голландии и Англии внесло совершенно новый элемент в расстановку военно-политических сил в Европе. Политическим режимам остальной Европы, в различных вариантах воплощавшим единовластие земельной знати, был брошен вызов. Если к этому присовокупить конфессиональный раскол континента на страны протестантские и страны римско-католические, Реформации и контрреформации, то станет очевидным, сколь сложным оказалось здесь переплетение противоречий, в особенности в первой половине XVII века, когда происходила смена циклов хозяйственной конъюнктуры. В свете изложенного нетрудно заключить, что в сложном клубке противоречий, характеризовавших внутривнутриполитическую жизнь и международные отношения этого времени, ведущей ни-

тью было противостояние Испании и Голландии. Идеологическим выражением этого континентального масштаба конфликта являлись на языке политики две концепции государственности: универсалистской (имперской) и национальной, а на языке религии — контрреформация и Реформация\*.

Впрочем, в странах, в которых политические структуры в первой половине XVII века еще оставались традиционными, в условиях большей или меньшей размытости структур социальных (прежде всего в Англии и частично во Франции) те же по сути своей противоречия приобретали *внутриполитический характер*. Именно в этом тесном переплетении внутриполитических и внешнеполитических конфликтов и проявился с наибольшей выпуклостью «кризисный» характер XVII века. Если Тридцатилетняя война и может рассматриваться как определенная веха европейской истории, то она заключена прежде всего в двух результатах, обусловивших новую расстановку сил в европейской политике. Во-первых, Голландия — провозвестница наступления новой, капиталистической эры — получила международно-правовое признание в качестве суверенного государства, и, во-вторых, потерпела поражение политическая гегемония Габсбургов в европейской политике.

Поскольку второй из перечисленных исходов этой войны, ведшейся под знаком противостоящих друг другу религиозных идеологий, уже не вызывал сомнения в начале 40-х годов, постольку, прежде всего во владениях испанской короны, обострились социально-политические противоречия, выливавшиеся в серьезные внутриполитические кризисы. Таковы «шесть одновременных револю-

---

\* Как известно, новое прочтение истории Тридцатилетней войны (1618—1648) в том и заключается, что в ней усматривают военный конфликт двух цивилизаций, находившихся не только в политическом, но и в идеологическом противостоянии. Суть его вкратце сводится к следующему. Согласно этой концепции, воплощением государственности — наследия ренессансной теории и практики, окрашенной протестантизмом, — являлись Соединенные провинции; им противостоял другой тип государственности, вдохновлявшейся идеологией контрреформации, воплощенной в политике Испании. Разумеется, было бы примером упрощенчества усмотреть в этой войне только конфликт между странами — поборницами капитализма, с одной стороны, и старого порядка — с другой. Коалиции воюющих государств формировались по линиям, весьма и весьма касательным к указанному водоразделу. Тем не менее в своей подоснове смутно прозреваемых общественно-экономических интересов, может быть даже как историческое предсказание, указанный водораздел несомненно уже присутствовал и давал о себе знать (см.: *Polišensky J. V. The Thirty Years War. Berkley, 1971. P. 9*).

ций» — восстания в Каталонии и Португалии в 1640 г., в Неаполе и Палермо в 1647 г., Фронда во Франции между 1648—1653 гг. и восстание на Украине в 1648—1654 гг. К ним следовало бы прибавить бескровную революцию в Голландии, сместившую штатгальдерство в 1650 г., и социальный и конституционный кризис в Швеции в 1650 г. в правление королевы Христины.

Выше подчеркивалось, что при всем разнообразии локальных причин, форм и следствий этих внутривнутриполитических кризисов сам факт их «одновременности» с буржуазной революцией в Англии открывает возможность для общего концептуального подхода к их анализу. Это вовсе не значит, что все другие и синхронные с нею социальные движения должны только по соображениям их одновременности рассматриваться как «варианты» «буржуазной» революции, т. е. как исторически однотипные с Английской революцией движения. Наоборот, сама по себе разнохарактерность этих движений как бы получает в английских событиях 40-х годов — каждое в отдельности — мерилло его стадияльной отдаленности от последних.

Иначе говоря, если Английская революция являлась, по словам Маркса, выражением потребностей всего тогдашнего мира, т. е. *наиболее обобщенным* выражением его противоречий на всю их глубину, то все другие политические кризисы середины XVII века обнаруживали только весь спектр локально-исторических потребностей общественного развития в рамках заданной Английской революцией предельности последних и тем самым выявляли только меру приближения данных локальных общественных структур, эти кризисы породивших, к указанной предельности.

Следовательно, концепция «всеобщего кризиса» XVII века — инструмент, предназначенный не для «унификации» исторической сути «одновременных» кризисов середины XVII века, а для создания их стадияльной типологии. Важно только учитывать, на каком уровне социальной действительности будут абстрагированы критерии для различия типов. Так, например, в Каталонии в 1640 г. народное восстание было спровоцировано поведением «иноземных» (кастильских) гарнизонов, что дало возможность политической элите захватить инициативу и превратить давно созревшее движение социального протеста в восстание против «внешнего угнетателя», т. е. направить его в русло, для местной элиты наиболее безопасное и желанное. Но значит ли это, что квалификация этого

движения как «национально-освободительного», «патриотического» исчерпывает суть развернувшихся здесь событий? Подобный же вопрос правомерен в отношении типологии восстания в Лиссабоне в 1640 г., вспыхнувшего также по аналогичному поводу — иноземного владычества, в данном случае Испании.

Равным образом мало что дает для «стадиальной типологии» национальных политических кризисов середины XVII века такая отличительная черта восстания в Неаполе в 1647 г., как предательство дела «родины» со стороны знати и благородного сословия в целом, оставшегося верным вице-королю, сумевшему заблаговременно его «привязать» к короне Испании щедротами, привилегиями и фавором.

Единственное обобщение на этом уровне анализа, возможно, заключается в том, что обострившееся социальное недовольство низов на фоне экономического спада, тяжелых поборов, военных бедствий, равно как и недовольство верхов расширением прерогатив короны, сфокусировалось повсеместно на чужеземной власти и ее агентах. В условиях происшедшего отчуждения ренессансного двора от интересов «политической нации», т. е. прежде всего низшего дворянства, не говоря уже о третьем сословии, усилившийся режим абсолютизма не находил больше «морального оправдания» ни в «интересах государства», ни в «защите веры».

Поскольку успех восстаний народных низов зависел от позиции именно верхов — слоев, составлявших «политическую нацию», то характер движений, даже в тех случаях, когда эти слои возглавили их, в конечном счете определялся тем, в какой мере программа требуемых «улучшений» затрагивала основания «старого порядка».

Как известно, все народные восстания XVI—XVII веков протекали под знаменем «восстановления исконных свобод и привилегий» (*renovatio*), а вовсе не во имя установления нового (*innovatio*), что само по себе только отражало меру расхождения между тем, к чему восставшие в действительности стремились, и тем, как они выражали свои стремления. Социальная революция той эпохи отличалась от подобного рода движений только тем, что восстания низов возглавлялись не кликами, не отдельными личностями, а общественным классом — буржуазией и по этой причине лишь революция способна была открыть новую историческую эпоху.

Наши представления о панораме истории Европы в XVII веке были бы неполными, если не коснуться хотя

бы в самой сжатой форме характерных для европейского общества того времени политических и духовных процессов. Хорошо известно, что в истории политических институтов XVII век предстает как период расцвета абсолютизма в его классических формах. Однако то, что в этом плане менее известно и что значительно углубляет понимание предпосылок торжества этих форм, заключается в следующем. Во-первых, этот расцвет наступил после периода более или менее затяжного кризиса системы абсолютизма «доклассической» поры, кризиса, сопровождавшегося революционными взрывами в ряде стран, которые завершились крушением ее в одних странах и установлением насквозь консервативных, застойных форм абсолютизма в других. Во-вторых, абсолютизм «классический», еще способный на восходящее развитие, устанавливался только в тех случаях, когда он, сохраняя феодальные социальные основания публичной власти, получал в раннекапиталистическом укладе хозяйства дополнительный источник материальных ресурсов, необходимых для содержания постоянной армии, централизованного административного аппарата и дорогостоящего королевского двора, одаривания окружавшей его придворной знати (Франция). Поскольку история крушения абсолютизма в Англии составляет содержание первой части данной книги, обратимся к политическому опыту Франции.

Итак, прежде чем Людовик XIV смог заявить: «Государство — это я», а придворные апологеты увидят в нем «бога на земле», правивший от его имени кардинал Мазарини должен был спешно бежать с ним из восставшей столицы. С 1648 по 1653 год Франция была охвачена столь мощными общественными движениями, что это позволило некоторым исследователям усмотреть в них «неудавшуюся буржуазную революцию». Между тем эти движения, известные под названием Фронда, были крайне разнохарактерными. В них переплетались и недовольство высшей феодальной знати («принцев королевской крови») произволом временщиков, верхушки так называемого дворянства мантии в лице членов парижского парламента, претендовавшей на контроль за деятельностью правительства, и протест народных низов Парижа, поднявшихся против роста налогов и произвола королевских властей и поддержанных частью буржуазии, требовавшей введения налогов только с согласия парламента и упразднения должности интендантов, представлявших интересы двора в провинциях.



Подобная разнородность устремлений отдельных общественных слоев, участвовавших в движении, свидетельствовала о том, что во Франции в середине XVII века среди восставших еще отсутствовал класс, способный сформулировать цель восстания в терминах «общенародных», «общенациональных» и тем самым придать ему характер буржуазной революции. Переход парижского парламента, испугавшегося низов, на сторону двора позволил Мазарини поочередно подавить различные очаги мятежа. Когда же после смерти Мазарини достигший совершеннолетия Людовик XIV стал самостоятельно править страной (1661 г.), силы, противостоявшие системе абсолютизма, были уже достаточно разрознены, в то же время буржуазия, еще нуждавшаяся для своего укрепления в покровительстве двора, соглашалась щедро его оплачивать. В результате система абсолютизма приобрела классические формы.

Принципиально иная модель абсолютизма установилась к середине XVII века в границах так называемой Священной Римской империи германской нации. Намечавшееся уже к концу XVI века экономическое отставание Германии от Англии и Франции и связанные с этим процессы рефеодализации деревни, принявшие различные формы в различных регионах страны, и консервации цехового строя ремесла в городах в еще большей мере обозначились после завершения Тридцатилетней войны. В ходе ее были опустошены значительные территории, население которых либо погибло, либо бежало. Многие города были разграблены шведскими и имперскими наемными войсками. Большая часть побережья Балтийского моря, включавшая устья судоходных рек, отошла к Швеции. В упадок пришли не столь давно еще богатые имперские города. Оскудевшее купечество было низведено до роли торговых и финансовых агентов княжеских дворов.

В этих условиях при сохранении беспримерной феодальной раздробленности страны (в ней насчитывалось около 300 светских и духовных княжеств, 51 вольный город и около полутора тысяч самостоятельных рыцарских владений) императорская власть (за исключением доменов — родовых владений дома Габсбургов) носила чисто номинальный характер. Неудивительно, что здесь восторжествовал не имперский, а княжеский абсолютизм, закрепивший на столетия политическую раздробленность страны и затормозивший процесс складывания немецкой нации.

Наконец, в той части империи, которая составляла собственно владения дома австрийских Габсбургов (помимо Австрии, Штирии и Тироля в них входили Чехия, Моравия, Словакия, Хорватия и северо-западная часть Венгрии), политическая система абсолютизма надстроилась над многонациональным государством, в котором славянские народы и венгры испытывали не только феодальный, но и национальный гнет. Монархия австрийских Габсбургов была одной из наиболее могущественных в Европе XVII века. Специфика управления ею заключалась в сочетании на местах элементов административной централизации с элементами старых сословных собраний (представителей местной знати, духовенства и городов), прикрывавших диктат венского двора видимостью местной автономии. Монархия австрийских Габсбургов в противовес монархии испанских Габсбургов успешно осуществляла политику меркантилизма — покровительства «национальной» мануфактуре внутри страны и за рубежом, поощряла основание торговых компаний и мануфактур, производивших оружие и военное снаряжение, а также предметы роскоши для нужд двора и придворной знати. В немалой степени успешная внутренняя политика австрийских Габсбургов и их подкрепленные военным могуществом претензии на гегемонию в Европе объяснялись их ролью «щита» христианского мира в противостоянии турецкой опасности. Эта роль в значительной степени сплачивала лоскутную монархию внутри и придавала ей международный вес. В 1683 г. турки осадили Вену, но были разбиты и отброшены с помощью подросшей польской армии. С этого момента начался упадок Оттоманской империи, чьи владения на территории Европы теперь уже в свою очередь испытывали возрастающее давление со стороны соседних европейских государств и изнутри — со стороны порабожденных народов.

Монархия же испанских Габсбургов постепенно, но неуклонно переживала упадок. Истощив казну в цепи войн, не принеших славы ее оружию, но зато стоивших значительных территориальных потерь, она подорвала в значительной степени свое бывшее военно-политическое могущество в Европе. Внутри же страны диктат феодальной знати и церкви при дворе столь абсолютно направлял политику монарха, что в Европе не найти другого примера политики, которая как будто специально преследовала цель систематического подавления экономических и социальных предпосылок, требовавшихся для возвышения королевской власти. В результате система абсолютизма

здесь выродилась в прикрытие всевластия светской и церковной знати при дворе и в провинциях.

В заключение этого очерка политических структур, господствовавших в Европе XVII века, следует хотя бы упомянуть, что политическое устройство двух европейских монархий — Швеции и Польши — представляло собой сочетание черт, удивительным образом напоминавших черты, уже описанные нами, и черт неповторимых. Так, абсолютизм в Швеции, подобно английскому, не исключал существования сословно-представительного собрания — риксдага, вместе с тем в отличие от указанного прототипа здесь существовали *постоянная, оплачивавшаяся казной армия и административный аппарат*. Однако возвышение Швеции, в особенности после Тридцатилетней войны, оказалось эфемерным, поскольку основывалось не столько на фундаменте высокого уровня ее экономического развития, сколько на ограблении захваченных в этой войне территорий на севере Германии и части польского Поморья, беспощадной эксплуатации территорий Восточной Прибалтики — Эстляндии и Лифляндии, крестьянство которых в отличие от крестьянства самой Швеции подвергалось закрепощению по образцу остэльскийского.

Иными словами, перед нами образец политического и военного возвышения монархии, умело воспользовавшейся выгодной для нее политической конъюнктурой в соседних с ней территориях. Изменение этой конъюнктуры тотчас же обнаружило несоразмерность внешнеполитических амбиций внутренним возможностям этой монархии. Что же касается Польши — Речи Посполитой, то в ней королевская власть была в такой степени ограничена волей шляхты при крайне слабом развитии бюргерства, что достаточно было в сословно-представительном собрании — сейме — выступить одному ее представителю против намерений монарха, чтобы наложить на них вето. Если же учесть, что королевская власть в этой стране была не наследственной, а выборной (сеймом), что она не располагала ни постоянной армией, ни централизованным административным аппаратом, то не будет ничего удивительного в том, что полновластие магнатов было здесь бесспорным, что не только закрепощенное крестьянство, но и города фактически находились в подданстве не короля, а шляхты. Таким образом, мы вправе заключить, что, являясь номинально монархией, Польша на самом деле представляла собой образец дворянской республики.

Обратим наконец внимание на крупные сдвиги в ин-

теллектуальной жизни Европы XVII века. О направлении и существе их уже говорилось выше. Здесь же осталось заметить, что с первого взгляда новые явления в различных сферах духовной культуры могут казаться не только противоречивыми, но и нередко взаимоисключающими. Однако таково универсальное свойство культурно-исторических эпох действительно переломных, обновляющих видение человеком окружающего его мира и самого себя.

Вторая половина XVI и первые десятилетия XVII века — это период так называемого позднего Возрождения, его заката. Хотя признаки исчерпания его духовной энергии стали очевидными уже во второй половине XVI века, смена культурно-исторических эпох произошла только в XVII веке, когда полностью раскрылся утопизм его социально-этического идеала и анахронизм его самосознания. Некогда столь обнадеживающе прозвучавший призыв «назад, к классикам» вылился в конечном счете в бездумный формализм и маньеризм. Господствовавшая в университетах препарированная схоластами логика Аристотеля превратилась к этому времени в основную помеху на пути к осмыслению нового человеческого опыта. Не столь еще давно распространенная вера в безграничные познавательные способности человека сменилась глубоким скепсисом в отношении самой этой способности. Отражение этой нарастающей волны скептицизма мы находим в «Опытах» Монтеня, посвятившего специальную главу обоснованию «ненадежности наших суждений», отличающихся «смутностью» и «неуверенностью».

Однако, серьезно подорвав авторитет чисто рассудочных умозаключений, скептицизм подготовил появление Бэкона, противопоставившего логике Аристотеля логику опытной науки. «Логика, которой теперь пользуются (т. е. логика Аристотеля.— М. Б.), — писал он в «Афоризмах», — скорее служит укреплению и сохранению заблуждений... чем отысканию истины. Поэтому она более вредна, чем полезна». Развернувшаяся в начале XVII века научная революция заложила основы опытного знания. Открытия Галилея (1564—1642) и Кеплера (1571—1630), обобщившего в математических формулах накопившиеся со времени Коперника (1473—1543) астрономические наблюдения, создали новую механику и новую астрономию. Опытное подтверждение с помощью телескопа идеи о безграничности Вселенной и, следовательно, вывод о том, что Солнечная система — лишь один из бесчисленных звездных миров, в дополнение к смене

геоцентризма гелиоцентризмом потрясли до основания традиционное мировидение. Вызванное этими открытиями смятение умов хорошо передал английский поэт Джон Донн:

Все в новой философии — смятенье,  
Огонь былое потерял значенье.  
Нет Солнца, нет Земли — нельзя понять,  
Где нам теперь их следует искать?  
Все говорят, что смерть грозит природе,  
Раз и в планетах, и на небосводе  
Так много нового, мир обречен.  
На атомы он снова раздроблен,  
Все рушится, и связь времен пропала,  
Все относительным отныне стало.

Выдающуюся роль в утверждении нового естествознания и мировидения в целом сыграл французский мыслитель Рене Декарт (1596—1650), стремившийся привести учение о методе в соответствие с достижениями нового математического естествознания. В согласии с Бэконом Декарт усматривал высшую цель науки в завоевании человеком господства над силами природы, поставив их на службу его благу. Однако такая наука требует достоверных знаний, а не умозрительных спекуляций. Путь к ней лежит через сомнение, которое есть акт мышления, подтверждающий его достоверность.

Завершение научной революции XVII века связано с именем Исаака Ньютона (1642—1727). Новая, коперниканская астрономия не давала ответа на ряд вопросов, и прежде всего на вопрос: благодаря чему упорядоченно движутся небесные тела, если их не удерживают земное притяжение и вращающиеся вокруг Земли сферы? Сведения предшествующих ему открытий в механике и астрономии в единую стройную систему, в основе которой лежали математические доказательства, было достигнуто в открытии Ньютоном закона всемирного тяготения.

Математически обоснованная новая картина мироздания окончательно сменила систему Аристотеля и Птолемея. Философский ее смысл заключался в том, что вместо телеологического объяснения мироздания, т. е. объяснения, для чего что-либо «служит», «предназначено», новую науку интересовало, каким образом данное устроено, как оно функционирует. Результатом научной революции XVII века явилось фундаментальное обновление самого метода научного познания. Средневековая концепция знания не требовала эмпирического подтверждения, т. е. фактической проверки. Пришедшая на смену спекулятивному знанию опытная наука основывалась на методах точного

исследования, прежде всего количественного, измерения, взвешивания, измельчения, растворения, нагревания, кипячения, плавления и тому подобных процедурах, результаты которых фиксировались методами математики.

В результате картина природы отныне стала господствующей в плане мировоззренческом. Природой теперь именовали все сущее, включая и человека. Постулат о материальной однородности мира, объясняемой единством лежащей в его основе субстанции,— постулат, приводивший к распространению во многих отношениях законов природы и на человека, и на общество в целом. Так, анализируя социальную систему по законам механики, надлежало прежде всего вычленить «элементы» ее и «силы». В качестве элементов принимались обособленные индивиды, а в качестве сил — вся совокупность форм волеизъявлений, именующихся «страстями». Как и в механике, эти силы действуют лишь в двух направлениях — притяжения и отталкивания. Гоббс, как известно, связал начало истории цивилизации с господством силы отталкивания («война всех против всех»), из которого должно было родиться последующее притяжение.

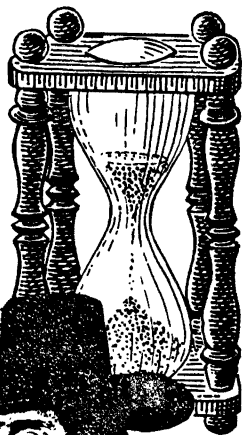
В результате вместе с так называемой социальной физикой восторжествовал натуралистический историзм, в свете которого событийная канва истории объяснялась так называемой природой человека, сводившейся к «игре страстей», следованию законам природы или отклонению от них, исторически («естественно») сложившимся связям или «слепой склонности» к «противоестественным» новациям. Начало секуляризации социально-исторической мысли проявлялось в форме сосредоточения внимания опытной науки на ближайших, «человеческих» причинах функционирования и движения общества, оставляя конечные («божественные») причины вере.

Наконец, отмечающийся с наступлением XVII века кризис в сфере эмоциональной, чувственной имел в пределах континента многообразные и в высшей степени противоречивые проявления. Наиболее наглядным свидетельством смены художественных вкусов явилось распространение, прежде всего в странах, захваченных контрреформацией (Италия, Испания, Франция, Фландрия, Южная Германия, Австрия, Польша), стиля барокко (однако он давал о себе знать и в странах протестантских). Как господствующая черта чувственности в нем проявлялся всплеск импульсов из мира подсознательного — иррациональных, насквозь противоречивых, бурных и несовместимых с какими-либо правилами и мерой.

Стремление к единению с глубинными силами природы и преклонение перед ними, стиль, полный движения, беспорядочный, вычурный, напыщенный, и в то же время бьющий через край натурализм, выраженный через космизм форм и порывов. Новая чувственность, олицетворением которой являлся стиль барокко, нашла свое выражение в живописи и в архитектуре, в литературе и в театре. Лицемерие мощи человеческих сил и страстей — таковой оказалась психологическая потребность человека, жившего в условиях цепи бедствий — войн, голода, эпидемий, поджидавших его на каждом шагу сил разрушений, грозивших ему страданиями и гибелью.

Часть I

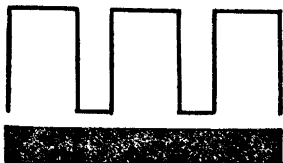
# ПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ



Numb. 3.  
A Continuation of the  
**NARRATIVE**  
BEING  
*The last and final days: Proceedings*  
OF THE  
**High Court of Justice**  
Sitting in Westminster Hall on Saturday, Jan. 30.  
*Concerning the Trial of the King;*  
With the severall Speeches of the  
King, Lord President, & Solicitor General.  
Together with a Copy of the  
**Sentence of Death**  
upon CHARLES STUART King of England.  
Published by Authority to prevent  
impermanēt Relapse  
To the Proceedings of the  
Impertinent  
London, Printed for J. Sturges  
Shop in St. Dunstons Church Lane







## Глава I

### О чем спорят историки...

Европейцев XVII века было трудно поразить сообщением, что в такой-то стране подданные подняли мятеж против «своего» законного государя. Как известно, на протяжении всего этого столетия мятежи сотрясали троны во многих европейских государствах. Столь же привычными для воображения современников являлись известия о гибели королей от рук явных или тайных убийц — участников заговора, одиночек-фанатиков или наемных, подосланных. Так, в памяти того же поколения, к которому принадлежали герои нашего повествования, еще было свежо известие об убийстве в 1610 г. на улице среди бела дня французского короля Генриха IV. Более того, начиная с середины XVI века все громче звучала проповедь так называемых монархомахов (цареборцев), поучавших своих читателей и слушателей в праве подданных не только восставать и низлагать государя, превратившегося в тирана, но и, если потребуется, «пролить его кровь».

Пример подобной проповеди мы находим в сочинении Джона Понета «Краткий трактат о политической власти», опубликованном в 1556 г., в котором автор, в прошлом епископ Уинчестерский, бежавший в правление королевы-католички Марии Тюдор (прозванной Кровавой) на континент, ссылаясь на Библию и античных авторов обосновывал законность тираноубийства как акта борьбы против недостойного, нарушившего «договор с народом» монарха.

И все же облетевшая Европу в начале 1649 г. весть о том, что по приговору созданного «мятежниками» суда английскому королю Карлу I Стюарту палач публично, при огромном стечении народа отрубил голову, была потрясающей, неслыханной. Коронованные особы содрогнулись и в странах, далеких от мятежного острова, в том числе и царь московский Алексей Михайлович, выразивший свое негодование по поводу того, что англичане своего короля «до смерти убили».

И хотя в адрес цареубийц «христианнейшие монархи» посылали проклятия и угрозы возмездия, английские

события тех лет воспринимались в большинстве европейских дворов как «далекие» и в общем для политических судеб континента большого значения не имеющие. При этом следует учесть, что, поскольку «Великий мятеж» в Англии совпал по времени с последним периодом Тридцатилетней войны, от которой английский двор остался по существу в стороне, постольку и события, развертывавшиеся в этой стране, отступали на задний план по сравнению с треволнениями народов, вовлеченных в военные действия.

Удивительно, однако, другое: вплоть до середины XIX века происшедший в Англии 40-х годов XVII века общественный переворот оставался и в истолковании историков событием почти исключительно *национальной*, британской истории. На подлинно *общевропейский* — практически всемирно-исторический — масштаб этой революции как революции, означавшей «победу буржуазной собственности над феодальной, нации над провинциализмом, конкуренции над патриархальным строем... просвещения над суеверием... буржуазного права над средневековыми привилегиями», впервые обратил внимание К. Маркс.

То обстоятельство, что подобной глубины переворот произошел впервые в Англии, было обусловлено прежде всего особенностями процесса генезиса капитализма в этой стране. В свою очередь победа этой революции объясняет, почему Англия как «образцовая капиталистическая страна» XVIII века была более чем на столетие поставлена во главе капиталистического преобразования тогдашнего мира в целом, причем не только как родина промышленного переворота, но и как колыбель буржуазного Просвещения. Все это превращает Английскую революцию XVII века в одну из узловых проблем всемирной истории Нового времени.)

Однако с течением времени центр научной полемики в данной области сместился в иную плоскость — проблема всемирности этой революции уступила место проблемам сугубо национальной истории Англии в XVII веке. В новом центре ее оказался — и по сей день по сути остается — вопрос о причинах, характере, социальной природе событий, развернувшихся в Англии в 40-х годах XVII века. На первый взгляд может показаться странным, что дискуссия в общем идет по вопросам, которые поддаются исследованию отнюдь не только умозрительному, но и сугубо эмпирическому. Казалось бы, что трехсотлетняя история историографии этих событий — срок предоста-

точный для того, чтобы историки достигли согласия хотя бы по основным вопросам такого исследования. Тем не менее историографические битвы в этой области продолжаются и по сей день, причем с такой страстностью, будто речь идет о событиях, совершающихся на глазах их участников или по крайней мере происходивших в недавнем прошлом.

В чем же причина этой многовековой дискуссии, почему события далекого XVII века не отошли в прошлое, а продолжают будоражить умы историков? Думается, что причин тому по меньшей мере две. Во-первых, ранний характер этой революции, благодаря которому социальные противоречия, ее обусловившие, вуалировались в значительной степени тем, что новые общественные классы еще выступали в одеяниях старых сословий. И, во-вторых, XX век — время революционного преобразования мира, и его современники буквально дышат атмосферой этих преобразований. Неудивительно, что проблематика истории любой революции Нового времени актуализируется в такой степени, что возводится в ранг вопросов острополитических.

Не имея возможности в рамках данной работы предпринять сколько-нибудь подробный экскурс не только в историю историографии данной проблемы, но и в ход современных, связанных с нею дискуссий в последние годы, укажем лишь на основные направления споров и на характер предлагаемых их участниками решений.

Обозревая спектр самоновейших истолкований в новейшей англоязычной историографии событий, развернувшихся в Англии в 40-х годах XVII века, — их исторических предпосылок, характера движущих сил, сдвигов в их расстановке от одного этапа революции к другому, наконец, ее исторических последствий, нетрудно заключить, что в центре современных дискуссий находятся не столько относительно недавно весьма популярные в этой историографии вигские стереотипы, сколько классовая в своей основе концепция этой революции. В самом деле, известно, что именно в этой концепции последняя предстает как *буржуазная* по социальной сути основного узла противоречий и тем самым по решавшейся в ней объективно-исторической задаче и *демократическая* — по той роли, которая выпала на долю народных низов города и деревни в завоевании победы этой революции.

Известно, что в англоязычной историографии разработка этой концепции обязана прежде всего исследовани-

ям профессора Кристофера Хилла. Его громадный по объему и растянувшийся без малого на столетия труд историографа английского XVII века способствовал тому, что марксистское видение сути событий в Англии этого столетия превратилось из своего рода научной гипотезы в основанное на тщательной проработке исторических источников построение такого масштаба, что даже его оппоненты признали его ценным вкладом в национальную и мировую историографию. Недаром же английский XVII век назван в историографии веком Хилла.

Особенно следует подчеркнуть то, что на долю Кристофера Хилла выпало решение, может быть, наиболее трудной из задач, стоявших перед современной историографией в данной связи, — достроить здание ее в той его части, которая включала сферу идей — религиозных и научных, социальных и политических, этических и эстетических. В результате им впервые создана систематически разработанная *интеллектуальная история английского XVII века* в целом и английской революции в частности.

Неудивительно, что в центре интересующих нас современных дискуссий находятся прежде всего построения К. Хилла и его школы и только на втором плане еще сохранившиеся в англоязычной историографии реминисценции вигских концепций. Итак, если сосредоточить внимание на основных направлениях происходящей в этой историографии «ревизии» \* решений, то вкратце их можно обрисовать следующим образом:

1) историки, отрицающие, что события, развернувшиеся в Англии в 40-х годах XVII века, имели что-либо общее с тем, что в социологии (?) принято считать революцией (П. Лэслитт, А. Рутс). Характерно при этом, что среди аргументов, призванных оправдать эту позицию, мы находим и такой: современники событий не знали терминов, которыми историки нашего времени характеризуют их свершения (к примеру, «класс», «буржуазия»), а если отдельные из них им уже были ведомы, то они наполнялись содержанием, ничего общего не имеющим с тем, что вкладывает в них современная нам историография (к примеру, термин «революция» означал в обиходе XVII века «круговращение», «возвращение назад»

---

\* Следует заметить, что пересмотр господствующих в историографии позиций осуществляется ныне более широким кругом историков в сравнении с той сравнительно узкой группой специалистов, которая положила начало этому движению и известна ныне под названием «ревизионисты».

и т. п.). Однако если следовать логике подобного аргумента до конца, т. е. если понимание реалий их современниками является вообще пределом исторического понимания, то очевидно, что о научной функции историографии и речи быть не может;

2) историки, отрицающие буржуазный и вообще социально-классовый характер гражданских войн 40-х годов (т. е. межклассовый конфликт), но согласные в «переносном» смысле именовать эти события, по крайней мере на отдельном их этапе, «революцией» (Д. Эйлмер, В. Коуард);

3) историки, выдвигающие на первый план в анализе событий 40-х годов консервативную (или «нейтралистскую») тенденцию, проявляющуюся главным образом в среде провинциального джентри, в которой усматривается выражение «подлинного духа» политической нации \* (Х. Тревор-Ропер, Р. Эштон, Д. Моррилл);

наконец, 4) историки, отрицающие наличие в Англии первых Стюартов кризисной политической ситуации, которая позволяла бы усматривать в ней «пролог» грядущей революции. Равным образом они также не видят оснований рассматривать в качестве революционных намерения и деятельность Долгого парламента в период, предшествовавший началу гражданской войны (ноябрь 1640—август 1642 г.) (Д. Илтон, К. Рассел, К. Шарп, П. Христиансон).

Итак, перед нами методически осуществляемый «пересмотр» современного состояния интересующей нас проблемы в англоязычной историографии — факт, сам по себе и время от времени желательный и вполне закономерный при двух, однако, условиях: накопления достаточного для такого пересмотра ранее неизвестных или игнорировавшихся данных и свободы нового видения сути вещей от тех элементов односторонности, которая была свойственна видению предшествовавшему.

Иными словами, речь идет о необходимости более широкого и всестороннего раскрытия проблемы. Следует признать, что если первое из этих условий было «ревизионистами» в некоторой степени соблюдено, то вторым они полностью пренебрегли. В самом деле, воплощенная в трудах приверженцев этого направления попытка раскрыть исторический смысл назревавшего в период

---

\* Т. е. политически полноправной части нации, имущественное и правовое положение которой обеспечивало ей реальное представительство в парламенте.

правления Якова I Стюарта и его сына Карла I общественного конфликта была изначально столь ограниченно нацелена, что заведомо предполагала не только то, что обширнейший пласт общественной жизни и присущие ему противоречия не будут отражены в подобных построениях, но и то, в какой степени «превращенными» предстанут те аспекты жизни нации, которые как будто в ней найдут отражение.

Неудивительно, что весь анализ сложнейшего клубка общественно-политических противоречий, характеризовавших обстановку назревавшего революционного кризиса, оказался в «новом видении» сведенным к субъективному аспекту «кризиса власти» — искусству политического маневрирования, проявленного противоборствовавшими «партиями», точнее, их лидерами вплоть до созыва Долгого парламента (1640 г.). Иными словами, мы сталкиваемся с примером так называемой контрфактуальной истории: указанием на цепь «критических ситуаций», которых можно было бы избежать, если бы только... и в этом случае то, что произошло, не случилось бы.

Таким образом, нет ничего неожиданного в том, что при подобном сужении исторического пространства, на котором велись наблюдения, — либо стенами парламента, либо верхушкой провинциального джентри — «ревизионисты» начинают различать «размытый» силуэт народных низов в революции только к 1647 году, и то лишь в роли сугубо отрицательной — в качестве помехи «конструктивной» политике Кромвеля и его окружения. В итоге «перенос акцентов» в трудах этих ученых оказался столь далеко идущим, что даже историки, признающие их заслуги в «уравновешивании» «вигских» и «марксистских» концепций элементами «политики консенсуса», консерватизма, предупреждают: как бы пафос, питающий «пересмотр», не толкнул его инициаторов за черту разумного, что в свою очередь приведет к «несбалансированной интерпретации», только с обратным знаком.

Так, Б. Коуард в статье под характерным названием «Имела ли место в Англии в середине XVII века революция?» заметил: «Читая некоторые новейшие описания периода, предшествовавшего 1640 г., легко упустить из виду... что конституционный кризис этого года был только одним из периодов политической напряженности между короной и политической нацией... Более того, акцент на силе политического и религиозного консерватизма в 1640-х годах сделал более трудным, чем прежде, объяснение эскалации радикализма» в период от созыва Долгого

парламента до казни короля и уничтожения монархии в 1649 г. И несколько ниже: «Существует также опасность заключения, что последствия того, что произошло между 1640 и 1660 гг., были либо полностью негативными, либо слишком ничтожными, чтобы их принимать во внимание при объяснении того, что произошло в Англии позднее».

Рассмотрим наиболее характерные черты каждого из названных направлений. «Смелость» отрицать сам по себе факт, что в Англии в середине XVII века произошла социальная революция, приобретает в сущности двумя способами: либо следуя так называемому технологическому прочтению истории, либо выхолащивая содержание понятия «общественный класс». Так, английский историк Р. Хартвелл мог позволить себе не заметить событий 40-х годов, поскольку они не стали рубежом в технологической истории страны. Хотя он вынужден был признать, что между типом хозяйства, характерным для Англии второй половины XVIII века, и типом его, характерным для средневековья, пролегли изменения «революционного масштаба», однако события, происшедшие в этой стране в середине XVII века, в его восприятии к этим изменениям никакого отношения не имели: им ведь не предшествовали, как и непосредственно за ними не последовали крупные новации в самом типе материального производства.

Иное дело — промышленная революция XVIII века. То же обстоятельство, что последняя не может быть объяснена без учета социальных и политических последствий прежде всего Английской революции середины XVII века, для приверженцев «технологического объяснения» истории есть нечто «неуловимое», несуществующее.

Другим способом воспользовался английский социолог и историк П. Лэслитт. Тот факт, что общественные классы Нового времени еще не освободились от оболочек средневековых сословий, равно как и то, что в рамках так называемой политической нации, единственно вершившей историю, классовый водораздел был столь же прикрыт статусными делениями, послужил ему «основанием» для парадоксальной трактовки социальной структуры английского общества как общества, состоящего из «одного класса».

В таком обществе, по его мнению, могут время от времени возникать «трения», даже конфликты между статусными, региональными, конфессиональными и тому подобными «группами», составляющими этот «класс», но в нем нет почвы событиям, которые можно было бы рас-

сма­три­вать как социальную революцию, т. е. как возму­щение одного класса против угнетающей его власти, осу­ществляемой в интересах другого, политически господ­ствующего класса. Историческим «подтверждением» это­го заключения — в глазах его автора — служит «бесслед­ность» событий периода «Великого мятежа» для консти­туционной истории страны.

Так, отталкиваясь от определения революции как «моментальной», «насильственной смены» у кормила правления страной одного общественного класса другим, сопровождавшейся столь же «полным» лишением соб­ственности (экспроприации) свергнутого класса, Лэс­литт приходит к выводу, что события, имевшие место в Англии в середине XVII века, совершенно не «уклады­ваются» в это определение и само понятие «революция» применительно к Англии XVII века должно быть предано забвению. Причем это относится не только к концепции «буржуазная революция», но и к определению С. Гарди­нера «пуританская революция».

Отрицание самого факта социальной революции в Ан­глии стало столь распространенным в современной ан­глийской историографии, что все чаще сам термин «рево­люция» заменяется обозначением «гражданская война». Поскольку же последняя охватывает по времени лишь часть двадцатилетнего периода, а именно 1642—1646 го­ды \*, то историкам, предпочитающим именовать револю­цию гражданской войной, приходится дополнять перио­дизацию указанного двадцатилетия такими малосодержа­тельными дополнениями, как «Англия перед гражданской войной», «Гражданская война и последовавшее за ней» и т. п.

Итак, можно, разумеется, отказаться от того, чтобы именовать события середины XVII века революцией. Однако то, чем предлагают заменить это понятие, только обнаруживает, в какой степени не научные, а идеологиче­ские и политические соображения еще обременяют исто­рическую мысль тех, кто к подобной операции прибегает.

Нет сомнения, что наиболее представительным на­правлением в современной англоязычной историогра­фии интересующей нас проблемы является направление, формально признающее факт революции середины XVII века, но отказывающееся усмотреть в ней революцию буржуазную, а в более широком плане — социальную. И хотя «концептуальные предлоги» этого отказа далеко

---

\* Если не считать скоротечной второй гражданской войны 1648 г.



не совпадают у отдельных приверженцев этого направления, суть вещей от этого не меняется.

Наибольшую известность в этом смысле приобрела концепция «Двора и Страны», родоначальником которой является известный английский историк Х. Тревор-Ропер. Согласно этой концепции, в середине XVII века Европа, включая Англию, была охвачена «всеобщим кризисом». Суть его заключалась в конфликте между выродившимся ренессансным государством — «Двором», этой чрезмерно разросшейся бюрократией, приобретшей в конце XVI века явно паразитический характер, и «Страной» — «этой неопределенной, неполитической, но в высшей степени чувствительной мешаниной людей, составивших не против монархии... не против экономического архаизма, а против... угнетающего их, постоянно растущего аппарата паразитической бюрократии, окружавшей трон».

Иными словами, если следовать этой концепции, то суть Английской революции середины XVII века, являющейся только английским вариантом «всеобщего кризиса», заключалась не в конфликте между классами, а в восстании «простого», «провинциального» джентри, «наиболее отсталого и оскудевшего», против «Двора» и сгруппировавшегося вокруг него процветающего меньшинства того же класса. Очевидно, что концепция «Двора и Страны», противопоставленная интерпретации событий «Великого мятежа» как межклассового конфликта, открывала немарксистской историографии в одно и то же время две возможности: для пересмотра вигских стереотипов, с одной стороны, и для «противостояния» концепции буржуазной революции — с другой.

В первом случае речь шла об отказе от того, чтобы в английских событиях середины XVII века усматривать феномен, стадияльно отличный, в ряду политических кризисов, проявившихся в это время в других странах Европы. Как мы убедились в истолковании Тревор-Ропера, все они имели один и тот же общеевропейский контекст, т. е. являлись стадияльно тождественными. Во втором случае на место категории «общественный класс» подставлялось понятие «Страна» («Провинция»), выступающее в качестве противовеса «централизму» — политике «Двора». В этой перспективе борьба в Англии в 40-х годах XVII века велась отнюдь не за новые, буржуазные идеалы, а за политические цели, которые лежали не впереди, но позади — в елизаветинской монархии, «умело сочетавшей» в политике «централизацию и провинциа-

лизм», т. е. интересы придворной знати и провинциального джентри.

Известный американский специалист в данной области П. Загорин, следовавший в русле этой концепции, превратил противостояние «Двора» и «Страны» в сюжет своего исследования предыстории Английской революции. Было бы, разумеется, ошибочным отрицать то обстоятельство, что региональные и общенациональные интересы даже в рамках одного и того же общественного класса, в данном случае дворянства, далеко не совпадали. Сама система местного управления, отданная в руки так называемого джентри графств, немало содействовала культивированию политики партикуляризма — в понимании в этой среде не только своих интересов, но и сути общенациональных событий. Неудивительно, что пролог Английской революции выступает во многих документах эпохи конфликтом, увиденным и истолкованным именно сквозь призму этого противоречия. Однако может ли это обстоятельство служить основанием для превращения суждений современников событий в единственную путеводную нить современного научного исследования?

В целом П. Загорин принадлежит к тому направлению немарксистской историографии, которое рассматривает «Великий мятеж» середины XVII века в качестве «решающего события» в процессе становления либерального политического строя. Нужно отдать должное этому историку, признающему за событием «Великого мятежа» революционный характер и масштаб «конституционного и религиозного экспериментирования». Наконец, им признается плодотворность публичных дискуссий, «крайностей, до которых они были доведены в период уничтожения королевской власти и установления республики». Широта спектра общественных движений, включая процессы в сфере идеологии, позволяет ему в одно и то же время и признать без колебаний факт революции середины XVII века, и отрицать ее буржуазное содержание, ее социально-классовый характер.

Довольно близкой к только что изложенной является позиция американского ученого Л. Стоуна. Он также не сомневается в том, что события, заполнившие историю Англии в середине XVII века, являлись революционными по своему характеру. И хотя он подчеркивает, что многие политические перемены оказались преходящими, равно как и обусловленное революцией перемещение земельной собственности (с этой точки зрения «Англия 1660 г. едва ли отличалась от Англии 1640 г.»), тем не

менее в отличие от многих восстаний, потрясших европейские страны в середине XVII века, «Великий мятеж» в Англии заслуживает определения «революция» хотя бы из-за проявившегося в этот период политического и религиозного радикализма. Однако, поскольку Стоун также не видит буржуазного характера этой революции, постольку он не может обнаружить, что же такого она совершила, что не было бы перечеркнуто реставрацией. В итоге ему остается констатировать: «Революционная природа событий 40-х годов XVII века, вероятно, более убедительно демонстрируется скорее словами, чем делами».

Поскольку Стоуну с целью охарактеризовать события в Англии 40-х годов представляется предпочтительным вместо определения «социальная революция» рассматривать их в терминах политических, интеллектуальных и даже культурологических (литературно-стилевых), он по сути растворяет свою же концепцию революции середины XVII века в длительном вековом цикле (1621—1721) повышенной «сейсмической активности» в английском обществе, в ходе которого события 40-х годов предстают лишь одним из «моментов» этого процесса, но отнюдь не решающим, истинно переломным и открывающим новую историческую эпоху. О том, что Английская революция середины XVII века в этом «вековом цикле» не рассматривается Стоуном в качестве начала нового периода в истории Англии, свидетельствует его заключение о том, что действительным водоразделом между Англией средневековой и Англией нового времени явился период между 1580 и 1620 гг. В итоге, хотя Стоун и именуется события 40-х годов XVII века «революцией», истина, однако, заключается в том, что этим он скорее отдал дань традиции (восходящей к Гардинеру), нежели обосновал ее концептуально.

Пафосом «доказательства» невозможности интерпретировать революцию 40-х годов в терминах межклассового конфликта пронизана работа двух английских историков — Б. Брантона и Д. Пеннингтона — «Члены Долгого парламента». Для подтверждения этого тезиса ими был поставлен статистический эксперимент: состав членов Долгого парламента, оказавшихся с началом гражданской войны во враждебных лагерях, был подвергнут анализу по одному и тому же «вопроснику». Следует, однако, заметить, что конечный вывод этих исследователей, гласящий, что одни и те же сословные элементы были представлены как в одном, так и в другом лагере, отно-

сится скорее к особенностям их статистики, нежели к исторической действительности. И это по той причине, что подсчетам не предшествовала сколько-нибудь глубокая проработка вопроса о специфике данных, равно как и вытекающей из нее методики подсчетов. Последняя же убеждает в том, что, если бы этот эксперимент был тесно увязан с экономическим районированием страны, с типом городских корпораций, с локальными особенностями формирования представительства в парламенте, наконец, с «деловым обликом» членов парламента (а не только с их формальной сословной принадлежностью), заключения авторов этого исследования более адекватно отразили бы отнюдь не лежащую на поверхности суть вещей.

Между тем, невзирая на очевидные методические просчеты, подрывающие познавательную ценность подобной статистики, конечные выводы Брантона и Пеннингтона широко используются противниками концепции межклассового характера событий «Великого мятежа» в полемике с ее сторонниками.

Образцом «средней линии» в новейшей историографии рассматриваемой проблемы, т. е. позиции, еще сохраняющей в какой-то степени столь оспариваемую концепцию революции XVII века (хотя и ограничивающей ее рамками конституционной истории), может служить работа известного английского историка Дж. Эйлмера «Мятеж или революция?». На столь четко поставленный вопрос Эйлмер отвечает по принципу «и — и» — и мятеж и революция. В первом случае речь идет о событиях, имевших место между 1642 и 1646 гг., во втором — о событиях, развернувшихся в 1648—1649 гг. В первом случае речь шла о стремлении возглавившего «мятеж» Долгого парламента ввести королевскую прерогативу в четко очерченные границы. При этом, однако, имелись в виду границы, проведенные в рамках традиционной конституции наследственной монархии, во втором же случае подразумевается разрыв с этой конституцией, т. е. политический переворот, ее ниспровергший, радикально изменивший форму правления в этой стране, — провозглашение Англии республикой. Нетрудно заметить, что, ограничивая революцию середины XVII века только событиями ее кульминации, Эйлмер лишает себя возможности представить эти события как развитие единого процесса.

Иными словами, разграничение периодов «мятежа» и «революции» переводит проблему межклассового социального переворота в русло смены форм политического

конфликта. Наконец, Эйлер, в согласии с политической интерпретацией сущности событий 40-х годов, отказывается в плане социальном охарактеризовать «род общества», которым был обусловлен «род гражданской войны» (мы только узнаем, что «вся предшествующая география и история страны сформировали род общества, которым определялся ее характер»). Вместе с тем мы узнаем, что сам по себе «род общества» не объясняет возникновение гражданской войны, что ее причины являлись по отношению к нему внешними. Она в равной мере «могла» и «не могла» иметь место в истории этого периода.

Однако в отличие от Стоуна и Загорина Эйлер подчеркивает эпохальное значение революции середины XVII века. Если последовавший за нею двухсотлетний период оказался в истории Англии «мирным», то благодаря тому, что «Великая революция» произошла в этой стране в 40-х годах XVII века, — революция, в которой абсолютная монархия была побеждена парламентским правительством, ведущим в свою очередь к «политической демократии» XX века.

В целом, хотя Эйлер по сути обходит вопрос о социальных последствиях (равно как и о социальных предпосылках) «Великого мятежа», он не сомневается в важности его последствий — политических и религиозных. Так, сравнивая периоды — предшествовавший гражданской войне и последовавший за реставрацией 1660 г., Эйлер обнаруживает, что если в первом случае пуританизмом были захвачены определенные круги различных общественных классов, то после реставрации он стал религией значительной части лишь среднего класса. Иначе говоря, из религиозной формы политической идеологии пуританизм превратился в религиозную санкцию буржуазной этики.

Обратимся в заключение к работам историков, труды которых являются наиболее характерным выражением названного выше пересмотра устоявшихся концепций. Само название этого течения — «ревизионисты» — восходит к декларированной научной цели предпринимаемых ими исследований — подвергнуть пересмотру утвердившиеся в англоязычной историографии со времени распространения в ней марксизма интерпретации предпосылок, хода и последствий «Великого мятежа». В этой связи следует прежде всего упомянуть английского историка Д. Илтона, который в эссе под названием «Торная дорога к гражданской войне?» сформулировал вопрос, кстати сугубо риторический, в котором сконденсирована по сути

вся программа анализируемого направления. Он прозвучал следующим образом: значит ли тот факт, что события в определенную эпоху развернулись таким-то образом, что данный ход событий был единственно неотвратимым и не мог быть иным?

Перед нами типичный вопрос уже отмечавшейся контрафактуальной истории, который не только допускает, но, очевидно, и требует ответа однозначного — «конечно же не значит». Если очевидно, что с этой позиции историку надлежит задумываться не только над тем, что действительно произошло, но и над тем, что осталось нереализованным, то вместе с тем следует осознать и подстерегающую его на этом пути опасность превращения исторического исследования в исторический роман, примысливающий «историю», которая в действительности не состоялась. Впрочем, для Илтона и его последователей речь шла не столько об обогащении ткани истории, сколько о поводе бросить упрек предшествовавшей историографии в том, что она-де читала историю Англии первых четырех десятилетий XVII века «ретроспективно». Иначе говоря, отталкиваясь от факта раскола страны в 1642 г. на два враждебных лагеря, она преследовала лишь одну цель — проследить предпосылки этого события в истории предшествующего периода. В видении же «ревизионистов» гораздо важнее исследовать вопрос противоположный: каким образом можно было избежать возникновения этого события?

Следуя подобной логике, Илтон допытывается: правилен ли метод, когда происшедшее позднее определяет в историографии план исследования предшествующей этому событию эпохи? И отвечает: конечно, общество, церковь, правительство важны для понимания случившегося. Вопрос заключается только в том, вели ли «напряжения» в этих областях обязательно к тому, что случилось в Англии после 1640 г. Прогресс в историографии, освещающей историю ранних Стюартов, определяется, по его мнению, сознательным отказом от логики, согласно которой, если в истории что-либо произошло, оно обязательно должно было произойти. Однако, как и следовало ожидать, отказавшись от изучения глубинных причин истории реализовавшейся, сосредоточив внимание на хроникальной стороне событий, приверженцы Илтона необходимо приходят к заключению: все, что произошло после 1640 г., всего лишь случайность, которую легко можно было бы избежать, если бы только... В итоге выстраиваются «доказательства» в пользу тезиса, что революции

«могло бы и не быть», что в функционировании механизма власти не было ничего такого, что делало бы ее неизбежной.

В самом деле, утверждать, что в истории первых Стюартов не было ничего экстраординарного в сравнении с политической практикой XVI века, что управлять в XVI веке было ничуть не легче, чем в XVII веке, что в условиях первых четырех десятилетий последнего даже кажущиеся безнадежными ситуации не были в действительности безнадежными, — значит уклониться от главного вопроса: почему же эти ситуации тем не менее оказались именно безнадежными? Ответ Илтона гласит: с приходом на английский престол Стюартов был утерян «главный секрет» управления страной с помощью парламента и через парламент — искусство политического компромисса. Но если это так, то историографии по сути предложен возврат на давно оставленный путь объяснения революционной ситуации, сложившейся в Англии в период правления первых Стюартов, скорее всего их личными качествами, нежели объективной причинностью. Между тем вопрос заключается в совершенно ином: почему парламент отказывался столь же «вольготно» финансировать Стюартов, как он это делал в XVI веке, что избавило бы их от необходимости столь часто прибегать к праву прерогативы? Иначе говоря, дело не в утере «секрета компромисса», а в том, что компромисс стал объективно-исторически невозможным.

Заметим, что основную роль в «ревизии» так называемой вигской ортодоксии XVII века сыграл Конрад Рассел. Продолжая критику концепции «роста парламента», начатую Илтоном применительно к условиям начала XVII века, Рассел решительно отверг заключение У. Нотестейна, согласно которому парламенты Якова I и Карла I не только стремились освободиться от королевского контроля, но и домогались признания за ними права «консультировать» политику правительства, прежде чем оно приступило к проведению ее в жизнь.

Очевидно, что целью «пересмотра», начатого Илтоном и продолженного Расселом, является обоснование того, что ничто в отношениях короля и парламента вплоть до 1629 г. не свидетельствовало о вторжении в них каких-либо элементов, которые неизвестны были в правление Тюдоров, и тем самым парламентская практика первых десятилетий XVII века не может служить ни предвестием того, что произошло после созыва Долгого парламента, ни тем более объяснением причин вспыхнувшей в

1642 г. гражданской войны. И как вывод — поиск предпосылок ее в сколько-нибудь отдаленной от этих событий ретроспективе представляет собой ложный путь. Каждое событие, включая и столь экстраординарное, как гражданская война, должно объясняться только в рамках данной моментальной ситуации. Иначе говоря, перед нами вывод, возвращающий нас к практике прагматической историографии, т. е. к истории чисто событийной, абсолютно чуждой идее истории как разноуровневого процесса и тем более идее объективной исторической закономерности.

В конечном счете «ревизионисты» достигли того, к чему стремились: они решительно принизили политическую роль палаты общин в правление Якова I и в первые годы правления Карла I и в такой же степени возвысили роль палаты лордов во внутренней и внешней политике этого периода.

Наряду с концепцией «роста парламента» пересмотру в английской историографии последних лет подверглась и концепция «роста пуританизма». В пуританизме историки-«ревизионисты» уже не видят идеологии политической оппозиции режиму абсолютизма первых Стюартов. Для них предпочтительно прервать в этом вопросе линию связи между первой четвертью XVII века и событиями 40-х годов.

По их утверждению, преобладающее большинство тех, кого приверженцы концепции «роста пуританизма» причисляли к «пуританам», являлись, попросту говоря, добрыми англичанами. По крайней мере до 1625 г. они в такой степени еще оставались в рамках общего протестантского консенсуса, что принимали и епископальное устройство церкви. И хотя в правление Якова I существовало незначительное меньшинство, которое более неприемлемо относилось к отступлениям, даже в мелочах, от идеала «первозданной» церкви, однако эти трения не вызывали еще сколько-нибудь массового сепаратизма от церкви англиканской. С этих позиций и известная конференция по церковным делам в Гемптон-Корте, созванная Яковом I, больше не рассматривается как прелюдия все обострявшейся религиозной контрверзы. Наоборот, подчеркивается царившая при Якове I довольно широкая терпимость в рамках протестантизма.

Значительную роль в происходящей в современной англоязычной историографии «ревизии» «вигско-марксистского» истолкования причин, характера и течения революции середины XVII века играет направление так



называемой провинциальной истории, начало которому положил профессор А. Ивритт. Исходная установка этого направления гласит: политика, творившаяся в Вестминстере (т. е. в стенах парламента), не может служить указанием на расстановку сил в стране в целом, поскольку эта политика имела мало общего с характером реакции на нее в графствах и городских корпорациях. Характерно, что именно историки этого направления, поставив в центр своего внимания «реакцию» провинции (графств) на действия и запросы «центрального правительства», пришли к заключению о необходимости «уравновесить» в изучении хода революции линию «радикализма» линией консерватизма, в частности в последние годы внимание переносится на факты распространения роялизма и лоялизма в провинциальном обществе.

Охарактеризованное выше «ревизионистское» течение в современной английской историографии подверглось критике со стороны известного американского историка Д. Хекстера, кстати не приемлющего вигских построений истории XVII века и — в еще большей мере — марксистской ее интерпретации. По его словам, работы Рассела и его последователей рассматривали политику только как борьбу за власть — кто ее захватил, кто ее потерял, кто ее достиг, но затем потерпел неудачу. Хекстер решительно подчеркнул революционный характер событий 40-х годов. Гражданская война была революционной по ее основной цели со стороны парламента, и следует отойти по крайней мере на одно поколение назад для того, чтобы увидеть ее истоки.

Не менее критичен по адресу «ревизионистов» английский историк Б. Коуард. Некоторые «ревизионисты», отмечает он, в такой степени стремились подчеркнуть политический консенсус, что они оставили без внимания конституционный конфликт, заявивший о себе в последних парламентах Елизаветы I, в парламентах Якова I и Карла I и в 1640 г. Каким образом мы можем объяснить конституционные конфликты между 1580 и 1640 годами в терминах иных, чем «рост парламента», «рост пуританизма», допытывается он. Одним словом, или концепция «роста», или появление на английском престоле «неспособной личности» вроде Якова I? Ответ Коуарда на этот вопрос дается хотя и с позиций констатации в Англии первой половины XVII века конституционного и религиозного конфликта, однако полностью в духе неолиберализма. Так, мы читаем: «Кризис 1640 г. был вызван, как указывали сами лидеры парла-

мента, не тем, что классы, представленные в парламенте, были революционными, а тем, что ими являлись корона и ее советники, в то время как общины были консерваторами, защищавшими, пытавшимися защищать старые пути».

Наконец, историографическая тенденция, выдвинутая на первый план консенсус и консерватизм в английском обществе первых Стюартов, не менее отчетливо проявилась и в освещении истории самой революции. С этой целью приверженцы «ревизионизма», задавшись целью «сбалансировать» картину революции, отмеченную, по их мнению, в современной историографии чрезмерным радикализмом, выдвинули на первый план тенденцию политического и религиозного консерватизма, вдохновлявшего в «мирный» период деятельности Долгого парламента абсолютное большинство его членов, равно как и поведение на местах дворянских кругов — джентри графств. С этих позиций даже один из ведущих деятелей Долгого парламента, Джон Пим, оказался ярко выраженным «консерватором», поскольку ведомое им большинство в палате общин в первые два года заседаний этого парламента преследовало более чем «умеренные цели» — восстановить «древнюю конституцию страны», для чего требовалось совсем немного: «освободить» короля от «засилья злокозненного придворного окружения», от «вредного» влияния прежних советников и, наконец, поставить под контроль парламента королевские финансы.

Из этого следует вывод, что события, развернувшиеся в Англии с 1640 по 1642 год, ничего общего с революцией не имели и такое не предвещали и, следовательно, для того, чтобы выводить из них как их следствие гражданскую войну, нет никаких оснований. Гражданская война не была порождением радикальной политической идеологии, а скорее наоборот. Эта политика подвергалась радикализации в ходе самой гражданской войны. Очевидно, что при таком истолковании сущности «конституционного периода» революции остается без ответа вопрос: каким же образом «консервативное» большинство Долгого парламента с началом гражданской войны вдруг оказалось достаточно «революционным», чтобы поднять оружие против короля?

Перед нами яркая иллюстрация того, что происходит, когда исследователь, вживаясь «без остатка» в риторику участников событий (в данном случае лидеров Долгого парламента), лишает себя возможности взглянуть на нее

«из другого времени», сопоставив «слова и вещи».

В заключение зададимся вопросом: почему представители немарксистской историографии столь настойчиво отказываются признать революцию 40-х годов делом новых общественных классов, буржуазных по их политико-экономической природе? Разумеется, в рассматриваемый период этих классов в «готовом виде» нигде в мире не было, не было их и в Англии. Конституирующие эти классы элементы выступали еще сплошь и рядом в обличье старых сословий, членов традиционных корпораций, «сообществ» — территориальных, профессиональных, религиозных, патриархально-семейных, хотя политико-экономическая суть их хозяйственной деятельности была уже принципиально иной. Более того, между этой новой политико-экономической сутью так называемого среднего класса данного периода и его ментальностью вообще и представлениями об этой сути в частности еще существовало поразительное несоответствие.

В результате «новый класс» той эпохи — это мозаика, составленная из кусочков — «начал» классового и сословного, привилегированного и «регулируемого», корпоративного и индивидуалистического, новаторского и традиционного, конформизма и протестантизма, одним словом, это пересечение всех этих аспектов социального бытия в данную переходную эпоху. Принцип общественного класса, потенциально лежащий в основе процесса его формирования, получает более или менее однозначное выражение в его бытийном поведении лишь в период его большей или меньшей зрелости. До наступления этого момента социальное поведение нового класса представляет собой смесь сословного этоса и локальных привязанностей составляющих его элементов.

Очевидно, что в современной науке нет еще такого алгоритма, при помощи которого можно было бы обнаружить удельный вес и динамическое значение столь разнородных интересов и устремлений прозревающих будущее класса через прошлое составляющих его элементов. Чего же в этих условиях можно добиться, к примеру, поисками «класса буржуазии» при помощи арифметического подсчета сословного состава палаты общин и какую роль могут играть результаты подобных подсчетов в ответе на вопрос: каков был социально-классовый характер революции 40-х годов?

Такова в общих чертах историческая суть коренного вопроса, привлекшего к себе внимание того течения в англоязычной историографии, которое само себя нарекло

ревизионистским, но которое точнее было бы назвать неоконсервативным. И хотя пересмотр консенсуса был предпринят им не только вследствие повторного чтения свидетельств, хорошо известных, но и на основе вовлечения в научный оборот корпуса свидетельств, не привлекавших до сих пор должного внимания, что само по себе несомненно значительно расширило видение ряда проблем, тем не менее следует признать, что ни в первом, ни во втором случае собранные данные ни в коей мере не оправдывают столь радикальной перестановки акцентов, в результате которой содержание понятий «революция» и «контрреволюция» поменялось бы местами, как не оправдывают и сужение поля зрения историка пределами, заданными риторикой той или иной прослойки участников событий изучаемой эпохи.

Не будет преувеличением заключить, что, поскольку основные усилия историков-«ревизионистов» были затрачены на уровне истории событийной (при крайне редких попытках заглянуть в подпочву этого уровня), мера опосредования противоречий, свойственных последней, этих исследователей практически не занимала. Неудивительно, что треволнения масс, т. е. девяти десятых английского народа, находившихся за пределами так называемой политической нации, не нашли своего места в предложенном «ревизионистами» «новом» видении предыстории и истории революции середины XVII века.

Остается подчеркнуть, что если оставить в стороне идеологические наслоения, в ряде случаев явно отягощающие построения историков-«ревизионистов», то мы должны будем признать, что, хотя произведенная «переоценка ценностей» во многом содействовала обогащению самой фактуры историографии революции, она вместе с тем нисколько не поколебала ни тезис о социальном — буржуазном — характере революции середины XVII века, ни вывод о необратимом характере фундаментальных свершений этой революции, выполнившей основной «очистительный труд» в процессе превращения Англии средневековой в «образцовую» капиталистическую страну XVIII века.

Проиллюстрируем это положение на двух примерах. Только что было выяснено, по какой причине историки-«ревизионисты», и не только они, не видят в Англии конца XVI — первой половины XVII века «новых общественных классов», т. е. классов — носителей нового, капиталистического способа производства, накануне революции. Нечто подобное происходит и в анализе ее

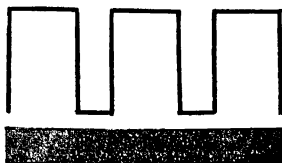
последствий. Исходя из формально-юридической неизменности владельческой структуры в деревне 1660 г. в сравнении с деревней 1640 г., они упускают из виду два обстоятельства: во-первых, углубление раскола английского дворянства в политико-экономическом смысле на два класса — на «старое» и «новое» дворянство. Каждое из них олицетворяло антагонистические хозяйственные уклады — традиционный и капиталистический, два политико-экономических способа реализации земельной собственности. Следовательно, внешняя неизменность владельческой структуры еще ничего не говорит о соотношении этих типов в структуре класса лендлордов до 1640 и после 1660 года.

Действительно, в ходе Английской революции не произошло дробления крупных земельных владений на парцеллы — система лендлордизма полностью сохранилась (кстати, новыми исследованиями обнаружено, что размах процесса парцеллизации и в ходе Французской революции конца XVIII века был в историографии намного преувеличен). К тому же следует учесть, что случилось это потому, что гегемония в революции 40-х годов на решающем ее этапе была захвачена индипендентским джентри, наиболее адекватно представлявшим в ходе революции интересы среднего класса — прежде всего в сельском хозяйстве — и поэтому кровно заинтересованным в сохранении системы лендлордизма.

Однако действительные перемены в экономическом строе английского землевладения были не только важными, но и прямо-таки решающими. Уже в ближайшую за революцией четверть века облик крестьянской части деревни, как убеждает сравнительное изучение описей и ренталей маноров 1630-х и 1670—1680-х годов, резко изменился. Из нее исчезла значительная часть среднего слоя земледельцев — надельных держателей крестьянского типа, и резко увеличился в ней удельный вес прослойки безземельных и мелких держателей типа коттеров. Какую роль в этом процессе сыграла односторонняя, исключительно в пользу дворянства, отмена феодального строя поземельных отношений (ордонанс февраля 1645/46 г.), а какую — сохранившиеся после реставрации земельные перестановки, происшедшие в среде лендлордов в результате «добровольных» актов отчуждения владений в ходе революции, еще предстоит выяснить. Известно, например, что новые лендлорды — покупщики земель в пору их массовых распродаж не стеснялись в средствах с целью очищения приобретенных владений

от «нерентабельных» крестьян-держателей. Думается, что достаточно поставить в связь торжество сквайрархии в английской деревне в конце XVII века с этими «невидимыми» последствиями революции 40-х годов, чтобы признать, сколь глубокую борозду провела она в истории английского общества XVII века вообще и в судьбах йоменри в частности. В том же, что общее направление эволюции общества приобрело после 1660 г. ярко выраженный буржуазный характер, не сомневаются и многие историки, отказывающиеся признать революцию 40-х годов переворотом социальным.

Однако означает ли все сказанное то, что столь интенсивно работающие историки «новой генерации» не внесли ничего существенного в позитивное знание истории интересующей нас эпохи? Ни в коем случае. Нет сомнения в том, что поднятые ими пласты новых фактов расширили в значительной степени поле наблюдений, выявили общественные тенденции, которые хотя и не изменили в корне, но все же значительно усложнили прежние представления о периоде, известном как «пролог революции», и в особенности о характере общественных процессов, происходивших в провинции в канун и в ходе революции. В целом то обстоятельство, что усилиями большой группы историков была впервые в историографии воссоздана картина того, как протекала революция в английских графствах, является самым ценным вкладом в научное освоение ее истории за последнюю четверть века. И хотя с выводами, которые зачастую при этом делаются, трудно согласиться, тем не менее сообщество историков-специалистов получило возможность самостоятельно проанализировать их с большой пользой для длительной перспективы исследований в данной области.



## Глава II

# Англия — колыбель капитализма

Политико-экономический облик общества предреволюционной Англии определяли два хозяйственных уклада: уклад новый — капиталистический — и уклад традиционный, унаследованный — феодальный. Наряду с ними существовало множество промежуточных хозяйственных форм, среди которых выделялся уклад мелких самостоятельных производителей, в различной степени вовлеченных в «сферу влияния» то одного, то другого из указанных выше хозяйственных укладов. Наконец, различен был удельный вес последних в различных сферах экономики. Тем не менее если под *ведущей ролью* иметь в виду не простое количественное преобладание, а подвижность, динамику роста и «отзывчивость» на меняющиеся условия внешнего и внутреннего рынков, то нет никаких сомнений в том, что эта роль принадлежала *укладу капиталистическому*.

### Промышленность и торговля

Бросается в глаза, что капиталистические формы хозяйства господствовали прежде всего в тех отраслях промышленности, которые требовали больших начальных затрат капитала для организации производства. В XVII веке к ним уже относилась не только горнодобывающая промышленность, металлургия, судостроение, но и так называемые новые отрасли — производство бумаги, сахара, стекла, шелка и ряд других, хотя в этих случаях далеко не всегда шла речь о мануфактуре в собственном смысле, т. е. о систематически проведенном внутреннем разделении труда, но часто и о так называемой капиталистической кооперации, в которой само по себе сосредоточение трудовых усилий значительного числа рабочих (в рамках одного производства) приводило к росту суммарной производительности труда.

На этой основе предреволюционная Англия в ряде отраслей промышленности достигла заметных успехов. На первое место в этой связи следует поставить добычу каменного угля (за столетие — 1540—1640 гг. — она уве-

личилась с 200 тыс. до 1,5 млн т), которая в 3 раза превосходила добычу его во всей остальной Европе. Высокие цены на древесное топливо в связи с резким сокращением площади лесов обусловили использование каменного угля не только для отопления жилищ, но и для промышленных целей — в производстве бумаги, стекла, рафинированного сахара и ряде других. О значении добычи каменного угля в национальной экономике свидетельствует восклицание современника: «Correct your maps: Newcastle — is Peru!» — «Исправьте ваши карты: Ньюкасл — это Перу!», что означало: каменный уголь столь же ценен, как серебро\*.

В предреволюционное столетие в 6—8 раз увеличилась добыча свинца, олова, меди, соли, в 3 раза возросла выплавка железа. Хотя в техническом отношении эти отрасли английской промышленности значительно отставали от континентальных, в частности германских, производств, они имели одно решающее преимущество — доступную и дешевую рабочую силу, которая обеспечивала их высокую доходность. Если же при этом учесть, что на таких предприятиях были заняты уже не десятки, а сотни рабочих, то значение этого фактора в успехах нового хозяйственного уклада станет очевидным.

Иной была организация производства в важнейшей отрасли английской промышленности — шерстяной, хотя и в ней встречались централизованные капиталистические мануфактуры, например хорошо известная мануфактура Джека из Ньюбери, воспетая в балладе Томаса Делоне. Вот ее описание:

В одном просторном и длинном сарае  
200 ткацких станков в ряд стоят,  
И 200 ткачей, о боже, прости,  
Трудятся здесь от зари до зари.  
Возле каждого из них мальчик сидит,  
Челноки готовит молча — мастер сердит...  
В соседнем сарае вслед за ним  
100 чесальщиц шерсти в душной пыли расчесывают шерсть.  
В другом помещении — идемте туда —  
200 работниц — дети труда,  
Не зная устали, шерсть прядут  
И грустную песнь поют.

---

\* Основными центрами угледобычи были помимо Ньюкасла графства Ноттингем, Вустер, Стаффорд, а также Уэльс. Дешевый водный транспорт открывал возможность для сравнительно дешевых перевозок угля на далекие расстояния, в частности из Ньюкасла не только в Лондон, но и во Францию.



И рядом с ними на грязном полу  
100 бедных детей  
За пенни в день шерсть щипают,  
Грубую от тонкой отделяют\*.

Кроме того, в балладе упоминаются 50 стригалей, 20 валяльщиков, 40 красильщиков, 80 декатировщиков. Перед нами капиталистическая мануфактура уже в собственном смысле слова. Такие предприятия, отличавшиеся от позднейших фабрик только отсутствием машин, часто создавались в помещениях бывших монастырей\*\*.

Нет, однако, сомнений в том, что абсолютно преобладающей формой капиталистической организации суконного производства являлась так называемая рассеянная мануфактура. Капиталист-предприниматель в этом случае не строил производственных помещений и не приобретал для них оборудования\*\*\*, а ограничивался лишь покупкой сырья, в данном случае шерсти, которое последовательно передавалось для переработки на дому ремесленникам различных специальностей. Так как такая мануфактура не революционизирует средневековых форм производства, а как бы надстраивается над ними, то под ее покровом сохранялась различная мера самостоятельности ремесленников — от полного низведения их до наемного рабочего на дому, полностью отстраненного от рынка сырья и рынка сбыта, до более или менее самостоятельных мастеров, только сбывающих в скупочную контору свои изделия.

Так, к примеру, суконщик Томас Рейнольдс из Колчестера снабжал сырьем на дому 400 прядильщиц, 52 ткача, 33 ремесленников других специальностей. Из трех основных сукнодельческих районов Англии XVII века — северного, западного и восточного — капиталистические формы работы на дому господствовали в последних двух, поставлявших шерстяные ткани на экспорт (в восточных графствах Норфок, Сэффок, Эссекс производились преимущественно тонкие крашенные сукна, технология выработки которых была привезена эмигрантами из Фландрии

---

\* Хотя это описание принято считать скорее обобщенным, нежели конкретным, т. е. изображением определенного случая, тем не менее сама возможность такого описания свидетельствует о распространенности данного явления.

\*\* Так, некий Уильям Стамп арендовал помещения бывшего монастыря в Малмсбери и Осни, в которых было занято около 2000 рабочих.

\*\*\* Впрочем, отнюдь не редкими были случаи, когда такой предприниматель снабжал работающих на дому рабочих не только сырьем, но и станками.

и Голландии). В западных графствах (Уилтшир, Глостер, Сомерсет) вырабатывались преимущественно широкие некрашенные сукна. Другие сорта сукна, так называемые каразеи, изготовлялись на севере, по преимуществу самостоятельными ремесленниками, и шли главным образом на внутренний рынок. Заметим, что капиталистическая работа на дому практиковалась шире всего в деревне, свободной от цеховых регламентов, которыми все еще регулировалось городское ремесло.

Итак, капиталистический уклад в промышленности предреволюционной Англии был представлен капиталистической мануфактурой — централизованной и рассеянной — с явным преобладанием последней.

Хотя цеховой строй городского ремесла, как отмечалось, был еще жив и не без содействия властей \* продолжал отстаивать традиционные формы производства (отсюда борьба корпоративных городов против новых центров мануфактуры, и прежде всего в их сельской округе), однако не требуется большого труда, чтобы обнаружить яркие свидетельства его внутреннего перерождения и разложения.

В XVII веке имущая верхушка в цехах настолько отделилась от массы ремесленников, что первая сосредоточила в своих руках связи с рынком, а вторые были оттеснены от него и ограничены только функциями производства. Верхушка цехов, так называемые ливрейные мастера (представлявшие цех перед городскими властями), вскоре выделилась в так называемые ливрейные компании. Это были уже по сути чисто купеческие компании, подчинившие своей экономической власти ремесленников соответствующих специальностей: торговцы сукном диктовали свои условия ткачам, торговцы ножевыми изделиями — производителям клинков, ножей, кузнецам и т. д. Достаточно отметить, что из 12 ливрейных компаний Лондона 7 являлись с самого начала торговыми корпорациями. Разумеется, в провинциальных городах процесс перерождения цехов не был столь интенсивным и очевидным, тем не менее и здесь внешняя устойчивость традиционного уклада прикрывала ту же тенденцию.

---

\* Знаменитый Елизаветинский статут об ученичестве 1563 г. продолжал регулировать объем и технологию производства: требование семилетнего ученичества от всех желающих заниматься ремеслом в городе, запрет держать под одной крышей более двух станков, запрет совмещать в одной мастерской работу ремесленников различных специальностей, ограничение числа подмастерьев, занятых у одного мастера, и т. д.

В целом продолжавшийся постоянный контроль цеха за соблюдением средневековых стандартов изделий (скажем, ширины, длины и веса куска сукна, количества нитей в основе, наконец, требование пользоваться традиционными орудиями труда) превращал цеховой строй городского ремесла в серьезную помеху на пути технического усовершенствования производства, развития нецехового ремесла и вместе с ним капиталистической мануфактуры.

Даже из этого краткого очерка структуры английской промышленности в первой половине XVII века нетрудно заключить, что столкновение двух социально-экономических форм производства — мануфактурного и цехового \* — создавало в этой сфере три очага социальной напряженности. На почве уклада традиционного — между мастерами и подмастерьями и учениками — внутри мастерской и между цеховыми корпорациями, захватившими в свои руки связи с рынком, и цехами «чисто» производственными, т. е. низведенными до положения экономически зависимых и обираемых. На почве уклада капиталистического — между работодателями и различными категориями рабочих людей: «домашними» рабочими, наемными рабочими централизованных мануфактур и т. п.

Однако за этими типами социально-классовых противоречий, олицетворявшими противоречия в классической форме (принадлежавшие в одном случае историческому прошлому, а в другом — историческому будущему), нельзя проглядеть решающее значение третьего, и основного для данного этапа развития капитализма, типа противоречий: *между интересами торгово-предпринимательского капитала и внутренней и внешней политикой абсолютизма первых Стюартов.*

Как мы убедились, денежный капитал в первой половине XVII века лишь в незначительной степени успел превратиться в капитал промышленный. Недаром же предприниматель-мануфактурист этого времени выступает еще как купец по преимуществу. Собственно *буржуазной экономической формой в это время все еще остается сфера товарного обращения, поскольку промышленное*

---

\* Существование в промышленности этого времени уклада мелко-товарного, в особенности на севере и северо-востоке страны, не подлежит сомнению. Однако в столкновении городских и сельских форм промышленного производства его носители чаще всего оказывались на стороне последних.

применение капитала по причинам, указанным выше, все еще рассматривалось, как правило, в качестве малопривлекательного поля его приложения в сравнении с торговлей. Недаром экономисты этого времени объявляли не производство, а торговлю основой процветания государства, наиболее быстрым путем обогащения страны. Это были, очевидно, представители так называемой монетарной теории, которые смешивали деньги с капиталом, золото — с богатством.

Сколько бы потребительских ценностей ни производили плодородные почвы и прилежание человека, учили они, страна не будет по-настоящему богатой, если эти ценности не станут товаром для других народов: ведь только внешняя торговля (при положительном торговом балансе), т. е. приток драгоценных металлов, способна увеличить национальное богатство. Такова была в ту пору экономическая теория. А практика?

Начать с того, что к началу XVII века внутренние области Англии уже давно вышли за рамки локальных рынков, образовав единый национальный рынок. Его олицетворением был Лондон.

Роль этого мегаполиса не только в политической, но и в экономической жизни страны была в то время поистине уникальной. Его население в 200 тыс. человек по численности намного превосходило совокупное население всех остальных портовых городов Англии, заслуживавших этого названия. Потребности этого города в продовольствии в немалой степени обусловили хозяйственное развитие не только близлежащих графств, но и относительно далеко от него отстоявших: одни служили для него молочной фермой, огородом и садом, другие выращивали для него пшеницу и выпасали стада, предназначенные для бойни. Судходная на большом протяжении Темза и развитое каботажное (прибрежное) судходство облегчали (и, заметим, намного удешевляли) доставку сюда не только продовольствия, но и промышленных изделий и топлива (каменный уголь). О емкости лондонского хлебного рынка дают представление следующие данные: в 1535 г. в город было доставлено 150 тыс. кварталов \* пшеницы; в середине XVII века для прокормления его населения уже требовалось 1 150 тыс. кварталов. В Лондон стекалась со всех концов страны и львиная доля товаров, предназначенных для вывоза за море (прежде

---

\* Квартер — мера сыпучих тел, равна 2,9 гектолитра; мера веса — 12,7 кг.

всего шерстяные ткани), равным образом через Лондон Англия получала бóльшую часть товаров заморских.

Одним словом, притяжение Лондона ощущалось в стране в целом, поскольку повсеместно возрос удельный вес экономически связанного с ним населения \*. Об этом свидетельствуют помимо горьких жалоб других городов, раздававшихся в его адрес, следующие данные: в то время как пошлины на экспорт через Лондон составляли в начале XVII века 160 тыс. ф. ст., вывозные пошлины всех других портов королевства приносили только 17 тыс. ф. ст. В 1604 году палата общин констатировала: «Все суконщики и по существу все купцы Англии горько жалуются на сосредоточение торговли в руках... купцов Лондона, к разорению всех других».

Наконец, Лондон являлся средоточием крупнейших в стране капиталов, владельцы которых верховодили в торговых компаниях, брали на откуп доходы короны, торговые и промышленные привилегии знати. В целом структуру внешней и внутренней торговли определяли два обстоятельства: предпочтение, отдававшееся правительством торговым компаниям, и уже упоминавшаяся политика торговых монополий. Конечно, помимо фискальных интересов казны компании было сравнительно легче контролировать; на них можно было возлагать обязанности организации (за собственный счет) охраны своих торговых судов (в пути); в качестве получателей доли их прибыли можно было «пригласить» желанных двору пайщиков — представителей титулованной знати; наконец, ими можно было руководить (через назначенных управляющих) и при нужде манипулировать в тех же фискальных целях королевскими грамотами.

Образцом такой компании того времени может служить Ост-Индская, основанная в 1600 году королевской прокламацией, при этом запрещалось кому-либо, кроме нее, ввозить в страну перец, который все в стране обязаны были приобретать только у нее. Точно так же хлопок, к примеру, имели право ввозить в страну лишь члены Левантийской компании (1581 г.), обладавшей монополией на торговлю со странами Средиземного моря. Разумеется, развернувшаяся при Якове I оживленная торгов-

---

\* Рост неземледельческого населения, обусловивший значительное расширение хлебного рынка, — явление общеанглийское. Так, данные по Глостеру (начало XVII века) свидетельствуют: 46,2% взрослого (от 20 до 60 лет) мужского населения было занято в земледелии, 53,8% — в ремесле и промыслах.

ля королевскими патентами и лицензиями на исключительное право ввозить в страну определенные товары имела своим следствием установление монопольных цен, гарантировавших получение их обладателям высоких прибылей. Так, в 1607 году Ост-Индская компания выплатила своим членам 500% прибыли на вложенный капитал. Более «скромная» по своим возможностям Московская компания в 1601 и 1612 гг. выплатила своим членам 90% прибыли. Неудивительно, что при достаточно высоких вступительных взносах (например, такой взнос в компанию купцов-авантюристов составлял одно время 200 ф. ст.) вскоре после ее основания (1607 г.) Ост-Индская компания уже насчитывала 9614 пайщиков с капиталом 1 629 тыс. ф. ст.

Наконец, помимо того что торговые компании оттеснили от прибыльной заморской торговли аутсайдеров, по преимуществу купечество провинциальных городов, в них верховодили и присваивали львиную долю прибылей только наиболее крупные пайщики. Так, при условии, что в компании «купцов-авантюристов» насчитывалось 8590 членов, вся ее торговля была сосредоточена в руках не более 200 купцов. В результате политики монополий в Лондоне сложилась мощная купеческая олигархия, огромные состояния которой бросались в глаза иноземным наблюдателям. Например, венецианский посол сообщал на родину: «Богатство лондонских граждан очень велико, и многие накопили состояния в 100, 150, 200 тыс. ф. ст., а некоторые даже более 500 тыс. ф. ст.».

Об экономической политике первых Стюартов речь впереди. Здесь же достаточно заметить, что в системе торговых монополий ярко проявилась острота противоречий между потребностями все более динамичной экономики и феодально-абсолютистской экономической политикой. И хотя Стюарты не являлись изобретателями этой системы — она была унаследована от их предшественницы на английском престоле Елизаветы I, тем не менее именно при них она превратилась в один из факторов обострения социальных противоречий в стране, нарастающего кризиса режима.

### Английская деревня

В начале XVII века Англия являлась аграрной страной с резким преобладанием сельского хозяйства над промышленностью, деревни над

городом \*. Было бы, однако, более чем ошибочно на этом основании заключить, что Англия слишком медленно продвигалась по капиталистическому пути. Наоборот, *главная особенность социально-экономического развития Англии в 1540—1640-х годах*, столь выделявшая ее среди европейских стран, в том и заключалась, что она *продвигалась по этому пути намного быстрее других*. И случилось это по той причине, что *наиболее интенсивная ломка средневекового уклада хозяйства началась в деревне намного раньше, чем в городе, и протекала здесь истинно революционным путем*. Дело в том, что английское сельское хозяйство, издавна связанное не только с внутренним, но и с внешним рынком (прежде всего вывоз шерсти), *намного раньше промышленности стало выгодным объектом прибыльного вложения капитала, сферой капиталистического типа хозяйствования \*\**.

Но именно по этой причине английская деревня оказалась в столетие, предшествовавшее революции, *средоточием основного социального конфликта*. Сторонами в нем выступали лендлорды и крупные, предпринимательского типа арендаторы, одинаково враждебные, хотя и по различным мотивам, традиционным аграрным порядкам, и прежде всего общинной системе землепользования, а тем самым классу мелких самостоятельных земледельцев — носителю этих порядков. Дело в том, что, едва обретя личную свободу к концу XV века, ядро этого класса — так называемые копигольдеры \*\*\* тотчас оказались между молотом и наковальней, т. е. между стремлением лендлордов очистить от них землю как помеху на

---

\* Еще во второй половине XVII века Уильям Петти различал прибавочную стоимость только в двух формах: земельной ренты и процента, причем последний он выводил из первой.

\*\* Так, из 67 сданных в аренду ферм, изученных английским ученым Р. Тоуни для XVI века, 37 относились к разряду крупных (из них 33 имели пахотную площадь от 200 до 155 акров и 4 фермы — от 700 до 900 акров); 24 фермы относились к разряду средних (от 50 до 200 акров), и только 6 ферм — к разряду хозяйств крестьянского типа (менее 50 акров). Мы еще плохо осведомлены по вопросу об экономических условиях функционирования арендуемых хозяйств, чтобы грани между названными разрядами считать абсолютными.

\*\*\* Держатели земли в манорах на обычном праве, т. е. на условиях уплаты ежегодной ренты и так называемых вступных файнов, уровень которых регулировался обычаем (отсюда их название — «обычные» держатели), но в действительности бесправные и беззащитные перед волей лорда манора, надумавшего обычаем пренебречь и условия держания изменить в свою пользу. Королевские суды (так называемые суды общего права) в таких случаях жалоб от копигольдеров не принимали и исков не рассматривали.

пути к более прибыльному ее использованию, и готовностью «денежных людей» немедленно снять ее на новых, коммерческих условиях.

Одним словом, в английской деревне в классической форме проявила себя последовательность во времени и тесная взаимосвязь двух процессов — обезземеливания крестьянства и формирования класса капиталистических арендаторов; в этом и заключалась суть, с одной стороны, так называемого первоначального накопления в деревне и, с другой — генезиса капиталистического уклада в сельском хозяйстве, превращения деревни в рассадник крупной, предпринимательской аренды \*.

Инфляционная конъюнктура цен, в особенности на сельскохозяйственные продукты, обусловила в предреволюционной деревне ситуацию острого земельного голода. Если в 30-е годы XVI века акр земли приносил лендлорду ежегодно 5—6 пенсов ренты, то 100 лет спустя (1630-е годы) рыночная рента за тот же акр уже составляла 4—5 шиллингов, т. е. его годовая «стоимость» возросла в 8—10 раз.

Высокая рыночная конъюнктура стимулировала введение агротехнических новшеств, преследовавших цель повысить продуктивность полей, лугов и пастбищ. Естественно, что этот процесс «улучшения» коснулся прежде всего агрикультуры графств, тесно связанных с крупными рыночными центрами, и в особенности с Лондоном. Так, в первой половине XVII века здесь распространяется практика известкования почвы, удобрения ее морским илом и торфом, в севооборот вводятся сеяные травы (клевер) и корнеплоды (турнепс, морковь), масличные культуры (рапс, сурепица), красители (вайда, шафран), лен и конопля. В широких размерах проводится мелиорация лугов и пастбищ, разворачивается осушение так называемой Великой равнины болот (в центральных и северо-восточных графствах). Целенаправленно улучшаются породы скота. В целом труд земледельца стал намного производительнее. Так, в сравнении с началом XVI века в среднем в 2 раза возросла урожайность злаковых культур. Однако несомненные свидетельства интенсификации сельского хозяйства были в социальном плане неоднозначными. Улучшения требовали значительных

---

\* Многие предприимчивые лендлорды предпочитали самостоятельно вести нацеленное на рынок хозяйство в своих доменах и — более того — снимать дополнительно крупные аренды в других манорах.



затрат и были доступны главным образом лордам и зажиточной верхушке деревни. С другой стороны, не уверенные в своем владельческом титуле копигольдеры (равно как и краткосрочные арендаторы) воздерживались, естественно, от подобных дорогостоящих начинаний. Малоимущей же части земледельцев они вовсе были не под силу. Очевидно, что сохранение власти лендлордов над наделами основной массы земледельцев тормозило развертывание агрикультурной революции вширь.

Между тем социально-экономические последствия такой революции в тех условиях были враждебны интересам средних и малоимущих слоев поземельно-зависимого крестьянства, поскольку они отрицательным образом влияли на устойчивость владельческих титулов и хозяйств этих категорий. Инфляционная рыночная конъюнктура на продукты сельского хозяйства и связанный с нею оживленный земельный рынок приводили к тому, что следствием всякого рода улучшений являлись огораживания общинных земель и резкое повышение держательских рент. Естественно, что новые собственники, приобретшие эти земли за наличные, были меньше всего склонны считаться с «незапамятными» традициями в отношениях с обычными держателями\*.

О масштабах этого процесса свидетельствуют следующие данные: из 2500 обследованных английским историком Р. Тауни маноров, расположенных в семи графствах, в период между 1561—1600 гг. отчуждался каждый третий манор. В гораздо большей пропорции происходила смена их владельцев в период между 1601—1640 гг. Продавцами земли выступали корона\*\*, представители разорившихся знатных родов и обедневшего джентри. Между 1558 и 1602 гг. в пределах 12 графств Средней Англии пэры продали 28% принадлежавших им маноров. Хотя число пэров между 1558—1642 гг. увеличилось в 2 раза, они в 1642 г. владели меньшим числом маноров, чем в 1558 г.

Помимо разбогатевших представителей джентри покупателями коронных земель и владений знати выступали

---

\* Слой вечногонаследственных копигольдеров, условия держания которых оставались неизменными, был крайне малочисленным и локализовался главным образом на востоке и юге страны.

\*\* Между 1530—1640 гг. корона продала в частные руки земельные владения на сумму 6,5 млн ф. ст. В результате столь интенсивной распродажи домен английской короны был в 1603 г. намного меньшим, чем в 1500 г.

«денежные мешки», прежде всего Лондона \*, представи-тели так называемых свободных профессий (юристы, врачи и др.), наконец, разбогатевшие цеховые мастера и т. п. Оживленный земельный рынок содействовал мобилизации земли и в среде держателей крестьянского типа. Жалобы на жадность тех, кто собирает несколько дворов в одни руки, раздавались в Англии с начала XVI века. Естественно, что следствием этого процесса должно было явиться, с одной стороны, сокращение числа надельных дворов и укрупнение держаний, а с другой — увеличение численности безнадельных.

На почве мобилизации земли в манорах и обострившегося вследствие этого земельного голода в них развилась система субдержаний и субаренды. Крупным держателям было выгоднее сдавать клочки своих держаний в субдержание или субаренду, чем обрабатывать их, — столь высокими были земельные ренты. Но сама эта возможность свидетельствовала о том, сколь велико было число сельских жителей, которым уже не хватало держаний в маноре и которые соглашались на положение «подсудков» у владельцев надельных дворов.

Другим важным фактором, содействовавшим подрыву позиций крестьянства в аграрном строе предреволюционной Англии, являлось стремление лендлордов регулировать рентные платежи, основываясь на состоянии рыночной конъюнктуры. Очевидно, что для массы традиционных держателей это означало многократное повышение рентных повинностей. Как уже отмечалось, наиболее критическим в этих условиях оказывалось положение копигольдеров «на срок».

Хотя, по некоторым предположениям, две трети культивировавшейся в стране площади считались фригольдом (юридический статус которого был близок к частной собственности) и только одна треть — копигольдом, это еще отнюдь не значит, что соотношение фригольдеров и копигольдеров среди крестьян было таким же. Все дело в том, что земля, значившаяся фригольдом для владельцев в манорах большей части страны, в своей львиной доле отнюдь не сдавалась на этом праве тем, кто ее обрабатывал. Имеются основания считать, что для большей части держателей крестьянского типа в северо-западных, юго-западных и частично центральных графствах типичным являлось земельное держание на праве копигольда

---

\* В 1625 г. Сити Лондона — основному кредитору короны — было передано коронных земель на сумму 216 310 ф. ст.

и только в графствах Восточной и Северо-Восточной Англии удельный вес мелких фригольдеров был в 2 раза выше, чем в других регионах страны, и тем не менее и здесь уступал численности копигольдеров\*.

В целом в судьбе крестьянского копигольда заключалась судьба английского крестьянства как класса. Прекарный статус этого держания отчетливее всего проявлялся, во-первых, в ограниченности этого держания во времени: обычно так называемая копия протокола манориальной курии (так именовался документ на право владения) исчисляла срок такого держания более чем условными тремя жизнями, измерявшимися 21 годом, и, во-вторых, в правовой незащищенности копигольда от «воли» лорда манора. Недаром знатоки общего права продолжали зачислять копигольдеров в разряд тех, кто «лишен собственной земли». Поскольку обычные ренты копигольдеров не шли ни в какое сравнение с открывшейся для лендлордов возможностью сдавать землю за рыночные ренты, в английской деревне на этой почве развернулась ожесточенная борьба за ренту\*\*.

\* Чтобы судить о роли копигольда в судьбе английского крестьянства к началу XVII века, приведем следующие данные:

| Группа графств   | Общее число держаний | Число фригольдеров (%) | Число копигольдеров (%) | Число лизгольдеров (%) | Не определено (%) |
|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Северная         | 1754                 | 243<br>(13,8)          | 837<br>(50,5)           | 344<br>(19,4)          | 278<br>(15,0)     |
| Среднеанглийская | 1505                 | 278<br>(18,1)          | 938<br>(62,3)           | 213<br>(14,2)          | 76<br>(5,0)       |
| Восточная        | 1364                 | 492<br>(36,0)          | 742<br>(54,3)           | 78<br>(5,7)            | 56<br>(4,1)       |
| Юго-западная     | 1580                 | 200<br>(12,6)          | 1226<br>(77,2)          | 148<br>(9,3)           | 6<br>(0,3)        |
| В с е г о...     | 6203                 | 1213<br>(19,5)         | 3793<br>(60,1)          | 416<br>(6,7)           | 416<br>(6,7)      |

Источник. *Tawney R. The Agrarian Problems in the Sixteenth Century. L., 1912.*

\*\* В Восточной Англии рента в течение XVI века возросла в 6 раз; в манорах Уилтшира — в 10 раз в промежутке между 1510 и 1650 гг.; в Уорикшире — в 3 раза (между 1556 и 1613 гг.) и повторно в 3 раза между 1613—1648 гг.; в Ноттингемшире в течение XVI века рента возросла

Динамика «вступных файлов» за тот же период не менее красноречива\*. Приведем только один пример: держатели манора Уитли (Ноттингемшир) жаловались в 1607 г. на то, что «файны за допуск» увеличены в 45 раз в сравнении с традиционно взимавшимися файнами. Неудивительно, что многие копигольдеры в предреволюционной Англии вынуждены были «добровольно» отказываться от держаний на этом праве, соглашаясь на превращение их в аренду. Наконец, копигольдеры все еще были опутаны повинностями, восходившими к прошлому крепостному состоянию. Таковы гериот (посмертный побор), панагий — за пользование пастбищем, талья и всякого рода «подмоги» лорду, наконец, еще сохранялись повинности натурой и даже эпизодическая барщина.

Итак, копигольд был наиболее эксплуатируемой и бесправной формой крестьянского держания в предреволюционной Англии. Раннее вторжение в английскую деревню капиталистических отношений поставило преобладавшую часть крестьянства (копигольдеров), не успевшую закрепить за собой владельческие права на свои держания, в подлинно критическое положение.

Об этом свидетельствует процесс сокращения в манорах площади крестьянского копигольда и увеличения площади аренды (лизгольда). Так, в трех из семи обследованных маноров в Глостершире рента лордов уже полностью состояла из ренты лизгольдеров, в четырех других последняя составляла уже половину рентных доходов. О степени внедренности лизгольдеров в маноры Сомерсета дают представление следующие сведения. Держатели манора Хантспилл жалуются: некогда здесь насчитывалось 60 пашущих плугов, теперь (времена Якова I) их осталось только 23 «по той причине, что бóльшая часть земли прихода... сдана в аренду различным лицам, живущим вне прихода». В приходе Титенхулл некогда имелось 16 плугов, «теперь осталось 6», поскольку земля стоимостью 800 ф. ст. в год сдана в аренду лицам, «живущим вне прихода». В приходе Кингстон из 2700 акров земли 2 тыс. акров были сданы в аренду иногородним.

Вторую половину XVI века можно с полным основа-

---

в 6 раз. Рентные доходы владений в Эссексе составляли: в 1572 г. — 1400 ф. ст., в 1596 г. — 2450 ф. ст., в 1640 г. — 4200 ф. ст. Доходы йоркширских маноров лордов возросли между 1613—1651 гг. на 400% (Kerridge E. The Movement of Rent 1540—1640.— Econ.-Hist. Rev. (2-d Ser.). VI, 1.

\* Обычный размер такого платежа, взимавшегося по истечении срока копии с наследника двора, равнялся сумме годовой ренты.

нием именовать «золотым веком» предпринимательской аренды в Англии. Поскольку рента в преобладающем числе случаев благодаря долгосрочным (нередко в 99 лет) договорам, заключенным до начала активной фазы революции цен в Англии, оставалась неизменной, а сельскохозяйственные продукты сбывались по ценам, намного превышающим прежние, неудивительно, что доходы арендаторов превосходили прибыли других форм предпринимательской деятельности.

Нет, однако, сомнений в том, что наиболее радикальный разрыв с традиционным строем аграрных отношений в Англии XVI—XVII веков олицетворяли печально знаменитые огораживания общинных земель. Они-то и являлись прежде всего способом очищения лордами маноров земли от ставших в новых условиях экономически невыгодными традиционных держателей-земледельцев. И хотя сторонники огораживаний «обосновывали» их необходимость «общенациональной пользой» \*, их истинный движущий мотив заключался в стремлении лендлордов монополизировать землевладение в своих руках, распоряжаясь им невозбранно к собственной выгоде.

Как известно, разыгравшийся еще при Генрихе VII Тюдоре пролог аграрного переворота обусловил издание первого статута против обезлюдения деревень (1488—1489 гг.). Однако, поскольку проведение этого и подобного ему статута в жизнь оказывалось сплошь и рядом в руках самих огораживателей, эффективность тюдоровского законодательства «в защиту крестьян» была ничтожной. Неудивительно, что огораживания практически продолжались с небольшими перерывами на протяжении всего XVI века. Об этом свидетельствует сама хронология соответствующих статутах и прокламаций, формально направленных против них: 1515, 1526, 1536, 1549, 1590 гг. В последние годы правления Елизаветы I и в правление Якова I поднялась новая волна огораживаний. Как показали правительственные расследования, на десятилетие 1597—1606 гг. приходилось 40% площади, огороженной за предшествующие 50 лет. В таких графствах, как Уорикшир, Лейстершир, Норсемптоншир, Глостер-

---

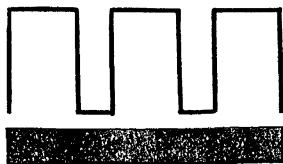
\* Еще в трактате «Рассуждение об общем благе» (1549 г.) «рыцарь» доказывал, что огораживания могут быть и «благими», ибо, как свидетельствует опыт, такие графства, как Кент, Эссекс, Девоншир, в которых огорожено больше всего земли, являются богатыми. При этом он, конечно, обошел молчанием, какой ценой это «богатство» куплено и кому оно пошло на пользу.

шир, обезземеливание крестьян зашло столь далеко, что с лица земли исчезло множество деревень. Ещё большее их число обезлюдело в результате внедрения лизгольда и «укрупнений» ферм. К началу революции тысячи и тысячи крестьян, изгнанных из отцовских мест, перешедших из деревни в деревню в поисках земельного держания или случайного заработка, превратились в бродяг. Вспыхнувшее в среднеанглийских графствах в 1607 г. восстание было проявлением отчаяния обездоленных — протестом против чинившихся над ними насилий. Восставшие заявили подоспевшим лондонским судьям, что они собрались с целью уничтожить «недавно возведенные изгороди», которые превратили их в бедняков, погибающих от нужды.

Однако и после подавления этого восстания огораживания продолжались. Так называемая Компания осушителей болот (в восточных графствах) угрожала лишить источников существования тысячи общинников, живших в районе плавней, содержавших здесь скот, промышлявших рыболовством, охотой, промыслами. Точно так же традиционное пользование малоземельным и безземельным людом общинными правами в так называемых заповедных лесах было поставлено под угрозу уничтожением их заповедности (*disafforestation*), их распродажей в частные руки.

В целом формально восстановленное при первых Стюартах законодательство против «обезлюдения» превратилось лишь в средство собирания казной штрафов с его нарушителей, ибо уплата их являлась по сути узаконением произведенных огораживаний. Об этом свидетельствует большое число крупных огораживаний, зафиксированных в бумагах Канцлерского суда между 1630 и 1640 гг.

Итак, в английской предреволюционной деревне накопились столь острые противоречия, что при первом же проявлении политического кризиса («кризиса верхов») этот горячий материал должен был вспыхнуть широкой волной народных движений.



## Глава III

### Английское общество

Социальная структура общества предреволюционной Англии отличалась удивительной пестротой и переплетением имущественных и сословных статусов людей, в особенности на уровне собственнических классов. Подобная специфика социальной структуры характерна для периода, когда официально признанная юридическая классификация приходит в острое противоречие с общественной практикой, в результате чего в обиходе общественные градации на время затуманиваются. Следовательно, сложность интересующей нас структуры заключалась в рассматриваемый период не только в многоликости сословно-правовых состояний, но и в обманчивости самих этих ликов, поскольку традиционная система статусов сплошь и рядом прикрывала полностью противоречившее ей социально-классовое положение их носителей.

Только на вершине официально признанной сословной иерархии — высшая титулованная знать — и на ее противоположном полюсе — слои, стоявшие вне официального «политического» общества, — традиционное деление в основном еще сохранило свою определенность и зримые границы. Поскольку же речь идет о состояниях, располагавшихся между указанными полюсами, то под воздействием противоположно направленных процессов — разложения унаследованных общественных классов и формирования новых — границы между ними оказались размытыми.

Начнем с традиции. Уильям Гаррисон в своем «Описании Англии» (1577 г.) следующим образом изобразил социальную структуру современного ему общества: «Мы в Англии обычно подразделяем людей на четыре сорта». Первый из них — джентльмены (титулованная знать, рыцари, эсквайры и те, кого просто именуют джентльменами); второй — бюргеры (члены городских корпораций, домовладельцы, плательщики налогов); третий — йомены (зажиточная верхушка крестьян, владельцы земли на праве фригольда с годовым доходом в 40 шилл., зажиточные арендаторы). Наконец, «четвертый сорт» — поденщики, копигольдеры, коттеры, ремесленники — люди,

по словам Гаррисона, не имеющие «ни голоса, ни власти в государстве, ими управляют, и не им управлять другими».

Следуя «Описанию», нетрудно заключить, во-первых, что только первые три сословных «состояния» («сорта») включались в официально признанный «народ Англии», между тем как в количественном отношении они составляли всего лишь одну десятую взрослого мужского населения страны. Иными словами, в «четвертый сорт» включались те девять десятых мужского населения, которые лишены были права участвовать в выборах членов парламента. Очевидно, что принцип, по которому люди этого «сорта» отделялись от ближайшего к ним «третьего сорта», был юридико-имущественным (размер и юридическое «качество» землевладения — фригольд). И более того, даже при определении сословного статуса «благородных» принцип «по рождению» («благородство крови») был «затуманен» практикой возведения в рыцари «за заслуги перед королем», тем более что в правление Якова I Стюарта с целью пополнения казны развернулась широкая продажа дворянских титулов — вплоть до титулов высшей знати (чем воспользовалось немало «худородных» толстосумов). Так или иначе, и в предреволюционные годы имущественное состояние, образовательный ценз, должность и просто материальная возможность человека вести образ жизни «джентльмена» (т. е. не прибегая к физическому труду) оказывались достаточным основанием, чтобы в общественном мнении данный человек был принят за «благородного».

Итак, одной из характерных черт английского общества изучаемой эпохи являлась интенсивная социальная мобильность между «худородными» среднего класса (так называемыми middlings) и дворянским сословием\*.

В 1600 г. сословную структуру английского общества попытался обрисовать сэр Томас Уилсон. Основное ее отличие от описания Гаррисона заключалось в разделении дворянства Англии на два разряда: высшее (nobiles majores) и низшее (nobiles minores). К первому относились титулованные роды, обладавшие наследственным правом заседать в палате лордов (пэры), — герцоги, графы, маркизы, виконты, бароны. Родовитая знать Англии XVII века не могла похвалиться древностью своих родов. В преобладающей своей части она была новосозданной:

---

\* Разумеется, для людей «четвертого сорта» «открытость» более высоких сословных статусов оставалась пустой и формальной.



в лучшем случае — Тюдорами, в худшем — Стюартами. В самом деле, в первом парламенте Генриха VII заседало 29 светских лордов. Чего не сделала война Роз, доделали первые два Тюдора, завершившие разгром старой мятежной знати. В парламенте 1519 г. в стране оказалось лишь 19 светских лордов. Позднее, при Елизавете I, их число было доведено до 61, а при Якове I — до 91. Более половины состава палаты лордов 1642 г. получили свои титулы после 1603 г. Представить имущественный облик пэров позволяют следующие данные: годовая стоимость владений 61 пэра-роялиста составляла 1 841 906 ф. ст., т. е. в среднем 30 тыс. ф. ст. на одного. Только 16 пэров получали доход, превышающий эту среднюю сумму, зато доход многих был намного ниже ее \*. Оскудение значительной части знати было результатом сохранения феодального образа жизни, включая и формы утилизации земельной собственности. В случае отсутствия королевского фавора (должностей, пенсий, дарений) это приводило к неоплатным долгам и к неминуемой распродаже значительной части земельных владений \*\*.

В то же время среди титулованной знати имелась значительная прослойка предприимчивых лордов, совмещавших получение земельной ренты с предпринимательской прибылью (зачастую только части этой прибыли — в виде платы за сдачу своих привилегий на откуп предпринимателю). Так, граф Ньюкасл владел угольными копями и железоплавильными печами на Тайне; граф Шрюсбери не только вел обширное коммерчески поставленное хозяйство в домене, но и слыл крупнейшим «промышленником» своего времени (уголь, лес, свинец и т. п.); граф Бедфорд возглавил компанию по осушению плавней и вложил в дело 100 тыс. ф. ст.; граф Уорик возглавил Гвинейскую компанию, получившую патент в 1618 г. Наконец, — и это очень характерно для духа времени — среди членов Ост-Индской компании числились 15 герцогов и графов, 13 графинь и других титулованных дам, 82 кавалера различных орденов.

Разумеется, в большинстве случаев представители знати, украшая своими титулами торгово-промышленные начинания толстосумов и нередко «уступая» другим свои королевские патенты или владельческие права, попросту говоря, «приобщались» к прибылям, не ими полученным,

---

\* Так, владения графа Мальборо приносили 340 ф. ст. в год.

\*\* В 1642 г. ставшие на сторону короля пэры задолжали финансистам Сити около 2 млн ф. ст.

и таким образом «поддерживали» «благородный» образ жизни из источников, далеко не благородных. Правда, в этом смысле английская знать мало отличалась от современной ей знати других европейских стран. Однако поскольку это касается высшей знати в целом, и в особенности той ее части, которая не была пригрета фавором двора и не проявляла склонности сменить политическую экономию феодальной владыки на хозяйственную науку дельца, то ведущая хозяйственная тенденция с конца XVI и в первой половине XVII века заключалась в упадке и оскудении.

Не об этом ли свидетельствуют не столь уж редкие случаи, когда обедневшие аристократы стремились с помощью приданого купеческих дочерей поправить пошатнувшееся благополучие. Так, к примеру, лорд Комптон женился на дочери мэра Лондона Джона Спенсера, оставившего наследство в 300 тыс. ф. ст., лорд Уиллоуби женился на дочери олдермена Кокни, принесшей ему приданое в 100 тыс. ф. ст., и т. п.

Однако самой примечательной чертой общественной структуры Англии первых Стюартов является, как уже указывалось, раскол дворянского сословия на два общественных класса, во многом антагонистических, — на так называемое старое и новое (обуржуазившееся) дворянство. Это несовпадение классовых граней с сословными, поскольку речь идет о дворянстве, придало революции 40-х годов ее историческое своеобразие и предопределило как ее характер, так и конечный результат. Именно это обстоятельство игнорируется, как мы видели, немарксистской историографией.

В этой связи особую научную важность приобретает проблема социальной природы нового дворянства. Хотя его разрозненные элементы были известны уже в XV веке, однако в качестве общественного класса новое дворянство было порождением XVI века, так же как и класс буржуазии.

Удостоверить этот основополагающий факт нам поможет то обстоятельство, что сплошь и рядом «социальным материалом» при формировании этого класса преимущественно служили вовсе не потомки лендлордов XIV—XV веков, а представители денежного капитала, нажитого вне деревни и примененного ими в том числе для приобретения земельной собственности, благо вскоре после монастырской диссолюции началась широкая распродажа перешедших во владение короны церковных имуществ. Вот почему, кстати, для значительной (пожалуй, преобла-

дающей) части «новых дворян» опасность контрреформации, практически не исчезающая с английского небосклона вплоть до начала революции, угрожала самим основаниям их дворянского статуса и социального благополучия. Неудивительно, что протестантский пыл «новых дворян» был столь адекватным, непосредственным выражением их социального самосознания.

Итак, *новое дворянство* — это в политико-экономическом смысле та часть дворянского сословия, которая активно приспособляла земледелие к нуждам капиталистического уклада в сельском хозяйстве. Такое приспособление могло протекать в двух формах: либо лендлорд, очистив свою землю от традиционных держателей крестьянского типа, сдавал ее арендатору-предпринимателю на условиях рыночной ренты, либо он сам выступал в качестве такого предпринимателя, соединяя в своих руках и земельную ренту, и предпринимательскую прибыль. Неудивительно, что мы зачастую встречаем «нового дворянина», лорда манора, в качестве крупного арендатора (или даже крупного копигольдера) в соседнем маноре. Однако свою хозяйственную деятельность этот дворянин отнюдь не ограничивает сельским хозяйством. Он сплошь и рядом и коммерсант, инициатор заморских экспедиций, и член торговой компании, и судовладелец, и промышленник. Он человек свободных профессий — юрист, нотариус, землемер и т. п. Бэкон, хорошо знавший анализируемый здесь общественно-экономический тип, отмечал, что «улучшение почвы», иными словами — приспособление землевладения к потребностям рынка, — «наиболее естественный путь» обогащения, но вместе с тем «слишком медленный» путь. И далее он сообщает, что ему известен дворянин с наибольшим для того времени доходом, благодаря тому что тот в одно и то же время «крупный скотовод», овцевод, торговец древесным углем, зерном, поставщик олова, железа.

Одним словом, «новый дворянин» — социальный гибрид лендлорда и предпринимателя. Мы не знаем, каким было соотношение в его бюджете различного рода доходов — ренты, предпринимательской прибыли, ростовщического процента или «мздоимства», обеспечивавшегося должностью. Ясно лишь одно: будучи дворянином по сословному положению, он как буржуа по хозяйственному укладу жизни был чужд предубеждений относительно рода получаемых им доходов.

Поистине история промышленности и торговли Англии этого периода не только дело рук буржуазии —

в значительной мере она творилась представителями нового дворянства. Таким образом, «новое дворянство» с целью поддержать свой престиж в качестве джентльменов превращалось в дельцов-коммерсантов (или же, точнее, не переставало ими быть); формально являясь «рыцарями шпаги», они превращались в «рыцарей наживы». Одним словом, если сословный престиж и в новых условиях все еще обеспечивался землевладением, то стиль жизни уже определенно зависел от меры «пренебрежения сословностью», отраженной в доходной части бюджета.

Нет ничего удивительного в том, что социальная мобильность в предреволюционном обществе наиболее отчетливо проявилась на уровне джентри графств — среднего и мелкого дворянства, с одной стороны, и преуспевших бюргеров и верхушки фригольдеров и арендаторов — с другой. Так, из 963 изученных фамилий джентри в Йоркшире (за период 1558—1652 гг.) 9 фамилий стали пэрами, 64 — покинули пределы графства, в 181 случае владения стали выморочными по мужской линии, 30 фамилий больше не встречались в бумагах. Их заменили младшие линии тех же фамилий, но прежде всего новые претенденты на «благородство» — юристы, купцы, разбогатевшие ремесленные мастера и, наконец, выходцы из среды йоменов.

Такая же картина мобильности в среде джентри открылась в Линкольншире. Из 763 семей джентри, учтенных здесь в 1600 г., 278 потеряли свое место в этой среде к 1642 г. (35 продали свои владения). В то же время 210 фамилий были вновь включены в разряд сословия джентри. И снова многие из них являлись богатыми бюргерами или преуспевавшими йоменами. «Диффузия» между этими классами была более чем интенсивной. Смешанные браки здесь не выглядели чем-то экстравагантным, тем более в семьях джентри, в которых сословное происхождение еще не забывалось. Хорошо известна процветавшая в Англии первых Стюартов практика отправки младших сыновей джентри в учение к членам торговых корпораций, с тем чтобы по завершении семилетнего ученичества они превратились в равноправных членов этих корпораций. Так, например, из 125 учеников, состоявших у членов компании купцов-авантюристов в Ньюкасле (между 1625—1635 гг.), 42 были сыновьями йоменов, 40 — сыновьями джентльменов. Из 8 тысяч учеников, состоявших в лондонских компаниях (между 1570—1641 гг.), 12,6 % были сыновьями рыцарей, сквайров, джентльменов. В наиболее богатых из этих

компаний, деятельность которых ограничивалась торговыми операциями, удельный вес учеников из «благородных» семей колебался между  $\frac{1}{4}$  и  $\frac{1}{3}$  от общего их числа\*.

Нет нужды входить здесь в освещение проблемы, оставшейся нерешенной и в итоге той знаменитой дискуссии, которая известна под названием «рост джентри»: приходил ли этот слой знати в изучаемый период в упадок или, наоборот, материально преуспел и находился на подъеме? К сожалению, сколько-нибудь однозначных свидетельств в пользу того или другого ответа на данный вопрос сохранившиеся источники не позволяют дать. Для преследуемой нами цели достаточно отметить несомненный рост совокупного богатства джентри. Так, составляя ничтожную долю населения страны — около 2% (вместе со своими семьями), джентльмены контролировали львиную долю национального дохода: в середине XVII века они владели 50% культивируемой площади (другими 15% этой площади владели пэры).

В итоге мы можем полностью оценить заключение К. Маркса о роли нового дворянства в революции XVII века: «...загадка консервативного характера английской революции объясняется длительным союзом между буржуазией и большей частью крупных землевладельцев, союзом, составляющим существенное отличие английской революции от французской... Этот связанный с буржуазией класс крупных землевладельцев... находился, в отличие от французского феодального землевладения 1789 г., не в противоречии, а, наоборот, в полном согласии с условиями существования буржуазии».

---

\* Разумеется, джентри и в имущественном отношении, и формально юридически подразделялось на крупное — верхний слой (баронеты и рыцари), средний слой (эсквайры), низший слой («приходские» джентри — «просто джентльмены»). О количественном соотношении этих разрядов могут дать представление следующие данные (в канун гражданской войны 1641 г.): по Йоркширу насчитывалось 30 баронетов, 70 рыцарей, 256 сквайров, 323 «просто джентльмена»; по Ланкаширу — 7 баронетов, 6 рыцарей, 140 сквайров и 641 «просто джентльмен». Попытка выразить на владельческом языке эти градации привела — на материале Йоркшира — к следующему: низшие джентри владели 50—100 акрами земли, или имели годовой доход в 200 ф. ст.; средние джентри — 1—5 тыс. акров земли; высшие джентри — 5—20 тыс. акров земли. Если же попытаться перевести язык землевладения на язык годового дохода, то 679 представителей джентри Йоркшира в 1642 г. подразделялись следующим образом: 362 (или 53,3%) получали годовой доход ниже 250 ф. ст.; 244 (или 35,9%) имели доход 250—999 ф. ст. и 73 (или 10,8%) — доход, превышавший 1000 ф. ст.

Социальная структура городского населения изучена крайне недостаточно. Основная линия водораздела здесь проходит между полноправными членами корпораций — фрименами — и просто домовладельцами, ниже которых стояли только живущие в чужих домах. В последнем случае речь шла главным образом о подмастерьях, учениках и слугах. Поскольку специфика корпораций в английских городах заключалась в том, что в одной и той же корпорации состояли и производители данного товара, и торговцы им, постольку соответствующая статистика крайне затруднена, если вообще возможна. Так, архивы города Вустера позволяют только утверждать, что между 1600—1649 гг. здесь существовало 100 различных «занятий». О том же, как население города распределялось между ними, остается только гадать.

Что же касается социальной структуры сельского населения, то за вычетом джентльменов на верхние социальной иерархии здесь находились так называемые йомены. Как обозначение рода занятий, йомены являлись земледельцами, однако не все земледельцы заслуживали статуса йоменов. Йомены в глазах современников составляли имущественную верхушку деревни. Это были «крепкие» сельские хозяева, держатели преимущественно фригольда (хотя немало случаев, когда йоменами именовались зажиточные копигольдеры и арендаторы); фригольдерский доход в 40 шилл. в год был для них не верхней, а нижней границей. Однако в среде йоменов в свою очередь различали высшие и низшие слои. Первые олицетворяли сельскую олигархию, заправлявшую всеми делами в приходе и общине. По оценке исследовательницы Кемпбелл, этот разряд йоменов по уровню доходов был гораздо ближе к джентри, чем к земледельцам в собственном смысле слова. Их годовой доход достигал 100—200 ф. ст. Так, доход йомена Роберта Лодера (Бэркшир) в 1613 г. за вычетом расходов на пропитание семьи и слуг составлял 185 ф. 15 шилл. Даже йомены, принадлежавшие к низшему слою, получали в среднем годовой доход в 40—50 ф. ст.

По свидетельству Уилсона, в Англии насчитывалось 10 тыс. йоменов с доходом 300—500 ф. ст., 80 тыс. фригольдеров, имевших 5—8 молочных коров, 5—6 лошадей.

Ниже йоменов на иерархической лестнице крестьянства стояли «земледельцы» — самостоятельные хозяева, так называемые *huslandnen*, среди которых существовала несравнимо более глубокая имущественная дифференциация, чем среди йоменов. Если рассматривать

в качестве эталона для сравнения держателя надела в 30 акров, то окажется, что в начале XVII века он мог в нормальный по урожайности год рассчитывать на доход в 14—15 ф. ст. За вычетом стоимости скромного содержания семьи из шести человек (родители и четверо детей), у него, по вычислениям П. Бодена, могло оставаться на все прочие нужды 3—4 ф. ст. в год.

Сравнение с этим эталоном распределения пахотной земли среди держателей любого английского манора указанного времени убеждает в том, что преобладающая их часть едва могла сводить концы с концами, поскольку владела держаниями от  $\frac{1}{2}$  до  $\frac{1}{6}$  30-акрового надела. Вот, к примеру, как выглядела дифференциация крестьян в маноре Барроу (Ланкашир) в 1649 г.:

|   |   |               |  |        |
|---|---|---------------|--|--------|
| 14 держателей с наделами в 50—100 акров |   |               | сосредоточили в своих руках общей площади держаний | 87,2 % |
| 3 держателя                             | » | 25—50 акров   | »  | 10,3 % |
| 3 »                                     | » | 3—25 акров    | »  | 1,6 %  |
| 41 держатель                            | » | менее 3 акров | »  | 0,9 %  |

Иными словами, только 28 % держателей этого манора можно было отнести к разряду благополучных. Огромное же большинство — 72% от общего числа держателей — должны были либо частично, либо полностью искать источник существования на стороне.

В маноре Уиллингхем (Кембриджшир) в 1603 г. ситуация была еще более характерная: только у одного имелось держание в 59 акров; 48 держателей владели наделами от 5 до 38 акров; 67 держателей были полностью лишены пахотной земли.

Важная особенность социально-имущественной структуры английского крестьянства заключалась в том, что, чем ниже на имущественной лестнице находился держатель, тем большую роль в его судьбе играли общинные формы землепользования \* и юридический статус держания — различие между фригольдом, пользовавшимся юридической защитой неизменности условий держания, и копигольдом, лишенным подобной защиты.

Огромный удельный вес малоземельных и безземельных жителей деревни свидетельствовал не столько о зе-

---

\* Так, в маноре Нассингтон (Норсемптон) насчитывалось 55 дворов владельцев, каждый из которых мог содержать на общинных пастбищах 3 коровы и 10 овец.

мельном голоде, возникшем в результате «давления на ресурсы» растущего населения страны, сколько, как уже было отмечено, о степени интенсивности вытеснения из землепользования — различными способами — масс традиционных держателей. И естественно, что огораживание общинных угодий больше всего ударило именно по интересам малоземельной и безземельной части владельцев сельских дворов — они лишались решающего подспорья своего деревенского существования — общинных прав (прежде всего на выпас скота). Вместе с тем все более важную роль в формировании социального облика этого огромного по удельному весу слоя обезземеленного населения играло регулирование рабочего вопроса.

О степени остроты рабочего вопроса в Англии первых Стюартов свидетельствуют протоколы так называемых мировых судей. Если в промышленных районах страны наличие огромного слоя деревенской бедноты являлось важнейшей предпосылкой распространения капиталистической мануфактуры, то в районах сельскохозяйственных только незначительная часть этого контингента могла получить место постоянных или сезонных слуг (т. е. батраков) в пределах своей или близлежащих деревень. Большая же часть их вынуждена была в поисках такого места проделывать немалый путь, переходя из деревни в деревню и зачастую из графства в графство в поиске хотя бы сезонной занятости.

О материальном положении этого обширного слоя людей, именовавшихся в предреволюционной Англии коттерами, т. е. держателями одних лишь хижин — зачастую без клочка прилегающей земли, свидетельствует опись имущества коттера Джона Смита из манора Петтингтона. Общая стоимость его имущества была оценена в 2 ф. 10 шилл. 8 пенс. В его хижине не было ни кровати, ни стола. Стол заменяла доска. Столовая утварь в доме была деревянной, одежда — ветхая, и единственная живность во дворе — две курицы и несколько цыплят\*.

Елизаветинское законодательство, обязывавшее манориальных лордов обеспечивать каждый вновь возведенный коттедж 4 акрами пахоты, полностью игнорировалось и лендлордами, и местными властями. В погоне за рентой лорды маноров закрывали глаза на то, что сотни «безземельных» хижин возводились на пустошах за деревенской

---

\* Для сравнения укажем, что имущество некоего Поллена Паркера из Сингглтона (Дерем) после его кончины было оценено в 74 ф. 8 шилл. помимо 60 ф. в монете.



околицей \*. По оценке современного исследователя,  $\frac{2}{3}$  деревенских батраков владели одними лишь хижинами. Естественно, что жизнь и смерть этого огромного слоя сельского населения зависела от возможности найти более или менее регулярный заработок.

Однако при том соотношении спроса и предложения, которое складывалось на рынке труда в предреволюционной Англии, оплата труда составляла самую мизерную по величине долю стоимости произведенных в стране потребительских ценностей. По данным уже упоминавшегося исследователя Боудена, работник, регулярно занятый, мог заработать в год максимум 10 ф. 8 шилл. \*\* Между тем только для содержания семьи в нормальный по урожайности год на уровне, едва отделявшем ее от угрозы голодной смерти, и уплаты ренты за коттедж требовалось минимум 11—14 ф. ст. в год \*\*\*. Если же учесть, что регулярно занятые «трудящиеся бедняки» составляли меньшинство в этой среде, то станет ясно, сколь размытой была в действительности грань, отделявшая такого бедняка от паупера.

По свидетельству одного из современников (1622 г.), «трудящиеся бедняки» Лондона встают на рассвете и без усталости трудятся целый день, который затягивается допоздна, и тем не менее едва ли им доступен хлеб в конце недели или одежда взамен износившейся в конце года.

Хотя формально на сессиях мировых судей должна была ежегодно устанавливаться мера соответствия заработной платы наемных рабочих рыночной цене на хлеб, тем не менее долгие годы эта плата оставалась неподвижной \*\*\*\*. К тому же мировых судей больше всего заботило, чтобы наниматели, упаси бог, не платили работнику больше установленного. Так, в предписании мировых судей Девоншира значилось: «Все констебли должны установить имена тех хозяев и работников, которые дают

---

\* Особенно много таких «незаконных» хижин (т.е. без земельных участков) выросло на пустошах в тех районах, где преобладало пастбищное хозяйство, и в промышленных, особенно в сукнодельческих, зонах — в Динском лесу, Глостершире, Уилтшире, Сомерсетшире.

\*\* По другим данным, эта сумма равнялась только 9 ф. ст. в год.

\*\*\* Недаром, чтобы прокормить себя, должны были с детства трудиться по найму все члены семьи такого работника.

\*\*\*\* Так, в Девоншире эти расценки оставались неизменными в течение всей первой половины XVII века, в то время как цены на пшеницу возросли за этот срок втрое. В Уорикшире заработная плата наемных рабочих в 1685 г. была ниже той, которую здесь платили в 1594 г.; цены же на продукты питания за этот период выросли в 5 раз.

и берут плату выше установленной, и сообщить о них мировым судьям». К тому же расценки, таким образом установленные, регулировали только оплату рабочих, профессии которых были традиционными, т. е. унаследованными от средних веков, и хотя Яков I распространил елизаветинскую систему регулирования и на рабочих всех других профессий, т. е. новых мануфактур, их оплата оставалась официально не установленной.

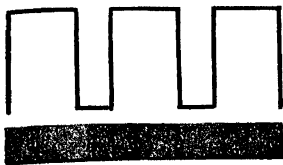
Что же в таком случае говорить о тех многих и многих тысячах бедняков, которые ввиду отсутствия каких-либо средств к существованию оказывались либо на положении нищих в родном приходе или гонимых нуждой бродяг по дорогам страны. О масштабах *пауперизма*, которым было поражено общество в предреволюционной Англии, дают представление следующие свидетельства. Так, в одном лишь приходе Сомертон (Сомерсетшир) власти насчитали 300 бедняков. В 1630 г. в этом графстве было подсчитано, что число бедняков, вынужденных жить на средства прихода, с 1610 по 1630 г. увеличилось в 3 раза. В приходе Хейдон (Эссекс) в 1625 г. даже 43 % домовладельцев жили в условиях крайней бедности. О положении же в этом приходе тех, кто был лишен собственного угла, можно только догадываться. В одном из приходов Солсбери в 1635 г. помимо официально признанных пауперов, получавших «вспомоществование по бедности»,  $\frac{1}{3}$  населения рассматривалась в качестве бедняков.

Как и следовало ожидать, пауперизм в стране резко возрастал либо в годы недородов, либо в периоды торговых кризисов, когда из-за резко сократившегося сбыта (в особенности шерстяных изделий за море) без работы и средств к существованию оставались многие тысячи надомных и наемных рабочих и их семьи. Так называемая система вспомоществования бедным, установленная актом 39-го года правления Елизаветы I (1597 г.), на практике сводилась к стремлению приходских властей под любым предлогом изгнать из прихода потенциально или фактически нищего или же «трудоустроить» здорового нищего принудительным путем на условиях нанимателя или, наконец, заключив его в работный дом.

Неудивительно, что многие пауперы предпочитали бродяжничество с его случайно перепадавшими милостынями и заработками (нередко и воровством) пребыванию в работных домах или в принудительном услужении у хозяев прихода. И это несмотря на драконовские законы против «здоровых нищих» и «упорствующих бродяг», нарушение которых влекло за собой и забивание в ко-

лодки, и публичные бичевания, и заключение в тюрьмы, а то и виселицу.

Итак, масштабы пауперизма, наблюдавшиеся в английском обществе изучаемого периода,— это наиболее зримые результаты двуединого процесса — кризиса и разложения традиционного средневекового способа хозяйствования и бурно протекавшего процесса первоначального накопления. Однако не только их. Тот факт, что интенсивность последнего намного опережала интенсивность становления капиталистических форм эксплуатации труда, чем и объясняется само наличие огромной армии пауперов,— яркое свидетельство того, в какой степени господствовавший в стране общественно-политический строй тормозил этот процесс.



## Глава IV

# Пуританизм — идеология революции

Одной из важнейших особенностей Английской революции середины XVII века являлось своеобразие идеологической драпировки ее социально-классовых и политических целей. Это была единственная революция европейского масштаба, в которой роль боевой теории восставших играла идеология Реформации в форме кальвинизма на английской почве — пуританизм. Бросающееся в глаза противоречие между глубокой религиозностью, вдруг охватившей широкие народные круги, и прежде всего так называемый средний класс, и обмирщенностью его социальной практики ввело в заблуждение не только Дэвида Юма, обвинившего пуритан в лицемерии. Видимо, именно это противоречие и сыграло немаловажную роль в том, что оценки исторической функции, выполненной пуританизмом в изучаемый период, оказались не только различными, но и зачастую взаимоисключающими.

Одни видели в нем путь к свободе и демократии, другие — путь к насилию и тирании. Одни подчеркивали консерватизм экономического учения пуританизма, значение его средневековых корней, другие видели в нем одну из предпосылок развития капитализма в Англии и последующего роста ее колониальной империи. Одни подчеркивали значение пуританизма для развития естествознания, другие считали, что пуританизм здесь ни при чем, что естествознание имело не религиозные, а светские истоки, ведущие к развитию капиталистических отношений, и в конечном счете указывали на связь его с итальянским Ренессансом. Одни видели в пуританизме источник деизма и свободомыслия, другие подчеркивали в нем фанатизм и религиозную нетерпимость.

Всем этим суждениям, столь пестрым и противоречивым, свойственна одна общая черта — в них обойдена проблема революции, т. е. *идеологическая функция пуританизма в процессе мобилизации сил революции*. Вследствие этого без ответа оставлены отправные вопросы исследования данной проблемы, а именно: 1) в какой степени и каким образом в пуританизме отразилась суть

революционной ситуации в Англии, начало формирования которой относилось к первым годам правления Якова I, и 2) почему роль политического просвещения социальных слоев, сознававших себя угнетенными господствующим режимом, выпала здесь на долю не светской, а религиозной реформационной идеологии?

Ответ на первый вопрос требует обращения к догматике кальвинизма с целью выявить ведущие черты социально-этического уклада жизни, вытекавшего из нее для приверженца протестантизма вообще и для пуританина в частности.

Известно, что Реформация не только не устранила стремление церкви во имя «заботы» о судьбе верующего в мире потустороннем опекать его жизнь в мире земном, а, наоборот, привела к замене прежнего практически малообременительного контроля верующего в католической церкви действительно систематической и жесткой регламентацией всех сторон частной и общественной жизни верующего. Поистине протестантизм заменил прежние «внешние оковы» «внутренними», внешнее и зримое благочестие — благочестием внутренним, истовым и напряженным. Он потребовал от верующего вместо эпизодических «добрых дел» превращения всей его жизни в миру в непрерывное «служение богу». Не бог существует для людей, а люди — для бога. Все их свершения приобретают смысл, только если видеть в них проявление, свидетельство божественного величия.

Для того чтобы объяснить, почему протестанты не только мирились с этой дотоле неведомой тиранией церкви, но и отстаивали ее и защищали с самоотверженностью первых христиан, обратимся к центральному догмату кальвинизма — так называемому учению о предопределении. Всю меру психологического воздействия этого учения на «новообращенных» мы сможем полностью оценить, если не упустим из виду, что их бытийные приоритеты и прижизненные идеалы обуславливались целью достижения *потустороннего блаженства*. Только в свете этой *высшей ценности* приобретает глубокий смысл тот отмечавшийся многими современниками факт, что люди, далекие от тонкостей вероучения, проявляли столь неподдельный интерес к библейским текстам и с горячностью, нередко выливавшейся в потасовки, обсуждали смысл того или иного «темного» слова Писания.

Итак, что же для современников революции 40-х годов заключалось в учении о предопределении? Оно, как известно, гласило: предвечным решением своим бог

предопределил одних людей к жизни вечной (т. е. к спасению), других — к вечной смерти. Те, кто неисповедимым и неизменным решением создателя предопределены были еще до сотворения мира к вечному блаженству, сами этого не заслужили ни верой, ни «добрыми делами» или каким-либо другим образом, — бог решил это своей «свободной волей», и смертному не дано знать, на каком основании.

Догма объясняла это «невероятным даром божественной милости» — этого абсолютного, единственного и необъяснимого источника акта избранничества. «Избранник божий» уже не может отпасть от благодати; все, что он предпринимает, он совершает во славу Божию. С другой стороны, отверженному уже никакие «добрые дела» не помогут.

Наконец, с точки зрения кальвиниста являлась непреложной истина, согласно которой для вечного блаженства предназначены лишь немногие, абсолютное же большинство — отвергнуто и осуждено.

Нетрудно заключить, что в решающем вопросе веры — о потусторонней судьбе — кальвинизм оставил человека в полном неведении и одиночестве, так как радикальнейшим образом отверг веру в спасение с помощью церкви и ее таинств. Церковь Кальвина печется не о загробной судьбе человека, она служит единственной цели — «приумножению славы божьей» на Земле.

Но если у верующего были отняты все *магические* средства спасения, и прежде всего магия так называемых церковных таинств, если ему не было оставлено никаких надежд на возможность умиловить творца, то каким образом устанавливалась та исключительная доверительность пуританина к богу при полной внутренней отчужденности от церковного служения? Иначе говоря, каким образом потрясающий, абсолютный религиозный индивидуализм был совместим с самим существованием церкви, бессильной что-либо изменить в потусторонней судьбе верующего?

В качестве указания на вступление английского абсолютизма в реакционную фазу и идеологического выражения нарастающего на этой почве недовольства так называемых средних классов его политикой пуританизм \* ведет

---

\* Опубликованная в Торонто в 1983 г. работа М. Финлейсона «Историки, пуританизм и Английская революция» привлекает внимание прежде всего острым неприятием ее автором таких общих, концептуального характера понятий, как «революция», «пуританизм» и т. п. И это под предлогом, давно, впрочем, выдвинутым неопозитивист-

свое начало с 90-х годов XVI века. В его предреволюционной истории следует различать два этапа:

1) *доктринальный* (по преимуществу — оппозиция королевской, англиканской церкви, обусловленная незавершенностью Реформации в этой стране) и 2) *политический* — слияние религиозного нонконформизма с политической оппозицией абсолютизму Стюартов. Если первый из указанных этапов дал о себе знать еще в правление Елизаветы I, то предпосылки перерастания первого во второй были заложены в самом факте складывания в стране революционной ситуации. Сама неизбежность наступления политической фазы пуританизма вытекала из переплетения церковного устройства и механизма политического властвования, столь тесного, что падение одного неизбежно влекло за собой крушение второго. Недаром Яков I пророчески произнес: «Нет епископа — нет короля, нет знати» \*. И дело заключалось не только в том, что со времени Реформации носитель английской короны являлся одновременно главой англиканской церкви, по воле которого замещались вакансии иерархов церкви — архиепископов и епископов — и толковались, в конечной инстанции, догматы вероучения, но и в том, что церковь превратилась с этих пор в институт, самым непосредственным образом поставленный на службу интересам двора.

Королевская администрация предписывала содержание воскресных проповедей, произносившихся во всех церквях страны. Церковные суды, находившиеся под началом епископов, привлекали прихожан к ответу не только за неуплату церковной десятины, но и за непосещение воскресной службы, за ересь, за «распущенность»

---

скими методологами, опасности «неореализма» — реификации (т. е. их «овеществления»), превращения их в некую историческую реальность. Действительно, поскольку это касается понятия «пуританизм» (его научное употребление восходит к концу XIX века), то современники революции середины XVII века его не знали. Они «обходились» термином «пуританин», которым, кстати, именовали весьма различные оттенки неприятия существовавшего порядка вещей, причем не только в церкви. Однако историческая наука, если она, разумеется, не желает ограничивать свои функции регистрацией частных фактов, не может и не должна отказываться от пользования общими понятиями, в частности понятием «пуританизм». Обобщение явлений действительности в понятиях не ведет к ее схематизации, а является способом ее научного познания.

\* Ход истории вскоре подтвердил правильность этого заключения: монархический строй был уничтожен в ходе революции середины XVII века (1649 г.), всего лишь три года спустя после уничтожения епископального строя национальной церкви (1646 г.).

и т. п. В целом не было такой стороны жизни прихожанина, которая не находилась бы под бдительным надзором приходского священника. Осуществлявшаяся церковью цензура печатного слова выискивала не только ересь, но и политическую крамолу. Наконец, функционировавшая под началом архиепископа так называемая Высокая комиссия являлась по сути таким же орудием королевской прерогативы, как и печально знаменитая Звездная палата. В итоге не будет преувеличением заключить, что *англиканская церковь представляла собой одно из звеньев, причем самое эффективное, бюрократической системы абсолютизма в этой стране.* По мере перерастания последней в систему сугубо реакционную только что отмеченная функция церкви становилась одним из факторов процесса формирования оппозиции двору.

Рассмотрим теперь поближе те явления исторической действительности стюартовской Англии, которые обобщенно названы пуританизмом. Почему само прозвище «пуританин» приобрело в эту пору столь одиозный характер в глазах властей предержавших? Ведь в области догматики пуритане не столь уж далеко отстояли от англикан... Основной догмат кальвинизма — учение о предопределении — являлся столь же фундаментальным в исповедании веры англиканина, как и пуританина. Однако все дело в том, что официальная королевская Реформация, установленная при Елизавете I, мало что изменила в церковном культе и вовсе не затронула церковную организацию. Именно в этой области сосредоточивались основные расхождения между пуританами и англиканами, и ее в первую очередь затрагивали требования пуритан довести Реформацию до конца.

Превращение Библии благодаря небольшому формату и доступной цене (так называемой женевской Библии) в настольную книгу верующих (причем даже скромного достатка) открыло возможность для самостоятельного толкования ее содержания каждым прихожанином, владевшим грамотой. В этом смысле непререкаемый авторитет Библии в глазах протестантов сослужил плохую службу защитникам англиканства. С одной стороны, идеалу первозданной церкви противоречило сохранение в англиканском культе убранства и ритуалов, унаследованных ею от католической обрядности (витражи, органная музыка, подчеркивание святости алтаря занавешиванием его покрывалом, стихари, коленопреклонение при причастии, как будто речь шла вместо символического о реальном присутствии «тела и крови» Христа в хлебе



и вине, а главное — преобладание молитвы над проповедью) и апеллировавших прежде всего к эмоциям верующих, и т. п. Отсюда требование пуритан изгнания из церковного обихода всего того, что напоминало культ католического «язычества» — икон и скульптур, цветных стекол и дорогостоящих алтарей, покрывал и священнических облачений, музыки, т. е. всего, что противоречило идеалу «дешевой церкви».

Однако еще более важное значение для «средних классов» — поборников этого идеала — имело требование привести и организацию и управление церковью в соответствие с раннехристианской традицией. Учение о предопределении, поставив верующего лицом к лицу с создателем и полностью освободив от власти церкви его потустороннюю судьбу, оказалось в этом смысле орудием внешнего раскрепощения верующего. Церковь больше не могла претендовать на роль посредницы между верующим и богом, поскольку все ее «чудеса» уже не могли изменить приговор небес. Но тем самым, с одной стороны, институт «священства» отныне равным образом включал как клириков, так и верующих-мирян, а с другой — отрицались основы существования иерархии в среде самих клириков. Нетрудно убедиться, что в случае реализации заложенных в кальвинизме теологических оснований церковного устройства последнее из авторитарного и иерархического должно было приобрести формы, в которых решающий голос в церкви принадлежал бы верующим-мирянам (что, разумеется, в тех условиях означало «лучшим» среди них, т. е. наиболее состоятельным и, следовательно, наиболее «уважаемым»). К этому в основном сводились организационные принципы пуританской церкви, изложенные профессором Кембриджского университета Т. Картрайтом в сочинении «Наставление в вере» и известные под названием *пресвитерианство*.

Вместо клириков, находившихся под контролем епископов, в нем содержалось требование выборности проповедников общинами верующих, управляющихся пресвитерами — старейшинами (также избранными среди «лучших»). Точно так же власть епископа должна была перейти к консисториям — советам, состоявшим из пресвитеров и проповедников. На таких же началах выборности строились областные и общенациональные синоды, собиравшиеся время от времени для решения церковных, прежде всего вероисповедных, дел.

Нетрудно убедиться, что пресвитерианское устройство церкви воплощало стремление собственнических

классов «республиканизировать» это устройство и тем самым поставить церковь под свой контроль. Вместе с тем такая церковь была далека от истинно демократической ее организации. Этим стремлениям в среде самих же пуритан еще в 80-х годах XVI века были противопоставлены организационные принципы церкви проповедника Р. Брауна, отличавшиеся значительно большим демократизмом и автономностью.

Капеллан герцога Норфокского Роберт Браун в сочинении «Об образе жизни истинных христиан» (1582 г.) убеждал: на основе учения о предопределении и «избрании» немыслимо одному предписывать веру другому. Отвергая на том же основании значение внешних форм религиозной жизни и придавая решающее значение внутренней религиозности, Браун усматривал в заранее установленной молитве «богохульство», отрицание «духа святого», печать которого лежит в устах каждого верующего; отождествляя таким образом общину верующих с церковью «избранных», Браун отвергал всякую внешнюю власть над нею иначе как по свободному и прямому волеизъявлению самой общины. Оспаривая авторитарность власти пресвитеров внутри общины, он подчеркивал, что последней должна управлять воля самих верующих, за которыми сохраняется решающий голос в ее делах.

В противовес Картрайту последователи Брауна в конце XVI — начале XVII в. выработали организационные формы церкви, известные впоследствии как индипендентство. Каждая церковная община суверенна и признает над собой только власть Христа. От других властей, как светских, так и церковных, она в вопросах веры свободна и независима. Позднейшее индипендентство — слишком широкое течение в пуританизме, чтобы сводить его к браунизму (принявшему вскоре организационные формы конгрегационализма). Конечная суть индипендентства — не только и не столько в утверждении принципа организационной независимости каждой церковной общины, сколько в отрицании насильственно навязываемых индивидууму извне форм религиозности (разумеется, в рамках христианства). Поскольку доведенное до логического конца индипендентство возводило религиозный индивидуализм в норму, постольку оно угрожало существованию организационных форм религиозного культа.

В целом в индипендентстве заключался, с одной стороны, протест против угрозы тирании пресвитеров и, с другой — стремление все же придать вере какие-то организационные формы. Очевидно, что, поскольку пурит-

тане (приверженцы пресвитерианства и индепендентства) в равной степени замахивались на епископальный строй англиканской церкви, они оказывались «опаснейшими фанатиками» в глазах королевской администрации. Иными словами, даже в случае, если пуритане оставались на почве чисто религиозного нонконформизма, их позиция неизбежно принимала политическую окраску\*.

Так, еще в 90-х годах XVI века королева Елизавета I писала своему будущему преемнику — королю шотландскому Якову VI Стюарту: «Позвольте мне предостеречь Вас: как в Вашем, так и в моем королевстве возникла секта, угрожающая опасными последствиями. Они желали бы, чтобы совсем не было королей, а только пресвитеры. Они стремятся занять наше место, отрицают наши привилегии, прикрываясь словом божьим. За этой сектой следует хорошо досматривать».

Не менее отчетливо на политическое острие пуританского нонконформизма указывал Яков I Стюарт на конференции в Гемптон-Корте в 1604 г. «Если вы хотите,— заявил он присутствовавшим на ней клирикам-пуританам,— собрания пресвитеров на шотландский манер, то оно так же согласуется с монархией, как черт с богом. Тогда Джек и Том, Вилл и Дик соберутся по своему желанию и станут поносить меня, и мой совет, и все наши дела».

Поскольку пресвитерианство, как движение низшего клира, потерпело поражение еще в конце XVI века, центр его тяжести до поры до времени переместился в среду зажиточных мирян, формально не порывавших с англиканством, но всем своим поведением в миру подчеркивавших свою обособленность от стереотипов поведения его формальных единоверцев.

Определяющее значение при этом приобрело учение о так называемом *мирском призвании*, согласно которому хотя верующий до конца дней своих остается в неведении относительно своей участи в мире ином, тем не менее «косвенные» знаки о ней он получает еще здесь, в жизни земной. В качестве таковых может служить преуспевание в мирских делах и начинаниях. Отсюда следовал вывод: чем энергичнее верующий преследует свое «мирское при-

---

\* Помимо всего прочего, поскольку епископы по сану своему заседали в парламенте в качестве членов палаты лордов, они автоматически обеспечивали короне 26 голосов, не говоря уже о том, что через них корона осуществляла значительную часть чисто административных функций на местах.

звание», удачливее ведет свое «дело», тем очевиднее «свидетельство» его «избранности». Тем самым учение о мирском призвании переносило центр тяжести искомого ответа с небес на землю. В результате его основная духовная проблема — проблема «спасения» — превращалась в проблему мирской этики, теология — в политическую экономию.

Итак, если догмат о предопределении только отражал неисповедимую стихию хозяйственной деятельности в условиях раннего капитализма, то учение о мирском призвании превращало успех в этой деятельности в знак «милосердия божия». Отсюда те «деловые» качества пуритан, которые рождали, с одной стороны, предприимчивость и расчетливость и, с другой — презрение, граничившее с жестокостью к «здоровым беднякам», как «осужденным» и «отверженным». Пуританин живет «бедно», чтобы умереть богатым, он отрешается от «меньшего блага» — мимолетной роскоши — ради достижения «большого блага» — возможности накопления. Чтобы удержать деньги как капитал, он препятствует их растворению в средствах потребления. Трудолюбие, расчетливость и скупость — его основные добродетели. Одним словом, этика пуританина противопоставляет потребляющему богатству феодала производящее богатство буржуа\*.

Важное значение в обретении пуританином уверенности в своей «избранности» к спасению приобретал так называемый момент *обращения* — пережитый им внутренний, духовный кризис, нередко весьма мучительно, тяжело протекавший. В процессе «обращения» сознание своей предшествующей «неправедности», «греховности» доходило нередко до отчаяния, сменявшегося постепенно «надеждой» и, наконец, «просветлением» — обретением уверенности в своей «святости». Однако в предшествующем этому моменту акте «самоотчета» пуританин «слышит голоса», ему являются «видения». Только через тяготы духовных «странствий», «паломничества», «испытаний» и «сомнений», в тяжелой душевной «войне христианина с дьяволом» рождался «новый человек».

Множество проповедей рисуют это «странствие» то в виде «путешествия через пустыню», то в образе «путни-

---

\* Можно согласиться с тем, что в плане хозяйственной этики пуританин мало отличался от англиканина — такова была «политическая экономия» протестантизма в целом. Главное отличие пуританина от англиканина заключалось в его позиции по отношению к истеблишменту — церковному и светскому.

ка», пробирающегося через лесную глушь, то, наконец, моряка, борющегося с морской стихией. Возьмем для примера одну проповедь Джона Даунейма, изданную под характерным названием «Война христианина». Его цель — утешить терзающихся сомнениями, уверив их в «избрании». Душа человека — это путник в чужой стране, это осажденный врагом город, это солдат, выступивший в поход. Для своего спасения она должна вести неустанную борьбу с искушениями плоти и окружающего мира. Ей нельзя устать в борьбе, ибо это означало бы возврат к духовному рабству. «Легион желаний» постоянно готов открыть «ворота» нашей души дьяволу. Мы живем в постоянной опасности погибнуть, поддавшись им. Наше спасение в постоянной бдительности. «Идите вперед, — призывал проповедник, — и выкажите мужественное сердце и серьезное желание победить».

Для того, кто сколько-нибудь знаком с английской действительностью 20—30-х годов XVII века, революционное звучание подобного рода проповедей не оставляет сомнений. Наш предводитель — Христос, заключал проповедник, он признает в нас своих солдат и вознаградит за победу.

Итак, быть «святым» для пуританина означало не бегство от жизни, а утверждение своей «святости», т. е. своей «избранности» в самой ее гуще. Человек должен быть неустанно деятельным, ибо все, что происходит вокруг, относится к нему, требует его реакции. Отсюда его готовность к испытаниям, ожидание «знамений» и его непреклонность и неустрашимость — после того как он их «получил». Вот как проповедник Томас Гудвин изображает момент своего «возрождения». «Слово надежды, оброненное в мое сердце свыше, хотя оно было сообщено кротким шепотом, отдалось в моей душе громким эхом, оно заполнило ее и овладело всеми моими способностями. Господь сказал мне: «Я прошу все твои грехи». Многие пуритане вели дневники, куда заносили все перипетии внутренней борьбы, все «сомнения» и «искушения дьявола», и в заключение — «удивительное божественное избавление».

Одно из наиболее ярких описаний душевного состояния, предшествовавшего моменту «возрождения», дано Джоном Беньяном.

После чтения пуританских книг и посещения пуританских проповедей ему стали являться «видения», он слышал «голоса», и один из них его упорно допрашивал: «Хочешь ли отринуть грех или остаться с ним и идти

в геенну огненную?» В другой раз ему вослед раздалось: «Симон! Симон! Сатана жаждет тебя иметь». Точно так же и Оливер Кромвель о годах своего «духовного странствия» впоследствии скажет: «Я жил во тьме, я ненавидел свет, я был величайшим грешником». Зато какое «просветление», какая уверенность в себе, какая неустрашимость появлялась у тех, кто, победив все «козни дьявола», осознавал себя «воином под знаменем Христа»! Какой гордостью, каким бесстрашием веет от строк, принадлежащих Джону Лильберну, в 23-летнем возрасте подвергнутому жесточайшей публичной экзекуции за распространение пуританских памфлетов! «Я оставался в боге бодрым, ибо я не опирался на собственные силы, а сражался под знаменем великого и могущественного генерала — Иисуса Христа. Его силой я вынесу свои страдания и одержу победу».

Из подобного духовного кризиса, предшествующего «обращению», пуританин выходит «обновленный», так как ему была засвидетельствована «милость божья», дано было увидеть «свет».

С этих пор пуританин — «ратник божий», он творит «волю божью». Нет таких усилий и таких жертв, которые были бы слишком велики для достижения цели, в которой для пуританина «эта воля» воплотилась. Одним словом, вера пуританина в высшей степени деятельная, сражающаяся, гордая. Она наделена мужеством и упорством во всех земных начинаниях, так как все они являлись лишь формой служения господа. Разумеется, выше был обрисован своего рода «идеальный тип» пуританина, в реальной действительности далеко не все приверженцы пуританизма в своем жизненном обиходе совпадали с ним. Тем не менее очевидно, что прежде всего ему соответствовала этика «рыцарей» так называемого первоначального накопления как в городе, так и в деревне (хотя далеко не все они являлись пуританами). В то же время распространялось влияние пуританизма — наряду с верхушечными слоями так называемых средних классов — также и в среде зажиточной верхушки ремесленных цехов в городе и среди зажиточных фригольдеров в деревне. Вместе с распространением грамотности в этой среде росло стремление к самостоятельности суждений и к поискам истины собственными силами. В целом пуританизм был более распространен в экономически более развитых графствах, в частности в сукнодельческих районах Восточной и Западной Англии, в графствах, прилегавших к столице, и, разумеется, в самом Лондоне.

Что же касается народных низов, то проповедники пуританизма для того, чтобы быть услышанными в этой среде — а их проповедь получала отзвук и в сердцах бедняков, — делали заключения, выходявшие далеко за пределы протестантской ортодоксии. Феномен превращения последней в *народно-реформационное учение* и движение низов (чьи социальные и политические устремления пугали своей «разрушительностью» респектабельных пуритан) невозможно объяснить без учета двух обстоятельств: во-первых, общественно-политической обстановки, складывавшейся в стране революционной «ситуации» и, во-вторых, распространения в этой среде практики революционного по духу своего *проповедничества*. Поскольку о первом из этих обстоятельств речь пойдет впереди, остановимся на втором.

Современные исследователи пуританизма больше не сомневаются в искренности и глубине охватившего массы религиозного энтузиазма. Однако, как уже отмечалось, лишь немногие из них различают в этой необычной, нередко доходившей до экстаза религиозности народных низов *рационально объяснимую форму социального возмущения и требования перемен*. В то же время если пуританская оппозиция \* режиму Стюартов не иссякла и в результате «массового исхода» в 30-х годах XVII века тысяч пуритан в североамериканские колонии Англии не была уничтожена обрушившимися на нее преследованиями, начиная с церковных судов и кончая «Высокой комиссией» во главе с архиепископом Лодом, а, наоборот, пустила глубокие корни, то тайна этого «чуда» заключалась в том, что пуританизм, пусть видоизмененный, и не без содействия респектабельных его приверженцев, *нашел себе прибежище в толще народа, стал его идеологией*.

Однако, для того чтобы понять, каким образом потенциально заключавшаяся в ортодоксальном кальвинизме социально-охранительная сила превратилась в 40-х годах XVII века в *энергию массового революционного движения*, присмотримся поближе к проповедничеству — этому специфическому феномену всех народно-реформационных движений XVI—XVII веков. Акцент на проповедничество — *интеллектуальный* элемент протестантизма.

---

\* Правомерность именовать совершенно разнородные элементы этой оппозиции термином «пуритане» подтверждается практикой столь широкого его словоупотребления в официальной терминологии правительственных реляций этого времени.

ма в противовес *сакральному* и литургическому элементам католицизма — характерен для реформационных движений в целом. Протестантская церковь скорее напоминает аудиторию, чем святилище и молельню. Проповедь в той или иной форме — но неизбежно — затрагивает волнующие слушателей проблемы современности и тем самым как бы актуализирует притчи о событиях прошлых дней. Именно в этом и поэтому иерархи церкви усматривали причину нежелательности распространения проповедничества и предпочтительности молитв. В глазах церковных властей проповедничество порождало схизму и богохульство, молитва же — согласие и благочестие. Опасения относительно содержания проповедей были столь велики, что специальные инструкции предписывали проповедникам строго придерживаться содержания определенных текстов, а в 1626 г. писать и проповедовать по спорным вопросам веры было категорически запрещено.

Однако, учитывая, что в 40 % всех приходов (около 4 тыс.) церковная десятина и патронат, т. е. право представительства кандидата на церковный приход, принадлежали светским лицам — так называемым импроприаторам (вследствие чего многие приходы либо вообще были лишены пастора \*, либо ввиду ничтожности выделяемого для него содержания могли пользоваться услугами мало подготовленных для этого людей), проблема заполнения вакансий в приходах была крайне острой. Многие ленд-лорды и городские корпорации содержали параллельные с приходами официальной церкви проповеднические кафедры под видом так называемых лекторств, на которые приглашались хорошо подготовленные и известные своей приверженностью пуританизму проповедники («лекторы»). Такие лекторства, к примеру, имелись в 74 из 201 так называемых парламентских местечек (т. е. поселений, пользовавшихся правом посылать депутатов в парламент). Опасность, заключавшаяся для властей предержавших в распространении столь «самодеятельного» института лекторов, функционировавшего вне контроля церковной иерархии, хорошо сознавалась ими. Архиепископ Шелдон, имея в виду период, предшествовавший революции, заметил: «Ничто в такой степени не повредило положению покойного короля (т. е. Карла I), как доверие, которым пользовались оппозиционно настроенные лекто-

---

\* На 9244 прихода в 1603 г. приходилось только 3804 официально допущенных клирика.



ры во всех корпорациях» \*. Наконец, помимо регулярно функционировавших лекторств по городам и весям бродили так называемые ремесленные проповедники, самозванные и «недозволенные». Они собирали свою аудиторию, состоявшую из близких им по статусу людей, в тавернах, на рыночных площадях, на перекрестках дорог, в частных домах.

К началу 30-х годов XVII века Англия покрылась густой сетью полуполюгальных и нелегальных церковных собраний, игравших роль своего рода народных «просветительных» клубов. Об их посетителях можно судить по рассказам проповедника тех лет Генри Смита. Среди своих постоянных слушателей он называет бакалейщика, слесаря, кузнеца, портных, седельщиков и т. п. Бедные, простые люди, никогда раньше не отличавшиеся внутренней религиозностью, проявляли жадный интерес к таким, казалось бы, абстрактным вещам, как «предопределение», «оправдание», «обращение». Прослушав очередную проповедь, они долго не расходились по домам, ведя беседы; нередко завязывались жаркие споры вокруг услышанного. От другого проповедника — Юлиуса Херринга — мы узнаем, что на его проповеди стекались люди из 20 окрестных деревень и местечек. Они приходили рано утром и не расходились допоздна. На проповеди Сэмюэля Кларка собиралась аудитория в радиусе 7 миль — стар и млад, мужчины и женщины, летом и зимой.

Очевидно, что эта вдруг нахлынувшая разом и захватившая народные низы волна благочестия содержала нечто весьма близкое, касавшееся их жизни, до глубины волновавшее их, если оно было столь искренним и столь внутренне напряженным. Это был энтузиазм людей, которым новоявленные пророки возвестили от имени господа, что время перемен в их судьбе близко. Однако, чтобы зажечь подобную надежду на скорое избавление, проповедникам приходилось значительно отступать от кальвинистской ортодоксии. В самом деле, догмат о «предопределении», равно как и учение о «мирском призвании» в интерпретации строгих кальвинистов, указывал на то, что «избранными» являются отнюдь не многие и тем более не бедняки. Естественно, что, обращаясь к аудитории, состоявшей главным образом из них, проповедники вместо того, чтобы сеять сомнения относительно «избра-

---

\* По мнению епископа Хэкета, Гуль был первым среди городов, отказавших в подчинении королю, по той причине, что он был «испорчен» лекторами.

ния» своих слушателей, брали на себя более благодарную задачу — укрепить в них уверенность в своем «спасении». В конечном счете, учили они, дорога к спасению открыта для всех, кто желает идти по ней.

Иными словами, потусторонняя судьба верующего была вручена ему самому. Известный проповедник Джон Престон в проповеди «Новое соглашение», изданной в 1629 г. и многократно переиздававшейся в последующие годы, поучал: чтобы спастись, достаточно уверовать в свое спасение. Таким образом, «спасение» переставало быть загадкой для желающих спастись. И в этом заключался очевидный отход от ортодоксии кальвинизма. Точно так же, убеждая слушателей, не без труда справлявшихся с чтением Библии, в том, что «достоверное слово божье» доступно именно им, а не «мудрствующим» ученым, народные проповедники, независимо от того, желали ли они этого или нет, немало содействовали распространению революционного по своему духу сектантства. Так, в 1639 г. проповедник Сэмюэль Хау публикует памфлет под следующим характерным названием: «О достаточности духовного просветления, или Трактат, стремящийся доказать, что человеческая наука бесполезна для духовного восприятия слова божия». Более того, убеждал он, ученость — помеха духу. В своем сердце верующий знает больше об Иисусе Христе, чем все доктора университетов. Ученые извратили Священное писание, так как всегда лишь стремились доказать то, что им было угодно, и вовсе не заботились об открытии истины. Совершенно очевидно, что распространение подобных взглядов грозило основам всякой церкви как общенационального и тем более принудительного института. Ибо если каждый ремесленник и пахарь становится не только полноправным, но и единственно угодным господу толкователем Библии, то в делах веры больше не остается места безусловным авторитетам и беспелляционным судьям. В конечном счете все, что касается совести, становится мнением и универсальная принудительная церковь теряет божественную санкцию.

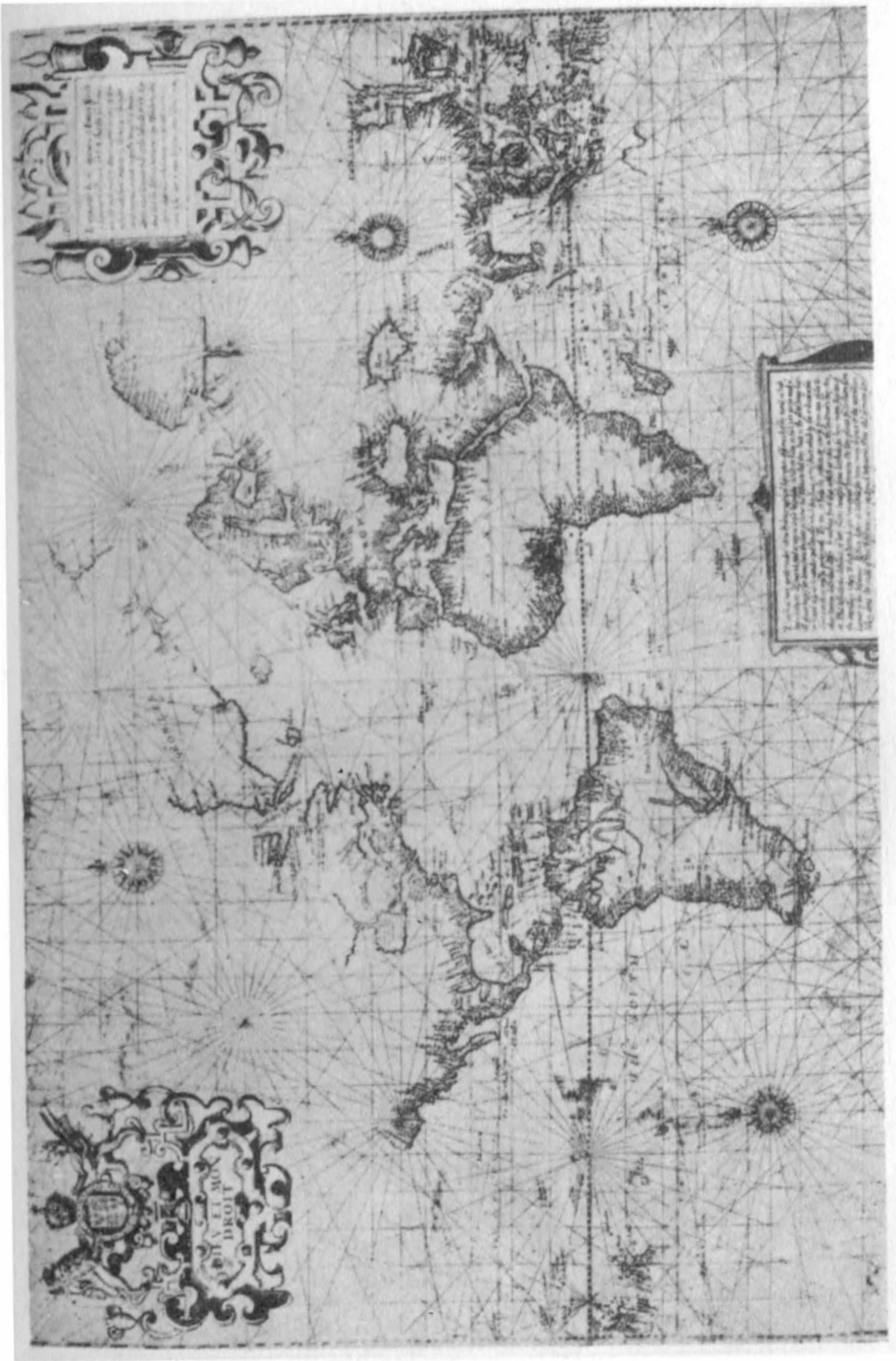
Неудивительно, что поиски «своей», «истинной веры» толкали многих слушателей подобных проповедей из конгрегации в конгрегацию и из секты в секту. Отсюда расцвет столь пугавшего пресвитериан религиозного индипендентства, ставшего из тайного явным с началом революции 40-х годов.

Сектантство 30—40-х годов было живым примером выработки народной идеологии революции, отражавшей

реальные устремления масс к общественному перевороту, хотя и выраженной в библейских образах и притчах. О его расцвете в этот период свидетельствует сама многочисленность сект, «вдруг» всплывших на поверхность в годы революции, — баптисты, социнианцы, фамилисты, сикеры, милленарии, рантеры и множество других. Хотя эти секты возникли на почве протестантской Реформации, они были враждебны рациональной теологии, поскольку основывались главным образом на мистических учениях. Место кальвинистского учения о предопределении в их проповеди заняло учение о всеобщем «искуплении» и «оправдании». Мистическое представление о присутствии Христа в душе каждого верующего, об универсальном «божественном элементе» в человеческой природе невозможно было совместить с «осуждением» большей части человечества. Поэтому в учениях народных сект «гнев господень» уступил место проповеди беспредельной любви «господа к детям своим»; «дети греха» стали «детьми света». Место «спасенных» и «отверженных» заняли «любящие бога» и «ненавидящие его». Более того, в деле спасения явное предпочтение отдавалось бедняку, так как только его душа обращена к богу, открыта «благодати». Богатые любят не бога, а свое богатство, славу и почет, они глухи к его голосу.

Мы здесь не можем входить в подробное описание вероучений каждой из религиозных сект в отдельности. Общие же для их обихода черты сводились к отвержению официальной церкви и содержащихся за счет десятины клириков как «служителей дьявола», замене предписанной службы свободной и «боговдохновенной» проповедью, с которой по желанию мог выступить каждый из «братьев» (или даже «сестер»). Здесь господствовала идея «живой Библии», религия «пророчества», с одной стороны, как будто сугубо индивидуальная для каждого верующего, но, с другой — удивительно созвучная тому, чего доискивались в ней все «братья» по секте. Весьма распространенными являлись в сектах хилиастические мечтания о скором пришествии избавителя — Христа и наступлении «тысячелетнего царства» его правления на Земле. Они составляли основу вероучения секты так называемых милленариев — «людей пятой монархии». На этой почве в гуще народа появилось множество пророков. Наиболее радикальные секты проповедовали общность имущества, к примеру фамилисты и анабаптисты, рантеры. Из уст в уста передавались «чудесные видения» и «голоса», «знамения». По «зову свыше» многие оставля-

Карта мира. Конец XVI в.

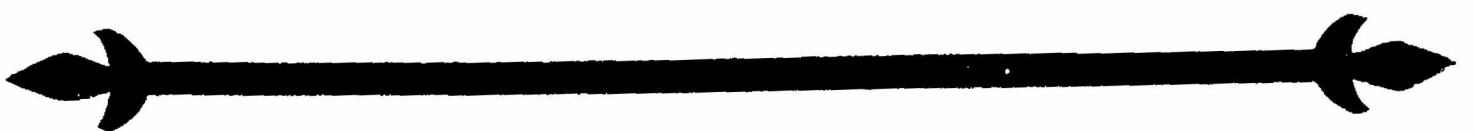




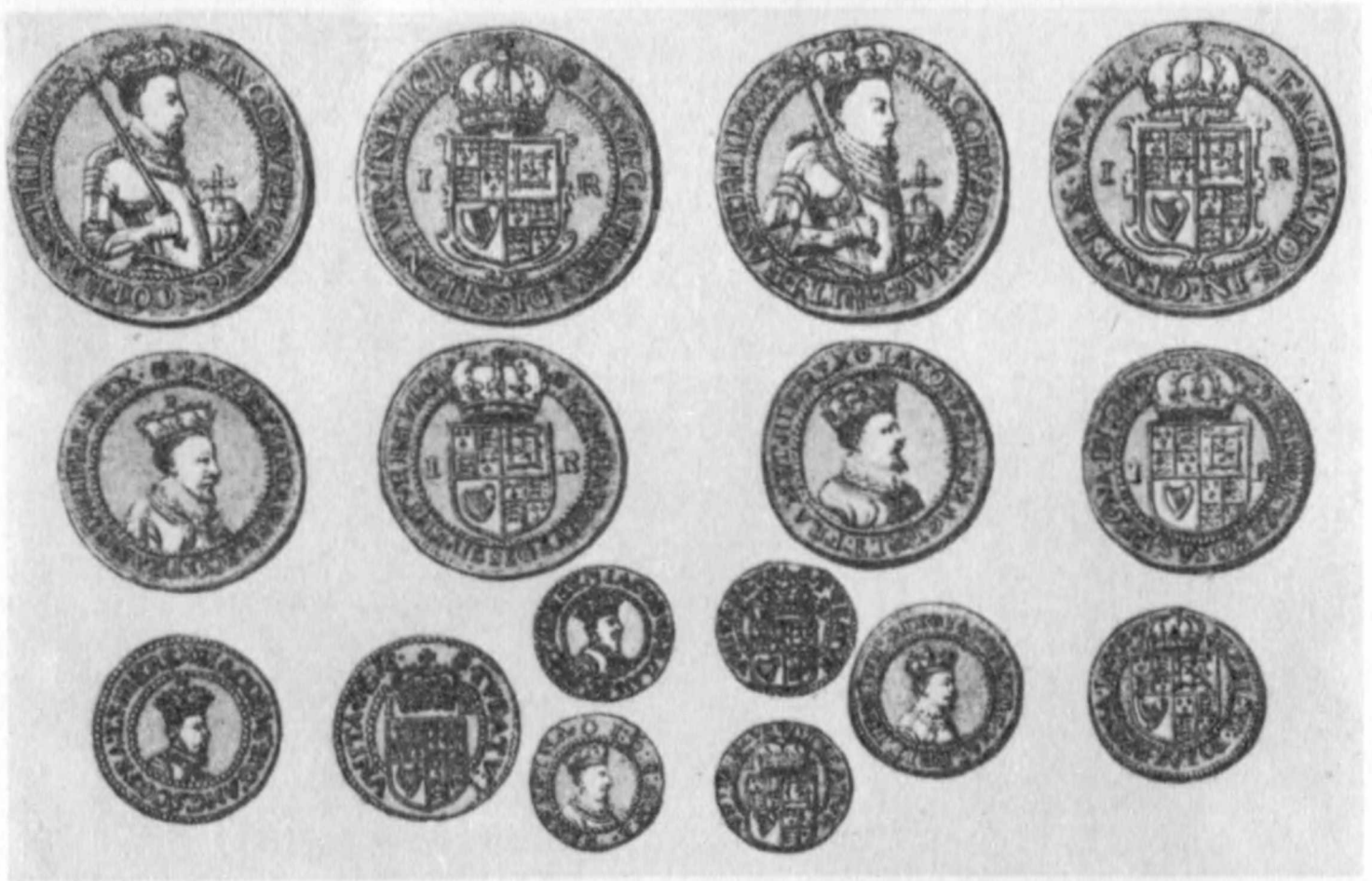
*Th'almir'd Emperesse th'ough the world applauded,  
For supreme civill raigne's Imitation,  
Whose Scepters rule knowes loud'st voyc of trumpet soundeth,  
Unto the eares of every forraigne Nation,  
Cannopie d'cruite, potentfull, Angells c'onges  
To be: Immortall praise sweete Science singes.*



Король Яков I Стюарт



**Монеты времени Якова I  
Стюарта**



**Войны и военные упражнения.  
Начало XVII в.**

Lay downe yo<sup>r</sup> Pike.



How he must lay downe the Pike on the ground at his right foot, that is, he must bend to the same side, that the Pike may fall the more freely without daunger



How if he will charge he shall hold it well in the Right hand, his arme being strecht out, setting his left elbowe fast against his hippe

Put v<sup>p</sup> yo<sup>r</sup> sword.



How in sheathing his sword with the right hand he must beare the Buckler backward on his body that he may do it without any impe-  
dimenc

Gard yo<sup>r</sup> selfe

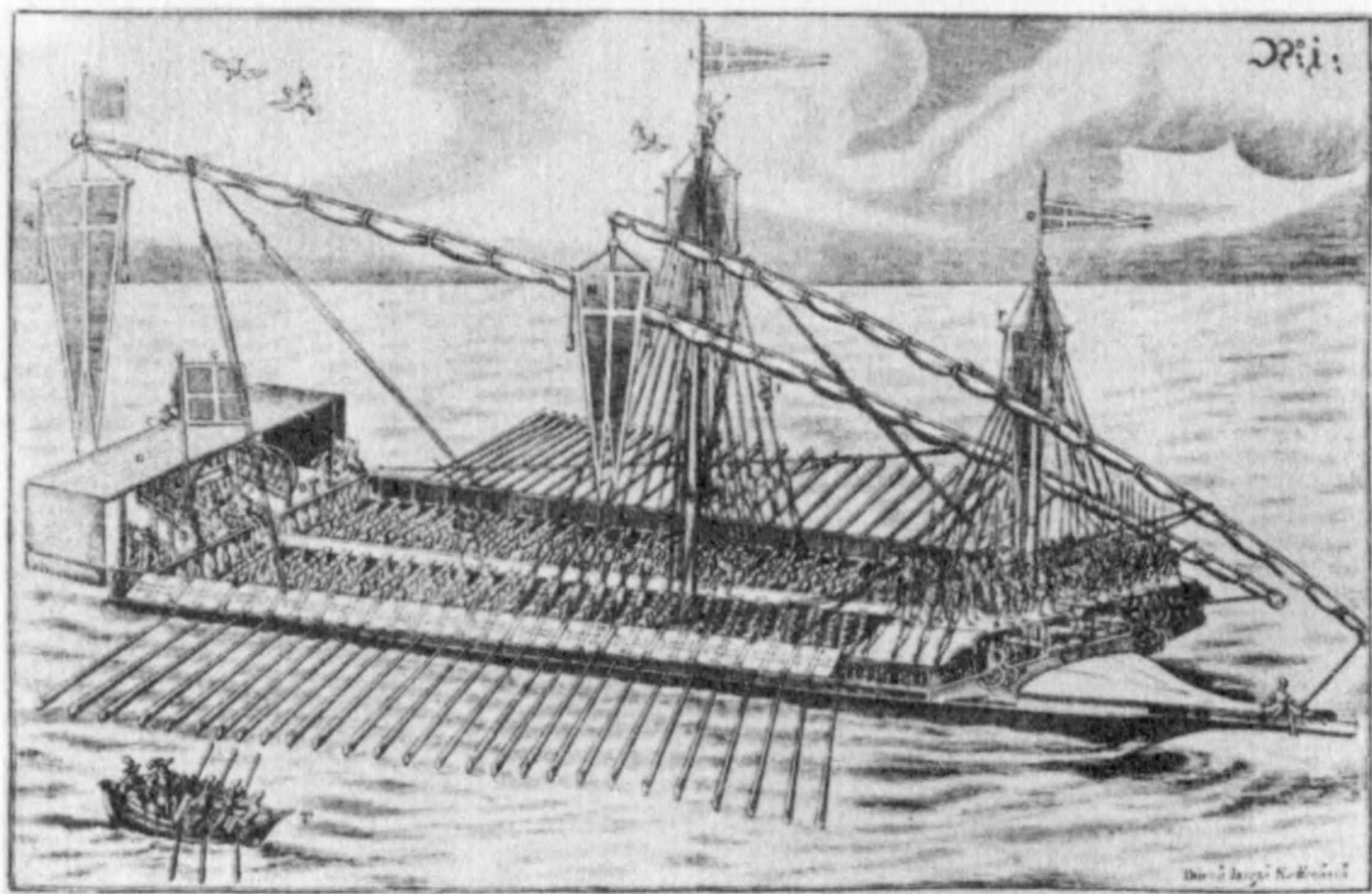
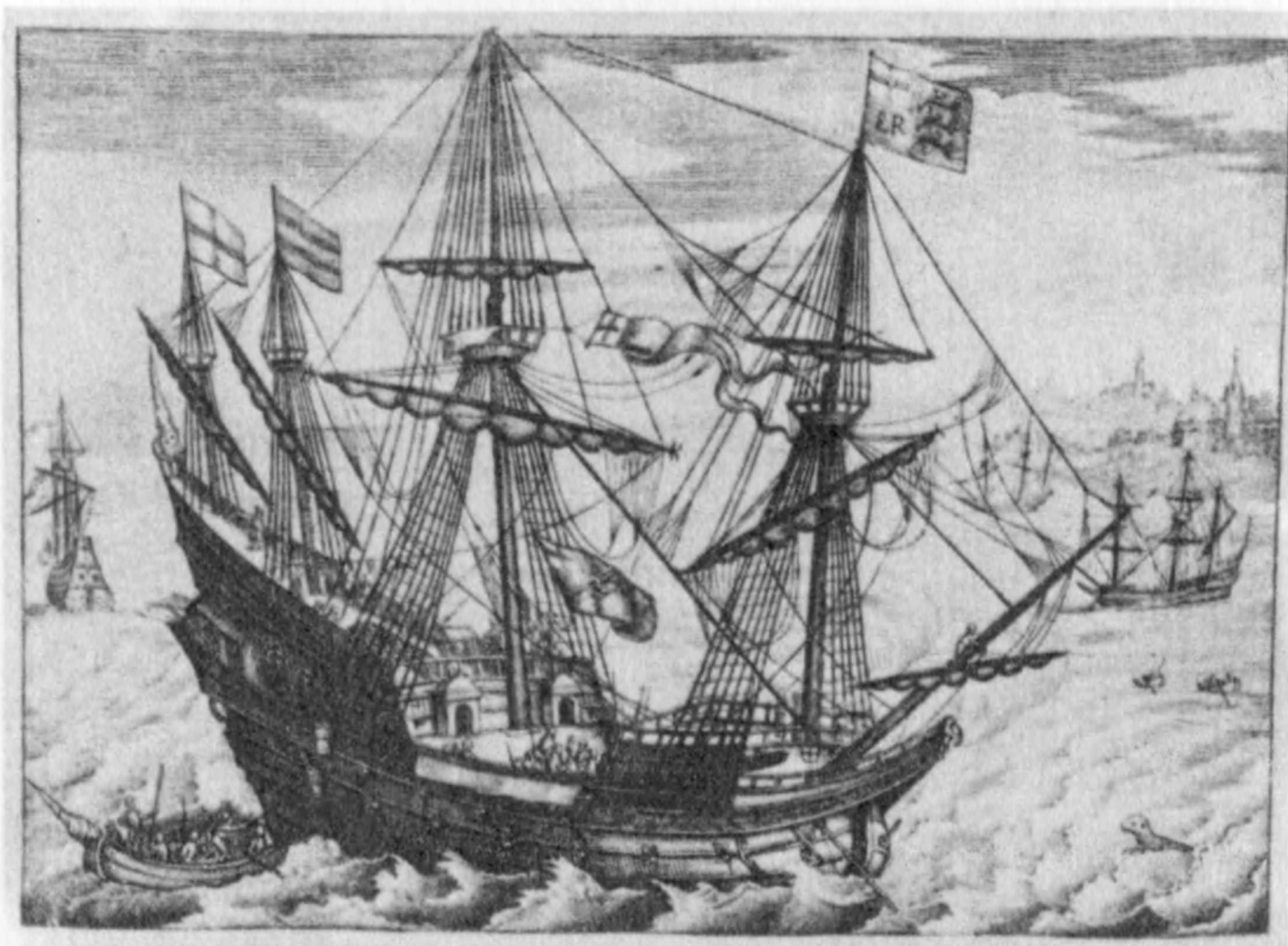


How to gard himselfe well, he must hold his Target before him against his left knee and shoulder firme to beare of the stroke or downe right blow and on the right hippe susteine himselfe with the hilt of the sword, till he may see

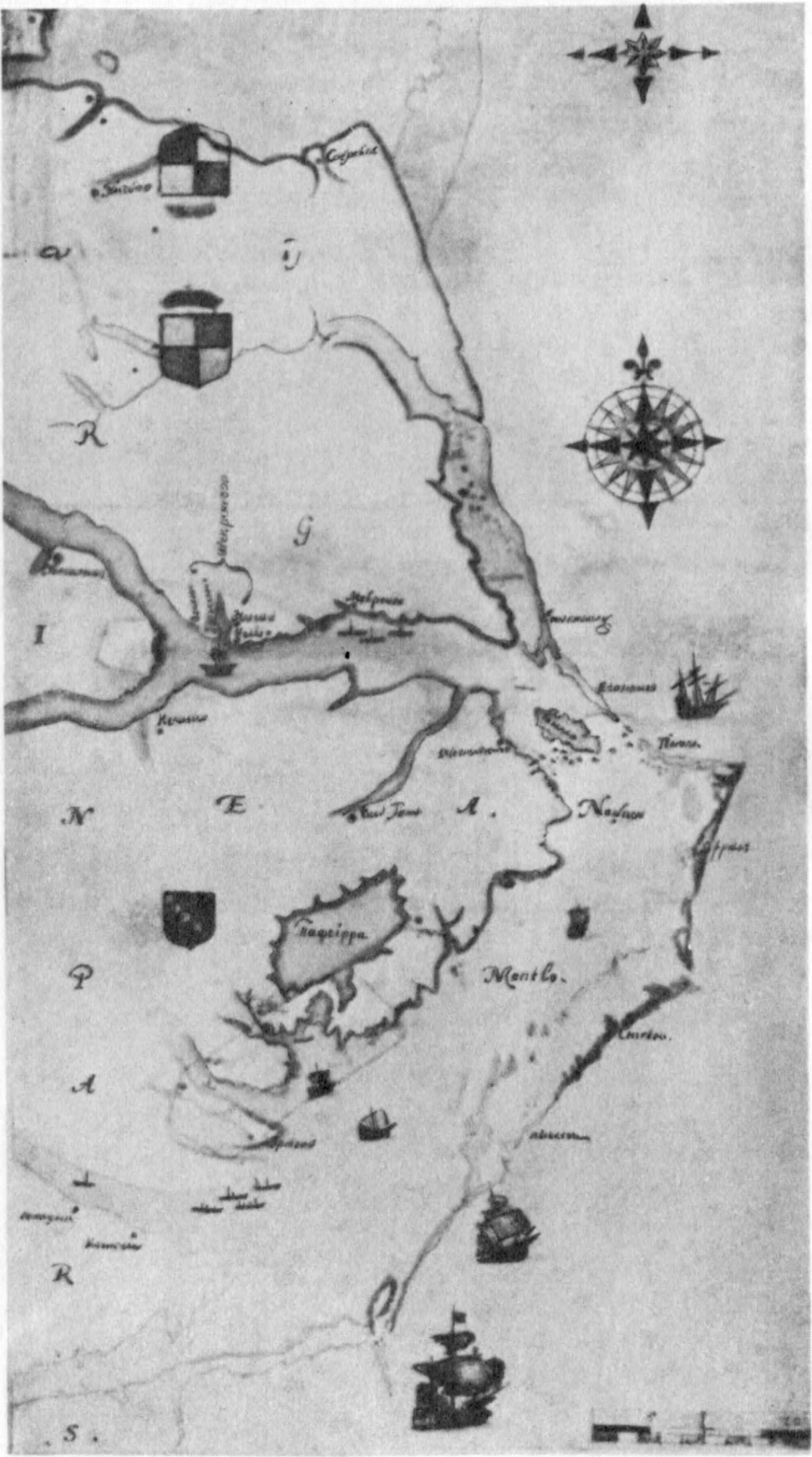
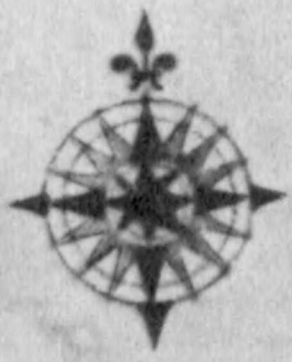


Военный корабль. Конец XVI в.

Вёсельный военный корабль.  
Конец XVI в.







Santiva

Cajalut

Q

G

R

I

N

E

A

Naxip

P

Naxippa

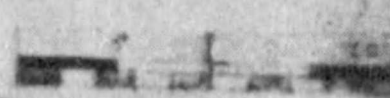
Mantlo

A

Curio

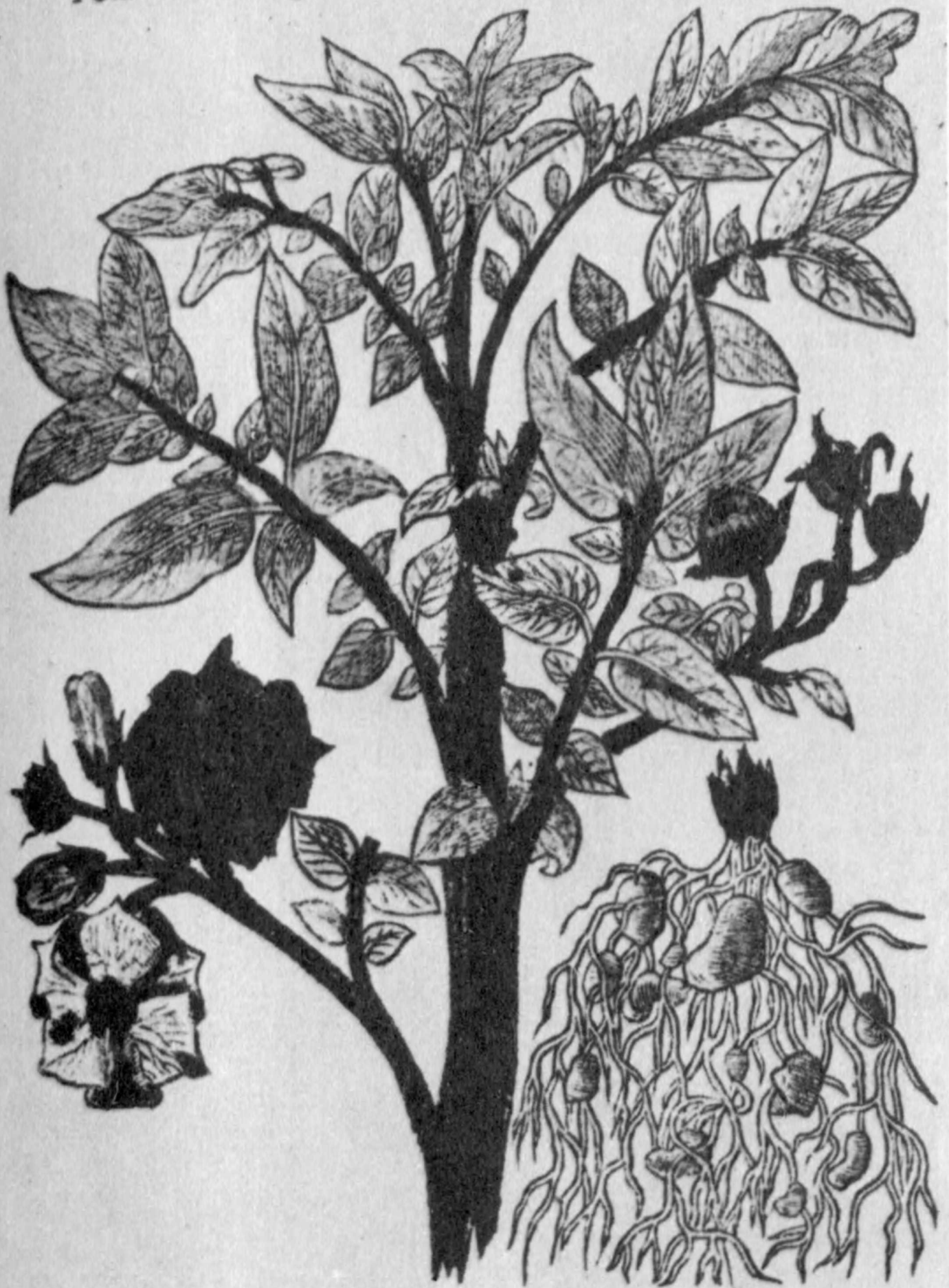
R

S



Of Potatoes of Virginia. C

*Battata Virginiana* sive *Virginianorum*, & Pappus.  
Potatoes of Virginia.



◁  
Карта английской колонии  
Вирджиния. Начало XVII в.

Сэр Уолтер Рэлли



▷  
Английский философ и государственный деятель **Фрэнсис Бэкон**



QVOD FELIXTER VORTAT REIP: LITERARIE  
 V.C. FRAN: DE VERVMQ: PHILOSOPH: LIBERTATIS  
 ASSERTOR IVDAIC: SCIENTIARVM REPARATOR FELIX  
 ACVNDIS MENTISQ: MAGNVS ARBITER INCVITIS  
 ALIC: TERRARVM ORBIS ACAD: OXON: CANTAB: AC IN  
 SVAM INSTAVR: VOTO SUSCEPTO VTVVS DECERNEBAT  
 OBSTIT VNON: APRIL: MD:XC: KAROL: I.  
 PP AVG: cl: lxxc: xxvi.

Подпись Уильяма Шекспира  
под тремя страницами его заве-  
щания 1616 г.

Handwritten text in cursive script, likely a fragment of a document, showing the beginning of a signature or name.

defalt A sum y<sup>e</sup> the go same  
After this & above  
one after another to go  
with Statute

at the end of the world  
rest above written  
By me William Shakespear

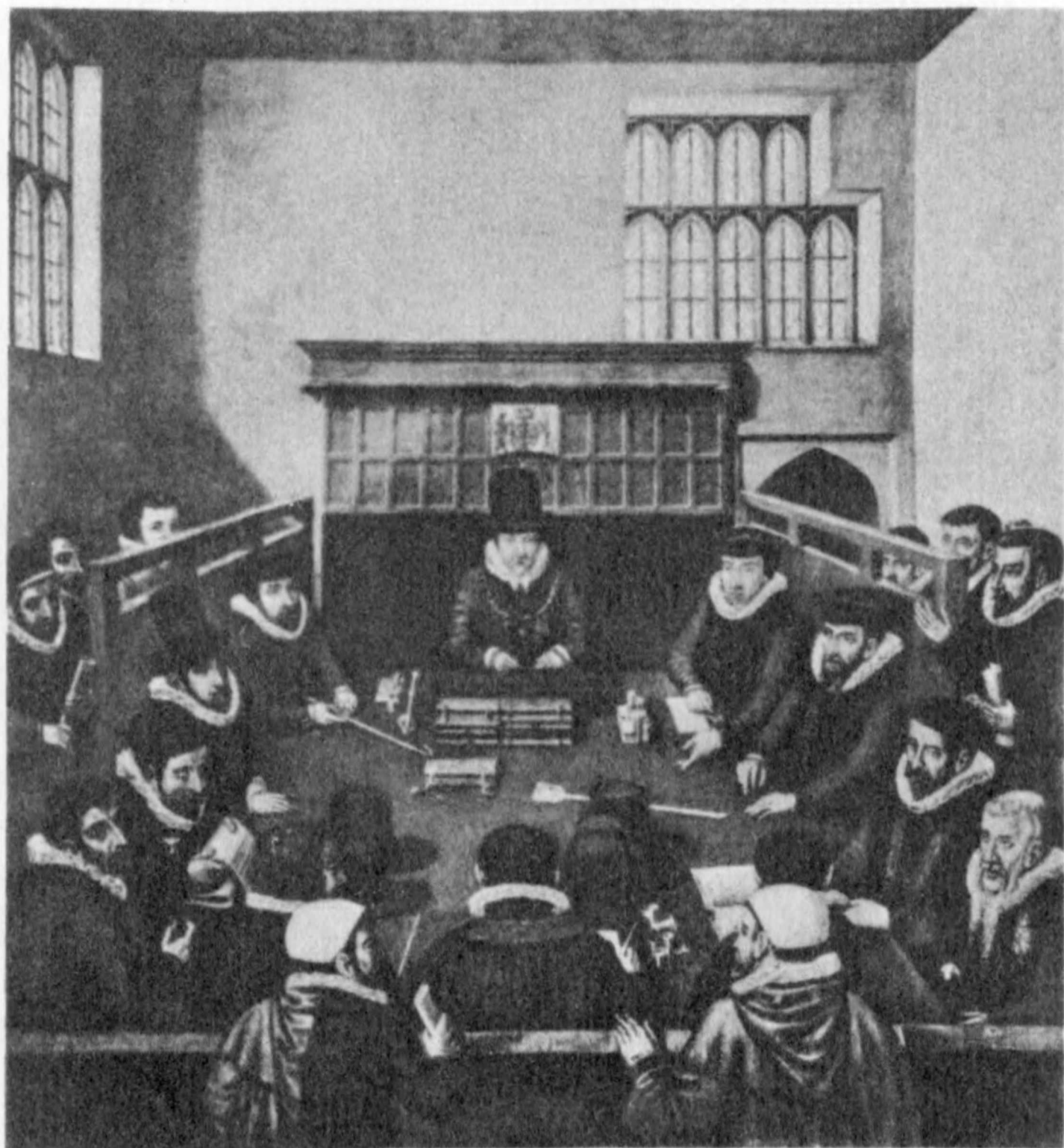


Сэр Эдуард Кок





**Заседание палаты по делам опеки и отчуждений. Конец XVI в.**

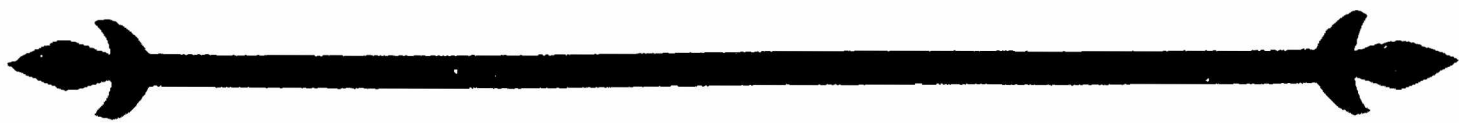
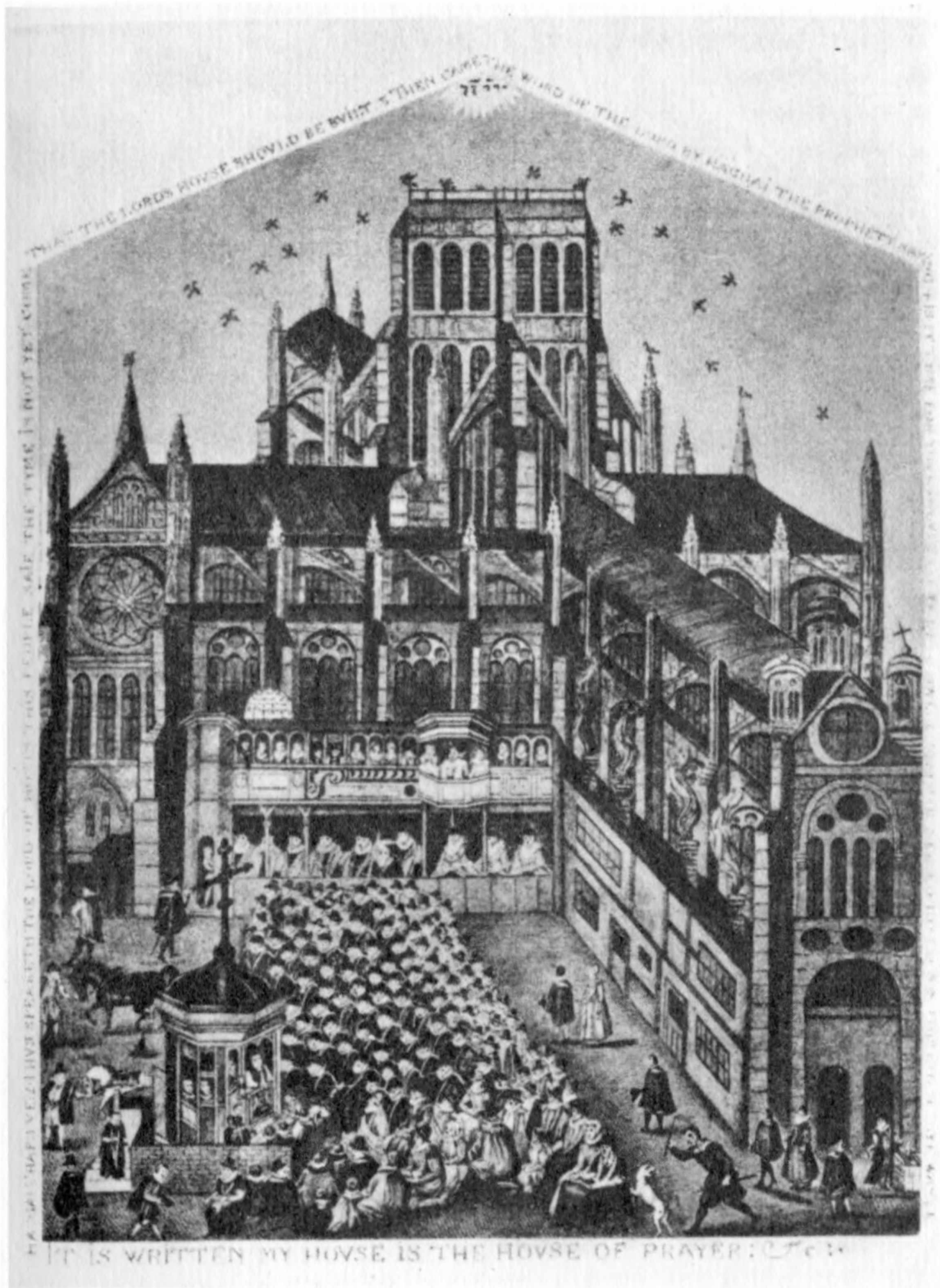


THE COURT OF WARDS AND LIVERIES ABOUT 1585

From the painting in the Collection of the  
DUKE OF RICHMOND AND GORDON



Проповедь у креста св. Павла.  
Начало XVII в.



Король Карл I Стюарт



ли свои дома, бросали привычные занятия, отправлялись в странствия. Предчувствия близости «великих событий» принимали временами в народных низах формы не только словесных фантазий, но и экстравагантного поведения. Они, разумеется, определялись уровнем самосознания этих масс. Однако за всем этим скрывался их протест против вековой задавленности, социальной и духовной, реакция на лицемерие и ханжество «прирожденных господ».

Уже в 1641 г. Джон Арчер в памфлете «Личное правление Христа на Земле» писал: «Кто те святые, которые призваны управлять, когда придет господь, если не бедные. Глас Иисуса Христа первым раздастся из уст толпы простых людей. Бог пользуется простыми людьми, чтобы провозгласить грядущее царство свое. Когда Христос впервые явился, Евангелие получили не мудрые, не знатные, не богатые, а только бедные... бедные люди, не унывайте, ибо бог намерен воспользоваться вами в великом деле проповеди царства его сына. Возвысьте свой голос». И разве не те же идеи проповедовал юноша Лильберн, стоя забитый в колодки у позорного столба: «Бог избрал не очень богатых, не очень мудрых, а бедных, низких и презренных мужчин и женщин, только они получили Евангелие и заслужили блаженство на земле и спасение после смерти». «Кто я, — допытывался он, — юноша, а не ученый, мальчик, никогда не изучавший философию, логику, риторику, никогда и в глаза не видевший университета, не имеющий и понятия о латыни, греческом или древнееврейском языке», тем не менее, продолжал он, у него все преимущества перед учеными докторами всего мира, в нем больше благочестия, чем во всех епископах Англии.

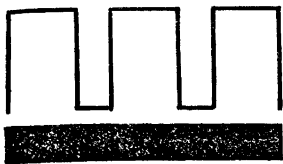
✓ В памфлете Ричарда Картера, озаглавленном «Схизматик обесчещенный», сообщалось: «Вместо ортодоксальных богословов они насаждают всякого рода ремесленников — сапожников, портных, мясников, перчаточников, чья проповедь не что иное, как воронье карканье и болтовня... эти проповедующие ремесленники уверяют, что они более глубокие вероучители, нежели «ученые проповедники»». В насмешливых тонах он описывает экстаз этих проповедующих ремесленников, которые способны свести с ума несчастных слушателей. Процесс духовного пробуждения народных низов был столь всеобщим, что в стороне от него не остались и женщины.

Уже в годы гражданской войны в ходе одного молитвенного собрания поднялась простая женщина. Снача-

ла она сказала: «Пусть говорит тот, у кого имеются слова убеждения». Потом, при общем молчании присутствующих, она продолжала: «Теперь настало время, когда исполняется обещанное Богом — «волью дух свой в служанок, и они станут пророчествовать»». О женщинах-проповедницах сообщалось из графств Мидлсекс, Кент, Кембриджшир и др. Такова вкратце была предыстория духовного возрождения народных низов, призванных составить боевую силу великой социальной революции середины XVII века.

В целом пуританизм, в особенности в его расплывчатых версиях, доставил социально разнородной оппозиции абсолютизму не только идейное оружие, но и руководство и формы организации как обширных слоев крупных и средних собственников, так и народных низов, сознание которых питалось, с одной стороны, традициями лоллардизма, а с другой — сектантством, перенесенным в Англию прежде всего из Голландии. Проповедь модифицированного в интересах широких масс кальвинизма пробуждала в этой среде сознание достоинства и общественной значимости каждой человеческой личности независимо от ее сословного статуса, равно как и сознание того, что существующий сословный строй лишен божественной санкции. Более того, эта проповедь лишала ореола святости и особу самого короля, чье высокое положение само по себе значило перед престолом господа не больше, чем положение последнего королевского подданного. С этой точки зрения учение монархомахов XVI века Джона Нокса и Джона Понета являлось лишь готовой формой того сознания, которое только пробивалось в толще народа в канун революции.

Итак, хотя пуританизм как религиозное течение реформационного толка возник задолго до того, как в стране сложилась революционная ситуация, он в 20—30-х годах XVII века превратился в идеологию широкой антиабсолютистской оппозиции. Только в связи с этой ситуацией наиболее важным следствием этого движения явилось распространение в широких слоях общества сознания настоящей необходимости перемен как в церкви, так и в государстве.



## Глава V

# Английский абсолютизм при первых Стюартах

### Пролог революции 40-х годов XVII века

Проблема абсолютизма первых Стюартов привлекает в последнее время пристальное внимание историографии. И это неудивительно: в ней заключена «тайна» превращения времени правления Якова I и его преемника Карла I в пролог революции. Вместе с тем для раскрытия этой проблемы вовсе не требуется, как полагает Д. Илтон \*, «читать историю революции назад», напротив, историю правления этих монархов следует «читать вперед». Продуктивность такого чтения требует, однако, соблюдения двух условий: 1) умения за извивами политики двора и парламента видеть столкновение интересов больших общественных групп и 2) умения при анализе событий «текущего настоящего» не терять из виду сцепления времен — прошедшего и будущего.

Новейшая англоязычная историография в освещении данной проблемы чрезмерно большое внимание уделяет фактору, явно второстепенному, подчеркивая «специфические черты» характера первых Стюартов, но упуская из виду, что кризис системы абсолютизма давал о себе знать уже в последние годы правления «великой королевы» Елизаветы I Тюдор. Король Шотландии Яков V вступил на английский престол в 1603 г. под именем Якова I. Он неплохо усвоил абстрактную теорию абсолютной монархии, но при этом оказался абсолютно *неспособным понять специфику исторических условий Англии, в которых ему предстояло эту теорию реализовать*, — такова поверхность вещей. Однако при более глубоком анализе оказывается, что поразительная «негибкость» Якова I, равно как и его преемника Карла I, была не только и не столько субъективного, сколько объективного свойства. В самом деле, английский абсолютизм, вступив в *нисходящую* фазу кризиса и упадка, неизбежно все теснее «привязывал» свою внутреннюю и внешнюю политику к интересам

\* См. главу I.

весьма узкого слоя придворной и частично провинциальной знати, составлявшего в новых условиях его основную социальную опору. Подобный крен в политике абсолютизма — прямой результат обострившихся в обществе того времени социальных противоречий. Дело в том, что новые «средние классы» — денежные воротилы, предприимчивое купечество в городах и обуржуазившиеся джентри в деревне к этому времени настолько материально окрепли объективно и выросли в сознании своей силы и специфики своих интересов субъективно, что продолжение прежней (тюдоровской) политики «покровительства» по отношению к ним сделалось для них фактором сковывающим и все более угнетающим, а для Стюартов — политически невозможным, ибо для абсолютизма это было бы равносильно отказу от собственной, т. е. феодальной, природы. Вторым действовавшим в том же направлении фактором являлось резкое сужение социальной базы абсолютизма в среде самого дворянства, поскольку «новое дворянство» все решительнее смыкалось политически с позицией буржуазии. В результате резко сузился для первых Стюартов диапазон возможностей лавировать между противоречивыми интересами дворянства и буржуазии, сталкивая их между собой, чередуя «уступки» и «проявления твердости» и в целом оставаясь «над битвой».

Иными словами, особенно бросающиеся в глаза факты «политической слепоты», «негибкости», «близорукости» и прочих субъективных черт, характеризующих правление первых Стюартов, удивительно совпали с исчезновением объективных условий, которые поддерживали бы в стране политический климат, свойственный эпохе Тюдоров. Тем самым того, что с легкостью удавалось Тюдорам, последним Стюартам уже приходилось добиваться с трудом и чаще всего в нарушение неписаной конституции.

Наконец, английский парламент — сословно-представительный орган собственнических классов страны \* —

---

\* Подавляющее большинство английского народа, поскольку речь шла о праве участвовать в парламентских выборах, не относилось к числу «свободных». Напомним, что сэр Томас Смес включал в этот разряд поденщиков, бедных хозяев, торговцев или лавочников, лишенных свободной земли, копигольдеров и всех ремесленников: «...они не обладают ни голосом, ни властью в нашем государстве, и их не принимают в расчет, за исключением того, что ими только следует управлять». Таким образом, и публичная свобода рассматривалась в качестве привилегии прежде всего обладателей земельной собственности определенной юридической категории (фригольд) и определенного размера (с годо-

в своих отношениях с двором первых Стюартов, в своем «политическом поведении» отразил новое соотношение сил в объеме и структуре — собственности отдельных классов, представленных в палате лордов, с одной стороны, и в палате общин — с другой. Сдвиг баланса собственности в пользу новых средних классов не мог не сказаться в форме все более настойчивых притязаний последних на голос в определении внутренней и внешней политики двора. Очевидно, что степень «строптивости» парламента, точнее, палаты общин находилась в прямой связи с резким сужением спектра общественных интересов, представленных в политике первых Стюартов.

Как уже отмечалось, первые признаки зреющей в парламенте оппозиции короне появились еще в последние годы правления Елизаветы I. В полный голос эта оппозиция заявила о себе уже в первом парламенте ее преемника — Якова I (1604 г.), где предметом обсуждения оказалась стержневая проблема конституции — о границах прерогативы, т. е. исключительных прав короны, и привилегиях парламента (в противовес абсолютистским притязаниям Якова I, развитым в его трактате «Истинный закон свободных монархий»). Яков I был склонен рассматривать парламента лишь как подсобный институт, возникший и функционирующий по милости короля, обладающего абсолютной властью божественного происхождения. Ответом на эти притязания явилась «Апология палаты общин» — документ, составленный палатой общин к «сведению» короля-чужестранца, весьма недвусмысленно утверждавший, что король Англии не является ни абсолютным, ни независимым от парламента главой государства, конституционное устройство которого основано на признании парламента верховным органом страны во главе с королем, но отнюдь не одного короля, действующего независимо от парламента. Решительно отвергая сам принцип божественности королевской власти, палата общин подчеркивала, что власть смертного короля не является ни божественной, ни единоличной.

Наконец, в противовес склонности Якова I рассматривать права и вольности общин, олицетворяемые привилегиями парламента в качестве «дарованной» и «временной

---

вым доходом 40 шилл.). В результате ею обладало лишь абсолютное меньшинство английского народа — фригольдеры в деревне и так называемые фримены в городах. По сути палата общин была по своему составу однородно дворянской, ибо в подавляющем большинстве случаев и города были представлены джентри.



уступки» со стороны короля, ограничившей действие этих прав сроком заседаний каждого данного парламента, «Апология», напротив, рассматривала их в качестве исконного, изначального своего права, подтвержденного «Великой хартией вольностей» и другими статутами королевства.

Как показала вся последующая история парламентав предреволюционной эпохи, начатый в 1604 г. в первом парламенте Якова I спор об объеме полномочий короля, принадлежавших ему в силу обладания английской короной, был в своей основе спором о границах прав короля на имущество подданных. В этом споре отражалось стремление «новых средних классов» оградить свою наполнившуюся буржуазным содержанием собственность от фискального ее разграбления посредством королевских произвольных, т. е. собираемых без разрешения парламента, поборов.

Экономическая программа указанных классов, сформулированная составителями «Апологии палаты общин», может быть вкратце охарактеризована следующим образом: *свободное, неограниченное обращение собственности подданных, огражденной привилегиями парламента от фискальных притязаний короны.*

С точки зрения дворянства, речь при этом шла об отмене так называемого рыцарского держания, дававшего право королю как феодальному сюзерену не только требовать от держателей земли на этом праве определенных повинностей, во многом давно изживших себя, но и осуществлять «опеку» над несовершеннолетними наследниками, более чем разорительную для их владений. Регулирование гражданского оборота этих владений осуществляла так называемая Палата по делам опеки и отчуждений. Поскольку же речь шла о свободе «бюргерской» собственности, то под ней имелась в виду отмена форм «регулирования» торговой и промышленной деятельности, прежде всего посредством так называемых монополий, и ограждение ее от не разрешенных парламентом обложений. Наконец, так как короля, впрочем не без оснований, подозревали в тайных симпатиях к католицизму и попустительстве католикам, то «Апология» отрицала за королем единоличное право вносить какие-либо изменения в существующую англиканскую церковь — ее организацию и вероучение.

Со своей стороны палата общин «успокаивала» короля в том, что она отнюдь не стремится к каким-либо новшествам пуританского характера, что ей чужды пуританский

или браунистский дух и какие-либо проявления религиозного диссента, инакомыслия и индивидуализма в религиозных вопросах. Тем не менее Яков I обвинил палату общин в сочувствии пуританизму и распустил парламент. Так было положено начало «конституционному конфликту», продолжавшемуся в течение всего правления Якова I и начала правления Карла I, вплоть до 1629 г., когда Карл I, распустив парламент, предпринял попытку единолично править страной. В действительности же углубление конституционного конфликта явилось прологом революции.

Противопоставляя временно созываемому парламенту власть короля, занимавшего престол постоянно и отправлявшего свое «правосудие» независимо от парламента, Яков I начал осуществлять на практике свои воззрения на неограниченный характер власти короля, т. е. власти вне парламента. Созыв уже известной нам конференции в Гемптон-Корте (1604 г.) преследовал цель «установить единообразие» в религиозных делах. Заявив решительное «нет!» даже умеренным предложениям пуритан, преследуя всякое проявление религиозного инакомыслия, Яков I обрушился на сеющих схизму пуритан, угрожая им изгнанием или «чем-нибудь похуже». Отлучение от англиканской церкви\* грозило всем, кто сомневался в «истинности» ее вероучения и культа. Все религиозные общины, помимо англиканской церкви, были поставлены вне закона. Иными словами, религиозной «смуте» была объявлена решительная война.

Аналогичным образом правление первого Стюарта, претендовавшего на «абсолютную власть» по примеру королей Франции, проявило себя и во всех других областях внутренней и внешней политики.

Однако, прежде чем обратиться к характеристике последней, целесообразно привлечь внимание к одному важному обстоятельству, объяснявшему и неэффективность внешне бурной административной деятельности правителя в изучаемую эпоху, и общую слабость стюартовского абсолютизма в целом. Речь идет об отсутствии подчиненного центру бюрократического аппарата на местах, равно как и об отсутствии оплачиваемой казной постоянной армии. Важнейшее звено местного управления — мировые судьи (формально бесплатные слуги короля) были слишком тесно связаны с интересами местно-

---

\* Что ставило человека в положение, близкое к объявлению его вне закона.

го джентри, из рядов которого они рекрутировались, чтобы строго следовать букве получаемых из Лондона предписаний, тем более что во многих случаях они сами принадлежали к разряду их главных нарушителей, против которых Лондон требовал «принятия» репрессивных мер. К тому же нацеленность центральной администрации на увеличение всеми способами поступлений в казну извращала саму суть запретов, ибо для нее более выгодным оказывалось максимально большое число нарушений предписаний, чем их успешное проведение в жизнь: первые приносили в казну штрафы, последние же оставляли ее пустой.

Сказанное иллюстрируется результатами восстановленного при Карле I действия тюдоровского законодательства против огораживаний. Направленные в графства королевские комиссии обнаружили в каждом из них десятки случаев его нарушения лендлордами. Нарушителей за это штрафовали, однако уплата штрафа узаконивала ими содеянное. Иными словами, право нарушать закон покупалось.

Точно таким же образом извращалась суть всех других в этом ряду законоустановлений Стюартов, декларированная цель которых заключалась в «защите слабых» от притеснения «сильных и могущественных». Взять, к примеру, «охранительную» политику первых Стюартов в промышленности, их стремление «регулировать» ее на основе елизаветинского законодательства о семилетнем ученичестве (как предварительном условии заниматься данным ремеслом и торговлей), контролируя и технологию производства, и заработную плату наемных рабочих, и цены на зерно (в годы недородов). На деле все сводилось к дополнительным источникам пополнения казны \* либо к обеспечению доходов приближенных короля, обладателей королевских патентов на «монополию».

Однако наиболее нетерпимый характер с точки зрения интересов как английского потребителя, так и торговых и предпринимательских слоев приобрела политика дарения и продажи монопольных патентов. Наряду с королевскими монополиями в горнорудном, металлургиче-

---

\* Так, в Лондоне проверка качества шерстяных тканей, предназначенных на экспорт, превратилась при Якове I в откровенную торговлю «штампом», подтверждавшим их «добротность». Вместе с тем сам по себе институт контролеров не мог не тормозить распространение новой технологии в сукноделии, в частности в производстве более легких шерстяных тканей.

ском и в ряде других производств, связанных с изготовлением орудий, пороха и т. п., насчитывались десятки монополий, создание которых не имело ничего общего с «национальными интересами», но объяснялось исключительно фискальными соображениями двора и придворных.

К каким только ухищрениям не прибегали служители фиска для насаждения монополий, приносящих «даровые» доходы их обладателям!

Условия жизни англичанина того времени, буквально осажденного со всех сторон монополиями, красочно описал современный английский историк Кристофер Хилл: «Нам трудно представить жизнь человека, живущего в доме, который построен из кирпича, являющегося предметом монополии, окна которого (если таковые имеются) застеклены монопольным стеклом, который отапливается монопольным углем, горящим в камине из монопольного железа... Он спит на монопольной перине, причесывает волосы монопольными щетками и монопольными гребнями. Он умывается монопольным мылом... одевается в монопольные кружева, монопольное белье, монопольную кожу... его одежда украшается монопольными ремнями, монопольными пуговицами и булавками... он ест монопольное масло, монопольную красную селедку, монопольного лосося... его пища приправляется монопольной солью, монопольным перцем, монопольным уксусом. Из монопольных бокалов он пьет монопольное вино... из монопольных оловянных кружек он пьет монопольное пиво, сделанное из монопольного хмеля, хранящегося в монопольных бочках и продаваемого в монопольных пивных. Он курит монопольный табак в монопольных трубках... он пишет монопольными перьями на монопольной писчей бумаге, он читает сквозь монопольные очки при свете монопольной лампы монопольно отпечатанные книги, включая монопольные библии и монопольные латинские грамматики... монополия взимает с него штраф за божбу... Когда он составляет свое завещание, он обращается к монополисту (нотариусу). Разносчики товаров покупают лицензию у монополиста. Существовала даже монополия на продажу мышеловок».

В 1621 г. в стране, как предполагалось, существовало около 700 видов монополий. По словам одного члена парламента, разве что хлеба не было в этом списке. Монополии затрагивали жизнь сотен тысяч англичан. Система монополий мертвым грузом ложилась на английскую экономику, затрудняя на каждом шагу предприниматель-

скую и торговую деятельность, протекавшую под бесконечным досмотром, под угрозой штрафов за различного рода «нарушения», не говоря уже об удорожании производимых в стране и импортируемых из-за рубежа товаров.

Но самое любопытное свойство этой присосавшейся к народному хозяйству системы заключалось в том, что, задуманная как дополнительный источник внепарламентского пополнения казны, она в гораздо большей степени обогащала владельцев монопольных патентов и их откупщиков и агентов, чем казну. Так, к концу 1630-х годов монополии приносили казне 100 тыс. ф. ст. в год. О том, сколько присвоили себе частные обладатели монополий, можно только догадываться, но, без сомнения, во много крат больше, иначе за ними не охотились бы \*. Не трудно представить, какое острое недовольство система монополий вызывала в стране, недовольство, о котором двор не мог не знать — оно проявилось уже в первом парламенте Якова I, — но которым он полностью пренебрегал.

Хотя парламент 1624 г. декларировал, что монополии «противоречат основным законам» королевства, тем не менее их продажа продолжалась при преемнике Якова I Карле I. Ярким примером того, к каким экономическим последствиям приводила подобная политика двора, может служить так называемый проект Кокейна. Поскольку вывоз некрашенных сукон в Голландию был для англичан крайне невыгодным, так как после окраски и «доработки» голландские дельцы перепродавали их в Прибалтике втридорога, Кокейн предложил Якову I запретить впредь вывоз из страны некрашенных шерстяных тканей, потребовав их окраски и отделки по месту производства, с тем чтобы самим экспортировать их в Прибалтику без посредничества голландцев. Формально предложение было обоснованным: почему бы самим англичанам не получать всю торговую прибыль за собственные изделия? Соблазняя двор обещанием ежегодного притока в казну немалой суммы в 300 тыс. ф. ст., Кокейн добился того, что основной экспортер некрашеного сукна — компания так называемых купцов-авантюристов была лишена лицензии на его вывоз. Вместо нее в 1614 г. была создана новая «королевская» компания купцов-авантюристов, наделен-

---

\* Профессор К. Хилл приводит следующие многозначительные данные: из каждого шиллинга, переплаченного потребителем из-за существования монополии на данный товар, корона извлекала только  $1\frac{1}{2}$  пенса, т. е.  $\frac{1}{8}$ , а  $\frac{7}{8}$  присваивал владельцу монополии.

ная монополией на вывоз крашеного и отделанного сукна. Однако вскоре обнаружился авантюрный характер этого начинания, ввергшего основные сукнодельческие районы в тяжелый кризис. Начать с того, что Голландия полностью запретила ввоз сукна из Англии. В то же время у новой компании не было кораблей для самостоятельной доставки английского сукна в Прибалтику. Наконец, поскольку некрашеное сукно производилось главным образом в сельских районах, где не было ни технических средств, ни технологических навыков крашения и отделки сукна, проект Кокейна наиболее сильно ударил именно по ним. Из-за отсутствия сбыта остались без заработка многие тысячи работавших на скупщиков мастеров и подмастерьев. Все кончилось тем, что спустя год король был вынужден восстановить в правах старую компанию купцов-авантюристов, продолжавшую вывоз некрашенных сукон.

Однако вернуть английскому экспорту этого основного национального продукта прежнее положение на европейских рынках уже не удалось вплоть до начала революции \*. Между тем вопреки всем ухищрениям двора положение оставалось на грани критического. Хотя доходы казны, доставлявшиеся пошлинами на ввоз в страну и вывоз товаров, в правление Якова I намного возросли, казна часто пустовала, и двору ничего не оставалось, как обратиться к массовой распродаже коронных земель \*\*. В результате резко сократились рентные доходы короля в качестве лендлорда. Его финансовыми затруднениями воспользовалась палата общин, предложив ему отменить феодальные держания на рыцарском праве и уничтожить Палату по делам опеки, а также право закупки всего необходимого двору на рынке по льготным ценам. Хотя в общей сложности эти права короны оценивались палатой в 100 тыс. ф. ст. в год, королю было предложено «обменять» их на фиксированный ежегодный доход в 200 тыс. ф. ст.

Однако этот так называемый большой договор не состоялся: король не желал расставаться с правами феодального сюзерена, столь важными для отстаивания

---

\* Хотя в условиях торгового кризиса начала 20-х годов XVII века парламент объявил вывоз крашенных и отделанных сукон свободным для всех, однако купцы-авантюристы сумели вернуть себе, разумеется за немалую плату в казну, монополию.

\*\* Елизавета I продала коронных земель стоимостью 800 тыс. ф. ст., а Яков I — на сумму 775 тыс. ф. ст., что сократило поступающий с них доход дополнительно на 25 %.

прерогатив короны, а палата общин в свою очередь сопровождала условия сделки все новыми требованиями к королю.

Стремление парламента сузить возможности короны пополнять казну из источников, не подконтрольных ему, неизбежно выливалось в неразрешимый спор о границах королевской прерогативы. Что же касается финансовых затруднений двора, то помимо мотовства Якова I и его неумеренной щедрости к фаворитам немаловажную роль играла неэффективность финансовой системы, проявлявшаяся не только в передаче сбора пошлин откупщикам, но и в том, что даже разрешенные парламентом налоги приносили в казну лишь долю формально обещанных сумм. Причиной тому было покровительство местных властей состоятельным налогоплательщикам, занижавшим свои доходы и соответственно «облагавшимся» смехотворными суммами. Так, если 78 семей в Сассексе в 1560 г. облагались в среднем на сумму 48 ф. ст., то в 1621 г. — только на 14 ф. ст. Между тем все обострявшийся финансовый кризис двора толкал короля на поиски источников доходов, независимых от воли парламента. Это в свою очередь обостряло конституционный конфликт, за которым, как мы видели, скрывались противоречия между режимом первых Стюартов, с одной стороны, и интересами так называемых новых средних классов — с другой.

Характерные черты экономической и церковной политики Якова I внутри страны были обрисованы выше. Остановимся вкратце на особенностях его внешней политики. Известно, что Испания в начале XVII века оставалась не только наиболее обширной и могущественной колониальной державой, но и оплотом контрреформации в Европе. Со времени правления Марии Тюдор (1553—1558) Испания превратилась в самого «опасного национального» врага Англии, поскольку от нее исходила наиболее реальная угроза ее национальной независимости и восстановления католицизма, что повлекло за собой необходимость возврата церкви секуляризованных при Генрихе VIII имуществ.

И хотя крушение так называемой Великой Армады (1588 г.) эту угрозу отвело, однако полностью ее не ликвидировало. С началом Тридцатилетней войны эта угроза снова обрела реальные очертания. Если бы победа в ней досталась Испании, кто знает, как повернулись бы дела в Европе в целом и в Англии в частности. Однако Яков I, равно как и наследник престола принц Уэльский Карл (будущий король Карл I), на эту угрозу закрывал глаза.

Оба они были поклонниками католических монархий — испанской и французской, в которых видели образцы для подражания. В 1604 г. Яков I заключил мир с Испанией. В угоду ей он помиловал участников так называемого порохового заговора, смотрел сквозь пальцы на активизацию в стране папистов и иезуитов и почти полностью подчинил свою политику диктату испанского посла в Лондоне графа Гондомара. Более того, во имя сближения с Испанией он ничего практически не предпринял для защиты «достояния» своей дочери Елизаветы и ее мужа Фридриха, курфюрста Пфальцского, от вторжения испанских войск в их владения. Наконец, Яков I был одержим планами бракосочетания своего сына, наследного принца Карла, с испанской инфантой. Его воображению рисовалось богатое приданое, которое поправило бы финансовое положение двора.

В парламенте 1621 г. раздавались громкие протесты против этих замыслов и требования войны с Испанией. В ответ Яков I распустил парламент, усмотрев в его действиях недопустимое вторжение в сферу политики, составлявшую исключительную прерогативу короля. Граф Гондомар охарактеризовал этот акт как «лучшее из того, что случилось в интересах Испании и католической веры со времен, когда Лютер сто лет назад начал проповедь ереси». Однако планы испанского брака провалились, и Карл вернулся в октябре 1623 г. из Испании опозоренный отказом. Страна ликовала. Лондонцы устроили на улицах праздничную иллюминацию. Теперь уже и Карл, и могущественный фаворит Якова I герцог Бекингемский, сопровождавший Карла в поездке, выступили за немедленную войну с Испанией. Парламент 1624 г. оказался на удивление щедрым, вотировав Якову I сразу три субсидии с условием объявления войны Испании и помощи курфюрсту Фридриху. Однако, плохо снаряженная и наспех отправленная на защиту его владений от испанцев, английская военная экспедиция закончилась полным провалом.

Между тем Карл женился на ревностной католичке, сестре французского короля Людовика XIII Генриетте-Марии. При этом он дал частное обязательство, скрепленное его отцом Яковом I, предоставить английским католикам такие же «вольности и привилегии», которые были предусмотрены несостоявшимся брачным договором с испанской принцессой. В 1625 г. Карл I обязался направить корабли против французских протестантов (гугенотов), блокированных королевским войском с суши в портовом



городе Ла-Рошель. Однако команды кораблей — участники этой экспедиции — подняли мятеж, воспротивившись столь кощунственной в их глазах цели: протестанты поднимают оружие против протестантов. Тогда возглавивший экспедицию герцог Бекингем изменил ее назначение: объявив в 1627 г. войну Франции, он направил корабли на выручку осажденной Ла-Рошели. Однако и эта экспедиция закончилась полным провалом — английские корабли так и не сумели прорваться в гавань.

В восприятии оппозиционных кругов это было «наибольшее унижение, которому когда-либо подвергалась эта нация». Вопреки настоятельным требованиям купечества войны с Испанией, не только заклятым врагом Реформации, но и очевидной помехой на путях к рынкам Нового Света, Карл I продолжал тайно заигрывать с нею. В целом католические симпатии Якова I и Карла I (их жены были католичками, при дворе Карла I католические священники открыто отправляли католическую мессу) в сочетании с церковной политикой архиепископа Лода, с его стремлением удержать в англиканском культе побольше «знаков» католического «благолепия» вызывали в среде оппозиции подозрения в существовании «заговора» с целью вернуть Англию в лоно католицизма.

### Политический кризис 20—30-х годов

Мы проследили основные противоречия между политикой первых Стюартов и интересами представленных в парламенте торгово-предпринимательских слоев собственнических классов, составлявших в палате общин оппозицию этой политике, и имели возможность убедиться в том, что основной конституционный вопрос о границах королевской прерогативы, вокруг которого велась борьба практически во всех парламентах Якова I, сводился в области внутренней политики к следующему: имеет ли король право вводить новые пошлины и принудительные обложения без ведома и согласия парламента и взимать их? А в области внешней политики — должен ли король «советоваться» с парламентом, прежде чем предпринимать какой-либо шаг в международных делах?

Ответ оппозиции был однозначен: верховная власть принадлежит не королю вне парламента, а королю в парламенте, т. е. получившему поддержку обеих палат. Яков I, как мы видели, наоборот, в соответствии со своей док-

триной абсолютной власти короля считал своим «бесспорным» правом обходиться в обоих случаях без «совета» парламента и, более того, подтвердил эту доктрину на практике, не созвав после роспуска парламента в 1611 г. (если не считать безрезультатного и краткосрочного парламента 1614 г.) вплоть до 1621 г. ни одного парламента. Это была по существу новая для Англии форма абсолютной монархии, которая имитировала «французский образец».

Однако в 1621 г. Якову I все же пришлось созвать парламента из-за финансовых трудностей двора. Неэффективная налоговая система, сопротивление графств, недообложение многих доходов, отсутствие независимых от местных властей королевских агентов, с одной стороны, и мотовство двора — с другой, не обеспечивали короне финансовую независимость от парламента. В ответ на обращение короля за поддержкой палата общин подвергла острой критике деятельность правительства, и прежде всего систему монополий. Однако особой остроты конфликт с короной достиг, когда речь зашла об испанском браке принца Уэльского Карла.

Как мы убедились, с этим вопросом были связаны весьма животрепещущие экономические, политические и религиозные интересы широких слоев английского общества. В ответ на петицию парламента, содержащую резкие выпады против системы монополий во внутренней политике и против сближения с Испанией — во внешней, а также требования мер для защиты «истинной религии», Яков I снова развил уже знакомую нам теорию, согласно которой права и вольности парламента являются не ее «наследственным достоянием», а «актом королевской милости», которой он может быть в любой момент лишен. Когда же палата общин, протестуя против подобного толкования ее прав и привилегий, заявила, что обсуждение всех вопросов, касающихся короны, государства, защиты религии, — ее «старинное и неотъемлемое право», король на заседании Тайного совета и в присутствии наследника престола собственноручно вырвал текст меморандума из журнала палаты общин, с тем чтобы устранить возможность использования его «двусмысленных выражений» в будущем в качестве прецедента. Естественно, что парламента был тотчас же распущен.

Однако в 1624 г. Яков I был вынужден снова созвать парламента. Теперь, после провала испанского брака, король, оказавшийся в безвыходном финансовом положении (Лондон ему отказывал в дальнейших займах, в результа-

те торгового кризиса сократились доходы от пошлин), на сей раз «просил» «свободных и искренних советов» от обеих палат. Палату общин об этом не пришлось долго просить. На этот раз Яков I выслушал весьма горькие упреки оппозиции, в которых как бы суммировались все нелепости его внутренней и внешней политики, в частности он дал согласие на решение парламента уничтожить монополию купцов-авантюристов, объявив свободный вывоз из страны крашенных и отделанных сукон. Однако, как только он получил от парламента долгожданные «субсидии» (так именовались вотированные им налоги), тотчас же обнаружилась привычная для политики Стюартов «двойная игра»: спустя лишь несколько месяцев после обещаний Якова I не заключать без ведома и согласия парламента договоров с иностранными государствами он, не колеблясь, заключил секретное соглашение с Францией о браке принца Уэльского Карла и Генриетты-Марии. В результате вопреки требованиям парламента Англия — протестантская страна — должна была получить королеву-католичку, двор которой стал центром католических интриг.

Конфликт между королем и парламентом разгорелся с новой силой в первые же годы правления Карла I и достиг своего апогея в связи с подачей палатой общин королю знаменитой «Петиции о праве» (1628 г.). Приняв петицию и дав сперва на нее положительный ответ, король вскоре прервал сессию парламента, мотивируя этот акт «неприемлемым для королевской прерогативы» содержанием «Петиции». В ней обращает на себя внимание историка одна важная особенность революционной идеологии XVII—XVIII веков — иллюзорная «древность прав и свобод», которые оппозиция отстаивала в противовес абсолютистским притязаниям короны. Так, составители «Петиции о праве», ссылаясь на Великую хартию вольностей (и толкуя, мягко говоря, новаторски, в духе современного им положения вещей, этот сугубо феодальный по содержанию документ), оказывались в положении толкователей прошлого с позиций желаемого в настоящем, проще говоря — творцов исторических мифов, посредством которых юристы оппозиции обосновывали революционные по сути притязания парламента ссылками на «исконные» и «преемственные» привилегии. Естественно, что в этом свете устремления и действия короны, наоборот, оказывались «узурпацией», «неслыханным нововведением», «нарушением древней конституции» страны. Для иллюстрации того, какую роль играло осовреме-

нивание истории в аргументах оппозиции, приведем лишь два примера.

Известно, что статья 39-я Великой хартии вольностей, на которую ссылались составители «Петиции», содержит утратившую к тому времени смысл чисто феодальную формулу: «И не пойдем на него, и не пошлем на него», — она, разумеется, была полностью опущена. Зато слова «ни один свободный человек не будет арестован, или заключен в тюрьму, или лишен владения» не только были полностью воспроизведены, но и дополнены: «Никто не может быть лишен своей собственности, или вольностей, или доходов». Иначе говоря, наряду с земельной собственностью была включена в качестве неприкосновенной также собственность предпринимателей и купечества.

Не менее характерен и другой пример того же порядка. Палата общин протестовала против взимания так называемого потонного и пофунтового сборов (т. е. пошлин) без разрешения парламента. Ее составители усматривали в этом сборе «изобретение» советников короля. И в подтверждение его «незаконности» снова приводилась статья Великой хартии, содержащая формулу «*sine commune consilio regni*» (без общего совета королевства). Не ясно ли, что подставить под нее «без общего согласия, выраженного в акте парламента» значило снова-таки наполнить чисто феодальное установление чуждым ему, т. е. современным, содержанием?

Когда осенью сессия парламента возобновилась, ведущее место в прениях заняли религиозные дела. В ответ на заявление Карла I, что он стоит выше церковного собора и запрещает на будущее время «ученые изыскания» по вопросам религии, видя в них корень зла и источник распрей, палата общин приняла резолюцию, в которой католицизм объявлен наиболее грозной опасностью. Особо подчеркивалась пагубность католической пропаганды при дворе. Конфликт между парламентом и королем разгорелся с новой силой.

2 марта 1629 г. король приказал прервать заседания парламента до 10 марта. Было много оснований опасаться, что эта акция превратится в роспуск парламента. Поэтому в тот момент, когда спикер палаты общин поднялся со своего места и направился к выходу, два члена палаты подбежали к нему и силой водворили его на место — без спикера палата заседать не правомочна. В спешном порядке было предложено принять следующие постановления: 1) всякий, кто привносит папистские новшества

в англиканскую церковь, должен рассматриваться как главный враг этого королевства; 2) всякий, кто советует королю взимать пошлины без согласия парламента, должен рассматриваться как враг своей страны; 3) всякий, кто добровольно платит не утвержденные парламентом налоги, должен быть объявлен предателем свобод Англии. Без обсуждения палата единогласно приняла эти предложения, и ее члены покинули зал заседаний. У двери их встретил вооруженный отряд, посланный королем для разгона палаты. Парламент был тотчас распущен. Это было первое открытое проявление послушания общинами воли короля, предвестник грядущей бури.

В целом политический кризис 20-х годов справедливо характеризуется в историографии как период, когда инициатива перешла к палате общин. В эти годы оппозиция в палате общин достаточно окрепла, чтобы не только влиять на мнение большинства членов палаты, но и противопоставить процедурным ухищрениям короны собственные контрмеры, гарантировавшие ей инициативу в постановке вопросов и ходе парламентских дебатов.

Так практика превращения заседания палаты в заседание Комитета всей палаты избавила ее от требования обязательного присутствия спикера (назначавшегося королем) в зале заседаний. Вместо него появился председатель Комитета, избранный из его же среды. Место прежних лидеров палаты (обычно из состава членов Тайного совета с целью контролировать и направлять ход дебатов в пользу короны) в палате общин постепенно заняли собственные авторитетные лидеры, которые вели за собой большинство членов парламента. Палата общин утвердила за собой право проверки правомочий вновь избранных членов парламента, самостоятельно решая спорные вопросы.

Наконец, в процедуре импичмента, т. е. выдвижения обвинений против должностных лиц двора в палате общин, влекшей за собой судебное разбирательство в палате лордов, создавались предпосылки принципа ответственности правительства перед парламентом. О том, в какой степени палата общин сознавала свою силу, чтобы претендовать на действенный контроль над деятельностью правительства, свидетельствует хотя бы уже упоминавшаяся нами «Протестация» палаты общин в 1621 г., где значилось: «Свободы, изъятия, привилегии и юрисдикция парламента являются древним и несомненно прирожденным правом и наследием подданных Англии... Неотложные дела, затрагивающие короля, государство

и оборону страны, а также церкви Англии и поддержание и издание законов... являются вопросами, подлежащими обсуждению в парламенте».

И все же из этого не следует, что парламент оспаривал суверенитет короля вне парламента и, более того, что он формально притязал на часть его \*. В действительности же, отстаивая право участвовать в обсуждении наиболее важных вопросов государственной политики (в том числе тех, которые в тюдоровскую эпоху еще рассматривались как исключительная сфера королевской прерогативы), парламент стремился к сужению ее. В этом, несомненно, отражалась возросшая смелость палаты общин перед лицом монарха, — смелость, находившаяся в прямой связи с возросшей финансовой зависимостью короля от вотируемых парламентом субсидий.

Правомерно возникает вопрос: если палата общин настолько «осмелела», что потребовала от короля «отчета» по вопросам, относившимся по традиции к прерогативе короны, то откуда же палата общин черпала аргументы для обоснования тезиса о «захватах» и «новациях» в отношениях с парламентом со стороны короны? Дело в том, что с развитием и усложнением как внутренней, так и международной жизни появилась обширная область общественных и политических отношений, ранее не известных традиции, регулировавшей границы суверенитета короля. Именно на этой «спорной территории» главным образом и завязывался конституционный конфликт между парламентом и первыми Стюартами.

Наконец, отмечая растущую организованность и смелость парламентской оппозиции абсолютизму в условиях политического кризиса 20-х годов, нельзя упускать из виду одно важное обстоятельство: прямо или косвенно, но «смелость» парламентских ораторов, организовавших сопротивление палаты общин притязаниям первых Стюартов, отражала нараставшую в народных низах города и деревни волну недовольства и брожение, то и дело

---

\* Непреложный в правосознании тех лет публично-правовой принцип, согласно которому суверенитет безраздельно принадлежал королю, разделял и влиятельный деятель оппозиции в парламенте 20-х годов сэръ Джон Элиот. Оказавшись в 1629 году по вине Карла I в заточении в Тауэре, он написал трактат «De jure majestatis» («О праве суверенитета»), в котором утверждал, что суверенитет — это не право подданных, а исключительное право короля. Элиот пытался убедить последнего, что его суверенитет отнюдь не потерпит ущерба от того, что подданные наделяются свободой обсуждать в парламенте политику короля. В мирное время гармония в государстве требует, чтобы суверен не затрагивал собственность подданных без их согласия.

прорывавшиеся в открытых волнениях и мятежах. Среди последних нетрудно различить голодные бунты, восстания, связанные с лишением бедноты традиционных способов существования и так называемых заповедных (коронных) лесов в одних графствах и на «ничейной» земле — в так называемой равнине болот (в связи с распродажей в первом случае и осушением частными предпринимателями во втором), и, наконец, волнения на почве огораживаний общинных земель. Так, в начале 20-х и в 30-х годах голодные бунты в связи с дороговизной хлеба отмечались в Сомерсете, Уилтшире, Гемпшире, Беркшире, Сассексе, Гертфордшире и Сеффоке.

Всего между 1585 и 1660 гг. в стране было зафиксировано около 40 мятежей на этой почве. О восстании против огораживаний в 1607 г. в среднеанглийских графствах уже упоминалось. Его средоточием являлись графства Уорикшир, Носемптоншир и Лейстершир, где в те годы лендлорды с особым рвением уничтожали общинные права крестьян. Характерно, что ядро восставших составляли безнадельные жители деревни, для которых эти права являлись главным подспорьем их деревенского быта. Аналогичным образом, когда в 1626—1632 гг. началось наступление на общинные права обитателей в так называемых королевских лесах, по западным графствам прокатились массовые волнения безнадельного люда, известные под названием «Западное восстание». Наконец, в 1640—1641 гг., т. е. с началом заседаний так называемого Долгого парламента, крестьянские выступления против огораживаний были зафиксированы не менее чем в 26 графствах.

### Единое правление Карла I

Итак, с роспуска парламента в марте 1629 г. началось единое правление короля без парламента (1629—1640). В начале этого эксперимента Карла I казалось, что абсолютизм выиграл сражение. Ряды политической оппозиции поредели: в 1633 г. в Тауэре умер Элиот. В том же году скончался популярный в среде противников абсолютизма «по французскому образцу» известный юрист сэр Эдуард Кок, защитник компетенции судов общего права от «захватов» со стороны судов королевской прерогативы (так называемой Звездной палаты, Канцлерского суда и др.). Видный деятель оппозиции Томас Вентворт перешел на сторону

короля, став его ближайшим советником. Основы политики, дававшей Карлу I возможность править страной без парламента, т. е. в конечном счете находить способы пополнения казны, не прибегая к его субсидиям, были заложены, как мы видели, еще в период десятилетнего беспарламентского правления его отца — Якова I: продажа титулов и должностей \*, судебные штрафы за уклонение от принятия рыцарского звания, за нарушение законодательства против огораживаний, за нарушение «лесных» законов, торговля монопольными патентами, принудительные займы и вымогательство «даров», манипулирование пошлинами. Все это в условиях определенного подъема хозяйственной конъюнктуры давало в мирное время возможность сводить бюджет короля, не прибегая к парламентским субсидиям. Именно по этой причине «мирная политика» первых Стюартов казалась благом для слоев, которые извлекали выгоду из нее, и «предательством национальных интересов» в глазах истых пуритан и противников абсолютизма, остро критиковавших, в частности, равнодушие двора к судьбам протестантизма в Европе.

Но и в правление «бережливого» Карла I финансовые запросы двора даже в «мирное время» превосходили его доходы. В 1631—1635 гг. последние составляли в среднем 600 тыс. ф. ст. в год. Однако задолженность казначейства при этом достигла 1 млн ф. ст. Дело в том, что с каждым годом возрастали недоимки. Купцы все чаще отказывались платить не утвержденный парламентом потонный и пофунтовый сборы \*\*.

В этих условиях наибольшие надежды возлагались двором на сбор «корабельных денег» — старинной повинности прибрежных графств снаряжать для обороны

---

\* Это, несомненно, заимствованное из опыта «образцовой» абсолютной монархии во Франции «изобретение» имело в Англии свои особенности. Дело в том, что в условиях отсутствия развитой бюрократической системы продажа должностей усиливала одновременно в управлении и без того значительный элемент малоэффективности, в особенности на местах, и коррупции. По данным исследователя этой проблемы Д. Эймера, в 1630-х годах обладатели должностей получали в год в качестве «дохода» 300—400 тыс. ф. ст., т. е. половину того, что поступило в эти годы в королевскую казну. Иными словами, продажа должностей, «выгодная» казне получением моментального дохода, оказывалась отводящим от нее каналом огромных сумм, причиной оскудевания ее в долговременной перспективе.

\*\* Как мы помним, Декларация палаты общин в марте 1629 года объявила этот сбор незаконным и, более того, под страхом наказаний запретила его выплачивать.



страны определенное число кораблей, превращенной теперь, в 1634 г., в денежный платеж. В 1635 г. король уже потребовал «корабельных денег» не только от прибрежных, но и от внутренних графств. Если бы этот замысел удался, король получил бы в свое распоряжение «узаконенный традицией» и, следовательно, независимый от согласия парламента постоянный налог общегосударственного характера и тем самым навсегда освободился бы от необходимости созывать парламент.

Эту опасность хорошо сознавали сохранившие верность прежним идеям деятели оппозиции. На всю страну прогремело дело богатого сквайра Джона Гемпдена, привлеченного к суду за отказ уплатить причитающуюся с него по данному обложению сумму. Дело Гемпдена содействовало распространению сопротивления этой новой форме внепарламентского обложения. Так, если в 1636 г. в казну не поступило лишь 3,5 % ожидавшейся суммы «корабельных денег», то в 1637 г. этот процент достиг уже 11, а в 1638 г. — 61.

В то же время два советника короля, сэр Томас Вентворт, граф Страффорд, и архиепископ Лод, в порыве преданности короне разожгли два опаснейших очага сопротивления ей — в Ирландии и Шотландии.

В качестве лорда — наместника Ирландии Страффорд своей религиозной политикой в этой стране со сложной конфессиональной структурой населения хотел добиться «единообразия веры» по английскому образцу. С этой целью он создал суд «Высокой комиссии», задачей которой было не столько насаждение протестантизма, сколько взимание штрафов с «рекюзантов» (католиков), дабы облегчить дефицит лондонской казны. Этой же задаче отвечало требование принесения присяги королю как главе церкви — оно относилось к землевладельцам, чиновникам, докторам, адвокатам и др. Неуплата штрафов или отказ от присяги грозили земельными конфискациями. На напоминание об угрозе мятежа Страффорд цинично заявил: «Чем больше мятежников, тем больше конфискаций». Наконец, одной из важных целей лорда-наместника было создание в Ирландии постоянных вооруженных сил, которые можно было бы использовать как в Ирландии, так и по усмотрению Лондона вне Ирландии, проще говоря — в Англии. В целом политика Страффорда ускорила взрыв ирландского восстания 1641 г., ставшего прелюдией гражданской войны в Англии.

Столь же печальными для судеб абсолютизма Стюартов были последствия политики архиепископа Лода,

преследовавшего цель насадить религиозное «единообразие» в Шотландии, что означало угрозу заменить в ней пресвитерианское церковное устройство (утвердившееся здесь в результате Реформации) англиканским, отмеченным, как мы видели, многими «родимыми пятнами» католицизма в церковной организации и обрядности. Однако опасения религиозного толка не были единственной причиной последующего развития событий. Знать и джентри скорее ими воспользовались, чтобы выразить свое недовольство. По настоянию Карла I шотландский парламент принял билль, затрагивавший кровные интересы этих слоев: им создавалось юридическое основание для возможной по воле короля как главы церкви конфискации владений, в прошлом принадлежавших церкви, но затем оказавшихся в руках знати и джентри. Теперь они решили воспользоваться охватившим широкие массы населения недовольством церковной политикой Лондона, с тем чтобы отвести от себя нависшую опасность.

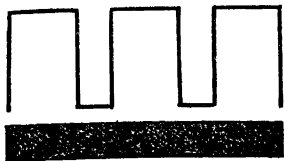
В ответ на попытку Лода ввести в 1637 г. в Шотландии англиканскую литургию шотландские пресвитериане заключили религиозный союз — «национальный ковенант» — и взялись за оружие. Именно в Шотландии в ходе начавшейся англо-шотландской войны 1639—1640 гг. был нанесен первый серьезный удар английскому абсолютизму. Впоследствии шотландские ковенантеры сыграли большую роль в победоносном для парламента развитии военных операций в первой гражданской войне в самой Англии. Когда шотландская армия в 1639 г. вступила в северные графства Англии, ее военное превосходство над армией Карла I стало очевидным. И причина его заключалась не только в наличии в первой опытных военачальников, закаленных в сражениях Тридцатилетней войны (генерал Лесли и др.), но и в полной негодности наспех собранной, плохо снаряженной и еще хуже оплачиваемой армии англичан.

Но самое любопытное в данной ситуации заключалось в том, что поражению сил Карла I несказанно обрадовалась оппозиция королю в самой Англии. Характерно, что по случаю победы шотландцев в Лондоне была устроена иллюминация. Военные неудачи и недостаток средств вынудили Карла I созвать парламент; он оказался более чем кратким (13 апреля — 5 мая 1640 г.). Открывая после одиннадцатилетнего перерыва парламент, Карл I взывал к «национальным чувствам» англичан и всячески поносил «изменников» — шотландцев. С целью пробу-

дить патриотизм членов парламента была оглашена секретная переписка шотландцев с королем Франции. Однако вожди оппозиции указали, что, по их мнению, главная опасность заключалась не в «измене» шотландцев, а в угрозе английской свободе и вольностям парламента, исходившей от короля и его советников.

Вместо того чтобы удовлетворить просьбу короля — предоставить ему субсидии для ведения войны с шотландцами, палата общин приступила к рассмотрению политики Карла I в годы его единоличного правления. Было заявлено, что до тех пор, пока не будут проведены реформы, исключющие в будущем возможность злоупотребления правами прерогативы, палата общин не намерена вотировать какие-либо субсидии королю. После роспуска этого столь строптивного парламента положение Карла I стало еще более критическим. Начатая вторая «епископская война» с шотландцами закончилась позорным поражением королевских сил, шотландцы захватили Ньюкасл-на-Тайне и прилегающие северо-восточные территории Англии.

Все клонилось к тому, что без нового парламента двору не удастся выпутаться из военного и политического кризиса. Об этом просили в обращении к королю 12 пэров. На севере Англии находились две армии, содержание которых требовало от казначейства сумм, намного превышавших его платежные возможности. Осознав безвыходность положения, Карл I согласился наконец внять «советам», исходившим от его окружения. В октябре прошли выборы нового парламента, а 3 ноября 1640 г. открылись его заседания. Этому парламенту суждено было стать Долгим. С началом его заседаний началась по сути новая глава английской истории — история Великой социальной революции.



## Глава VI

# Революция

### 1640—1653 гг.

Мы вплотную подошли к периоду, когда на авансцене английской истории оказались деятели, посвятившие свои силы, свою жизнь, хотя и с различными конечными целями, делу ниспровержения «старого порядка», делу революции. Более того, деятельность Оливера Кромвеля, Джона Лильберна и Джерарда Уинстенли в такой степени окрасила течение революции и сплошь и рядом определяла направление ее развития, что попытка воссоздать их исторические портреты неизбежно перерастает в историю революции в целом. Одним словом, перед нами именно тот случай, когда драма истории народа и драма жизни его признанных героев оказываются нерасторжимыми. И потому мы вынуждены во избежание повторений ограничиться в данном случае изложением лишь самой общей канвы событий 40—50-х годов, призванной служить историческим фоном, на котором портреты интересующих нас деятелей предстанут в своей неповторимой индивидуальности.

Как известно, в советской историографии движение революции середины XVII века по восходящей принято подразделять на четыре этапа:

- 1) конституционный («мирный») этап (3 ноября 1640 — 22 августа 1642 г.);
- 2) первая гражданская война (1642—1646);
- 3) борьба за углубление демократического содержания революции (1646—1649);
- 4) индипендентская Республика (1649—1653).

При этом самая важная особенность этой периодизации заключается не только в том, что в ней все перечисленные этапы составляют звенья *единого* процесса, содержание которого может быть раскрыто только при учете всей сложности межклассовых и внутриклассовых противоречий. При этом нетрудно заметить, что в перерастании одного этапа революции в другой лишь отражалась мера вовлечения в политически осознанную борьбу все более широких общественных сил, выступавших на стороне парламента, происходило углубление ее демократического содержания: в плане *политическом* — от кон-

фликта между парламентом и королем в рамках и на почве традиционной конституции к полному ее ниспровержению и установлению республиканского устройства государственной власти; в плане социальном — от односторонней отмены феодального строя, поземельных отношений в пользу одних лишь лендлордов к борьбе за уничтожение системы лендлордизма и превращение земли в общую сокровищницу, равно и свободно доступную тем, кто желает ее оплодотворить своим трудом.

Остановимся хотя бы вкратце на каждом из указанных этапов революции с целью выявления их наиболее характерных черт.

### Конституционный этап (1640—1642)

Итак, чем безвыходнее было положение короля, тем решительнее приступил к работе Долгий парламент, и первое, что им было предпринято, — изгнание из своей среды «монополистов» и возбуждение судебного процесса против «главных советников» короля, и прежде всего против графа Страффорда как наиболее опасного врага \*. Обвинения были выдвинуты и против других должностных лиц короля в период беспарламентского правления. Одни из них спаслись бегством из страны, другие оказались в Тауэре, и в их числе архиепископ Лод. Именно на них пала вся ненависть, возбужденная в среде оппозиции политикой Карла I.

Дабы обезопасить себя от неожиданного приказа о роспуске, Долгий парламент принял два важных акта: так называемый *трехгодичный акт*, предусматривавший регулярный созыв парламента каждые три года независимо от воли короля, а также акт, согласно которому данный парламент не может быть распущен иначе как по его собственному решению. Вслед за этим было отменено судебное решение по делу Гемпдена, и впредь был запрещен сбор корабельных денег, равно как и других не вотируемых парламентом поборов \*\*. Специальным ак-

---

\* Выдвинутые против него обвинения включали «советы» королю использовать ирландскую армию против «бунтовщиков» в Англии и, расправившись с главарями оппозиции, управлять страной методами чрезвычайного положения.

\*\* Что касается потонного и пофунтового налогов, то вместо разрешения собирать его сроком на год, данного Карлу I первыми двумя его парламентами, Долгий парламент требовал возобновления его согласия на это каждые два месяца.

том были уничтожены такие важные орудия королевского абсолютизма, как суды прерогативы — Звездная палата и Советы по делам Севера и Уэльса. Та же судьба постигла церковное судилище — «Высокую комиссию». Из заточения были освобождены жертвы преследований за религиозное инакомыслие — Принн, Бэртон, Баствик и Лильберн. Следует подчеркнуть, что и «добровольное одобрение» Карлом I всех этих еще недавно просто немыслимых в рамках конституции актов, и столь неожиданная «уступчивость» на фоне жесткого курса предшествующего периода его правления объяснялись не только и даже не столько катастрофическим финансовым положением двора, усугубленным неудачами в войне с шотландскими ковенантерами, но прежде всего страхом перед толпами вооруженных лондонцев, главным образом подмастерьев, учеников, поденщиков и им подобных обитателей лондонских предместий, оказывавшихся перед королевским дворцом каждый раз, когда «согласие» короля задерживалось. Грозный для двора характер поведения лондонских низов с момента открытия заседаний Долгого парламента — *решающий аргумент палаты общин при проведении в жизнь важнейших актов конституционного периода революции* — оказывался и для короля последним и решающим обстоятельством, вынуждавшим его «одобрять» парламентские акты вопреки тому, что ими хоронились надежды на возможность впредь управлять страной по «французскому» образцу, т. е. без парламента.

О том, что это заключение имеет под собой реальную историческую почву, свидетельствует судьба заключенного в Тауэре Страффорда. Известно, что Карл I под «честное королевское слово» гарантировал ему личную безопасность и имущественную неприкосновенность, — «слово», данное в надежде на то, что палата лордов окажется с ним заодно. Однако, когда палата общин убедилась в том, что король в расчетах на лордов не ошибся, она заменила процедуру импичмента (при котором палата лордов становится судебным трибуналом) принятием билля об измене, на основе которого судебное разбирательство заменяется прямой и скорой процедурой голосования. Когда же этот билль был передан на утверждение королю, то его явному нежеланию (в нарушение данного слова!) отправить своего преданного советника на плаху положила конец именно многотысячная толпа вооруженных лондонцев, буквально осадивших Уайтхолл. В этих условиях Карлу I ничего не оставалось, как «усту-

пить» воле парламента, а в действительности воле восставших лондонских низов, и 6 апреля 1641 г. Страффорд был казнен.

Теперь парламент проявил щедрость — в королевской казне появились средства для оплаты и роспуска по домам стоявших на севере страны двух армий — шотландцев и англичан. До этой грани в палате общин существовало относительное единодушие. Однако обсуждение в парламенте двух документов — «Петиции о корнях и ветвях» и «Великой ремонстрации» — обнаружило, сколь глубоки были расхождения позиций в самой палате общин и сколь близка она была к расколу, как только заходила речь о переменах, выходящих за пределы непосредственной угрозы существованию самого парламента. «Петиция о корнях и ветвях» была подана в парламент от имени жителей Лондона, Мидлсекса и других графств и продиктована страхом перед «католической опасностью» вне и внутри страны. Внутри, указывалось в ней, эта угроза исходит от прелатов — архиепископов и епископов, проникнутых тенденциями, близкими к католицизму. Петиция обрушивалась на «ленивых, распущенных и невежественных» англиканских священников, не проповедующих «божьей правды», т. е. учения о предопределении.

За этой риторикой скрывалась несомненная истина — высшее англиканское духовенство поддерживало абсолютистские притязания короля, отсюда требование изгнать этих «членов антихристового клана» из лона церкви. Когда в начале 1641 г. парламент приступил к обсуждению этой петиции, а вслед за ней и билля «О корнях и ветвях», обнаружилось, сколь значительны несогласия между крупными лендлордами и городскими толстосумами, с одной стороны, и джентри и средними слоями бюргерства — с другой.

Первые пуше огня боялись торжества принципа «равенства и самоуправления», который должен был бы восторжествовать в церкви в случае уничтожения ее епископального устройства. Так, сэр Эдмунд Уоллер заявил: «Наши законы и современное церковное устройство перемешаны, как вино и вода. Я смотрю на епископат как на внешнее укрепление... и говорю себе, что если оно будет разрушено народом, то будет разоблачена та тайна, что мы ни в чем не можем ему отказать». Отсюда он делал вывод, вполне согласующийся с логикой собственнических классов: в случае уничтожения епископата «мы должны будем взять на себя тяжелый труд защиты нашей собственности (от притязаний бедных), подобно тому как

мы ее недавно отстаивали от притязаний короля». И билль на данной стадии его обсуждения был отвергнут.

Второй из названных документов, так называемая «Великая ремонстрация», — результат деятельности специального парламентского комитета \*, назначенного для рассмотрения положения королевства. Обсуждение «Ремонстрации» в парламенте проходило в крайне напряженной обстановке острых трений как между королем и парламентом, так и внутри самого парламента. Причины такого развития событий лежали на поверхности. Во-первых, король предпринял поездку в Шотландию, надеясь превратить своих недавних врагов в союзников и в оплот против мятежной столицы или по крайней мере обеспечить свой тыл с севера на случай возникновения гражданской войны. С этой целью Карл I признал избыточность пресвитерианского церковного устройства Шотландии. Этот маневр короля не на шутку взволновал лидеров парламентской оппозиции во главе с джентльменом из Сомерсета Джоном Пимом \*\*. В Шотландию были немедленно направлены уполномоченные парламента, которые должны были «сопровождать» короля и своевременно информировать парламент о всех его политических шагах.

Известие о вспыхнувшем восстании в Ирландии еще больше накалило атмосферу в Лондоне и в стране в целом. Не без явного политического умысла усиленно распространялись слухи о тысячах ирландских протестантов, будто бы павших от рук мятежников, что последние действуют от имени короля, что их поддерживает королева Генриетта-Мария, не говоря уже о папе римском. Еще столь недавно отвлеченно звучащая угроза о внешней католической опасности оказалась теперь у порога Англии. В результате то, что являлось следствием английской (протестантской) колонизаторской политики в Ирландии, усиленно осуществлявшейся здесь со времен Елизаветы I, в интерпретации пуританских кругов высту-

---

\* Помимо него Долгий парламент создал пять комитетов — по вопросам торговли, религии, жалоб, Ирландии, по делам судебных палат. Управление отдельными областями общественной жизни посредством парламентских комитетов, введенное Долгим парламентом, предвосхищало будущие министерства.

\*\* Роль Пима в организации наступления Долгого парламента на королевскую прерогативу на рассматриваемом этапе революции была столь велика, что, как не без иронии отмечали его недруги, в подписи этого джентльмена не хватало только литеры «R» (Rex — король), сопровождавшей королевские указы.



пило как религиозный конфликт, к тому же этнически окрашенный\*.

Ирландское восстание поставило на повестку дня необходимость создания вооруженной силы, предназначенной для подавления восстания, и в связи с этим вопрос: кому — парламенту или королю — будет принадлежать контроль над нею? С этого момента пуританским кругам было нетрудно выступить в роли истых «патриотов», предупреждающих о грозящем вторжении армии ирландских мятежников в Англию и в связи с этим об опасности восстания католиков внутри страны. Поскольку же двор давно уже прослыл едва ли не центром «заговора папистов», то не стоило больших трудов обратиться всю эту пропаганду против сохранения за королем его традиционных полномочий назначать лорда-лейтенанта, возглавлявшего народное ополчение (милицию). И если вопрос о финансировании военной экспедиции в Ирландию споров не вызывал — денежные мешки Сити охотно соглашались предоставить заем по подписке под «залог» будущих земельных конфискаций после подавления восстания, то вопрос о контроле над вооруженными силами оставался до поры до времени открытым.

Такова была политическая обстановка в стране в момент обсуждения в парламенте уже упоминавшейся «Великой ремонстрации». В этом важном документе конституционного этапа революции в виде «жалоб» на «положение страны», сложившееся в период единоличного правления Карла I, по сути была изложена программа классов — союзников в революции, как она виделась им на данном этапе. Подобно «Петиции о корнях и ветвях», «Ремонстрация» начиналась с констатации «большой опасности», нависшей над королевством и связанной с существованием «порочной и злонамеренной партии», которая стремится изменить религию и заодно государственный строй Англии. «Злонамеренными махинациями» этой «партии» авторы «Ремонстрации» объясняли и англо-шотландскую войну, и восстание в Ирландии, и конституционный конфликт между королем и парламентом. В приложенной к ней «Петиции» выдвигались требования лишить епископов права голоса, удалив их из палаты лордов, а также уменьшить их власть над низшим духовенством и другими подданными. С этой целью,

---

\* Дело в том, что многие потомки средневековых переселенцев из Англии в Ирландию, в значительной степени этнически смешавшиеся с ирландцами, так называемые англо-ирландцы, являлись католиками.

произведя полную реформацию церкви, уничтожить введенные в церковь «новшества»: алтари и престолы, скульптуры и органы. Красной нитью через всю эту программу проходила забота о неприкосновенности собственности на землю, движимое имущество и на доходы. Характерно, что специальный параграф «Петиции» содержал требования запрета каких-либо раздач короной без одобрения парламента из фонда земель, которые будут (!) конфискованы в Ирландии после подавления мятежа и перейдут в распоряжение короля.

Таким образом, дело «колонизации» Зеленого острова буржуазно-дворянский блок стремился, опережая события, заполучить в свои руки. Наконец, характерно, что из 204 статей «Великой ремонстрации» интересы демократических низов были затронуты буквально в считанных из них, и то в формулировках, которые ограждали не столько интересы этих низов, сколько их «благодетелей» — работодателей и лордов маноров\*. Обсуждение «Великой ремонстрации» в палате общин снова обнаружило, сколь велики были разногласия среди ее членов по вопросам, составлявшим основу церковной и политической доктрины пуритан в строгом смысле этого слова\*\*, — палата общин утвердила «Ремонстрацию» большинством всего в 11 голосов.

Тем временем Карл I, вернувшись из своей поездки в Шотландию, решил нанести ответный удар, потребовав суда над пятью лидерами палаты общин и одним пэром. Вновь назначенный королем комендант Тауэра получил приказ навести орудия на Лондон. В этот критический час палата общин апеллирует к Лондону. Толпы народа заполняют его улицы. 11 декабря в палату лордов подается петиция с требованием исключить епископов из состава палаты. 27 декабря вооруженная толпа встретила их, явившихся на заседание, криками: «Долой епископов!» На следующий день только два епископа осмелились явиться на заседание палаты лордов. Лорды потребовали

---

\* Так, пункты 31—32 «Великой ремонстрации» мельком касались вопроса об огораживании общинных земель, пункты 53—54 указывали на разорение суконной промышленности, на эмиграцию суконщиков в Голландию и Новую Англию.

\*\* Сколь большого накала приняла борьба в палате общин «за» и «против» принятия «Великой ремонстрации» и сколь фундаментально важным представлялось революционно настроенным пуританам ее содержание, видно из реплики Оливера Кромвеля: «Если «Великая ремонстрация» была бы отвергнута, то для всех честных людей не оставалось бы ничего другого, как покинуть навсегда Англию и найти пристанище на новых берегах».

принятия мер против «смутьянов», но общины отказались это сделать. «Избави, бог,— предостерегал Пим,— если общины чем-нибудь ослабят воодушевление народа». 3 января 1642 г. королевский прокурор явился в парламент с требованием арестовать пять членов палаты общин, обвиняемых в государственной измене (среди них были Пим, Гемпден, Гольз и др.), но палата ответила отказом. На следующий день король в сопровождении 400 солдат лично явился, в нарушение традиции, в палату общин для ареста названных ее членов, но, вовремя предупрежденные, они скрылись в Сити. Туда же перенесла свои заседания и палата общин. 5 января мэр Лондона ответил королю отказом на требование выдать «изменников».

Лондон в эти дни напоминал вооруженный лагерь. Столица отказала королю в повиновении, и 10 января 1642 г. он уехал на север страны, чтобы собрать силы для вооруженной борьбы. На следующий день палата общин в сопровождении многих тысяч лондонцев снова вернулась в Вестминстер. Охрана парламента была доверена лондонскому ополчению (милиции).

1 июня 1642 г. пресвитерианское большинство парламента предприняло последнюю попытку избежать гражданской войны — палата лордов и палата общин направили Карлу I, находившемуся в Йорке, «19 предложений». Если оставить в стороне «пожелания», связанные с принятием мер против иезуитов, папистских священников, а также требование исключить из палаты лордов лордов-папистов (епископов), то камнем преткновения оставался ординанс парламента о сборе милиции, во главе которой решением парламента был поставлен граф Эссекс; последнее было прямым нарушением прежде никем не оспаривавшейся прерогативы короля — призывать «под ружье» милицию и назначать лорда-лейтенанта. В свою очередь парламента требовал от короля роспуска набранных им на севере вооруженных сил. Парламент настаивал также на заключении тесного союза с Соединенными провинциями (Голландией) и другими протестантскими государствами для борьбы против папства и католических стран. Король решительно отверг эти предложения, усмотрев в них «покушение на конституцию и основные законы королевства». 22 августа в Ноттингеме был поднят королевский штандарт\*. Это означало объявление

---

\* Огромное знамя с изображением королевских гербов по четырем углам с короной в центре и указующим «с неба» перстом: «Воздайте кесарю должное ему».

королем по традиции войны мятежному «феодалу» графу Эссексу, т. е. фактически парламенту. Так завершился конституционный этап революции и началась гражданская война.

## Первая гражданская война (1642 — 1646)

В истории этого этапа нас будет интересовать не столько военная хроника и связанные с нею политические события, сколько факторы, обусловившие исход важнейших из них и гражданской войны в целом. Прежде всего обращает на себя внимание изначальная географическая локализация сил роялистов, с одной стороны, и сил парламента — с другой, точнее, «размежевание» территорий, служивших их оплотом. Как известно, северные и западные графства оказались по преимуществу на стороне короля, а южные и восточные графства — на стороне парламента \*. В первом случае речь шла о территориях, в экономическом отношении отсталых, на которых традиционные общественные порядки, и прежде всего отношения лендлорда и держателя-земледедца, были в общем еще мало затронуты капиталистическим хозяйственным укладом, во втором — о территориях, экономически наиболее развитых именно благодаря тому, что традиционные общественные отношения подверглись здесь далеко идущему преобразующему влиянию этого уклада. Иными словами, водораздел между враждующими лагерями, готовившимися к вооруженной борьбе, объективно отражал межклассовый характер конфликта в национальном масштабе.

Большинство представителей крупной знати и значительная часть среднего дворянства выступили на стороне короля, точно так же как большая часть торгово-предпринимательских элементов в деревне и городе, народные низы, если их выбор оказывался более или менее свободным, выступали на стороне парламента.

Ясно одно: суть «конституционного» по видимости конфликта, переросшего к осени 1642 г. в конфликт вооруженный, заключалась в *фундаментальной противоречии*

---

\* Это, разумеется, не исключает того, что в пределах роялистской «зоны» имелись отдельные опорные пункты парламента, как и, наоборот, в «зоне» парламента — опорные пункты роялистов. В указанном географическом размежевании «кавалеров» (роялистов) и «круглоголовых» отражена ведущая тенденция в размежевании общественных сил.

между проводившейся двором — в интересах крупной феодальной знати (включая иерархов церкви) и сросшейся с нею торгово-финансовой олигархии, прежде всего Лондона, — внутренней и внешней политикой и жизненно важными интересами новых общественных классов — носителей раннекапиталистического хозяйственного уклада в городе и деревне\*.

Как показал опыт первых двух лет законодательной деятельности Долгого парламента, цель оппозиции, по меткому замечанию современного английского историка Д. Эймера, заключалась в попытке низвести его исполнительную власть (а в чрезвычайных обстоятельствах и его законодательную власть) до положения еще одного «дополнительного» сословия (наряду с духовными светскими лордами и общинами). Точнее говоря, парламента претендовал на то, чтобы решение всех важнейших вопросов внешней и внутренней политики происходило по формуле: «Король в парламенте и через парламента». Пусть король по-прежнему формально назначает на высшие государственные должности, заключает международные договоры и т. п., однако все его решения вступают в силу лишь при согласии парламента. Вместе с тем несомненно, что при всем материальном превосходстве лагеря парламента — оно обеспечивалось уже самим фактом выступления на его стороне Лондона — над его противниками-роялистами решающей боевой силой парламента, его опорой были народные низы города и деревни. Так, от историка Долгого парламента Мэя не ускользнул тот факт, что на стороне парламента оказались фригольдеры и йомены Восточной Англии. Проповедник Ричард Бакстер подчеркивал, что на защиту парламента выступили большая часть торговцев, ремесленников, фригольдеров и средний сорт людей, в особенности в тех графствах и корпорациях, где было развито сукноделие. Далеко не всегда народные низы ожидали призыва парламента, во многих случаях они поднимались к действию по собственной инициативе. Таковыми были не только многочисленные выступления против огораживаний, но и иконоборческие движения. Они громили «языческое» убран-

---

\* То обстоятельство, что определенная часть провинциальных дворян оказались в ходе войны «нейтралами», объясняется не только их «равнодушием» к будоражившим парламента вопросам высокой политики, но и страхом перед непредсказуемыми для них последствиями самого факта втягивания демократических низов в войну. Это не должно затуманивать вопрос о социально-классовой природе гражданской войны.

ство церквей, уничтожали витражи, скульптуры и органы, изгоняли роялистски настроенных священников \*. Палата лордов требовала принятия экстренных мер против смутьянов. Палата общин хотя словесно осуждала подобные акции, но с мерами не спешила.

Ход первой гражданской войны отчетливо распадается на два этапа:

1) когда исход ее для парламента решало военное руководство, находившееся в руках пресвитериан;

2) когда это руководство перешло к индепендентам.

Следует заметить, что размежевание сил в масштабе страны происходило постепенно и разновремено. На локальном уровне в этом процессе сказывалось многое: близость или отдаленность от Лондона, родственные связи, поземельная зависимость, личные привязанности и антипатии и т. п. Так или иначе, но к осени 1642 г. страна покрылась множеством крупных и малых очагов революции, которым противостояло в большинстве графств и значительное число очагов контрреволюции. Последними служили не только города на западе и севере страны, но и дворянские замки и усадьбы, а зачастую и англиканские храмы. Так, в Кентерберийском соборе восставшие обнаружили склад оружия и пороха. В городе Чичестере духовенство оказывало активное содействие джентльменам-роялистам в захвате местного арсенала, а за оградой собора обучался кавалерийский отряд роялистов. Везде собирались отряды милиции: одни — следуя предписаниям короля, другие — во исполнение предписания парламента \*\*.

Немало было попыток властей на местах сохранить «нейтралитет», выжидая, на чью сторону склонится чаша весов. Война на первых порах складывалась из мелких стычек разрозненных отрядов, стремившихся овладеть оружейными складами, опорными пунктами. Хотя роялистам удалось привлечь на свою сторону, прежде всего в экономически отсталых районах, немало зависимых от них земледельцев, ремесленников, слуг, тем не менее дворянский характер их ополчений, особенно кавалерийских, был очевиден.

---

\* Англиканское духовенство, как и следовало ожидать, оказалось на стороне короля.

\*\* Своеобразие момента хорошо передает сообщение из Сент-Олбенса летом 1642 г.: курьер привез одновременно три прокламации: одну (парламентскую) — о повиновении комиссарам по набору в милицию парламента, другую (королевскую) — запрещающую набор без большой печати, третью (парламентскую) — запрещающую расквартирование в городе кавалерии.

лери, не подлежит сомнению \*. Этот факт позднее будет отмечен Кромвелем.

Что же касается ополчений парламента, то его преимущественно народный характер (включая и кавалерию) также обратил на себя внимание современников. Так, на первом этапе гражданской войны особенно отличилось народное ополчение (так называемая милиция) Лондона. В 1642 — 1643 гг. 20 тыс. добровольцев-лондонцев — мужчины, женщины, дети — возводили вокруг столицы укрепленную полосу 9 футов в ширину, 18 футов в высоту и 18 миль в длину.

Первое крупное сражение парламентских сил «круглоголовых» и роялистов («кавалеров») произошло 23 октября 1642 г. при Эджилле, второе — в ноябре при Тернхем-Грин. И хотя в обоих случаях парламентское ополчение не только успешно преграждало королю дорогу на Лондон, но и было близко к тому, чтобы нанести ему поражение, тем не менее главнокомандующий парламентскими силами на юге страны граф Эссекс намеренно давал возможность роялистам выходить из боя без значительных потерь. Этой его тактикой вскоре воспользовался король, занявший Оксфорд, превратив его в свою резиденцию. Сюда же из Лондона перебралась бóльшая часть палаты лордов и значительная часть палаты общин \*\*. Так завершилось политическое размежевание в Долгом парламенте между так называемыми конституционными роялистами (Фолкленд, Гайд, Колпеппер и др.) и более радикально настроенными его членами (Пим, Гемпден, Кромвель и др.).

В 1643 году ополчение Лондона проделало марш через всю страну на запад, придя на помощь осажденному роялистами Глостеру. На обратном пути в битве при Ньюбери (25 октября) его стойкость спасла от разгрома парламентские силы, устояв перед роялистской кавалерией под началом принца Руперта, в то время как кавалерия парламента была сметена ее сокрушительным ударом. Наконец, хорошо известно, что на втором этапе войны решающей ударной силой в армии парламента стала кавалерия под началом Оливера Кромвеля, набранная из среды фригольдеров восточных графств.

---

\* Обращает на себя внимание большой удельный вес в рядах роялистов дворян-католиков. Так, в северных графствах одну треть офицеров королевского ополчения составляли католики.

\*\* В Оксфорд к королю перебравшись 175 членов палаты общин (более 1/3 ее состава) и более 80 пэров (4/5 ее состава). С «бунтовщиками», т. е. парламентом, осталось только 30 пэров.

Однако начало гражданской войны потребовало от парламента ответа на отправной по сути вопрос: к чему в конечном счете сводится цель его военной политики? И тогда оказалось, что пресвитерианское большинство палаты общин пуше огня боялось военной победы над королем, так как это могло развязать революционную инициативу народных низов города и деревни, и без того «сверх меры осмелевших». В ряде городов, в том числе в Лондоне, под давлением снизу произошли перевороты, в результате которых к власти пришли вместо роялистски настроенной правящей олигархии выходцы из менее состоятельных и более демократических кругов.

В этих условиях революционность пресвитерианского большинства в парламенте быстро испарилась. Джон Готем, оказавший вместе со своим отцом сопротивление королю, пытавшийся овладеть арсеналом города Гуль (1642 г.) и затем переметнувшийся на сторону короля, так объяснял свое поведение: «Ни один человек, обладающий в какой-то мере долей в государстве (т. е. собственностью), не может желать победы (в гражданской войне) ни одной из сторон... (ибо) это служило бы великим искушением... огромное количество нуждающихся людей всей страны немедленно восстанут, и это приведет к полному разорению всей знати и джентри».

Мотивы очевидного стремления пресвитериан ограничить вооруженный конфликт с королем лишь оборонительной тактикой, ведя одновременно поиски путей примирения, отчетливо выразил граф Эссекс в 1644 г.: «Является ли это той свободой, которую мы взяли защищать, проливая нашу кровь?.. Потомки скажут, что для освобождения их от гнета короля мы подчинили их гнету простого народа». Отсюда тактика парламента в этот период: лучше добиться минимально приемлемых для него уступок в ходе мирных переговоров, нежели одержать победу над ним с помощью революционного воодушевления одетого в солдатские мундиры простого народа\*. Правда, в парламенте обсуждался еще один выход: достичь своих целей с помощью шотландцев — для пресвитерианского большинства парламента он был более приемлем, чем развязывание революционной инициативы низов.

Пораженческая по сути тактика главнокомандующих парламентами силами — графа Эссекса на юге и графа

---

\* Попытки парламента «договориться» с королем не прекращались на протяжении всей гражданской войны: в 1643, 1644, 1645 и 1646 гг.



Манчестера на востоке — привела к тому, что в конце 1643 г. военное положение парламента стало поистине критическим: почти весь север и запад страны, три четверти ее территории, находились в руках роялистов. Парламентская армия Уоллера перестала существовать. У Эссекса оставалось едва ли больше 5 — 6 тыс. человек. Армия так называемой Восточной ассоциации создавалась медленно, к тому же ее командующий граф Манчестер всячески препятствовал ее действиям против сил короля. В этих условиях пресвитерианское большинство парламента, не желавшее, с одной стороны, развязать народную войну, а с другой — «страшась последствий военной победы короля», ухватилось за единственный, как ему казалось, выход. В сентябре 1643 г. был заключен военный союз с шотландцами. В «обмен» на военную помощь против Карла I парламента подписал «Торжественную лигу и ковенант» — договор, по которому согласился на введение в Англии пресвитерианского церковного устройства по образцу шотландского взамен англиканского.

В январе 1644 г. шотландская армия вступила на территорию Англии. В июле того же года в битве при *Марстон-Муре* силы сражавшихся на стороне парламента (шотландцы, ополчение Йоркшира под началом Томаса Ферфакса и ополчение Восточной ассоциации, в котором решающую роль играла кавалерия под командой Оливера Кромвеля) нанесли крупное поражение силам роялистов. Однако до решающей победы было еще далеко. За потерю севера страны, перешедшего под власть парламента, роялисты вознаградили себя победами на юго-западе, где армия Эссекса была разгромлена в сентябре 1644 г.

Силы короля снова угрожали Лондону, и только в этих условиях в парламенте был наконец принят так называемый Ордонанс о самоотречении (апрель 1645 г.), в результате которого члены обеих палат лишались своих должностей в армии. Для Оливера Кромвеля было сделано исключение. После ухода из нее командующих-пресвитериан решающая роль в дальнейшем ведении войны на стороне парламента перешла к индипендентам \*. Последствия этого не замедлили сказаться: в сражении при *Несби* 14 июня 1645 г. армия «нового образца» одержала

---

\* В области политики усиление военной роли индипендентов сказилось в парламенте в том, что после более трехлетнего заключения в Тауэре в январе 1645 г. был казнен архиепископ Лод, а в октябре 1646 г. было уничтожено епископальное устройство церкви.

решающую победу над роялистами. Отныне борьба приобрела характер разрозненных операций по подавлению отдельных очагов сопротивления роялистов. В июне 1646 г. силы парламента вступили в Оксфорд, где находилась штаб-квартира Карла I; сам он бежал на север, в расположение армии шотландцев. Таким образом, первая гражданская война завершилась полной военной победой парламента, одержанной — вопреки стремлениям пресвитериан, — только опираясь на самоотверженность и массовый героизм крестьян и городских ремесленников, одетых в солдатские мундиры.

### **Борьба за углубление демократического содержания революции**

Победа парламента в первой гражданской войне породила среди различных общественных слоев тревожные ожидания, окрашенные страхом у одних, светлыми надеждами — у других. Что предпримет парламента, оказавшийся полновластным распорядителем судеб народа?

Следует подчеркнуть, что война с ее осадами, сражениями, набегами и контрнабегами, грабежами, реквизициями, прежде всего лошадей, постояями солдат, принудительными наборами в ополчение, значительными потерями и убитыми, и увечными нанесла ощутимый ущерб сельскому хозяйству, мануфактуре и торговле. Особенно тяжело сказались последствия войны на малоимущих тружениках — ремесленниках, оставшихся без работы, земледельцах, потерявших урожай, скот, работников\*. К этим бедствиям присовокупились тяжелые недороды, продолжавшиеся три года подряд — 1647 — 1649. Дороговизна хлеба достигла уровня, сделавшего его недоступным для тысяч бедняков.

---

\* На почве военного разорения в юго-западных графствах в 1644 — 1645 гг. возникло «нейтралистское» движение крестьян, так называемых клябменов, организовавших вооруженные отряды для защиты селений от вторжения как роялистов, так и частей парламента. Это обстоятельство исключает возможность усматривать в нем аналогию Вандее во время Французской революции конца XVIII века. В Англии речь шла об отрядах крестьянской самообороны, которые защищали деревенский мир от обескровливавших его вторжений военных отрядов, прежде всего роялистских. Поскольку социальный состав клябменов до конца еще не выяснен, трудно заключить, какие слои крестьянства возглавили это движение.

Как же распорядился Долгий парламент плодами победы? Объективно его политика сводилась к тому, что, удовлетворив основные требования классов, в нем представленных, он оставался абсолютно глухим к нуждам и чаяниям тех демократических низов, чьими тяготами, жертвами и самоотверженностью на поле брани победа над роялистами была завоевана. В самом деле, торгово-предпринимательские слои получили свободу от ненавистной системы монополий (частично уничтоженных по решению парламента, а в остальном потерявших свою силу с началом гражданской войны); фактически в стране восторжествовала неограниченная свобода торгово-промышленной деятельности. В свою очередь крупные землевладельцы избавились от материальных и юридических последствий, вытекавших из так называемого рыцарского держания. Ордонансом парламента (февраль 1645 — 1646 г.) это держание было безвозмездно отменено вместе с Палатой по делам опеки. В результате лендлорды из держателей земли на феодальном праве фактически превращались в ее частных собственников.

Историческое значение этой односторонней — только в пользу крупных землевладельцев — отмены феодальной структуры землевладения трудно переоценить. Без учета социально-экономических и правовых последствий этого акта трудно объяснить исчезновение английского крестьянства как класса в столетие, следовавшее за революцией. По признанию современного историка профессора Х. Перкина, это была решающая перемена в истории Англии, сделавшая ее отличной от истории континента: ею были обусловлены все другие особенности в социальной истории Англии второй половины XVII — первой половины XVIII века.

В пользу тех же общественных слоев осуществлялась и финансовая политика парламента. Финансирование гражданской войны потребовало от парламента чрезвычайных мер. Прежде всего был объявлен секвестр владений всех более или менее состоятельных роялистов, доходы с которых (ренды, файны) шли в казну. Что же касается владений так называемых делинквентов — активных участников в войне на стороне короля, то они были конфискованы и пущены в продажу. Много земель было продано самими роялистами, чтобы уплатить тяжелые штрафы, так называемые импозиции. Таких набралось более 3 тыс., выплативших специально созданному для этой цели парламентскому комитету около 1,5 млн ф. ст. Помимо этого были конфискованы владения и дохо-

ды короны и церкви (их общая стоимость составила 4 млн ф. ст.).

Однако распродажа такого огромного фонда земель, оказавшихся во власти парламента, не привела в Англии к аграрной революции, следствием которой было бы увеличение численности мелких владельцев за счет крупных. И это по той причине, что здесь крупные владения не дробились на части, приобретение которых, к тому же на льготных условиях, было бы под силу малоимущим. Иначе говоря, и после массовых распродаж конфискованных земель делинквентов, а вскоре также короны и церкви структура английского землевладения сохранялась почти прежней, дореволюционной. Лендлордизм оставался его наиболее характерной чертой.

Проще говоря, в среде крупных землевладельцев произошла крупная передвижка — новые лендлорды главным образом из числа кредиторов парламента и вообще денежных людей городов, и прежде всего Лондона, а также оказавшихся на стороне парламента состоятельных джентри. «Не забыли» себя и члены парламента, и их протеже в столице и на местах.

И тем не менее никаких доходов парламенту не хватало для покрытия военных расходов. Этим вызвано было введение чрезвычайных налогов (в частности, так называемого помесячного обложения). Однако и они расходовались таким образом, что богатые недоплачивали, а бедные переплачивали. Достаточно упомянуть в этой связи и так называемый акциз — своего рода пошлину, которая взималась дополнительно к цене при покупке целого ряда товаров, включая и ряд предметов первой необходимости (пиво, мясо, соль, мыло и др.). Естественно, что основная тяжесть акциза падала на широкие народные массы.

Но что же дала победа парламента этим низам? Если иметь в виду материальные условия их жизни, их социальный статус и публично признанное полноправие, ответ может быть однозначным: ровным счетом ничего. Взять, к примеру, копигольдеров — львиную долю английского крестьянства как класса, мечтавших о превращении их держаний в вечнонаследственное, защищенное в праве от «воли» лордов маноров (т. е. в приближении или даже формальном превращении во фригольд), то тем же ордономсом, который отменил рыцарское держание, недвусмысленно декларировалось сохранение их прежнего положения. Это значило, что они были фактически выданы с головой их лендлордам, их юридическое и фактическое

положение значительно ухудшилось в связи со сменой в результате распродажи конфискованных парламентом земель делинквентов. Новые владельцы сплошь и рядом не желали считаться с обычаем, ранее господствовавшим в этих владениях. Уплатив за них наличными, новые лорды вели себя как полноправные собственники приобретенных владений, считая себя вправе диктовать держателям свои условия, или пусть они «убираются» с их земель. Недаром, как заметил современник, держатели, жившие на землях, в прошлом принадлежавших короне и церкви, испытывают к тем, кто купил их, столь сильную ненависть, на какую только способны люди, ибо эти покупщики являются повсюду величайшими тиранами, какими только могут быть люди, лишив бедных держателей всех прежних облегчений\* и свобод, какими они пользовались при старых владельцах.

Наконец, те роялисты, которые согласились «выкупить» у парламента свои владения, уплатив так называемые импозиции, перекладывали всю тяжесть этих платежей на плечи своих держателей, и снова-таки прежде всего на тех, кого общее право фактически не защищало, — на копигольдеров и мелких лизгольдеров, не говоря уже о держателях, срок пребывания которых на земле манора измерялся только «терпением» лорда.

С победой парламента прекратило свое действие тюдоровское законодательство против огораживаний, которому в 20-х годах был придан в фискальных целях новый импульс. И хотя крестьянское сопротивление огораживателям также повсеместно усилилось, процесс огораживания общинных земель продолжался, в особенности в конфискованных владениях, распроданных парламентом «с молотка».

Гражданская война разорила многих мелких крестьян и ремесленников, пополнивших ряды нищих. К ним прибавились многочисленные семьи, лишившиеся кормильцев, погибших на полях сражений или получивших увечья. В связи с этим в парламент поступило множество петиций. Однако в национальном масштабе ничего не предпринималось для этого обширнейшего слоя населения. Отныне вся «забота о своих» бедных стала делом только приходов, которые в 9 случаях из 10 отказывали

---

\* Хотя и не следует, как это делает автор этих строк, преувеличивать прежние «облегчения» и «свободы», но несомненным фактом являлось повсеместное ухудшение положения копигольдеров и мелких лизгольдеров на землях, на которых сменились владельцы.

в «помощи по бедности» и одиноким, и целым семьям — чаще всего под тем предлогом, что они «пришельцы», а не уроженцы этих мест.

Итак, победа парламента в гражданской войне не открыла массам обездоленных доступа к земле. Решительно ничего не менялось в публично-правовом положении низов. По-прежнему избирательным правом при выборах парламента пользовались в деревне только фригольдеры с годовым доходом 40 шилл., а в городе — узкий круг полноправных городских корпораций (фрименов), в других случаях — плательщики налогов.

Следовательно, широкие массы городских низов, т. е.  $\frac{9}{10}$  населения страны, оставались за рамками официально признанного «народа Англии», т. е. представленного в парламенте. Точно так же неизменной оставалась система правосудия и судопроизводства с ее дороговизной, подкупом и волокитой, равно как и полностью архаизированная система права, до крайности запутанная и к тому же фиксированная на чуждом народу языке — на латыни.

Однако, обманув ожидания широких демократических низов, парламент при этом не учел одного — революция пробудила их от политической летаргии. Одной из предпосылок этого процесса являлась резко усилившаяся горизонтальная (территориальная) мобильность населения. Походы и долговременное расквартирование парламентских сил, набранных по преимуществу на юге и востоке страны, в северных и западных графствах, содействовали широкому распространению идей, носителями которых являлись народные проповедники, одетые в солдатские мундиры. К тому же фактически восторжествовавшая в ходе войны веротерпимость дала возможность ранее нелегально существовавшим народным сектам открыто проповедовать учения.

О том, какова была социальная по преимуществу направленность этих учений, свидетельствует гонитель радикальных сект Томас Эдвардс в памфлете под красноречивым названием «Гангрена» (1646 г.). Среди прочих ересей и богохульства, исповедуемых радикальными сектами, была и такая: «По рождению все люди равны и равным образом обладают прирожденным правом на собственность, вольности и свободу» \*.

Неудивительно, что радикальные секты стали для

---

\* Под «вольностями» современники революции понимали изъятия, облегчения, привилегии.

народных низов, в том числе для рядовых и младших офицеров армии «нового образца», школой политического просвещения и формулирования протеста против порядка сущего и идеалов о должном.

С окончанием первой гражданской войны в стране существовало четыре более или менее организованных общественных силы: парламент, Сити и народные низы, представленные в двух движениях — армии и так называемых гражданских левеллеров. С точки зрения религиозной первые «партии» воплощали по преимуществу пресвитерианское крыло, последние две — крыло индипендентское. Однако парадокс заключался в том, что водораздел между этими «партиями» был весьма подвижным. Так, имелись пресвитериане среди индипендентов, поскольку они стояли за сохранение организованной в национальном масштабе церкви, многие из индипендентов выступали за олигархическое устройство церковных общин и допускали существование национально организованной церкви, т. е. оказывались на деле пресвитерианами. В результате, оставаясь на почве религиозных расхождений в лагере революции, можно лишь утверждать, что индипенденты в отличие от пресвитериан допускали бóльшую степень веротерпимости (разумеется, в рамках христианства). Однако этой констатации недостаточно для понимания политической ситуации в стране после военной победы над королем. На самом деле индипендентство было в социально-классовом отношении еще более неоднородным. Наряду со средним и мелким джентри к этому крылу революции принадлежали народные низы — в составе армии и за ее пределами. В отличие от первых, так называемых шелковых индипендентов (или «грандов»), последние в религиозном плане выступали за полную вероисповедную независимость\* демократическим образом управляемых церковных общин, а в политическом плане — за продолжение революции, с тем чтобы углубить демократическое содержание ее свершений.

В борьбе за эти цели на этом новом этапе революции, когда в самом индипендентском ее лагере произошел раскол, в основе которого лежали различия социально-классовых устремлений, революционная инициатива перешла к народным низам. Выразителями интересов этих последних выступали левеллеры (уравнители), с одной

---

\* Точнее, всякая форма объединения церковных общин с этой точки зрения могла принимать только добровольные формы, т. е. заведомо исключала всякую принудительность и подчиненность.

стороны, и находившиеся, по крайней мере с весны 1647 года, под их влиянием рядовые и низшие чины в армии — с другой.

Итак, для пресвитериан к концу 1646 г. революция была уже по сути завершена. Если бы только король согласился сохранить за парламентом контроль над милицией хотя бы на три года и не возражал против пресвитерианского церковного устройства, то дельцы Сити готовы были бы устроить ему самую торжественную встречу при въезде в столицу. При этом, естественно, подразумевалось, что в основе официальной политической доктрины останется идея изначального верховенства парламента, которому совместно с королем («король в парламенте») принадлежит суверенная власть в стране, и идея, согласно которой благодаря «народному избранию» парламент единственно правомочен говорить от имени «английского народа». Иными словами, непреложным должно было оставаться требование политического строя *по типу конституционной монархии*. Очевидно, что второе из перечисленных требований было направлено не столько против короля, сколько против угроз слеза — попыток противопоставить парламенту какую-либо выработанную «внепарламентским путем» от имени народа политическую программу нового государственного устройства.

В социально-политическом плане и для «шелковых индипендентов» революция была также в основном завершена. И для них Долгий парламент являлся единственным органом, правомочным декларировать интересы «английского народа». То же, что их еще дополнительно волновало, касалось, во-первых, степени веротерпимости, которая будет допущена после признания королем пресвитерианства в качестве государственной церкви, и, во-вторых, гарантии алиби для участников гражданской войны на стороне парламента.

Одним словом, если оставить в стороне честолюбие верхушки индипендентски настроенного командного состава армии во главе с Оливером Кромвелем, то расхождения этого крыла индипендентов с пресвитерианским большинством в парламенте отнюдь не были принципиальными и непреодолимыми. Истинный водораздел в лагере революции на этом ее этапе проходил между пресвитерианами и грандами, с одной стороны, и более радикально настроенным крылом индипендентов в армии, а за ее пределами — левеллерами, выразившими устремления городских, по преимуществу мелких самостоятельных тружеников, — с другой. *Именно они оказались в*



сложившихся условиях наиболее адекватными выразителями недовольства в народных низах социально-политическими результатами революции\*.

Уже в октябре 1645 г. Лильберн в памфлете «Оправдание прирожденного права Англии» обрушился на произвол парламента, прибегавшего к тем же методам «управления», какими в прошлом пользовался король (аресты без предъявления обвинения, принудительный набор в армию, произвольные обложения и т. п.). Все это возможно, утверждал Лильберн, только потому; что отсутствует кодификация действующего общего права. В качестве преграды произволу парламента выдвигалась идея, ставшая одной из ведущих в программе левеллеров, — необходимость фиксирования основных прав граждан, которые являются их естественными и «прирожденными» правами и поэтому стоят выше по отношению к любой власти в стране. К лету 1646 г. сложились основные конституционные требования левеллеров. В документе, названном «Ремонстрация многих тысяч граждан» (июнь 1646 г.), содержалась уже развернутая программа демократического этапа революции:

- 1) уничтожение власти короля и палаты лордов;
- 2) верховенство власти общин;
- 3) ответственность этой палаты перед своими избирателями — народом Англии;
- 4) ежегодные выборы в парламент;
- 5) неограниченная свобода совести;
- 6) конституционные гарантии против злоупотребления государственной властью путем фиксирования «прирожденных» прав граждан, которые неотчуждаемы и абсолютны. «Мы ваши принципалы, — провозглашали авторы петиции, обращаясь к палате общин, — вы — наши уполномоченные». Этим провозглашалась доктрина, согласно которой *суверенитет принадлежит народу*, являющемуся источником всякой законной власти в ней. Власть, которой пользуется парламент, не только временно «делегирована» ему, но и строго ограничена рамками прирожденных прав граждан, являющихся неотчуждаемыми и неподвластными ему. «Свободнорожденные» — таков круг людей, которых левеллеры наделяли этими неотъемлемыми правами. Тем самым отрицались не только феодальные привилегии «по рождению», но и пресвитери-

---

\* Левеллер Л. Кларксон сам писал в 1647 г.: «Ибо кто же являются угнетателями, если не знать и джентри, и кто являются угнетенными, если не йомен, арендатор, ремесленник и наемный работник?»

анское понимание «народа». Один из руководителей левеллеров, Р. Овертон, бросил призыв: «Да не будет величайший в стране более почитаем, чем дворники, сапожники, лудильщики и трубочисты — все они являются свободнорожденными» \*.

Мы не можем здесь входить в подробности конфликта между армией и парламентом, возникшего весной 1647 г. на почве стремления последнего избавиться от ее угрозы своему полновластию, распустив бóльшую ее часть по домам, а меньшую направив в Ирландию на подавление восстания. Заметим только, что в ходе этого конфликта в армии возникло своего рода «двоевластие»: избранных рядовыми и младшими чинами уполномоченных, так называемых агитаторов, с одной стороны, и офицерской верхушки во главе с Кромвелем — с другой. Созданный по инициативе последнего так называемый Армейский совет (включавший «агитаторов» и офицеров) с целью свести на нет влияние в армии первых стал на время и политическим противовесом пресвитерианскому большинству в парламенте и вместе с тем орудием «умерить» радикальные стремления в рядах армии \*\*. С этой же целью 28 октября 1647 г. и был созван Совет армии в Пэтни. К этому времени были разработаны две программы будущего политического устройства страны, противостоящие, хотя и в различной степени, замыслам пресвитериан, «шелковых индипендентов» («Главы предложений») и левеллеров («Дело армии»), легшие в основу так называемого «Народного соглашения».

Принципиальное различие между ними заключалось в том, что первые не мыслили себе политического строя

---

\* После публикации исследования К. Макферсона «Политическая теория собственнического индивидуализма» («The Political Theory of Possessive Individualism») (1982 г.) в историографии развернулась дискуссия по вопросу о границах круга людей, которые, по мнению левеллеров, должны были быть признаны правомочными участвовать в парламентских выборах. Думается, что следует согласиться с теми ее участниками, которые полагают, что левеллеры склонялись, не без колебаний, к тому, чтобы из этого круга мужчины (о женщинах вообще речи не было) исключить тех, кто потеряли состояние «свободнорожденных», либо по бедности, либо как находящиеся в услужении за плату и живущие под крышей своего «благодетеля».

\*\* Возникновение в армии демократической организации в лице «агитаторов» вдохновило народные низы Лондона в графствах на серию петиций с требованиями уничтожить десятину, фанны копигольдеров и ограды, возведенные на общинных землях, что, по мнению современника событий Клемента Уокера, означало требование разрушить монархию, ибо «не может какой-либо государь быть королем только нищих лудильщиков и сапожников».

страны без короля и палаты лордов. И в этом отношении устремления офицерской верхушки мало чем отличались от планов пресвитериан. Сохранение основ традиционной конституции предусматривалось и в вопросе об избирательном праве. Помимо некоторого перераспределения парламентских мандатов пропорционально населению графств и корпоративных городов вся избирательная система оставалась прежней.

В отличие от «Глав предложений» левеллерское «Народное соглашение» являлось в тех условиях программой намного более демократического политического устройства страны, поскольку в число «свободнорожденных» был включен обширный слой мелких самостоятельных тружеников города и деревни. В противовес монархизму «шелковых индипендентов», не говоря уже о пресвитерианах, левеллеры на конференции в Пэтни отстаивали по существу *республиканский строй* с однопалатным парламентом в качестве верховного органа власти при наличии законодательно фиксируемых «неотчуждаемых» прав граждан в качестве гарантии от произвола власти, делегированной парламенту.

Важно отметить, что отдельные ораторы от имени левеллеров отстаивали принцип *всеобщего избирательного права для мужчин*. Так, полковник Рейнсборо, во всяком случае на заседаниях Совета армии в Пэтни, отстаивал именно этот принцип: «И беднейший человек в Англии должен прожить жизнь так же, как и самый состоятельный, и поэтому... каждый человек, который должен подчиняться правительству, должен прежде по собственному согласию поставить себя под власть этого правительства». Такой же точки зрения придерживался и левеллер Петти \*. Если даже учесть, что более умеренные идеологи левеллеров, Лильберн и Уайльдман, придерживались более узкого толкования понятия «свободнорожденный», то и в этом случае проведение в жизнь «Народного соглашения» означало бы *удвоение числа лиц, обладавших избирательным правом*, в сравнении с существовавшим.

---

\* В центре историографических трудностей, связанных с вопросом о трактовке левеллерами термина «свободнорожденный», стоит, несомненно, неясность социального положения лиц, которых называли «слугами», а именно: призывали ли они включать в их число всех получавших заработную плату, т. е. наемных рабочих, или только «слуг» в собственном смысле слова, т. е. находившихся в услужении у другого лица. Представляется, что из возможных толкований ближе к истине второе.

Как показали последующие события, само согласие «шелковых индипендентов» на обсуждение «Народного соглашения» на заседании Армейского совета — программы, встретившей широкую поддержку среди рядовых армии, — было бы всего лишь тактической уловкой, к которой прибегли с целью предотвратить опасность отказа армии в повиновении.

На этом этапе революции левеллеры выступили глашатаями республиканизма, основанного на принципах народовластия (пусть и в ограниченном условиях времени понимания его), и тем самым указали путь к углублению демократического содержания революции. Эта историческая роль левеллеров подтверждена была второй гражданской войной, вспыхнувшей весной 1648 г. Если заговору против революции (в нем участвовали король, бежавший из плена на остров Уайт, и шотландцы), поддержанному роялистскими мятежами в самой Англии, удалось нанести быстрое и сокрушительное поражение, то только благодаря левоблокистской тактике «шелковых индипендентов», вступивших в вынужденный союз с левеллерами в целях борьбы против общего врага.

Победа армии парламента во второй гражданской войне сделала неизбежными не только чистку парламента, продолжавшего за спиной армии торг с королем, от наиболее враждебных армии пресвитериан (так называемая Прайдова чистка), но и организацию суда и казни Карла I Стюарта. Его вероломство в сочетании с реставрационными замыслами пресвитериан требовало решительных действий. И снова в этот критический момент революции только поддержка левеллеров (в обмен на обещание положить «Народное соглашение» в основу нового государства) обеспечила «шелковым индипендентам» победу.

## Республика 1648 года

Казнь Карла I, уничтожение палаты лордов и установление в Англии республики\* — последние вынужденные шаги «шелковых индипендентов», сделанные под прямым давлением народных низов, чаяния которых были широко представлены в армии, а также в движении гражданских левеллеров в Лондоне и во многих графствах. На этом революционность буржуазно-

---

\* Характерно, что слово «республика» так и не было употреблено в соответствующем акте. Вместо него фигурировал термин «commonwealth», т. е. государство общего блага.

дворянского блока, осуществлявшего гегемонию в революции, была полностью исчерпана. Уступив давлению снизу в условиях, когда вероломство Карла I и его «несговорчивость» исключили возможность возвращения его на трон, «гранды», захватившие в свои руки политическую инициативу, сделали все, чтобы эта республика на деле скорее являлась «монархией без короля», нежели даже отдаленно напоминала бы государственное устройство, представленное в «Народном соглашении». В самом деле, от того, что «охвостье» \* Долгого парламента присвоило себе законодательную власть, а образованному из его же среды Государственному совету была передана власть исполнительная, ничего по сути не менялось ни в социальной политике, ни в отправлении правосудия, ни, наконец, в избирательной системе, посредством которой должен был быть избран новый парламента. Переданный в парламента «отредактированный» офицерами вариант «Народного соглашения» был положен под сукно и полностью забыт. Левеллеры не без основания обвиняли офицерскую верхушку в «сознательном обмане», в том, что, «укравав» у них идею республики, они сделали все, чтобы она служила прикрытием тирании олигархии. Однако в самой возможности подобной «подмены» обнаружались не только изворотливость и вероломство «шелковых индипендентов», но и организационная слабость, политическая незрелость и ограниченность программы левеллеров.

В самом деле, поскольку последняя оставляла нетронутой систему лендлордизма, она не могла привести к массовому движению на почве аграрного вопроса. В этом заключалась основная слабость движения левеллеров. В то же время сама кличка «уравнители», не без умысла данная этой партии ее врагами, настораживала и отталкивала от них средние слои города. В результате, когда в мае 1649 г. против индипендентской республики восстали несколько армейских частей, за ними не последовало открытого выступления ни в деревне, ни в городах. Неудивительно, что солдатское восстание было сравнительно легко подавлено Кромвелем \*\*.

---

\* Так называли оставшуюся после прайдовой чистки часть членов парламента, продолжавших заседать в палате общин.

\*\* Помимо светских форм более или менее организованно выраженное недовольство народных низов режимом индипендентской республики достаточно широко проявлялось и в религиозной форме — в радикальных сектах. Среди них широкое распространение приобрела секта рантеров — последователей доктрины о всеобщем спасении уверовавших в Христа. Следствием этой доктрины было убеждение в том, что

Одним словом, политически незрелая мелкобуржуазная демократия, олицетворявшаяся движением левеллеров, оказалась неспособной вырвать гегемонию в революции из рук буржуазно-дворянского блока.

Еще менее на это было способно плебейство, чаяния которого на вершине революции выразили истинные уравниатели. В отличие от левеллеров политических, усматривавших цель революции в установлении публичного полноправия для всех свободнорожденных безотносительно к их имущественному положению, истинные уравниатели выдвинули программу коренного социального переустройства общества, в котором уничтожение монархии означало бы прежде всего уничтожение власти лендлордов над землей, к которой получили бы свободный доступ все желающие кормиться плодами рук своих. Очевидно, что такое понимание полноправия не только в принципе отличалось от левеллерского, но и наиболее глубоко и предметно разоблачало монархическую суть декларированной на словах Республики.

Движение истинных уравниателей было легко подавлено уже в силу его мирного характера. Однако торжествующая Республика подписала сама себе смертный приговор: оттолкнув от себя народные низы, она лишилась опоры широких масс, вызвавших ее к жизни. Не выполнив ни одного из требований демократической программы (облегчение налогового бремени, отмена церковной десятины, реформа правосудия, кодификация права, облегчение положения обезземеленных), Республика посвятила свои силы внешней экспансии — завоеванию Ирландии и Шотландии. Конфискация двух третей земельной собственности ирландских «мятежников» послужила источником обогащения кредиторов парламента, офицерской верхушки, армейских поставщиков и спекулянтов \*. В

---

удостоившийся божьей благодати не может сотворить греха, следовательно, неподсуден в своих поступках человеческому суду. Нет сомнения, что в этом открытом отрицании рантерами «человеческих законов» выливался протест народных низов против социальной несправедливости этих законов и властей, стоящих на их страже. Действительно, угроза, исходившая от рантеров, заключалась не в их «распущенности», как уверяли их гонители, а в проповеди общности имущества. Так, проповедник Эбнезер Копп писал: «Истинная общность веры среди людей заключается в общности всех вещей, не называя то, чем кто-либо владеет, своей собственностью».

\* Что же касается рядовых и младших чинов, которым вместо уплаты задолженности вручали «свидетельства» на получение наделов земли в Ирландии, то большинство из них продали их по дешевке по большей части своим же офицерам, так как помимо всего прочего они не обладали средствами для обзаведения здесь хозяйством.

итоге система лендлордизма, господствовавшая в Англии, получила подкрепление в лице новоявленных ирландских лендлордов. Недаром Маркс заметил, что «Английская республика разбилась об Ирландию».

Точно так же у Республики 1649 года оказалось достаточно сил, чтобы предпринять военную экспедицию против Шотландии, признавшей своим королем сына казненного Карла I Карла II и тем самым ставшей непосредственной угрозой реставрации монархии в самой Англии. Военные силы Республики во главе с Оливером Кромвелем в двух военных кампаниях 1650 и 1651 годов нанесли армии Шотландии сокрушительное поражение (в битвах при Денбаре и Вустере), в результате которого Шотландия, так же как и Ирландия, была присоединена к Англии. И хотя здесь вслед за этим не последовали сколько-нибудь массовые конфискации, тем не менее установленный режим оккупации был довольно тяжелым.

Весьма противоречивой оказалась политика Республики и в отношении внешнеполитических запросов капиталистического уклада хозяйства. Два навигационных акта (1650 и 1651 гг.), разрешавшие заход в английские порты только судам, снаряженным командами тех стран, в которых данные товары либо произрастают, либо производятся, преследовали цель подорвать монополию Голландии на доставку товаров чужеземного (не голландского) происхождения. Эти акты привели к первой англо-голландской войне 1652—1654 годов.

С другой стороны, военная экспедиция в испанские владения в Центральной Америке вызвала разорительную войну с Испанией, наносившей тяжелый ущерб английской заморской торговле.

К осени 1651 года минуло 11 лет с момента избрания Долгого парламента. Между тем оставшееся от него «охвостье» (в среднем заседания палаты посещали менее 100 ее членов) явно не торопилось ни с самороспуском, ни с установлением предельного срока своих заседаний. Только в 1651 г. такая дата была установлена — 3 ноября 1654 г. Несмотря на огромные суммы, собиравшиеся посредством налогов (субсидий, акциза, пошлин), их не хватало для оплаты расходов на ведение военных кампаний, на содержание постоянных армий и флота. Ненадолго хватило для покрытия государственной задолженности сумм, вырученных от продажи коронных владений, движимости и доходов от земель, сданных короной в вечнонаследственную аренду, земель кафедральных соборов

и, наконец, новой волны конфискации и распродажи земель делинквентов\*.

Не сдвигалась с места реформа действующего права, на которой настаивал Кромвель. Когда же стало очевидным, что «охвостье» готовит такой избирательный закон, которым обеспечивалось возвращение его членов в новый парламент, его час пробил. 20 апреля 1652 г. Кромвель в сопровождении военного отряда явился в парламент и распустил его своей властью. Одновременно был распущен и Государственный совет. Его функции взял на себя совет офицеров, пополненный гражданскими членами. Его «декларация» от 22 апреля 1653 г. гласила: «После долгих дебатов было решено, что верховная власть (в стране) должна принадлежать парламенту, состоящему из известных лиц, людей богобоязненных и проверенной честности».

В июле собрался так называемый парламент святых (или «малый парламент» — около 140 человек), члены которого были либо названы высшими офицерами, либо делегированы церковными общинами. Однако вместо глубоко ограниченных реформ, которые допускались Государственным (точнее, офицерским) советом, приверженцы секты «пятой монархии», находившиеся в значительном числе в этом собрании, полагали, что с целью достойной подготовки «царства Христова»\*\* Англия нуждается в реформах более глубоких, в чем, несомненно, отражались все еще достаточно распространенные и живучие демократические чаяния низов. Так, наряду с предложением об уничтожении Канцлерского суда (Верховного суда по гражданским делам) фигурировал билль об отмене церковной десятины (о замене ее другими источниками содержания клириков).

До тех пор, пока парламент занимался вопросом о замене церковного брака гражданским или планировал судебную реформу, его еще терпели, но, когда он замахнулся на церковную десятину, около половины которой уже являлось «собственностью» манориальных лордов (так называемых светских имpropriаторов), терпению

---

\* Как установлено новыми исследованиями, эти земли были, как правило, выкуплены через подставных лиц прежними владельцами, тем более что цены на них были ниже рыночных.

\*\* Согласно этой доктрине, Англия оказалась на пороге пришествия Спасителя — Иисуса Христа, который установит в стране «тысячелетнее царство; в нем он будет править вместе со святыми». Эта «монархия» являлась по счету пятой после крушения «четырех» предшествующих, включая римскую.



офицерской верхушки пришел конец. Не без ее «совета» умеренное большинство «малого парламента» 12 января 1654 г. явилось к Кромвелю и сложило свои полномочия. Отказавшееся покинуть палату меньшинство членов парламента (около 27 человек) выдворили оттуда подоспевшие мушкетеры.

Уже через четыре дня была готова новая конституция страны, устанавливавшая в Англии *режим протектората*. История протектората будет достаточно подробно освещена ниже, поскольку биография Кромвеля между 1654 и 1658 гг. (годом его кончины) составляет ее наиболее важные и драматические страницы.

Здесь же остается заключить, что режим протектората, вызванный к жизни в значительной степени необходимостью военного противостояния опасности реставрации, своей ярко выраженной классово эгоистической политикой, исключительно в интересах собственнических классов, объективно готовил реставрацию на английском престоле легитимной монархии Стюартов. Это случилось вскоре после смерти Оливера Кромвеля — 25 мая 1660 г.

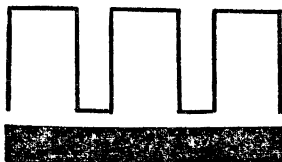
Внешне могло казаться (и до сих пор некоторым историкам еще продолжает казаться), что революция 40-х годов прошла бесследно: восстановлена была не только монархия, но и палата лордов, вся система центрального управления, за исключением так называемых судов прерогативы, англиканская (епископальная) церковь. На самом же деле более вдумчивые исследователи уже давно утвердились во мнении, что *революция середины XVII века* знаменовала начало новой исторической эпохи, что лишь с позиции ее исторического опыта и ее, пусть временных по видимости, завоеваний возможна научная трактовка не только истории Англии в столетие, последовавшее за ней, но и истории стран Европы в целом. Это в равной степени истинно, будем ли мы рассматривать сферу экономики или сферу политики, сферу идей или сферу науки, сферу литературы или сферу искусства.

Одним словом, нет ни одной области истории Европы вообще и истории Англии в частности, через которую революция середины XVII века не провела бы глубокую борозду, знаменующую начало новой эпохи всемирной истории.

Часть II

# ПОРТРЕТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ РЕВОЛЮЦИИ





## Глава VII

# Оливер Кромвель — Робеспьер и Наполеон Английской революции

Среди исторических деятелей прошлого, возглавлявших народы в революционные и героические периоды их истории, одни оказывались в этой роли в силу того, что задолго до этого своей деятельностью всячески подготавливали и облегчали их наступление, другие же, наоборот, были только в такие моменты «призваны» на эту роль историей и ведомы ею от одного акта драмы к другому в качестве ее глашатаев и наиболее действенных инструментов в решении назревших задач.

К деятелям второго типа и принадлежал Оливер Кромвель. В самом деле, казалось бы, решительно ничто в его биографии рачительного сельского сквайра вплоть до начала гражданской войны не свидетельствовало о скрывавшихся в нем талантах выдающегося полководца и искусного политика и даже после ее начала не предвещало, на какую историческую высоту его вознесет волна революционных событий. Впоследствии, когда жизнь Кромвеля уже клонилась к закату, а слава его достигла общеевропейского зенита, он сам объяснит случившееся — по обыкновению истых пуритан того времени — «волей всевышнего», сравнив себя с человеком, ведомым «по темной тропе провидением».

Ибо кем же он был до этого? И мы услышим в ответ: «Я был по рождению джентльменом и жил хотя не в очень высоких кругах, но и не в полной неизвестности». И следует признать, что вряд ли можно было более точно охарактеризовать не только родовое, но и общественное положение сквайра более чем скромного достатка одного из среднеанглийских графств, погруженного в круговорот ординарных хозяйственных забот и с общественно-политическими интересами, едва ли выходившими за пределы родного графства. Именно это обстоятельство ставило в тупик и его современников, и будущих биографов: каким же образом ему, уже миновавшему свое сорокалетие, удалось столь неожиданно и негаданно вписать немеркнущую главу в историю страны, стать на десятилетие олицетворением и вершителем ее судеб? Так или прибли-

зительно так действительно допытывались и выражали свое недоумение близко наблюдавшие его взлет составители мемуаров и вслед за ними читавшие их историки последующих времен.

И все же история народа лишена мистики, если она в каждый подлинно критический момент находит нужный тип деятеля, способного наиболее адекватно схватывать, выражать и решать задачи этого времени, — таково неперенное условие «отбора исторического». Остается только заметить, что в данном случае речь идет о типе деятелей, которые поначалу как бы выталкивались снизу на арену истории, а не о тех, кто коварством и палачеством навязывает себя ей.

Итак, если истинно утверждение, что необыкновенное время само формирует и выдвигает нужный ему тип воплощающей его личности, то столь же очевидно, что такая личность только по видимости появляется «вдруг» из небытия. На самом же деле она должна обладать пусть скрытыми от мира интеллектуальными, психологическими и волевыми способностями, позволяющими ей при стечении соответствующих обстоятельств проявить свое историческое призвание.

Присмотримся поэтому поближе к Оливеру Кромвелю: не обнаруживалось ли в нем в годы растянувшегося на большую половину его жизни «ожидания», в пору его безвестности, нечто такое в характере, умонастроении и социальном поведении, что выделяло его определенным образом из среды окружавших его и погруженных в словесную рутину провинциальных джентри?

Самое парадоксальное в биографии Кромвеля не только в его стремительном взлете на политическую вершину страны, в результате чего его личная судьба слилась воедино с судьбой великой социальной революции, с судьбой народа Англии. Не менее парадоксальной выглядела цепь его «превращений» из «штурмовавшего небо» революционера начала 40-х годов XVII века в консервативного и, более того, в контрреволюционного диктатора 50-х годов; из организатора свержения монархии, суда и казни «коронованного тирана» Карла I — в лорда-протектора Англии, готового было возложить на себя английскую корону и основать новую династию взамен низложенной.

Стоит ли удивляться тому, что современники, наблюдавшие за этими превращениями, чаще всего считали Кромвеля «бесстыдным лицемером» и «великим обманщиком», «учеником Макиавелли», будто бы изначально

замысливавшим то, чем завершил свою карьеру, — установление своей диктатуры.

Итак, как же совместились в Кромвеле роли, сыгранные им в ходе Английской революции середины XVII века, роли столь несовместимые, что во Франции в конце XVIII века их разделили между собой Робеспьер и Наполеон? Каким образом защитник приверженцев радикальных религиозных и политических учений и устремлений в рядах его армии в ходе гражданской войны превратился после ее завершения в их самого непримиримого врага и беспощадного гонителя?

Ответить на эти нелегкие вопросы мы попытаемся, опираясь сперва на то, как сам Кромвель «объяснял» все происходившее с ним и со страной в бурные годы революционных перемен, и затем — на объективный анализ хода тех же событий.

### Сельский сквайр

(Оливер Кромвель родился 25 апреля 1599 г. в Гентингдоне — центре одноименного графства, в унылом провинциальном городке с населением в 1000—1200 человек, монотонная жизнь которого оживлялась только событиями на рыночной площади и большими недельными ярмарками. Это был типичный уголок сельской Англии, где хозяйственные заботы земельных держателей и арендаторов, земледельцев и скотоводов, ремесленников и лавочников, равно как и их благочестие и нравственность, все еще прямо или косвенно контролировались местными джентльменами — лендлордами и клиром.

Род Кромвелей укоренился в качестве представителей местной элиты со времени Реформации и последовавших за нею закрытия монастырей и конфискаций их имуществ в пользу короны. Прадед Оливера, Ричард Уильямс, предпочел родовому имени фамилию своего дяди Томаса Кромвеля, могущественного временщика при короле Генрихе VIII, прозванного «молотом монахов», и небескорыстно. В качестве его агента, проводившего монастырскую диссолюцию в названном графстве, Ричард при этом и себя не забывал. В его руках оказались три аббатства, два приорства и владения женского монастыря в Хинчинбруке — всего недвижимости с годовой стоимостью (доходом) в 2500 ф. ст. Неудивительно, что он удостоился руки и сердца дочери лорда-мэра Лондона. Сын Ричарда, сэр Генри, прозванный Золотым рыцарем, построил на

руинах монастыря Хинчинбрука роскошный дворец. Впрочем, его сын, сэр Оливер, сумел в короткое время пустить по ветру фамильное состояние (столь льстивший его тщеславию один только прием короля Якова I обошелся ему во много сот фунтов стерлингов). Как и следовало ожидать, он вскоре должен был продать Хинчинбрук.

Отец героя нашего повествования Роберт был младшим сыном в семье сэра Генри и, как предписывало действующее право, получил в наследство только малую долю отцовских владений. Его годовой доход составлял около 300 ф. ст., что для джентльмена с известным положением в графстве (о чем свидетельствуют занимавшиеся им в разное время должности мирового судьи, бейлифа города Гентингдона) было совсем немного. Этими обстоятельствами были, вероятно, обусловлены две черты в характере Оливера Кромвеля: во-первых, непреклонная приверженность Реформации, которой род его был обязан своим благополучием, и ненависть к католикам-папистам, этому благополучию угрожавшим\*; во-вторых, убеждение в своей «бедности», далекое от истинного положения вещей в годы его юности и совсем уже карикатурное в годы его зрелости. Это сознание, ущемлявшее его самолюбие в пору его детства, особенно обострялось, когда он сравнивал роскошь, царившую во дворце его дяди в Хинчинбруке, и быт родного дома, в котором помимо его самого росло еще шесть его сестер. Не этим ли сознанием объяснялись, с одной стороны, «резкость» и «вспыльчивость» его природы, о которых гласила молва, а с другой — определенная неприязнь к чванливой знати, проявлявшаяся в случаях явной несправедливости и произвола, чинившихся ею по отношению к слабому и беззащитному.

{ В целом мало что известно о детстве и юношеских годах Оливера. Впрочем, почему окружающие должны были быть более внимательны к нему, чем к множеству других дворянских недорослей? Только позднее вспоминали, что в родительском доме Кромвеля царили атмосфера пуританского благочестия с его этическим идеалом «воздержания», «мирского призвания», т. е. делового практицизма, убеждение, что «каждый поступок на виду у господ», и отношение к делу, как к молитве. Тон в семье задавала мать Оливера — Элизабет Стюард. Строгим

---

\* Поскольку восстановление в стране католицизма повлекло бы за собой восстановление монастырей и возвращение им конфискованных владений.

пуританином был и школьный учитель Оливера Томас Бирд, получивший известность своей книгой «Театр божественных воздаяний» (1597 г.). Для него все сущее воплощало борьбу между богом и дьяволом, в которой «святые», т. е. пуритане, сражаются на стороне бога и поэтому они уверены в победе. Из уст и писаний пуританина Бирда Оливер Кромвель должен был получить и самые первые начатки политического сознания: «Добрые государи были очень редки во все времена»; «Даже величайшие и наиболее могущественные из них не избавлены от карающей десницы всевышнего — они, как и простые смертные, подчинены гражданскому закону». Исторические события Бирд рассматривал как проявления божественного промысла, они суть благое воздаяние одним и карающее воздаяние другим.

Подобные исходы человеческих начинаний Кромвель, вслед за своим школьным учителем, неоднократно назовет в будущем «знаком провидения», и, в частности, только ему он будет приписывать успехи дела парламента, и прежде всего свои собственные — военные и политические. В целом нет сомнения, что теология и провиденциальная концепция истории Бирда явились походным багажом, взятым Кромвелем в далекую дорогу жизни, духовным снаряжением, служившим ему, и словесным щитом и мечом во всех столкновениях в лагере парламента с теми, кто оказывался на его пути, по которому, в чем он был убежден, небо призвало следовать «своих верных» и «избранных», т. е. прежде всего его самого.

В 1616 году Кромвель стал студентом наиболее пуританского среди колледжей Кембриджа — Сидней-Сассекс-колледжа, в котором проучился только год. Из преподававшихся в нем предметов его больше других привлекали математика и история. Однако, по сохранившимся свидетельствам, он за книгами сидел не очень прилежно, а с неизмеримо большим увлечением занимался верховой ездой, плаванием, охотой, стрельбой из лука и фехтованием. Одним словом, Оливер, по всей видимости, был гораздо чаще предметом зависти своих сверстников в спорте, чем в науке заслуживал похвалу наставников.

Весть о смерти отца летом 1617 г. вынудила Оливера оставить университет и вернуться домой, чтобы помочь матери вести хозяйство, ведь он был единственным мужчиной в семье, состоявшей из семи женщин.

Из университета Кромвель вынес сохранившееся на всю жизнь преклонение перед светскими науками, и в частности особый интерес к истории. Так, рекомендуя

впоследствии своему сыну Ричарду «Всемирную историю» У. Рэли, он писал ему: «Эта книга содержит связанное изложение истории, и она будет тебе гораздо полезнее, чем отдельные исторические отрывки». В родном доме он на этот раз прожил два года, выказав себя, на удивление соседям, весьма рачительным и способным сельским хозяином.

В 1619 г. Оливер отправился в Лондон изучать право. И в этом шаге не было ничего удивительного: сельский сквайр с его хозяйственными делами и публичными обязанностями как вероятный мировой судья или член парламента от родного графства нуждался в знании хотя бы азов так называемого общего права. Однако в каком юридическом подворье он учился и как осваивал эту науку, осталось навсегда тайной. Известно только то, что двадцатилетний Оливер в августе 1620 г. женился на старшей дочери богатого лондонского торговца мехами и вскоре вернулся с нею в родной Гентингдон. Так началось двадцатилетие в жизни Кромвеля, в течение которого заботы сельского сквайра и отца многодетного семейства \* (в течение одиннадцати лет его жена Элизабет родила ему семерых детей, шестеро из них — 4 сына и 2 дочери — выжили) почти целиком поглотили бурлящую и искавшую выхода энергию Кромвеля.

Единственным событием в эти долгие годы ожидания им «призыва судьбы» — событием, проливающим свет на скрывавшиеся в нем потенции общественного служения, а главное — на его отношение к растущим абсолютистским притязаниям Карла I Стюарта и действиям властей на местах, — было его участие в конфликте горожан Гентингдона с правящей кликой в общинном совете. Щедро оплаченная ею Новая городская хартия, полученная от Карла I, отменяла ежегодные выборы членов совета и тем самым расширяла возможности для проявления произвола олигархии на одном полюсе \*\* и в то же время заглушала голоса протеста, раздававшиеся на таких собрани-

---

\* Судя по всему, Оливер Кромвель был не только заботливым отцом — его нежная привязанность к детям хорошо известна, но и любящим мужем. Тридцать лет спустя после вступления в брак он писал жене, по-видимому жаловавшейся на одиночество: «Ты дорожишь мне, чем какое-либо другое существо».

\*\* Новая хартия вместо двух бейлифов и 24 членов общинного совета, свободно выбираемых ежегодно, передавала управление городом 12 олдерменам, избранным пожизненно, и мэру, ежегодно избираемому самими олдерменами. Это был типичный образец олигархического переворота в городской общине.



ях, — на другом. Помимо этого Новая хартия сделала еще более бесконтрольным распоряжение упомянутой олигархией общинными землями города. Во главе возмущенных этими нововведениями горожан Гентингдона оказался в 1630 г. Оливер Кромвель, публично обрушившийся на поддерживаемый короной и местной знатью общинный совет. За свои «позорные и непристойные» речи он был вызван в Лондон и предстал перед лордом-хранителем печати. Только «признание» Кромвеля в том, что он «беспричинно» и «необоснованно» «погорячился», обеспечило ему «прощение».

Для понимания того, на чьей стороне был готов оказаться Кромвель в нараставшем конфликте нового дворянства, типичным представителем которого он являлся, с режимом Стюартов, важны, разумеется, не исход этого дела, не «повинное» слово Кромвеля, произнесенное в палате лорда-хранителя, а его позиция не только в волнениях, разыгравшихся на улицах родного города, но и в конфликтах общенационального характера. В этой связи заслуживает внимания тот факт, что в 1628 г. Кромвель был избран членом парламента от Гентингдона, того самого парламента, который принял знаменитую «Петицию о праве» и был вскоре распущен Карлом I.

Обращает на себя внимание и то, что первая фиксированная речь Кромвеля в качестве члена парламента была посвящена защите пуританских воззрений его учителя Томаса Бирда, подвергшегося гонению со стороны прелатов англиканской церкви за обличение пригревшегося при дворе паписта. И еще одна характерная деталь: когда 2 марта 1629 г. король распорядился прервать заседания парламента, среди слушников королевской воли был и Оливер Кромвель. После первого, более чем эпизодического его появления на сцене национальной истории он, вернувшись к своим обыденным занятиям сквайра, снова и надолго исчез с нее, чтобы, казалось, никогда больше на нее не вернуться. И можно не сомневаться в том, что именно это и случилось бы, если бы правление короля без парламента утвердилось надолго. С 1630 по 1636 год наступил самый тяжелый период в жизни Кромвеля. Сознывая, что его поражение в столкновении с олигархией Гентингдона положило конец его публичному восхождению в этом графстве, он принимает нелегкое решение. В мае 1630 г. он продает все, чем владел в родном городе, и переезжает с семьей в Сен-Айвс, в соседний Кембриджшир, где он оказался в явно приниженном положении: вместо прежнего статуса фригольдера ему здесь пришлось

довольствоваться лишь положением арендатора чужой земли. Одновременно остро сказались и финансовые трудности (молва объясняет их экстравагантностями его молодости). По слухам, в это время Кромвель серьезно подумывал об эмиграции в североамериканскую колонию Новую Англию, являвшуюся прибежищем для многих истых пуритан, подвергавшихся гонениям на родине или просто не приемлевших господствовавших в стране порядков. В дополнение ко всему он вторично оказался в конфликте с королевской волей; на этот раз — за отказ приобрести, за плату разумеется, рыцарское звание, повлекший за собой штраф в 10 ф. ст. Очевидно, как и в нашумевшем вскоре деле Гемпдена, речь шла не о денежной стороне этого требования, а о принципе. Кромвель хорошо помнил школу парламента 1628—1629 гг. — сопротивляться всеми силами попыткам короны пополнить казну в обход парламента.

Наступила полоса тяжелого духовного кризиса Кромвеля. Наблюдавшие его в ту пору врачи отмечали: «крайняя меланхолия», «ипохондрия». Сам же Кромвель это свое состояние позднее определит как «обращение», «духовное возрождение», т. е. кальвинистскими понятиями, в которых выражалось обретение человеком после долгих и мучительных, доходивших нередко до отчаяния сомнений уверенности в принадлежности к «избранным», «спасенным», «святым». Отныне Кромвель, как уже отмечалось, все свои действия будет объяснять «волей божьей», а их исход — «божественным провидением». Позднее сам Кромвель об этом религиозном опыте писал: «Будь благословенно имя Его за свет, проникший в столь темное сердце, как мое. Вы знаете, какой образ жизни я вел. О, я жил во тьме и любил тьму, я ненавидел свет. Я был главным (грешником), главой грешников». Отныне Кромвель осознал себя «ратником божьим», т. е. свою принадлежность к оппозиции единовластию Карла I.

Современный английский исследователь Кристофер Хилл остроумно заметил, что время «духовного возрождения» Кромвеля удивительным образом совпало с одним немаловажным, но сугубо земным событием в его жизни. В 1636 г. умер его дядя Томас Стюард, завещавший ему весьма значительное состояние. Кромвель переехал в Или, став сразу одним из наиболее видных сквайров в округе.

Итак, если в плане имущественном Кромвель принадлежал теперь к *верхней прослойке среднего провинциального джентри*, то мировоззренчески он олицетворял

радикальное течение пуританизма в плане религиозном и приверженца оппозиции абсолютизму — в плане политическом. Мучительный духовный кризис остался позади. Переполюнявшее его теперь ощущение «просветления», «возрождения к новой жизни» выражало лишь полностью созревшее в нем убеждение в том, что отныне «дело» парламента слилось для него с «делом божьим», которому противостоят «нечестивые» советники и слуги короля.

Сказать, что Кромвель в определении сути этого противостояния каждый раз оказывался лишь представителем нового дворянства — класса, к которому он принадлежал по рождению, по положению, по мироощущению, было бы только трюизмом. Если бы слова и поступки Кромвеля диктовались только этой заданностью, то можно с уверенностью предположить, что наш герой никогда не стал бы историческим Кромвелем. Последнее же случилось именно в силу того, что он конфессионально был гораздо последовательнее и радикальнее ординарного пуританина, а политически мыслил гораздо шире ординарного лендлорда, т. е. во имя интересов тех и других он был способен моментами подниматься на высоту интересов общенародных, общенациональных.

Однако, прежде чем для него открылась дорога на высоты подобной политики, он проявил эту свою способность в конфликте, хотя на первый взгляд и сугубо местном, но более чем характерном. Так, когда компания осушителей болот лишила жителей в прилегающей к его владениям округе общинных прав, которыми они пользовались искони, Кромвель затеял против нее судебную тяжбу. Как уже было отмечено выше, больше всего при этом страдали малоземельные и безземельные слои сельского населения, для которых эти права служили важным подспорьем их деревенского существования. Так, мы узнаем, что «мистер Кромвель из Или, собирая с каждого по одному пенни за корову, которую тот содержит на общинных землях, затеял против осушителей тяжбу в суде, рассчитанную на пять лет; тем временем жители должны пользоваться каждой пядью своих угодий». Когда же в дело вмешался король, взявшись лично содействовать завершению начатого осушения этих земель, Оливер снова оказался главным слушателем его воли. Так, королю доносили: «Его (т. е. Кромвеля) специально избрали те, кто всегда стремится подорвать королевскую власть, в качестве своего заступника в Гентингдоне перед королевскими уполномоченными по делу осушения в противовес достославным намерениям его величества».

Конфликт этот так и не был разрешен вплоть до начала революции. Отметим только эту особенность Кромвеля — политика, способного во имя интересов своего сословия открыто встать на сторону тех, чьи социальные чаяния и действия в иной политической ситуации вряд ли завоевали бы его симпатии и были им поддержаны.

Нет поэтому ничего удивительного в том, что, когда король Карл I распорядился в 1640 г. созвать парламент, известный в истории под названием «Короткий» (он заседал всего три недели), Кромвель оказался одним из двух членов палаты общин, представлявших в ней Кембридж. Это же повторилось осенью того же года в результате выборов в новый парламент, которому суждено было стать Долгим (он просуществовал вплоть до 1652 г.).

В этот момент открылась новая и поистине удивительная страница в биографии Кромвеля, как, впрочем, и в истории Англии в целом. Но прежде чем мы окунемся в ее содержание, бросим беглый взгляд на ту, с которой мы расстаемся.

Человек, обладавший мясистым и обветренным лицом сельского жителя, резким и скрипучим голосом, кипучей энергией и не всегда сдерживаемым темпераментом, Оливер Кромвель принадлежал к дворянскому роду, восходящему не бог весть как далеко в прошлое. Как и множество подобных ему фамилий, составлявших так называемое новое дворянство, он был обязан своим возвышением Реформации и связанной с нею монастырской диссольюции. Принадлежность к младшей ветви этого рода и обусловленный этим обстоятельством скромный достаток Кромвеля до поры до времени компенсировались питавшим его честолюбие богатством и влиянием старшей ветви. Однако после разорения его богатого дяди — старого Оливера и даже после получения им неожиданно наследства ему грозила полная историческая безвестность провинциального джентльмена, если бы его религиозные и политические убеждения, с одной стороны, и события, развернувшиеся в Лондоне после созыва Долгого парламента, — с другой, не открыли бы выхода его столь долго остававшимся скрытыми талантам полководца и политика, поразившим вскоре Европу. Их открыла Великая революция.

Когда, отказавшись от рыцарского звания, джентльмен из Кембриджшира Оливер Кромвель поздней осенью 1640 г. вошел в палату общин, он отнюдь не был тем неотесанным, деревенским сквайром, тем типичным заднескамеечником, каким его рисуют враждебно к нему настроенные современники и некоторые следующие за ними позднейшие его биографы. Вот каким его, например, запечатлел роялист и придворный Карла I сэр Филипп Уорик: «Однажды утром я вошел в палату... и увидел говорившего джентльмена, которого не знал. Он был очень скромно одет, в простой суконный костюм, сшитый, по всей видимости, плохим деревенским портным, его белье было из простого полотна и не очень чистым... лицо его было одутловатое и красное, голос — резкий и неприятный, но его речь была полна пыла...»

Но те, кто судил о Кромвеле не по покрою костюма и не по тому, как повязана лента на шляпе, а по характеру и силе его убеждений, с самого начала прозревали в нем в высшей степени ценные умственные и волевые качества. Так, на вопрос, кто такой этот «неряшливый сэр», один из признанных лидеров оппозиции, Джон Гемпден, ответил: «Этот неряшливый человек, которого видите перед нами, лишенный красноречия... если мы не дай бог дойдем до разрыва с королем... в этом случае будет одним из величайших людей в Англии». Это предсказание \* Гемпдена на деле основывалось на опыте прошлых лет, в течение которых Кромвель своими столкновениями с королем в Гентингдоне и Кембридже и, что не менее показательное, отказом принять рыцарское звание, равно как и платить «корабельные деньги», доказал свою приверженность делу парламента. Но кроме всего прочего в среде руководящей прослойки в палате общин Кромвель был хорошо известен и в личном плане. Он приходился кузеном Гемпдену, Сент-Джонсу, Уоллеру, Гэммондам и ряду других ее деятелей. В Долгом парламенте у него насчитывалось 11 кузенов и 6 более далеких родственников. Таким образом, это был тесно сплоченный не только

---

\* Вполне вероятно, что перед нами образец «предсказания» задним числом. Оно могло быть порождено военными успехами Кромвеля в гражданской войне, но было «опрокинуто» назад — ко времени, предшествовавшему разрыву парламента с королем. Впрочем, Гемпден, как близкий родственник Кромвеля, мог здраво судить о его дарованиях.

политическим единомыслием, но и родственными узами круг ведущих членов Долгого парламента. К нему принадлежал и Оливер Кромвель.

Хотя в седле Кромвель, по-видимому, чувствовал себя гораздо лучше, чем в роли парламентского оратора, и шпагой владел явно искуснее, чем словом, тем не менее остается только поразиться его энергии парламентского деятеля. Не без умысла лидеров оппозиции, и прежде всего Джона Пима, его назначали членом многочисленных парламентских комитетов, а в палате общин поощрялись его выступления по самым острым вопросам политической борьбы. Проиллюстрируем на ряде примеров характер политической деятельности Кромвеля в парламенте в этот «мирный» (конституционный) период революции.

В тот день, когда сэр Филипп впервые увидел в палате общин незнакомца — «плохо одетого» сельского джентльмена — и услышал его столь неблагозвучную, «скрипучую» речь, Кромвель поднялся с места, чтобы привлечь внимание присутствующих к судьбе лондонского торгового ученика Джона Лильберна, в будущем его непримиримого противника, заточенного по приговору Звездной палаты в тюрьму (на срок, «какой королю заблагорассудится») за распространение крамольных пуританских памфлетов. И если для столь пылкой речи Кромвеля повод, по мнению Уорика, был слишком ничтожным, то заточению Лильберна он «придал столь важное значение, что можно было подумать, что ... в большой опасности оказалось само государство». В его глазах дело Лильберна действительно приобретало государственную важность, так как символизировало, до каких пределов доходили в период правления Карла I без парламента произвол и жестокость лондонских властей, и прежде всего в преследовании пуритан.

Если мы вспомним, на какой почве возвысился и строил свое благополучие род Кромвелей, то не удивимся тому, что вопросы религии являлись столь «чувствительными» в мировосприятии Оливера Кромвеля и что столь острой и непримиримой была его вражда к церковным порядкам, насаждавшимся архиепископом Лодом. Так, Кромвель активно поддерживал жалобы против известного гонителя пуритан епископа Мэтью Врена, он также играл активную роль в выработке и внесении на рассмотрение парламента знаменитого билля «О корнях и ветвях», требовавшего упразднения епископата и «всего, что к нему относится» и установления правильного управления церковью, «в согласии со словом божьим».

Именно Кромвелем была успешно проведена резолюция, разрешавшая прихожанам любого прихода выбирать проповедника по своему усмотрению. Наконец, в связи с достигшими Лондона известиями о поднятом в католической Ирландии мятеже против английского владычества Кромвель активно побуждал палату лордов дать согласие на создание экспедиционного корпуса для отправки его против мятежников. С началом сбора средств для этой цели по подписке Кромвель подписался на 500 ф. ст., получив взамен обещание предоставить ему 1000 акров земли в отвоеванной стране. Хотя билль вносил сэр Эдуард Деринг, но передан он был ему для этой цели Кромвелем и сэром Генри Вэном-младшим.

Точно так же не без антироялистского умысла Кромвель продолжал в качестве члена парламента защиту общинников, ставших жертвами узурпаций, чинившихся осушителями болот. В частности, он выступил на стороне общинников виллы Сомерсхэм, близ Сент-Айвса, разрушивших изгороди, возведенные вокруг 1000 акров в прошлом общинной земли и проданной затем графу Манчестеру.

Как уже отмечалось, известие о восстании в Ирландии круто изменило политическую ситуацию в Лондоне. Опасность вторжения армии католиков-мятежников в Англию еще более обострила здесь антикатолические настроения. В то же время сбор средств на снаряжение военной экспедиции для подавления мятежа поставил в повестку дня вопрос: кто будет осуществлять контроль над нею? Если поручить ее королю, то не исключено, что это войско будет использовано для усмирения не Ирландии, а взбунтовавшегося парламента в Лондоне.

Из этих страхов в парламенте родился исторически важный документ, известный под названием «Великая ремонстрация». В ней, как мы уже знаем, содержались всеобъемлющий перечень злоупотреблений королевской власти в годы так называемого беспарламентского правления (1629—1640) и требования, сводившиеся в конечном счете к тому, чтобы король избавился от «порочных советников» и заменил их теми, кого одобрит парламент\*.

После острейших дебатов, длившихся непрерывно 15 часов, в ночь с 22 на 23 ноября «Великая ремонстрация» была принята большинством всего лишь в 11 голосов

---

\* Характерно, что статья 32 «Ремонстрации», гласившая: «Большое количество общинных земель и отдельных участков было отобрано у подданных без их согласия и вопреки им», была внесена Кромвелем.

(159— «за», 148— «против»). Во время голосования был момент, когда члены палаты общин взяли за шпаги. Уже на рассвете, расходясь по домам, Кромвель будто бы сказал своему соседу знаменитую фразу: «Если бы «Ре-монстрация» была отвергнута, я на следующее же утро продал бы все, чем владею, и больше никогда не увидел бы Англии», т. е. навсегда покинул бы ее.

В эту ночь с былым единодушием в палате было покончено. Изначально умеренно настроенные реформаторы постепенно, по мере радикализации ее намерений, переходили на сторону короля. Примером подобной эволюции может служить Эдуард Гайд, в будущем граф Кларендон.

«Никакая Реформация не стоит тягот гражданской войны», — писал он впоследствии. Ему вторил поэт Эндрю Марвелл: «...дело (парламента) было чрезмерно благим, чтобы из-за него понадобилось сражаться». Такие члены парламента, как Эдмунд Ледлоу или Ричард Бакстер, были потрясены тем, что находились люди, «готовые сражаться против короля».

В обстановке все более глубокого размежевания сил в парламенте и в стране Карл I покинул отказавшую ему в повиновении столицу и отправился на север страны, где надеялся найти поддержку все еще влиятельных феодальных лордов и шотландцев. Вслед за ним Лондон покинули  $\frac{4}{5}$  состава палаты лордов и около половины членов палаты общин.

Англия оказалась на пороге гражданской войны. Ее близость напугала одних, охладила пыл других. И в этот критический момент среди немногих наиболее стойких защитников завоеваний конституционного периода революции Кромвель оказался наиболее деятельным, причем не только в парламенте, но и за его стенами — в графствах, где происходило размежевание сил. И это не потому, что он стремился поскорее пустить в ход свое искусство меча, а в силу того, что яснее других понимал неизбежность гражданской войны и делал все от него зависящее, чтобы парламент не был застигнут событиями врасплох.

Активность Кромвеля после отъезда короля на север было бы точнее назвать уже военно-политической. В эти месяцы весны и лета 1642 г. Кромвель обнаружил завидную энергию. В качестве члена многочисленных парламентских комитетов он рассматривал массу дел, выполняя многократные поручения палаты общин — передать лордам послания и обращения, — миссии, требо-



вавшие помимо всего прочего и таланта убеждения слушателей.

В преддверии открытого военного столкновения оба лагеря — король и парламент — собирали силы и средства, состязались в привлечении на свою сторону территориальной милиции отдельных графств, городов, крепостей, арсеналов и флота. Кромвеля тревожили степень верности парламенту лорда-мэра Лондона, готовность гарнизона Тауэра. В январе 1642 г., также по его предложению, был создан комитет, в задачу которого входило рассмотрение вопроса о готовности страны к обороне. 12 июля было принято постановление о создании армии «для безопасности личности короля и защиты королевств». Командующим ее назначался граф Эссекс. По инициативе Кромвеля общины потребовали от корпорации оружейных дел мастеров еженедельных сведений о том, сколько мушкетов и другого оружия, а также седлами было произведено и кем они были куплены. Как член парламента от Кембриджа, Кромвель по собственной инициативе предпринял шаги с целью помешать королю завладеть столовым серебром, хранившимся в колледжах города. Вооружив на собственные средства два отряда волонтеров и расположив их в городе, он стал дожидаться развития событий. Когда же стало известно, что эти драгоценности подготовлены для отправки королю, Кромвель этому помешал и взял их под свою охрану. В результате король лишился драгоценностей на сумму в 20 тыс. ф. ст.

Получить представление о том, какое место занимал Кромвель в делах Долгого парламента еще задолго до начала гражданской войны, нам поможет одно свидетельство: когда в парламент поступила петиция из Монмаута, содержащая жалобу на его опасную близость к ирландскому мятежу и на угрозу, которую в этих условиях представляют католики-рекюзанты, в приложенном к ней меморандуме значилось: «Послать мистеру Кромвелю». О том, как остро реагировал Кромвель на подобную ситуацию, было хорошо известно в кругу лидеров парламента.

И тем не менее сельский сквайр Оливер Кромвель стал историческим Кромвелем прежде всего не на ниве парламентского красноречия и не в ухищрениях дипломатии, а на полях военных сражений в ходе гражданской войны. Кромвель-генерал сперва затмил в нем талант политика как будто только для того, чтобы затем, когда шпага уже была вложена в ножны, он проявил такие грани политиче-

ского искусства, которые повергли в изумление современных ему и искусственных политиков внутри и вне Англии.

Итак, 22 августа 1642 г. Карл I поднял свой штандарт в Ноттингеме, что означало официальное объявление войны парламенту в Лондоне, а 29 августа Оливер Кромвель приступил к формированию отряда кавалерии на рыночной площади Гентингдона. При всей очевидной несопоставимости и несоизмеримости этих двух событий — государственного акта именем суверена-короля и совершенно незначительного и сугубо частного начинания провинциального сквайра в маленьком Гентингдоне — они тем не менее символизировали характер общественных сил, которым вскоре предстояло столкнуться в открытом бою. Поистине настал звездный час для столь долго дожидавшегося проявления военного дарования Кромвеля-полководца. Впрочем, как и для абсолютного большинства начинавших эту войну, в особенности на стороне парламента, капитанами и полковниками, не говоря уже о младших чинах и рядовых, само понятие «война» было для его поколения только чем-то воображаемым понаслышке\*. Не только простолюдины, но и дворяне, выступавшие на стороне парламента, на первых порах восполняли отсутствие военного опыта либо искренним воодушевлением, проистекавшим из сознания важности и, если угодно, святости конечной цели, во имя которой они взялись за оружие, либо энтузиазмом показным, при первой же неудаче легко переходящим в неверие и отчаяние, либо, наконец, принуждением властей, заставлявших сражаться сплошь и рядом тех, кто явно этого не желал. Не будет преувеличением сказать, что с самого начала гражданской войны Кромвель был по своим политическим убеждениям наиболее подготовленным к ее ведению и среди членов парламента.

Что же касается принципов ее ведения, то, как мы вскоре убедимся, он был ближе всего к идее народной революционной войны — войны бескомпромиссной, рассчитанной на скорую и полную победу над врагом. Недаром Кларендон приписывал ему следующие слова, обращенные к солдатам, которых он наставлял: «Если

---

\* За исключением оставшихся к этому времени в живых ветеранов — участников войны против Испании на стороне Голландии и буквально считанных участников Тридцатилетней войны. Среди них на стороне парламента остались граф Эссекс, сэр Томас Ферфакс, Александр Лесли, Филипп Скиппон, Джордж Монк и др.

случится, что король лично окажется во вражеском строю, которого он (т. е. Кромвель) должен атаковать, то он разрядит в него свой пистолет, как в любого другого частного лица. И если им (т. е. солдатам) совесть не позволила бы поступить подобным же образом, то он советует им не... находиться под его командованием».

Последовавшие вскоре военные успехи Кромвеля поражали воображение современников и позднейших историков: ведь они принадлежали человеку, полностью лишенному военного опыта не то что командующего, а рядового солдата. Между тем речь должна идти об успехах в деле ведения не обычной, а революционной войны, каноны которой формируются прежде всего в сфере убеждений. И здесь Кромвель, как мы видели, прошел основательную школу первого, конституционного этапа революции. Именно это обстоятельство упускают из виду военные историки революции середины XVII века. Хотя роль Кромвеля в первой крупной битве гражданской войны при Эджилле (23 октября 1642 г.), закончившейся, как известно, упущенной парламентским генералом Эсексом победой, остается неясной, зато нет сомнений в том, что именно он извлек из неудач парламента в начальный период гражданской войны наиболее глубокие военные и политические уроки.

Если в военном отношении эти неудачи убедили Кромвеля в том, что без сильной кавалерии парламент никогда не одержит победы над роялистами, сила которых заключалась прежде всего в кавалерии, то, вероятнее всего, более важными по своему характеру были извлеченные им из нее политические уроки. Парламенту нужны не солдаты-наемники, равнодушные к делу, за которое сражались, вышедшие из подчинения и превращавшиеся в банды грабителей, а солдаты, дравшиеся по убеждению, придающему им смелость и стойкость. «Ваши (парламентские) силы,— говорил он в те дни Гемпдену,— по большей части состоят из старых, дряхлых военных служаков и пьяниц... а их (т. е. королевские) — из сыновей джентльменов, младших сыновей и почтенных людей. Неужели вы думаете, что души этих низких и подлых людей когда-либо будут в состоянии померяться силами с джентльменами, обладающими честью, мужеством и решимостью... Вы должны набрать людей такого духа, который заставил бы их вести себя по-джентльменски, в противном случае, я уверен, вас опять разобьют».

И хотя Кромвель преувеличивал «честь» и «мужество» джентльменов, сражавшихся под королевским зна-

менем, в его словах было много правды. Она заключалась в том, что качествам воинов, воспитанных в понятиях феодальной чести, Кромвель противопоставил воодушевление воинов, идущих в бой за правое дело, высшим, образным выражением которого для них являлось «дело божье». И он знал, где их можно найти. В поисках таких «божьих людей» Кромвель обратился в графства Восточной Англии, являвшиеся одним из оплотов Долгого парламента. Вскоре после начала гражданской войны они наподобие других региональных объединений, созданных по постановлению парламента с целью координировать военные силы, составили так называемую Восточную ассоциацию.

Дело в том, что в графствах Восточной Англии многочисленнее всего была прослойка свободолюбивых йоменов-фригольдеров, слывших в свое время наиболее рьяными приверженцами Реформации, а при первых Стюартах — очагом пуританизма. Помимо усилий по подавлению происков роялистов в этих графствах Кромвель разыскивал здесь «людей духа» — «божьих ратников» — для пополнения своего кавалерийского отряда, который вскоре превратился в кавалерийский полк. О принципах их отбора проповедник Ричард Бакстер писал: «Он особенно заботился о наборе в свой отряд религиозных людей (т. е. пуритан. — М.Б.). Эти люди обладали бóльшим пониманием, чем обычные солдаты, и поэтому больше представляли важность и последствия войны. Они воевали не ради денег, а во имя того, что считали своей целью, — общественного блага». Здесь, однако, подмечена лишь одна сторона содержания понятия «люди духа (веры)» применительно к начавшейся в стране гражданской войне, другая его сторона вскрывается в связи с понятием «Реформация». Дело в том, что в эти годы словом «Reformation» обозначалось не только требование завершить дело реформации церкви, но и *стремление к общественно-политическим преобразованиям*. И хотя Кромвель, как и его многочисленные кузены в Долгом парламенте, хотел бы в ту пору ограничиться только признанием за контролируемым джентри парламентом права «советовать» королю направление внутренней и внешней политики, вместе с тем он, может быть единственный среди них, столь отчетливо сознавал, что эта цель, попросту говоря, недостижима, если не привести в движение те социальные силы «простонародья», которые связывали с войной против роялистов тайные мечты о радикальных изменениях не только в политических, но

и в социальных распорядках страны. Трудно даже сказать, скольких изначальных сторонников конституционных реформ из среды знати подобного рода только прозреваемая в те дни угроза политического пробуждения народных низов оттолкнула от дела парламента и привела в лагерь роялистов.

Так, сэр Джон Хотэм, воевавший вначале на стороне парламента и затем переметнувшийся к роялистам, высказал опасение: если война продлится, «нуждающийся народ всего королевства немедленно восстанет в большом числе» и в конечном счете «забудется о себе, к полному разорению знати и джентри». Вместе с тем было бы ошибочно полагать, что Кромвель, как это воочию раскрылось на другом этапе революции, не сознавал угрозу, исходящую от взявшихся за оружие народных низов, и прежде всего нерушимости того «распределения собственности и свободы», на котором основывалось господство его класса. Но как человек, который последовательно решал каждую задачу только по мере ее назревания, он и в этом случае ставил на первое место угрозу военной победы короля и поэтому до тех пор, пока именно эта угроза существовала как прямая и непосредственная, он полностью пренебрегал угрозой более отдаленной. Именно поэтому он широко открыл доступ в свою кавалерию тем, от кого она потенциально исходила, если только они в данный момент по убеждению стремились к военной победе над «кавалерами», причем доступ не только в рядовой состав, но и на офицерские посты. Приведем характерный пример.

В июне 1643 г. уже упоминавшийся Джон Хотэм жаловался на то, что «полковник Кромвель предпочел ему анабаптиста и что некий капитан Уайт... был в недавнем прошлом йоменом». Если помнить, что анабаптистами в этой стране, как правило, именовали людей, чьи чаяния угрожали существующему строю собственности, то соединение этого стигмата с указанием на «низкое» сословное положение капитана откроет нам примечательный факт: насколько политически шире в ту пору мыслил сквайр Кромвель, по убеждению которого критическое военнополитическое положение парламента не только требовало на время отказа от дворянской спеси, но и, более того, заставляло его предпочитать не щадящего свою жизнь за дело парламента простолюдина и сражавшегося по убеждению религиозного радикала бездарному джентльмену, к тому же и воевавшему с оглядкой «на возможные нежелательные последствия» этой войны.

В 1645 г. граф Манчестер повторил обвинение Хотэма почти в аналогичных словах. Кромвель, жаловался он, предпочитает «не тех, кто являлись профессиональными солдатами, и людей с положением, а тех, кто принадлежит к простым людям, бедным и низкого рода, величая их только божьими и драгоценными людьми». Таким образом, граф Манчестер выразил недовольство той части титулованной знати, которая, хотя и скрепя сердце, воевала на стороне парламента, не могла мириться с «порочной» военной политикой Кромвеля, пренебрегавшего во имя военной победы парламента в гражданской войне сословным положением человека, политикой предпочтения убеждения родовитости, принципа, практиковавшегося в полку Кромвеля, а затем в знаменитой армии «нового образца». В этой связи и передают слова Кромвеля: «божье дело» могут совершить только «божьи люди». Разумеется, для дворян, которым сословная гордыня представлялась едва ли не важнее конечной цели ведомой парламентом гражданской войны, капитан, вчера еще загружавший телегу навозом, был более нестерпим, чем все прегрешения «высокородного», сражавшегося под знаменем короля.

То обстоятельство, что джентльмен Кромвель, поступившись сословными предубеждениями, осуществлял в ходе этой войны *подлинно революционную политику в армии* — этом главным инструменте буржуазного переворота в этой стране, позволяет оценить не только его политическую дальновидность, но и человеческое мужество. Так, когда власти графства Сэффолк возразили против того, чтобы некий Ральф Марджери, сформировавший отряд кавалерии, оставался его капитаном, поскольку он-де не дворянин, Кромвель ответил: «Я предпочел бы иметь капитана, одетого в грубошерстный кафтан, но знающего, за что он сражался, и любящего то, что сознает, тому, кого вы называете джентльменом и кто больше ничего из себя не представляет. Я почитаю джентльмена, который таким на деле является. Если вы выберете божьих и честных людей на должность капитанов кавалерии, честные люди за ними последуют». Таким образом, готовясь к ведению *революционной войны*, Кромвель постепенно создавал основанную на соответствовавших ей принципах военную силу, состоявшую не только из набранного им самим полка кавалерии, но и из разрозненных по графствам, кавалерийских по преимуществу отрядов, формировавшихся, как правило, по инициативе простолюдинов. В 1643 г. в ответ на инсинуации

роялистов, будто парламентское войско состоит в большинстве из анабаптистов и атеистов, Кромвель еще считал нужным отрицать их истинность, характеризуя свои отряды: «Они не анабаптисты, а честные и рассудительные христиане» — и добавляя, что его солдаты в свою очередь ожидают, что с ними будут обращаться по-человечески.

Тем самым, отгораживаясь от столь одиозных, в глазах имущих, приверженцев «разрушительных» устремлений «сектантов», он в то же время высоко ценил их в качестве солдат. Неудивительно, что по мере приближения решающих сражений с кавалерами Кромвель сделал по сути последний мыслимый для джентльмена его времени шаг в декларировании способов и принципов ведения революционной войны, какой для него являлась гражданская война. Так, когда в январе 1644 года, уже в чине генерал-лейтенанта (заместителя командующего) армии Восточной ассоциации, он узнал о действиях генерал-майора Крауфорда, уволившего из армии подполковника под тем предлогом, что тот — анабаптист, Кромвель писал: «Допустим, что он им является, делает ли это его неспособным служить обществу?.. Сэр, государство, выбирая людей на службу себе, не принимает во внимание их (частные) мнения, если они желают преданно служить ему — этого достаточно».

Согласимся, Кромвель достиг широты взглядов, просто невысказанных для ординарных представителей его сословия в ординарное время того века. И хотя, как станет ясно из последующего, это была широта лишь тактическая, временная, обусловленная требованиями момента и в конечном счете отражавшая военные интересы все того же буржуазно-дворянского блока, тем не менее согласимся, что даже для этого требовался и ум недюжинный, и воля несокрушимая. Что же удивительного в том, что за год с небольшим открытых военных действий между королем и парламентом Кромвель, не имевший до этого понятия об искусстве ведения регулярной войны, проделал путь от капитана кавалерийского отряда до генерал-лейтенанта армии Восточной ассоциации, формально воевавшей под началом графа Манчестера. Быстрота, с которой он открывал для себя и овладевал законами ведения революционной войны, поражала воображение современников именно потому, что они не учли решающего факта — Кромвель почти с самого начала разгадал ее глубочайшую тайну: победоносной эта война могла стать, только превратившись в войну народную.

Сохранилось много свидетельств, с какой неутомимостью Кромвель заботился о содержании своих войск. Вот одно из них — письмо, адресованное Оливеру Сент-Джону в Лондон: «Из всех людей я меньше всего желал бы беспокоить Вас по денежным делам, если бы тяжелое положение моих отрядов не побуждало меня к этому. Я теперь готов выступить против врага, который... осадил город (Гуль). Многие отряды лорда Манчестера прибывают ко мне в очень плохом и мятежном состоянии... Наличных средств совершенно недостаточно для их содержания. Мои отряды растут... Из 3 тыс. ф. ст., выделенных мне, я не могу получить часть, причитающуюся с графств Норфок и Гертфорд... Я прошу не для самого себя. Мои личные средства крайне незначительны, чтобы помочь моим солдатам. Мое имущество незначительно. Я надеюсь на господина. Я готов пожертвовать своей шкурой, так же как и мои солдаты. Положитесь на их терпение, но не злоупотребляйте им».

Получил ли Кромвель испрашиваемые деньги или нет, но в ближайшую неделю он выступил во главе 5000 кавалерии и пехоты для освобождения Ферфакса, осажденного в Гулле. Военный долг в его отрядах ценился превыше всего. О личном же мужестве Кромвеля красноречиво свидетельствует следующий эпизод в битве при Уинсби в октябре 1643 г. Кромвель командовал кавалерией; во время атаки под ним была убита лошадь, Кромвель упал, но быстро встал на ноги, однако падающая лошадь снова его повалила... Когда же он снова поднялся, ему подвели запасного коня, и он нашел в себе силы быстро вскочить в седло. Враг не выдержал атаки и бежал с поля боя.

Личное мужество Кромвеля, его убежденность в правоте дела парламента, постоянно именовавшегося в его речах «делом божьим», его отношение к солдатам как к «ратникам господина», воздавая им по заслугам, — все это заслужило ему огромную популярность во всей армии. Вот как о Кромвеле тех дней отзывался шотландец Бейли: «Человек этот — мудрая и деятельная голова, всеобщий любимец, как истово верующий и отважный. Зная его как известного индипендента, большинство солдат, любящих новые пути\*, поступают к нему на службу».

---

\* Под понятие «новые пути» современники Кромвеля подводили во всех областях жизни, и прежде всего в отправлении религиозного культа, нечто не традиционное, предписанное, а свободно творимое. Соединение этого понятия с индипендентством указывало на отказ от принудительного в национальном масштабе единообразия в церковных делах.



Однако политика Кромвеля, возглавившего в ходе гражданской войны индипендентское крыло в лагере парламента и стремившегося к скорой и убедительной военной победе над королем, встречала активное сопротивление со стороны пресвитериан, т. е. «умеренных», главным образом титулованных дворян и крупного купечества, которые не только не стремились к военной победе, но и откровенно пугались подобного исхода гражданской войны. Эту тенденцию в армии ярко воплотила и военная тактика графа Эссекса, неоднократно уклонявшегося от возможной победы над силами короля, равно как и нарочитая пассивность, которую проявлял главнокомандующий армией Восточной ассоциации граф Манчестер; в самом же парламенте ее выражала «партия» пресвитериан (которой принадлежало большинство в палате общин), предпочитавшая с самого начала гражданской войны переговоры с королем сражениям с ним.

Давно назревавший конфликт между пресвитерианами и индипендентами — главными выразителями указанных противоборствовавших военно-политических тенденций в армии и парламенте — прорвался наружу после битвы при Марстон-Муре (2 июля 1644 г.). Находившийся на левом фланге парламентской армии Кромвель со своей кавалерией должен был принять на себя натиск главной ударной силы короля — кавалерии принца Руперта. Но он не стал его дожидаться и начал атаку первым. С пением псалмов кавалерия Кромвеля двинулась сомкнутым строем вперед — двинулась вперед и кавалерия Руперта. Две лавины, сверкая мечами и пиками, сближались с нарастающей быстротой. Удар был бешеным. С изумлением Руперт обнаружил, что «парламентский сброд» не рассеялся перед ними, не побежал, как это бывало раньше, а лишь несколько подался назад. Раненный в шею Кромвель быстро перестроил ряды и повел их во вторую атаку, и прославленная кавалерия Руперта не выдержала — она повернула назад и бросилась наутек. Однако успех был пока частичным, так как кавалерия правого фланга парламентской армии была опрокинута, а пехота в центре едва держалась под натиском «белокафтанников» Ньюкасла.

Положение спас Кромвель, применивший фланговый маневр. Направив часть кавалерии для преследования Руперта, он с основным ее ядром ударил по оставшемуся без кавалерийского прикрытия флангу пехоты роялистов. Этот удар и решил исход битвы. «Кавалеры» побежали, бросив знамена и оружие. Победа парламента была по-

льной. Из 18 тыс. роялистов 3 тыс. погибли, 1600 были взяты в плен, захвачено 10 знамен, 16 орудий и 6 тыс. мушкетов.

По своему обыкновению Кромвель объяснит победу «расположением всевышнего»: «Отнесите славу, всю славу господу; он — наша сила и в нем наша надежда». И это было искренне. Что же касается его собственных заслуг, то он только скажет: «Я надеюсь показать себя честным и чистосердечным человеком». Впрочем, именно в последнем — после окончания гражданской войны — усомнились не только его враги, но и те, кто в этом был убежден в ходе ее.

Однако эта победа на севере Англии была почти сведена на нет поражением парламента в других сражениях. Карл I едва не уничтожил армию Уоллера на юге и погнался за Эссексом, шедшим на запад. Кромвель горел желанием идти на выручку Эссекса, однако Манчестер наотрез отказался двигаться \*. Он не желал встречи с королем на поле брани, не то что победы над ним. В результате в начале сентября пехота Эссекса сложила оружие, и сам он едва спасся бегством. Свою тактику Манчестер объяснил просто: «Если мы разобьем короля девяносто девять раз, он все-таки останется королем, как и его потомки после него. Если же король разобьет нас хотя бы один раз, всех нас повесят».

Это была тактика «войны без победы», за которой скрывался замысел, далеко идущий и крайне опасный для дела парламента. Бесконечное затягивание гражданской войны и связанных с нею бедствий (тяжелые налоги, солдатские постои, реквизиции и грабежи) должно было восстановить против парламента его опору — народные низы. Это хорошо понимал Кромвель, заявивший Манчестеру: «Милорд, если это действительно так, то зачем же нам было браться за оружие?.. Если это так, то заключим мир, сколь бы унижительными ни были его условия». И, обращаясь к парламенту: «Без более быстрого, энергичного и эффективного ведения войны... страна устанет от нас и возненавидит имя парламента».

Однако помимо столкновения двух принципиально отличных тактик на войне в конфликте Кромвеля с Ман-

---

\* Для пораженческой тактики графа Манчестера характерен исход битвы при Ньюбери (27 октября 1644 г.), в которой у него имелось двойное превосходство сил над войском «кавалеров» (19 тыс. человек против 10 тыс.), и тем не менее он атаковал столь вяло и нехотя, что роялисты ушли с поля боя почти без потерь.

честером важную роль играли вопросы церковного устройства Англии. Дело в том, что в июне 1643 г. парламентским ордонансом было созвано Собрание богословов — синод, на который приглашена была делегация шотландских клириков. На нем было решено, что управление церковью посредством епископов и архиепископов должно быть отменено. Взамен его большинство склонялось к введению пресвитерианского управления (по образцу шотландского), требовавшего в свою очередь строгого единообразия. Однако окончательное решение было по настоянию индепендентов передано парламенту. Победа Кромвеля при Марстон-Муре, с одной стороны, и поражение Эссекса — с другой, резко усилили влияние индепендентов в парламенте и в армии. В результате Комитет обеих палат парламента распорядился, «принимая во внимание различие мнений членов собрания (богословов) по вопросу о церковном управлении... пытаться найти способ, каким образом те, кто не может во всех вещах подчиниться общему правилу, которое будет установлено, могут быть терпимы в своих отклонениях сообразно слову (божьему)». Не будем обманываться — в этом столкновении между сторонниками строгого церковного единообразия и сторонниками, признающими за верующим право на отклонение от него (за ним вдалеке маячила легализация принципа свободы совести!), проявилась снова-таки не только религиозная, но и социально-политическая проблема: терпеть ли в армии во имя ее единства и революционного энтузиазма заведомых противников единообразия в делах веры, так называемых «сектантов», т. е. главным образом представителей тех низов, само обладание оружием которыми приводило в сдрогание лордов маноров в деревне и толстосумов в городе. Кромвель же, как мы помним, был готов не только закрывать глаза на религиозные убеждения своих солдат, если только они не щадили себя на войне с королем, более того, он предпочитал, как мы видели преданного делу «сектанта» бездарному джентльмену. Именно на этом основании и с целью представить Кромвеля едва ли не «врагом знати» Манчестер передавал будто бы им сказанные слова: он надеется «дожить до того времени, чтобы никогда больше не увидеть знатного в Англии», что он больше всего расположен к тем, кто «не любит лордов».

Нас не должно удивлять то обстоятельство, что «умеренные» в лагере парламента не без умысла истолковывали вынужденную военными обстоятельствами политику Кромвеля как политику, продиктованную его

религиозными убеждениями, а его «терпимость» к социально «опасным» сектантам — как исходящую от него угрозу существованию знати. На самом же деле, как уже отмечалось, Кромвель, по его собственному признанию, не только считал себя джентльменом по рождению, но и, как показало время, разделял предубеждения этого сословия. От противников-пресвитериан его в действительности отличали не только более гибкий ум, но и дальновидность, он отчетливо сознавал, что в ходе гражданской войны именно с целью сохранения столь лелеяемого его сословием мирского порядка следует одержать над королем решительную военную победу, иначе его абсолютистские притязания не сломить. Средство же для достижения этой цели он усмотрел в том, чтобы строить армию не на сословных принципах, а на принципах бессловных, на самоотверженности и даровитости воинов.

Характерным примером этой политики может служить вторичное вмешательство Кромвеля в судьбу Джона Лильберна, хотя и являвшегося младшим сыном джентльмена, но занимавшего радикальные позиции в вопросах церковного и государственного устройства. Узнав, что граф Манчестер грозит ему повешением за то, что в нарушение приказа он «самовольно» занял роялистский замок, Кромвель выступил в его защиту так же, как он защищал изгнанного из армии генералом Крауфордом подполковника только за то, что тот отказывался признать принудительный характер пресвитерианской ортодоксии. Именно эту политику развязывания инициативы «простонародья» ему не могли простить пресвитериане.

Так, еще в начале 1641 г., когда в парламенте готовился билль «О корнях и ветвях» (об уничтожении института епископата), сэр Джон Стрэнждуэйс предупреждал: «Если мы введем равенство в церкви, мы должны будем прийти к равенству в государстве». Той же по сути тактики в войне, что и граф Манчестер, сознательно придерживался и граф Эссекс, командовавший парламентской армией на юге страны. «Потомки,— заявил он в парламенте,— будут говорить, что для того, чтобы освободить их от ига короля, их подчинили игу простого народа». И чтобы этого не случилось, он обещал впредь «посвятить свою жизнь» усмирению его «дерзости».

Итак, к концу 1644 г. у генерала Кромвеля — победителя при Марстон-Муре — накопилось много фактов, свидетельствовавших о том, что занимавшие командные посты в армии пресвитериане, и в частности граф Манчестер, принципиально не желают довести войну до победы,

так как считают для себя «невыгодным» «чрезмерно унижить короля».

9 декабря 1644 г. Кромвель поднялся со своего места в палате общин и впервые заговорил языком государственного деятеля, пекущегося о судьбах страны и народа Англии. «Настало время говорить,— заявил он,— или навсегда сомкнуть уста. Речь идет о спасении нации от кровопролития и — более того — от гибельных условий. Что говорят о нас враги? Что говорят о нас даже те, кто являлись при открытии данного парламента нашими друзьями? Они говорят, что члены обеих палат заняли видные посты и благодаря своим связям в парламенте и влиянию в армии стремятся до бесконечности продлить свое высокое положение и не дают быстро закончиться войне из опасения, как бы вместе с нею не пришел конец и их собственной власти... Если армия не будет устроена иным образом и война не будет вестись более энергично, народ не сможет дольше нести ее бремя и принудит вас к позорному миру».

Однако пафос этой речи заключался не столько в том, чтобы изобличить пресвитерианское руководство войной, прибегавшее к тактике бесконечных проволочек и уклонений от победы над королем, сколько в подготовке палаты к восприятию предложения, столь же далеко идущего, сколь и дипломатически изощренно выраженно-го. С этой целью Кромвель завершил свою первую в этот день речь выражением уверенности в том, что члены обеих палат готовы на деле доказать, что ими движет не честолюбие и своекорыстие, так как интересы общего блага они ставят выше частных интересов.

«Я надеюсь, мы обладаем столь истинно английскими сердцами и столь горячей заинтересованностью в благополучии матери-родины, что ни один член, будь то верхней или нижней палаты, не остановится перед тем, чтобы пренебречь собой и собственными частными интересами во имя общего блага». Кромвель явно провоцировал своих противников-пресвитериан, давно мечтавших об удалении его из армии. И расчет его полностью оправдался. Они готовы были покинуть командные посты в армии, лишь бы из нее ушел Кромвель. Не успел Кромвель вернуться на место, как тотчас его призывом воспользовался пресвитерианин Цуш Тейт, внесший на голосование палаты общин предложение, чтобы «на время этой войны ни один член парламента не обладал и не отправлял какой-либо командной должности — военной или гражданской, дарованной или порученной обеими или одной

из палат парламента». Именно этого индепенденты и ожидали.

Первый «пример» добровольного следования этому предложению показал индепендент сэр Генри Вэн, заявивший, что готов сложить с себя полномочия казначея флота. Вслед за ним и Кромвель заявил, что он готов отказаться от своей должности в армии, добавив при этом, что солдаты, находившиеся под его командованием, сражаются не за него, а за парламент, «они боготворят не меня, а цель, за которую сражаются» и поэтому будут выполнять свой долг под любым командованием. Так был выработан знаменитый «Ордонанс о самоотречении», согласно которому все члены парламента, следовательно и Кромвель, должны были покинуть армию. Однако Кромвель знал, что делает: он добился удаления из армии членов парламента — пресвитериан, и прежде всего Манчестера и Эссекса.

И как можно было ожидать, боевые заслуги Кромвеля были уже настолько общепризнанными, а военное положение парламента столь сложным, если не критическим, что последний продолжал давать ему вначале «временные» военные полномочия, практически сделав единственно для него исключение из общего правила. Впрочем, временные полномочия вскоре превратились в постоянную должность.

15 февраля палата общин приняла постановление создать вместо прежнего территориального ополчения, собираемого по графствам и нередко не желавшего воевать за пределами родного графства, новую *регулярную армию, финансируемую из общегосударственных средств*. Это и была армия «нового образца» (или «новой модели»), впоследствии включившая и другие парламентские формирования. Ее главнокомандующим был назначен Томас Ферфакс, отличившийся в войне с роялистами на севере страны. Место его заместителя, т. е. генерал-лейтенанта, оставили не без умысла вакантным. Ядром кавалерии этой армии стали кавалерийские полки Кромвеля, давно уже за мужество заслужившие славу железнобоких. Шотландский полководец Лесли, имевший опыт сражений Тридцатилетней войны, отозвался о них так: «Европа не имела лучших солдат».

Едва ли не самой замечательной особенностью этой армии явился отказ от традиционного принципа, согласно которому офицерскую должность мог занимать только «благородный», джентльмен. Недаром в этой армии выдвинулась целая плеяда талантливых полководцев из

народа: полковник Прайд — бывший извозчик, полковник Хьюстон — бывший сапожник, полковник Фокс — бывший котельщик, полковник Рейнсборо — в прошлом корабельный шкипер.

«Новая модель», состоявшая главным образом из йоменов и выходцев из городских низов, дисциплинированных (одна из статей ее устава гласила: «Воровство или грабеж караются смертью») и охваченных стремлением быстрее довести войну до победы, эта армия была первым в истории Европы образцом регулярной революционной армии. Прежде чем эта армия могла выступить, следовало заполнить должность генерал-лейтенанта. От своего имени и от лица Военного совета Ферфакс обратился к парламенту с просьбой назначить на нее Кромвеля. Он писал: «Всеобщее уважение и любовь, которыми он пользуется среди офицеров и солдат всей армии, его личные достоинства и способности... его большая заботливость и прилежание, храбрость и верность, проявленные на службе парламента, совместно с божьим благословением, неизменно сопутствующим ему, — все это делает нашу просьбу о его назначении нашей обязанностью по отношению к вам и народу».

10 июня Кромвель был назначен генерал-лейтенантом «Новой модели», 13 июня он прибыл в ее расположение, а 14 июня 1645 г. произошла решающая битва гражданской войны при *Несби*. Кавалерией на левом фланге «Новой модели» командовал Айртон, на правом же фланге стояла кавалерия Кромвеля. Удар кавалерии роялистов под командованием уже упоминавшегося принца Руперта пришелся по левому флангу, и он был опрокинут. В центре королевская пехота все более теснила пехоту «круглоголовых».

Таким образом, исход боя снова полностью зависел от того, как развернется сражение на правом фланге. Кромвель не стал дожидаться нападения врага и первым повел свою кавалерию в атаку на левый фланг «кавалеров». Впоследствии он писал: «Когда я увидел, как неприятель выстраивается и идет на нас в блестящем порядке, и когда я подумал, что мы только сборище невежественных людей... то я улыбнулся и вознес благодарение богу, так как был уверен, что он посрамит «кавалеров»». После короткой схватки кавалерия роялистов обратилась в бегство. Но Кромвель учился на ошибках Руперта (который в такой степени увлекся преследованием опрокинутой на левом фланге кавалерии «круглоголовых», что фактически оставил поле боя): он только часть своей кавалерии

направил на преследование кавалерии роялистов, а с основными силами обрушился на тыл и фланг вражеской пехоты. В этих условиях ей ничего не оставалось, как либо погибнуть, либо сложить оружие. Многие избрали первое, но еще больше оказалось в плену. Когда Руперт вернулся на поле боя, все уже было кончено. Отличие тактики Кромвеля от тактики Руперта, заметил Кларендон, заключалось в том, что, «хотя королевская кавалерия имела преимущество в атаке и сметала атакованных, она никогда снова не собиралась в боевой порядок и ее нельзя было привести на поле боя в тот же день для повторной атаки... в то время как кавалерия Кромвеля, если она побеждала или ей казалось, что она разбита, собиралась снова и стояла в боевом порядке, ожидая новых приказов». Пять тысяч роялистов сложили оружие, они потеряли всю артиллерию, был захвачен кабинет короля с секретной перепиской. Был момент, когда Карл I хотел сам броситься в атаку во главе небольшого резерва, но кто-то схватил под уздцы его лошадь и умчал его с поля боя.

С этих пор остатки армии «кавалеров», полностью деморализованные, недисциплинированные, потерявшие всякие надежды на успех, были способны только на сопротивление в укрепленных замках, главным образом на западе страны, и в сохранившихся в их руках городах, которые брались «круглоголовыми» один за другим после осады и нередко в результате бескровной капитуляции осажденных. Сдачей Оксфорда 24 июня 1646 г. закончилась первая гражданская война — первый акт исторической драмы — революции середины XVII века. При Несби, как и в предшествовавших и в последующих сражениях, военное искусство Кромвеля было продемонстрировано с такой убедительностью, что даже палата лордов должна была признать его в армии незаменимым. И хотя предложение о присвоении ему титула барона было отклонено, ему за большие заслуги были переданы конфискованные владения маркизы Вустерской.

После капитуляции Оксфорда Кромвель перевез семью в Лондон; в ней произошли перемены: его сын Оливер погиб на службе в армии парламента, его дочери Бриджет и Элизабет вышли замуж — первая за генерал-комиссара «Новой модели» Генри Айртона, вторая — за норсемптонширского сквайра Джона Клейпола.



## Кромвель и левеллеры, Кромвель-политик

Военная победа над королем еще не означала окончательной победы революции. Монархия была только надломлена, но не повержена. Проиграв войну с парламентом, роялисты возложили свои надежды на раскол в лагере парламента, т. е. на то, что король вскоре понадобится одной части своих врагов в их борьбе против другой. Между тем бежавший в Шотландию король Карл I в надежде склонить знать на свою сторону был выдан в январе 1647 года парламенту в обмен на 400 тыс. ф. ст. в «покрытие расходов», которые шотландцы понесли, участвуя в войне на стороне парламента. И если судить по тому, как встречали выданного шотландцами парламенту Карла I по пути из Шотландии, они не ошиблись: праздничный перезвон колоколов, пушечная пальба, толпы роялистов, возглашавших: «Боже, храни короля», — поистине для них и поверженный король все еще оставался королем. Об этом же свидетельствовало и то, с каким комфортом, не считаясь с затратами, парламент обставлял жизнь коронованного пленника в замке Холденби. По всему было видно, что король стал козырной картой в политической игре.

Итак, начался *новый этап в истории революции*, в котором решался вопрос о будущем политическом устройстве страны. И если учесть изначально сложное переплетение социальных и политических сил в лагере парламента, то легко заключить, что борьба за то или иное решение указанного вопроса должна была развернуться острейшая.

Вместе с тем очевидно, что наступила новая полоса и в жизни Кромвеля — полководец в его деятельности должен был уступить место политику, которому предстояло маневрировать между тремя противостоящими друг другу политическими силами: пресвитериански настроенным большинством в парламенте, за которым стояли воротилы лондонского Сити, все явственнее обнаруживавшие свои растущие роялистские симпатии; склонявшейся к индипендентству армией и, наконец, левеллерами, выражавшими настроения народных низов, практически не представленных в парламенте.

Сумеет ли Кромвель-политик в новых условиях сохранить былую революционность, в социальном отношении достаточно широкую, чтобы, преодолев эгоизм и своекорыстие собственников — джентри и буржуа (столь ха-

ракторные для политики парламента), быть способным включить в нее хотя бы только частично интересы тех народных низов города и деревни, героизмом и самоотверженностью которых в ходе войны он еще не столь давно восторгался?

Начало новой полосы в истории революции и в жизни Кромвеля было для него довольно пасмурным. Поскольку теперь, с завершением гражданской войны, его меч стал уже ненужным парламенту, его бывшее положение и влияние в нем воспринималось пресвитерианами как «неоправданное» и «вызывающее». В результате их происков Кромвель вскоре лишился своих военных полномочий и из генерал-лейтенанта армии превратился в частное лицо — рядового члена парламента. Эта цель была легкодостижимой, так как ничто уже не мешало распространить на него действие «акта о самоотречении». К тому же Кромвель, по-видимому, перенес тяжелую болезнь. С конца января до середины февраля 1647 г. его имя исчезает из бумаг палаты общин. 7 марта в письме Ферфаксу он писал: «Богу было угодно поднять меня (на ноги) после опасной болезни... я почувствовал в себе самом смертный приговор». Но, даже выздоровев, Кромвель не спешил в парламент, а подумывал, не отправиться ли ему на поля сражений Тридцатилетней войны, чтобы встать в ней на сторону немецких протестантов. Между тем, воспользовавшись отсутствием Кромвеля и падением влияния индипендентов в парламенте, пресвитерианское большинство провело в нем в спешном порядке постановление о роспуске армии, за исключением 6400 человек кавалерии (из 40 тыс.) и 10 тыс. пехоты для несения гарнизонной службы. Но при этом был полностью обойден вопрос о выплате солдатам и офицерам задолженного парламентом жалованья — пехоте за 18 недель и кавалерии — за 43 недели, что составляло к тому времени немалую сумму в 331 тыс. ф. ст. Равным образом указанным постановлением не предусматривалось назначение пенсии сиротам и вдовам погибших на службе парламента воинов. Наконец, парламент в нем ни словом не обмолвился и по такому вопросу, как признание невиновными распускаемых по домам солдат и офицеров за содеянное ими в ходе гражданской войны.

Одновременно предусматривался набор 12 тыс. человек в экспедиционный корпус для отправки в Ирландию. Его командующим был назначен Ферфакс. Помимо него, в нем не должно было быть офицеров в чине старше полковника. Все офицеры должны были принять так назы-

ваемый ковенант, т. е. согласиться на введение пресвитерианского церковного устройства. И последнее, члены парламента не могли занимать в новой армии командных должностей. Очевидно, что этими тремя условиями парламента явно исключил возможность участия в экспедиции Кромвеля. В целом, если учесть умонастроение, господствовавшее в «Новой модели», желание пресвитерианского большинства в парламенте избавиться от этой грозной, то и дело готовой выйти из его подчинения вооруженной силы вполне объяснимо. Состоявшая из крестьян и плебеев, армия оказалась теперь выразительницей чаяний народных низов, принесших наибольшие жертвы во имя победы, но полностью обойденных при дележе ее плодов... Пресвитерианский проповедник Ричард Бакстер так описывает умонастроения солдат после Несби: «Я убедился в том, что они считают короля тираном и врагом и полагают, что, если они могут воевать против него, они могут убить или победить его, и в последнем случае они никогда больше не станут ему доверять. Они утверждают: кем являются лорды Англии, если не полковниками Вильгельма Завоевателя? Или бароны — если не его майорами, или рыцари — его капитанами?»\* Естественно, что рядовые и младшие офицеры «Новой модели» отказались сложить оружие, они вышли из повиновения парламенту.

Как же поведет себя в новых условиях Кромвель — этот доблестный генерал, действовавший столь решительно, как подлинный революционер, в годы гражданской войны? Поразительно, но, когда разгорелся конфликт между армией и парламентом, в его поведении впервые после начала революции проявились, казалось бы, совершенно несовместимые с его характером черты — растерянность, колебания, нерешительность. И дело не в том, что он не понимал, на чьей стороне справедливость

---

\* Перед нами социально-политические выводы из уже упоминавшейся выше доктрины о так называемом нормандском завоевании. Суть ее заключалась в том, что с приходом в Англию Вильгельма Завоевателя и нормандских баронов прервалась «органическая» эволюция англосаксонского общества, была погублена исконная свобода народа, низведенного новыми распорядителями жизни до положения рабов. Разумеется, что, за исключением самого факта нормандского завоевания Англии, представления о до-нормандском общественном строе англосаксов — образец исторической мифологии. Тем не менее, поскольку режим стюартовского абсолютизма рассматривался в пропаганде публицистов парламента в качестве исторического восприемника всего, что связывалось с угнетением общин Англии нормандскими завоевателями, рассматриваемая доктрина сыграла важную мобилизующую роль в годы революции.

и, следовательно, каким должен быть выбор в этом конфликте «честного» и «божьего» человека, ведь он сам отмечал в беседе с Эдмундом Ледлоу: «Во всех местах нет недостатка в тех, кто испытывает столь большое озлобление против армии, что это их оглушает».

Столь же несомненно, что Кромвель сознавал подлинную цель парламента в этом конфликте — одним ударом избавиться от революционной армии — угрозы его всевластию — и заодно ликвидировать основную опору индипендентов, тем самым низведя их до политического ничтожества в парламенте. И тот факт, что Кромвель с момента появления в палате общин ни одним словом не обмолвился в защиту армии, а, наоборот, торжественно заявил: «В присутствии всемогущего бога я утверждаю, что армия разойдется и сложит оружие у ваших дверей, как только вы ей прикажете», заставлял задуматься. Алогичность этой его позиции была столь очевидна, что и современники, и последующие биографы усматривали в ней доказательство его макиавеллизма, двоедушия, лицемерия, проявление скрытого коварства, продвижения различными путями к единой цели — установлению своего единовластия.

В действительности все обстояло иначе: то, что было отнесено на задний план в Кромвеле-генерале, в ходе войны оказалось на первом плане в Кромвеле-политике, когда гражданская война завершилась победой парламента и решался вопрос о послевоенном устройстве. Должны были неизбежно проявиться его сословный консерватизм и враждебные отношения к угрозе, исходившей от религиозных радикалов в армии, и социальная настороженность по отношению к малоимущим в целом. Вспомним его позднейшее откровенное признание: «По происхождению я джентльмен», и в этом качестве он, хотя и не без колебаний, все же предпочел в данный момент охранительную власть пресвитерианского парламента... Ведь в «Новой модели», это он хорошо знал, имелось немало «неумеренных», «визионеров», «энтузиастов», «мечтателей», «прожектеров», от которых в дни мира можно было ожидать многого... Поэтому он согласился на предложение парламента поехать в место расположения армии с миссией убедить ее подчиниться его воле. И он сдержал обещание: прибыв в армию, он истово убеждал офицеров употребить свое влияние, «чтобы расположить солдат к той власти, которая стоит над нами, над ними. Если эта власть будет низведена на нет, ничего за этим не последует, кроме замешательства».

Однако миссия эта успеха не имела. Солдаты остались твердыми в своем решении не подчиниться приказу о роспуске армии, и, видя колебания одних офицеров и предательство других, они избрали в каждом полку по два уполномоченных (так называемых агитаторов) для совместных действий в защиту своих интересов.

Этим в рядах армии был открыто продемонстрирован давно уже назревавший раскол в прошлом единой «партии» индепендентов на грандов (или «шелковых» индепендентов) и простолюдинов-радикалов — движение, примкнувшее к сформировавшейся еще в 1645—1646 гг. за пределами армии партии, известной под названием левеллеров. С весны 1647 г. последние оказывали все большее влияние на настроение рядовых и младших чинов армии.

Перед лицом единодушия армии парламент вместо политики уступок решил идти напролом. Было решено: армия должна быть распущена по частям; на 1 июля был назначен роспуск полка Ферфакса. Но к тому времени армия уже полностью вышла из повиновения парламенту. Офицеры, не заслуживавшие доверия солдат, были изгнаны. Власть в ней фактически перешла к «агитаторам». Чтобы удержать армию от открытого мятежа, Ферфакс на 3 июня назначил общий смотр армии.

В условиях открытого разрыва армии с парламентом «агитаторы» проявили важную инициативу: отряд под командой корнета Джойса 1 июня захватил арсенал Оксфорда и на следующий день увез короля из замка Холденби и доставил его в расположение армии \*. Узнав об этом, Ферфакс буквально остолбенел, но Джойса наказывать не стал \*\*. Этим была исключена возможность заключения пресвитерианами мира с королем за спиной армии. У этой черты Кромвель наконец сделал свой выбор: 4 июня он покинул Лондон и прибыл в расположение армии. И шаг этот был более чем своевременным, ибо

---

\* Споры по вопросу о том, знал ли Кромвель о предприятии корнета Джойса, или, быть может, он действовал по его прямому побуждению, начались вскоре после этих событий. Думаю, что можно согласиться с мнением, согласно которому Джойс вероятно всего действовал по побуждениям, не исходившим непосредственно от Кромвеля. Недаром на вопрос парламентских комиссаров о полномочиях Джойс ответил: «По поручению солдат».

\*\* Скорее всего это событие послужило для Кромвеля сигналом к вмешательству в дела армии (см. по этому поводу мнение автора новейшей биографии Кромвеля Д. Тиллингхема: «Кромвель, конечно, знал и одобрил этот шаг». Впрочем, в обоих случаях доказательств никаких).

пресвитериане планировали его арест на следующий день, как только он переступит порог палаты общин.

Что побудило его к такому решению? Прежде всего, разумеется, опасность потерять армию, все более переходившую под власть выборных «агитаторов» и служившую до тех пор в руках «шелковых» индпендентов решающим инструментом политического давления на пресвитерианское большинство в парламенте. Тем самым исключалась реальная перспектива быть полностью отстраненными в решении дальнейших политических судеб страны. Лично же для Кромвеля подобный ход событий означал бы оказаться в положении рядового, политически безгласного заднескамеечника, а может быть и того хуже — угрозу политической расправы с ним.

Однако главным для Кромвеля было, по-видимому, не это или по крайней мере не только это соображение, иначе он не согласился бы на роспуск армии весной того же года. Следовательно, остается второе — *опасность превращения армии под влиянием движения левеллеров в вооруженную силу народных низов с непредсказуемыми последствиями для власть имущих*. Характерно, однако, что политическая поверхность событий — конфликт между пресвитерианами и индпендентами — и находится на первом плане многих биографов Кромвеля, считая его решающим конфликтом революции после 1646 г. При этом, однако, упускается из виду, что армия летом и осенью 1647 г. была «гнездом мятежников», весьма близких к левеллерам, у которых с парламентом имелись свои счеты. Вот, к примеру, как рисуется с этой точки зрения главный мотив Кромвеля, когда он переехал в расположение армии: «Третье письмо, полученное Вами (Кромвелем) от них (от агитаторов армии), в котором они решительно предупреждали Вас, что, если Вы в скором времени, более того — немедленно, не придете и не возглавите их, они пойдут собственной дорогой без Вас».

Итак, драматическое начало новой полосы в ходе революции высветило совершенно по-новому мотивы столь поражавшего наблюдателей демократизма и радикализма Кромвеля в период гражданской войны. В противовес современным апологетам этого героя революции середины XVII века, подчеркивающим главным образом его талант полководца, представляется, однако, что подлинную «тайну» взлета Кромвеля помимо его удачливого меча составляла его поразительная способность сообразовать исходную и неизменную цель — сокрушение абсолютизма — с меняющимися обстоятельствами момента.

Кромвель — гений политической тактики, чутко улавливавший политическую ситуацию, безусловно искуснейший буржуазно-дворянский политик эпохи революции. Он объективно верно служил интересам этих классов в годы гражданской войны, когда не только не пресекал, но и всячески поощрял революционный энтузиазм плебеев, одетых в солдатские мундиры, поскольку понимал, что именно в нем залог конечной победы над роялистами.

После того как цель была достигнута, сословным интересам грандов революционный энтузиазм плебеев-солдат казался уже более опасным, чем роялистски настроенный пресвитерианский парламент. Одним словом, даже наиболее проникательные современники Кромвеля в своих суждениях о его «характере» не шли дальше поверхности событий. В результате подоплеку «многоликости» Кромвеля по сути не поняли ни роялисты, ни радикалы. И те и другие в один голос и на разный лад разоблачали «лицемерие», «двоедушные», «коварство» и «хитрость» Кромвеля — определения, за которыми скрывалось лишь непонимание того решающего обстоятельства, что свои собственные планы Кромвель в каждый момент в ходе революции отождествлял с условиями наиболее благоприятного выхода для имущих из очередного политического кризиса.

Так, в своей «Истории мятежа» граф Кларендон писал: «Кромвель до этих пор, т. е. до 4 июня, вел себя с тем редким притворством (в котором поистине он был очень большим мастером), будто он сверх всякой меры возмущен подобной дерзостью солдат, неизменно присутствовал в палате общин, когда послания в подобных выражениях составлялись, и жесточно обрушивался на подобную самонадеянность... И ему столь легко поверили, что его самого один или два раза посылали в армию для улаживания конфликта, после двух-трехдневного пребывания в ней он возвращался снова в палату и горько жаловался на великую распущенность, там царящую. И при этих и подобных речах, а также когда он говорил об участи нации быть вовлеченной в новые смуты, он будет горько плакать и выглядеть наиболее удрученным человеком в мире».

При всем том нельзя, разумеется, сбрасывать со счетов и боязнь Кромвеля остаться без армии перед лицом реальной опасности засилья пресвитерианского большинства в парламенте.

Вот почему в критический момент, когда избранные солдатами «агитаторы» получили в армии большую

власть, чем гранды-офицеры, Кромвель решил противопоставить этой власти свою былую популярность в армии, с тем чтобы свести на нет эту власть, снова подчинить армию своей воле. С этой целью на общем военном смотре (наряду с принятием «Торжественного обязательства» не расходиться по домам и не допустить расчленения армии на части до тех пор, пока ее требования не будут удовлетворены) был создан Армейский совет, включавший помимо высших офицеров двух офицеров и двух представителей рядовых — «агитаторов» от каждого полка.

Замысел Кромвеля был очевиден: поставить «агитаторов» под контроль высшего офицерства, превратить этот совет в своего рода *дискуссионный клуб*, в то время как Военный совет, в котором решающую роль играли Кромвель и его зять Айртон, сохранял *реальную власть* в армии. Последующие политические действия Кромвеля и его окружения с предельной очевидностью обнаружили, насколько близкими по социальной сути были их собственные планы политического устройства страны и планы пресвитериан, и, как следствие, насколько устремления грандов были изначально далекими от целей и ожиданий рядовых армии, оставивших позади свои узкопрофессиональные интересы и осознавших себя защитниками «правого дела народа» Англии в целом.

Прежде всего гранды, как и пресвитериане, в те дни просто не мыслили себе политического устройства страны без короля. В последнем они были едины, и это — главное. То же, что их разделяло, было уже не настолько важным и принципиальным (а именно — на каких условиях король согласится узаконить лелеемый классами-союзниками политический порядок), чтобы рассматривать их стоящими по разные стороны барьера. Между тем то, что разделяло планы грандов — Кромвеля и его окружения — и чаяния левеллеров, было в высшей степени принципиальным и непримиримым. Вот как в июле 1647 г. рисовались суждения Кромвеля о планах левеллеров: «Не только в высшей степени порочная, но и чрезвычайно трудная — если не невозможная — цель для немногих людей, к тому же не принадлежащих к высшему кругу, ввести народное правление, направленное против короля и его партии, против пресвитериан, против знати и джентри, против установленных законов, как гражданских, так и церковных, и против всего духа нации, которая на протяжении столь многих лет привыкла к монархическому режиму».

В самом деле, парламент и его удачливый генерал



Кромвель воевали главным образом против абсолютистских притязаний монархии, но не против монархии как таковой. И теперь Кромвель был убежден в том, что восстановление монархии — необходимое условие сохранения порядка и незыблемости собственности. «Никто не сможет спокойно жить и пользоваться состоянием без восстановления короля в его правах» — таким было основание его политической философии. И именно в нем и следует доискиваться объяснения поведения грандов летом и осенью 1647 г., а не в шумной и изменчивой политической хронике тех дней.

Искусство Кромвеля-политика было им в эти дни продемонстрировано столь же недвусмысленно, как еще недавно искусство полководца. В армии Кромвель испытывал давление радикально настроенной части ее, требовавшей предпринять поход на Лондон с целью «восстановить справедливость и поправные права», имея в виду политику парламента прежде всего по отношению к армии. Но, всячески удерживая армию от этого шага, он одновременно добивался от парламента «более примирительной» линии поведения. Когда же 26 июля лондонским Сити была предпринята попытка контрреволюционного переворота (насильно удерживая спикера в кресле, заговорщики заставили палату общин принять постановление, призывавшее короля вернуться в Лондон), Кромвель уже решительно двинул армию к столице; 6 августа, не встретив сопротивления, он въехал в столицу во главе кавалерии. Однако и в данном случае цель была двойная: удовлетворить требование армии и предотвратить сговор пресвитериан с королем за спиной грандов.

Но странное дело! За исключением отдельных частей, он торопится вывести армию за черту города. Пресвитериане осмелели настолько, что решились вернуть в палату ранее исключенных по требованию армии 11 ее члено-пресвитериан, инициаторов постановления о роспуске армии. Потребовался целый месяц и угроза расположить близ парламента полк кавалерии, чтобы эти постановления были наконец официально отменены. Что же произошло? Откуда эта смелость пресвитериан, еще недавно до смерти напуганных одним лишь известием о приближении армии к столице? Все объяснялось просто — пресвитериане воочию убедились в двух принципиально важных вещах: во-первых, в том, что Кромвель опасается анархии в армии не меньше, чем они сами, и, во-вторых, в том, что Кромвель, так же как и они, не мыслил иного послевоенного «устройства» страны, кроме монархического и,

следовательно, связанного с возвращением Карла I на «родительский престол».

Дело в том, что с начала июня Кромвель и Айртон вступили в переговоры с находившимся в армейском плену королем и вели их с такой интенсивностью, что кузен Кромвеля Сент-Джонс не без ехидства заметил, что он слишком спешит делать «королевское дело», т. е. восстановить монархию. Соревнование «шелковых» индипендентов с пресвитерианами в «ухаживании» за королем имело лишь один результат — Карл I с каждым днем становился все менее сговорчивым. Дошло до того, что он однажды заявил своему победителю Кромвелю: «Вы не сможете обойтись без меня. Вы будете повержены, если я вас не поддержу», а одному из своих сторонников он в те дни писал, что надеется привлечь на свою сторону либо пресвитериан, либо индипендентов, с тем чтобы с помощью одних искоренить других. И тогда он стал бы снова подлинным королем. Таким был результат стремления Кромвеля «устроить» будущее страны за спиной армии, которой он больше не доверял, поскольку из силы чисто военной она превратилась в силу политическую, притом радикальную, то и дело грозившую выйти из подчинения грандам. Отсюда глубокая раздвоенность в поведении Кромвеля в те дни: он ни в коем случае не желал выпустить армию из своих рук — в ней заключалась его политическая сила и опора, и в то же время он стремился нейтрализовать эту силу в качестве самостоятельной и независимой от него.

Очевидно, что, учитывая республиканские унастроения в рядах армии, Кромвелю до поры до времени ничего другого не оставалось, как лавировать. Полностью не лишая армии надежд, на него возлагавшихся, — этой цели служили и сохранение в частях советов «агитаторов», и Армейский совет, Кромвель одновременно демонстрировал «послушание» парламенту и приверженность монархии как политическому принципу. И это вопреки тому, что в своих «Декларациях» армия потребовала, с одной стороны, «самороспуска» формально существующего с 1640 г., но фактически выродившегося парламента и назначения выборов в новый парламент, а с другой — суда над королем. Достаточно заметить, что в конце августа на заседания палаты лордов собиралось не более 7 пэров, а заседания палаты общин посещало всего лишь 150 ее членов. Тем не менее для грандов даже тень парламента была важна в качестве «законного» барьера, удерживавшего «простонародье» на почтенном расстоянии от

институтов власти. Недаром в те дни из Армейского совета был изгнан майор Уайт только за то, что он осмелился заявить: «В королевстве больше не существует видимой власти», за исключением «силы и власти меча».

Одновременно Кромвель должен был во имя сохранения своей власти в армии по крайней мере делать вид (на большее он теперь просто не был способен), что он склонен выслушать и обсудить и мнение радикального крыла армии по вопросу о послевоенном устройстве страны. Иллюстрацией этой, мягко говоря, «гибкости» Кромвеля может служить следующий факт: 18 октября «агитаторы» пяти полков вручили Ферфаксу документ «Дело армии, правильно изложенное», в котором были перечислены основные статьи демократической конституции. Характерно, что королевская власть в них полностью игнорировалась, т. е., попросту говоря, не упоминалась, равно как и палата лордов. Через два дня (20 октября) Кромвель произнес в парламенте речь, в которой в сильных выражениях поддерживал монархический строй и требовал быстрого возвращения короля на родительский трон. В примечании к этой речи мы читаем: «В продолжение всей речи он был очень почтителен по отношению к королю, заключая, что необходимо его восстановить как можно быстрее».

Тем временем ропот и недовольство в армии переговорами Кромвеля с королем и его позицией в парламенте грозили вылиться в открытый мятеж. Эта зримая угроза и вынудила Кромвеля созвать заседание Армейского совета с целью обсудить уже известный как левеллерский проект государственного устройства с участием не только армейских «агитаторов», но и представителей так называемых гражданских левеллеров. 28 октября в Пэтни Кромвель открыл заседание совета следующими словами: «Собрание созвано по публичным делам. Желающие что-нибудь сказать по этим вопросам могут свободно высказаться». Сохранившиеся записи речей, произнесенных на этих заседаниях,— документ совершенно исключительной исторической важности и интереса, и мы еще будем иметь возможность к нему вернуться в другой связи. В данном же случае обратим лишь внимание на то, с какой методичностью Кромвель проводил на этих заседаниях линию грандов, как умел он, подобно заправскому парламентария, топить в словах негодное ему дело. Так, в ответ на упрек «агитатора» Сексби в адрес грандов, что они старались удовлетворить всех и никого не удовлетворили, что они трудились изо всех сил, чтобы угодить

королю, ему же иначе угодить невозможно, как только перерезав себе горло, что в результате всего этого репутация Кромвеля и Айртона в армии резко упала, Кромвель произнес совершенно путаную и насквозь демагогическую речь: он и Айртон, оказывается, действовали не самостоятельно, а сообразно воле Армейского совета. И если позиция их в отношении короля и парламента была ошибочной, то «я осмеливаюсь сказать, что это была ошибка общего совета», что, разумеется, в действительности относилось только к грандам в составе совета, но не к представителям в нем солдат.

В связи с требованиями левеллеров о роспуске существующего парламента, об ограничении будущих парламентах двухгодичным сроком полномочий, о перераспределении избирательных округов сообразно численности населения, о прекращении переговоров с королем, о гарантии полной веротерпимости Кромвель заявил: какими будут последствия всего этого? И не приведет ли оно к замешательству? Не превратит ли это Англию в подобие Швейцарии, в которой один кантон восстает против другого (имея, разумеется, в виду не территориальное деление, а общественные классы и в первую очередь угрозу, исходившую от той части народа, которая в парламенте не была представлена и интересами которой он полностью пренебрегал)? Не приведет ли это к «абсолютному опустошению нации»? Указав далее на огромные трудности, стоящие на пути к столь коренному, т. е. республиканскому, переустройству правления страной, Кромвель противопоставил требованиям левеллеров «обязательства армии», т. е. то, во имя каких декларированных целей парламент призвал армию на свою защиту и вел войну с роялистами? Более того, Кромвель увидел в программе левеллеров нарушение и «обязательств», взятых на себя армией, когда она отказалась сложить оружие. Нетрудно убедиться в том, что на конференции в Пэтни столкнулись, с одной стороны, армейские, радикально настроенные части армии, убежденные в том, что они служат народу, являются защитниками его свободы, и, с другой — грандов, считавших, что армия находится на службе у парламента и является не более чем его орудием, т. е. бессловесной служанкой классов, в нем представленных. Стремлению «агитаторов» действовать в интересах «народного блага» Кромвель противопоставил принцип: никакой самодеятельности солдат, дисциплина, означавшая безропотное подчинение грандам.

Однако настроение «агитаторов» на совете и тем более

за его пределами было в эту пору в такой степени неподвластным его «боговдохновенным» речам, что Кромвель решил действовать незамедлительно. Когда на заседаниях 4 и 5 ноября большинство совета поддержало предложение о введении всеобщего избирательного права для мужчин (исключив только нищих и слуг) и о проведении всеобщего смотра армии, Кромвель потребовал, чтобы «агитаторы» незамедлительно вернулись в свои полки; что же касается смотра армии, которого потребовали «агитаторы», то он согласился на проведение его не в один день, а в три дня, т. е. по частям. Очевидно, что гранды явно боялись общего смотра армии — с разрозненными частями было легче управиться. Между тем совет офицеров продолжал заседать. Но даже здесь полковник Гаррисон 11 ноября произнес настоящую обвинительную речь против короля, назвав его «человеком крови», и потребовал суда над ним. Все это было показательно для суждения о господствовавших в армии настроениях.

Характерно, что в тот же день стало известно: бежал король из дворца Гемптон-Корт, в котором он до тех пор довольно приятно проводил дни своего армейского плена. Вскоре обнаружилось, что он нашел убежище на острове Уайт\*.

Так или иначе, но побег короля оказался для политической игры Кромвеля более чем своевременным. Прежде всего он им воспользовался как наиболее веским аргументом в пользу требования сохранять дисциплину и единство в армии. 15 ноября близ Уэйра, в 30 милях от столицы, состоялся смотр частей армии. Однако помимо

---

\* Граф Кларендон в своей «Истории» высказал подозрение, что побег этот был инспирирован Кромвелем, который, убедившись в несговорчивости Карла I, хотел создать казус, исключавший для парламента, т. е. «для его пресвитерианских соперников», возможность дальнейшего ведения с ним переговоров. Он отмечал: сообщение в парламенте о бегстве короля Кромвель сделал с такой необыкновенной радостью, что все заключили: король находится там, где Кромвель желал, чтобы он находился. И в самом деле, подобное подозрение могло легко возникнуть, так как гарнизоном этого острова командовал кузен Кромвеля Роберт Геммонд. Помимо этого известно, что незадолго до бегства короля Кромвель посетил остров Уайт 4 и 12 сентября; к тому же известна версия, будто Кромвель отправил своему кузену Эдуарду Уолли, командиру охраны Карла I в Гемптон-Корте, письмо, в котором сообщал о существовании заговора с целью убийства короля, побуждая его немедленно показать это письмо королю и тем самым подсказать ему мысль о побеге. И хотя ближайшие советники короля в те дни Беркли и Эшбурнэм позднее свидетельствовали, что детали побега были разработаны ими в беседах с королем, тем не менее очевидно, что без «содействия» охраны этот побег не мог свершиться.

ожидавшихся 4 полков кавалерии и 3 полков пехоты на смотр самовольно явились еще 2 полка — Гаррисона и Роберта Лильберна, солдаты которых украсили свои головные уборы левеллерским проектом конституции — так называемым Народным соглашением. На требование Кромвеля сорвать эти листки солдаты ответили отказом.

Это было началом опаснейшей для судеб грандов (и, в частности, Кромвеля) политической ситуации — открытого мятежа в армии. И положение их могло стать поистине критическим, если бы стремительное действие Кромвеля и отсутствие солидарности среди солдат этому не помешали. Ворвавшись с мечом наголо в строй мятежников, Кромвель собственноручно стал срывать листки с головных уборов солдат и затем, схватив «главарей», устроил тут же над ними военно-полевой суд, приговорив троих к смерти. Для устрашения солдат один из них, Уильям Арнольд, был немедленно расстрелян перед строем, одиннадцать других были арестованы. В итоге послушание в частях, явившихся на смотр, было восстановлено, после чего им был зачитан своего рода манифест («Ремонстрация»), составленный от имени командующего генерала Ферфакса, в котором в качестве чисто словесной уступки радикалам содержалось требование роспуска Долгого парламента и назначения новых выборов, в самых общих и туманных выражениях высказывалось пожелание, чтобы было установлено «равенство выборов» (точнее — представительства) в парламенте, с тем чтобы превратить палату общин (поелику это возможно) «в равной степени в представительницу народа, ее избиравшего». За этим следовало «обязательство» солдат и офицеров «впредь подчиняться его превосходительству командующему, Военному совету и каждого из нас — своим старшим офицерам в полку и в армии в соответствии с дисциплиной военного времени». На этом смотр был закончен. Смотр остальных частей армии прошел без каких-либо происшествий. Так, «богобоязненный» Кромвель не остановился перед пролитием крови «божьего ратника»: прозвучавшее из его уст требование простой человеческой справедливости означало зримую угрозу строю, на котором зиждилось благополучие имущих.

Казалось бы, что после восстановления своего положения в армии Кромвель получил большую свободу в выборе пути к «миру», которого так жаждали широкие массы народа. Сохранявшиеся бремя налогов, солдатские постои и реквизиции в сочетании с недородами и растущей дороговизной становились все более непосильными. Характер-

но, что, сопротивляясь предложению левеллеров о низложении Карла I и предании его суду, Кромвель на конференции в Пэтни стремился создать впечатление, что он отнюдь не монархист по убеждению, что он не «боготворит» ни одну из форм правления, что формы конституции являются только моральной властью... «мусор и навоз в сравнении с Христом». Если он возражает против требований левеллеров, то только потому, что они «не практичны». Сами по себе они очень «заманчивы», но только при условии, «если мы могли бы выпрыгнуть из одних условий в другие». Вернее всего, убеждал он, поклониться на господу бога: «он откроет нам то, что он хотел бы, чтобы мы совершили». И как бы Кромвель ни желал теперь слыть в армии роялистом, он все еще не мыслил иного пути к миру, чем соглашение парламента с королем, достигнутое усилиями грандов, т. е. им и его окружением.

Однако в конце ноября Кромвель и высшие офицеры армии резко изменили свое отношение к королю, прекратив, во всяком случае публично, все сношения с ним. Но что же произошло, в чем заключалась причина этой перемены? Стремясь найти ответ на этот вопрос, современники вспоминали рассказ о так называемом седельном письме — письме, будто бы отправленном Карлом I своей жене, которое было запрятано в седло связного и по пути перехвачено людьми Кромвеля. В нем сообщалось, что, выбирая между армией, парламентом и шотландцами, король ближе всего к заключению союза с последними. Из этого Кромвель, мол, заключил, что Карлу I больше доверять нельзя. Однако, поскольку это письмо так и не было обнаружено, а существовало только «по рассказам», постольку имеется основание учитывать в искомом повороте фактор, неизмеримо более реальный. Речь идет о положении дел в армии в этот период. Грандам было ясно, что брожение в армии столь велико, что проявленная ими в первый день смотра жестокость обстановку в ней не разрядила.

В представлениях, сделанных Кромвелю и его зятю Айртону от имени «двух третей армии», значилось: хотя они убеждены, что погибнут в попытке восстания, они используют все возможности, чтобы привлечь армию на свою сторону, и «объединятся с любым, кто поможет им одолеть их противников». Обычно хорошо информированный венецианский посол в эти дни сообщал: «Кромвель, как считают, расположен к королю, благоразумно полагая, что ни он, ни Ферфакс не могут долго удержаться ввиду тайной ненависти со стороны парламента».

И Кромвель, уже не впервые в том году, решает, что, «если мы не можем добиться того, чтобы армия согласилась с нами, мы должны соединиться с ней».

В середине декабря король заключил тайный союз с шотландцами, обещавшими направить в Англию армию в его поддержку. В этих условиях требования левеллеров, раздававшиеся на конференции в Пэтни, предать короля суду за кровопролитие и вероломство теперь уже не звучали для грандов столь «опасными» и «разрушительными», как прежде. Наоборот, они стали для них единственным выходом из создавшейся ситуации. На заседании Армейского совета в Виндзоре 21 декабря гранды всячески демонстрировали «дух согласия» с левеллерами. Разумеется, расстрелянного солдата Арнольда оживить уже было нельзя, но 11 арестованных его соратников выпустили на свободу. Полковник Рейнсборо, главный оппонент грандов в Пэтни, был неожиданно назначен на высокий пост вице-адмирала флота. О короле на этот раз гранды заговорили в выражениях даже более резких, чем на это осмелились «агитаторы» ранней осенью 1647 года. Они выказали решимость привлечь его к суду как «уголовную личность», преступника.

Итак, Кромвель снова предстал перед нами как политик-прагматик, как герой ситуации, разрешающий в каждом случае только назревшую задачу, прибегая к помощи «друзей», выбираемых в зависимости от того, каковы враги, угрожающие успеху дела, им отстаиваемого. Роялистская опасность теперь потребовала консолидации сил индипендентов и прежде всего восстановления доверия к грандам рядовых армии. Одним словом, *поддержка левеллеров являлась теперь для грандов поистине жизненно важной*. За нее, не задумываясь, и ухватился Кромвель. Заручившись восстановленным единством в армии, он выступил в парламенте инициатором принятия постановления о прекращении обращений к королю. Ему, столь недавно усматривавшему в соглашении с королем гарантию незыблемости «древней конституции», теперь ничто не мешало метать против него громы и молнии. «Карл, — заявил он, — столь великий лицемер и столь лживый человек, что доверять ему невозможно». Однако Кромвель и на этот раз еще счел необходимым публично выразить свою приверженность монархическому правлению. «Истинно, — заявил он, — мы декларировали, что нашей целью является монархия, и она остается до сих пор все той же, если только необходимость не принудит нас ее изменить».



В противовес тому, что палата общин не торопилась принять постановление о прекращении «обращений» к королю, она буквально в тот же день отвергла поступившее на ее рассмотрение «Народное соглашение» левеллеров, признав его «мятежным».

3 января палата общин после довольно жарких дебатов наконец проголосовала (114— за, 92— против) за предложение «О прекращении обращений» к Карлу I. И как сообщают присутствовавшие, наиболее веским аргументом в заключительной речи Кромвеля перед голосованием было движение его руки к мечу, пристегнутому к его боку. В тот же день Комитет обоих королевств был преобразован в Комитет безопасности. Вследствие того что двух членов этого комитета, пресвитериан Эссекса и Степлтона, уже не было в живых, а шотландцы были теперь по вполне понятным причинам из него исключены, Комитет безопасности, господствующие посты в котором занимали индипенденты во главе с Кромвелем, превратился в высший исполнительный орган власти в стране. В пользу этого комитета Армейский совет в январе 1648 года «сложил» свои полномочия и «самораспустился».

## Вторая гражданская война. Суд и казнь короля

Когда вспыхнула вторая гражданская война, Совет офицеров принял на себя торжественное обязательство: «призвать короля к ответу за пролитую им кровь». Это означало уверенность в военной победе и политическую решимость поступить в духе требований левеллеров.

Вторая гражданская война имела свою специфику: наряду с локальными очагами роялистских мятежей на западе и юго-востоке Англии она включала военную интервенцию в Англию шотландской армии, целью которой было восстановление Карла I на английском престоле. Если роялистские восстания на юго-западе были относительно легко и быстро подавлены Кромвелем, то военное столкновение с Шотландией не обещало легких побед. В начале июля шотландская армия под командованием герцога Гамильтона вторглась в пределы Англии. Однако численность этой армии оказалась наполовину меньше в сравнении с той, которая воевала на стороне парламента в первой гражданской войне. Эта армия не имела таких опытных военачальников, как Ливен и Лесли. К тому же

она была наспех набрана, плохо обучена и еще хуже снаряжена. Наконец, отсутствие в ней короля (он в те дни находился в заключении в замке Карисбрук на острове Уайт), с одной стороны, и неоправдавшиеся расчеты на массовую поддержку ее похода английскими пресвитерианами (этому помимо всего прочего помешало подозрительное отношение последних к намерениям шотландцев после победы) — с другой, не очень вдохновляли эту армию на самоотверженность.

Переход сил Кромвеля с юго-запада на север страны был по тем временам быстрым. За 27 дней они преодолели 260 миль. 12 августа они соединились с войсками парламента на севере, уже сражавшимися с шотландцами. Всего под началом Кромвеля оказалось 8500 человек, т. е. немного более одной трети численности войск Гамильтона. И тем не менее Кромвель решил вступить в генеральное сражение немедленно, поскольку их дальнейшее продвижение в глубь Англии могло только активизировать все еще тлевшие очаги роялистского мятежа или зажечь новые. Сражение состоялось 17 августа близ Престона. К этому времени шотландские войска настолько растянулись, что оказались разделенными на три обособленные друг от друга части. К тому же их разведывательная служба была столь плохо поставлена, что Гамильтон даже не подозревал о приближении Кромвеля. Когда же последний, прикрываясь густым предрассветным туманом, с марша атаковал пехоту Гамильтона, тот, оставив аррьергард для защиты Престона, поспешил с основными силами вдогонку своей кавалерии, далеко ушедшей вперед. Началось преследование кромвелевскими «железнобокими» плохо дисциплинированных и увязавших в грязи шотландских пехотинцев.

Сложилось, таким образом, довольно странное положение: вместо того чтобы парламентские войска преградили Гамильтону путь на Лондон, они теперь, наоборот, сами оказались севернее шотландцев, как бы открыв им пути на столицу. Но, нарушив, казалось, требования элементарной логики, Кромвель как нельзя лучше учитывал соотношение сил: вместо того чтобы дожидаться на каком-либо рубеже, пока шотландцы соберутся в один кулак, он решил сражаться с ними на марше. Между тем у шотландцев произошло нечто совершенно непредвиденное: догонявший собственную кавалерию, оторвавшуюся от основных сил пехоты на приличное расстояние, Гамильтон с нею разминулся; когда он появился наконец с измотанной и обессиленной пехотой в ее лагере, ее там не

оказалось. В свою очередь командующий кавалерией Мидлтон, услышав о появлении Кромвеля, поспешил обратно на помощь Гамильтону, но, разминувшись с ним, натолкнулся на кавалерию Кромвеля. На протяжении трех дней Кромвель почти безнаказанно сокрушал порознь совершенно выбившиеся из сил полки и бригады шотландцев. Их поражение было катастрофическим: 10 тыс. человек сложили оружие. Находившийся на севере пятитысячный отряд шотландцев с примкнувшими к ним англичанами-роялистами бежал к границе. Эта крупная победа «железнобоких» была ими завоевана малой кровью, и Кромвель снова оказался в ореоле непобедимого генерала.

К концу августа вторая гражданская война фактически закончилась. Могло казаться, что бесславный для роялистов ее конец чему-нибудь научит партию пресвитериан в парламенте и всех, кто явно и тайно сочувствовал мятежникам. Однако ничуть не бывало. Они повели себя более вызывающе, чем когда-либо до этого. Члены палаты лордов даже отказались объявить шотландцев врагами, а пресвитериане палаты общин повели себя столь вызывающе, как будто победу одержал не Кромвель и индипенденты, а они и их союзники. В палату были возвращены 10 вожakov пресвитерианского большинства, ранее из нее удаленных по требованию армии. 24 августа палата отменила принятое постановление о перерыве сношений с королем и направила к нему на остров Уайт депутацию в составе 15 человек для возобновления переговоров.

Складывалось впечатление, что пресвитериане явно спешили воспользоваться удаленностью Кромвеля от столицы. 4 декабря армия вступила в Лондон. После затянувшегося торга с королем палата общин 5 декабря постановила, что ответные предложения короля (передать парламенту на 20 лет контроль над милицией и установить на три года пресвитерианское церковное устройство) могут служить основанием для соглашения с ним. Над страной нависла реальная угроза совершенно «мирной» победы контрреволюции. В этот критический для грандов момент Кромвель пошел на решительное (снова-таки только тактическое) сближение с левеллерами. Столь пугавший и ожесточивший его антимонархизм левеллеров, проявленный ими на конференции в Пэтни, стал теперь его единственным спасением.

Неизвестно, однако, как развивались бы дальнейшие события, если бы король не находился под стражей верных Кромвелю людей. Напомним, что комендантом замка

Карисбрук, в котором содержался пленный Карл I, являлся кузен Кромвеля полковник Роберт Геммонд. С целью «укрепления духа» своего кузена, положение которого было в те дни ключевым, Кромвель направил ему 6 ноября характерное письмо: «Вы утверждаете: власти установлены богом, поэтому им следует активно или пассивно подчиняться. В Англии эта власть воплощена в парламенте. Согласен, власть от бога, однако тот или другой род ее является установлением человеческим и ограниченным: некоторые (формы) — с более широкими, другие — с более узкими границами. Поэтому я не думаю, что, хотя власти могут делать все, что им заблагорассудится, обязанность им подчиняться остается. Все согласны с тем, что имеются случаи, при которых сопротивление им является законным». Вопрос, таким образом, заключался только в том, являлась ли данная конкретная ситуация таким случаем.

В поисках ответа на него Кромвель предлагал своему кузену рассмотреть: «...во-первых, является ли принцип «*Salus populi*» (благо народа) здоровой позицией? Во-вторых, обеспечивается ли она нынешним развитием событий, или все плоды войны окажутся утерянными и все вернется к прежнему или еще худшему состоянию? В-третьих, не является ли армия законной властью, призванной противостоять и сражаться против короля на основе провозглашенных (парламентом) принципов?..»

Очевидно, что все содержание письма клонилось к тому, чтобы Геммонд зорче стерег короля и не подчинялся приказам роялистски настроенного парламента. И в заключение этих столь, казалось бы, нехарактерных для умонастроения Кромвеля-политика деклараций следовало еще одно немаловажное замечание: «Не думаешь ли ты, что страх перед левеллерами (которых нечего бояться), будто бы грозящими уничтожить знать, заставил многих согласиться на заключение этого лицемерного и гибельного соглашения с королем? Но если это произойдет, они сами его навлекут на себя» \*.

Рассеивая страх Геммонда перед левеллерами (опасностью, от них исходящей, могли пугать его пресвитериане, склоняя его к измене индипендентам, опиравшимся в те дни на союз с левеллерами), Кромвель как бы прозрел — он не только сам избавился от этого страха, но

---

\* Т. е. если поднимется восстание народных низов против власти парламента, то в этом он сам будет виноват, оставаясь глухим к их требованиям.

и принялся удивительным образом в благоприятном смысле разъяснять их позицию. Так, по его словам, интересы «народа божьего» некоторыми (имея в виду пресвитериан) забыты вопреки тому, что они являются «справедливыми и честными». «Народ божий» вправе тем или иным путем получить столько же или больше блага, ему обещанного, и естественно, что его нельзя ожидать от короля, против которого «свидетельствовал столь убедительно господь». И если даже учесть, что содержание понятия «народ божий» в толковании Кромвеля должно было значительно отличаться от того, которое вкладывали в него левеллеры, то сам по себе факт восприятия Кромвелем элементов левеллерской риторики, не правда ли, знаменателен! Таким был диапазон тактической гибкости этого джентльмена, который в каждой ситуации безошибочно улавливал то одно-единственное решение, которое приводило к победе его линии в революции.

И снова контрреволюционному заговору парламента противостояла армия, в которой благодаря заигрыванию грандов с левеллерами восстановилось единство. 18 ноября Совет офицеров после горячих дискуссий утвердил «Ремонстрацию», содержащую требование — привлечь делинквентов, т. е. сражавшихся на стороне короля, к суду и объявляющую, что, поскольку Карл I повинен в кровопролитии в первой и второй гражданских войнах, он больше не заслуживает доверия\*. 27 ноября Геммонд был смещен со своего поста коменданта замка Карисбрук. Его заменил полковник Иуэр, в прошлом слуга, известный своими радикальными воззрениями. 4 декабря армия заняла Вестминстер, зримо напоминая парламенту о своем присутствии. Когда же 5 декабря палата общин проголосовала за принятие последних предложений короля в качестве основы мирного устройства королевства, медлить дальше было нельзя, и армия перешла к действиям.

6 декабря утром полковник Прайд (в прошлом ломовой извозчик) без ведома склонявшегося к пресвитерианам, но остававшегося формально главнокомандующим армией

---

\* В первоначальном варианте этой декларации, принадлежавшей Айртону, значилось нечто более определенное — требование суда над королем и роспуска парламента. Пока шла выработка компромиссного варианта «Ремонстрации», Совет офицеров сделал 15 ноября (со своей стороны как бы соревнуясь с пресвитерианами парламента) последнее мирное предложение королю. 16 ноября был получен его отрицательный ответ. 18 ноября большинством голосов был одобрен окончательный текст документа.

Ферфакса занял входы в парламент и по заготовленному списку задерживал членов парламента, известных своим враждебным отношением к армии (одних отсылал домой, других отправлял в тюрьму). Это была знаменитая «Прайдова чистка» парламента. Всего было задержано 140 членов парламента. В результате индепенденты получили в парламенте твердое большинство. Кромвель прибыл в Лондон в тот же день, только вечером, когда «грязная работа» уже была завершена. По своему обыкновению он заявил, что он не был осведомлен об этом плане, но поскольку это уже случилось, то он рад и постарается его поддержать. Перед нами образчик излюбленной, в отличие от военной, политической тактики Кромвеля — руководить событиями, оставаясь в тени до того времени, когда желанный плод созрел, чтобы его сорвать. Трудно поверить, что акт, подобный «Прайдовой чистке», был предпринят без его ведома. Он как будто только и ждал его, чтобы в тот же день прибыть в столицу. Так или иначе, но дело было сделано: на следующий день «очищенная» палата общин начала свою работу с единодушного выражения благодарности генералу Кромвелю за его заслуги во второй гражданской войне. Хотя привлечению Карла I к суду теперь уже ничто не мешало, Кромвель в последний момент заколебался и сделал еще одну, последнюю попытку спасти королю жизнь. Как сообщает епископ Барнет, на организации суда над королем настаивал Айртон, «Кромвель был в сомнении». По сообщению одного из агентов короля, Кромвель не был согласен с радикальной частью армии, требовавшей казни короля: «Меня заверили, что Кромвель не согласен с ними. Его намерения и их планы несовместимы, как огонь и вода. Они стремятся к чистой демократии, он же — к олигархии». Даже на Армейском совете 25 декабря Кромвель заявил: если король согласится на условия, ему предложенные, то его жизнь следует спасти в чисто политических целях \*. По-видимому, только несговорчивость короля, с одной стороны, и настойчивость армейских радикалов — с другой, заставили его на следующий день согласиться на организацию суда над Карлом I. Такова была политическая прелюдия суда над королем.

---

\* Перед нами знаменательный момент в истории революции: победа над пресвитерианами в парламенте, в результате чего Кромвель стал хозяином политического положения, сделала уже ненужной «левоблокнистскую» тактику. Отныне «союз» с левеллерами — не более чем тягостная дань прошлому, Кромвель в нем больше не нуждался.

Рассмотрим юридическую сторону вопроса. Первым о ней заговорил король. Узник, заключенный в высившийся на голых скалах угрюмый средневековый замок, в помещениях которого и летом веяло неистребимой сыростью и ледяным холодом, не оставлял радужных надежд. Даже недалекий и спесивый Карл I начал постепенно сознавать новизну ситуации. Она рисовалась ему чрезвычайно мрачной. Он наконец сбросил обычную маску отчужденности и заговорил. Карл хорошо изучил требования армейского ультиматума о свершении правосудия над ним и теперь в беседах с начальником охраны то и дело стремился их парировать. В конечном счете это был простейший способ довести до сведения парламента свои аргументы, и Карл им пользовался.

«Нет таких законов,— настаивал он,— на основании которых король может быть привлечен к суду своими подданными». «Король выше закона, ибо он — его источник». Парламент не может законодательствовать без согласия короля, а если это так, то он и не может создать законным путем трибунал для суда над королем, все же другие суды — ниже короля. Если же Карл будет умерщвлен без суда, то Сити, т. е. финансовые воротилы Англии, откажет парламенту в повиновении (в том числе и в кредитах), иностранные государи не потерпят его казни и вторгнутся в Англию, то же сделают ирландские роялисты-католики, страх перед которыми в среде протестантов был особенно велик. Король продуманно запугивал парламент юридическими намеками и одновременно укреплял себя в несбыточных надеждах.

Между тем в Уайтхолле, бывшем королевском дворце, где теперь расположился Военный совет, «дело короля» волновало и пугало не меньше, чем самого Карла. Сложность заключалась в следующем: с одной стороны, среди членов Военного совета преобладало мнение, что король обязательно должен быть судим, и судим публично; с другой — что суд должен быть создан и функционировать, хотя бы по видимости, в рамках существующих законов. Последнее требование рассматривалось не столько как мера пресечения роялистской пропаганды, сколько как барьер против пришедших в движение народных низов, открыто презиравших и ниспровергавших «королевские законы» Англии. К тому же среди армейской верхушки было немало скрытых сторонников монархии.

Формально Армейский совет возглавлял главнокомандующий парламентской армией генерал Томас Ферфакс. Наследник крупного поместья на севере Англии

лорд Ферфакс был профессиональным военным. Командующий армией «нового образца», он делал свое солдатское дело тщательно и добросовестно. Но всем складом характера он был далек от политики, тем более политики революционной, и, сражаясь против короля, он в глубине души, как показали дальнейшие события, оставался реалистом. Самое большее, что он в событиях революции усвоил, — это то, что «короля нужно проучить». Но при этом Ферфакс вряд ли представлял, как далеко следует заходить в этой «учебе». Председательствуя по должности на заседаниях Военного совета, Ферфакс, как правило, хранил «мудрое молчание». Где-то в недрах совета кипели политические страсти, от имени армии составлялись петиции парламенту; он по необходимости все это подписывал, формально требовал ответа, но у него были свои заботы: жалованье армии, постой солдат, снаряжение.

Одним словом, Ферфакс возглавлял армию, но определенные политические силы в совете руководили все эти годы Ферфаксом. Вся мера его политического консерватизма раскрылась в дни суда над королем. Напрасно оглашалось его имя — в зале суда он отсутствовал. Приговор королю Ферфакс так и не подписал, но главнокомандующим армией он остался и после казни Карла.

«Главным цареубийцей» в историю революции вошел Оливер Кромвель — «второй человек» по должности в парламентской армии, а на деле ее подлинный предводитель, ее гений. Столь же консервативный в социальном плане, как и Ферфакс, лендлорд, и, как вскоре обнаружится, ненавистник анархии «черни», Кромвель вопреки своим явным монархическим симпатиям в отличие от Ферфакса был, однако, тонким политиком, не только осознававшим игру сил, но и твердо направлявшим ее в наиболее выгодное их общему сословию русло. В дни подготовки суда и еще больше в ходе процесса Кромвель, как мы увидим ниже, был поистине душой событий. Но не потому, повторим еще раз, что он вдруг стал республиканцем. Скорее по неотвратимой политической необходимости. И дело не только в «несговорчивости» Карла I, но и в настроении армии тех дней: требование суда и казни короля было в ее рядах столь единодушным, что ему не смог не внять тот, кто творил политику от ее имени и чей вес в политике определялся весом в армии. Следует отдать должное Кромвелю: пока соотношение сил было неясным, он мог выжидать, лавировать, уклоняться от решения, но, коль скоро ход событий становился неотврат-



тимым, колебаниям не оставалось места. Он шел до конца.

Среди тех, кто наиболее деятельно готовил суд над королем, был и зять Кромвеля — полковник Генри Айртон. Если Кромвель олицетворял «практическую политику» индипендентов, то Айртон воплощал в себе ее мозг и «движущий дух». Его большая квадратная голова, обрамленная черными курчавыми волосами, сразу же бросалась в глаза на заседании Армейского совета. Обычно остававшийся в тени, Айртон выступал на первый план, когда требовалось изложить общие принципы, разделяемые высшими офицерами армии. Его юридически вышколенный ум не допускал туманностей в выражениях, он формулировал политические воззрения наподобие статей закона. Открытый сторонник «правления собственников» и «традиционного права», Айртон, как и Кромвель, стал республиканцем по «необходимости». Но, убедившись в невозможности иначе утвердить «власть» и «авторитет» индипендентского джентри в стране, Айртон преследовал свою цель до конца. Это он был составителем армейского ультиматума парламенту, содержавшего требование немедленного суда над королем; это он был непосредственным организатором «Прайдовой чистки», сделавшей этот суд возможным. Когда же суд стал фактом, Айртон наряду с Кромвелем был его членом и цементирующей силой. Наконец, среди организаторов суда над королем нельзя не упомянуть Генри Мартина — единственного убежденного республиканца среди скольконибудь известных членов суда, чьи ум, красноречие и ловкость неоднократно выручали из трудных положений Кромвеля и его окружение.

Но вернемся к событиям тех дней. Пока в Уайтхолле денно и ночью велась подготовка суда, Карла I решено было перевести поближе к Лондону. Новым местом заключения был избран Виндзорский замок. Миссия перевода короля из Херсткасла в Виндзор, чреватая многими осложнениями, была возложена на полковника Гаррисона, одного из ближайших сподвижников Кромвеля. Сторонники короля готовили его побег.

Одним из вариантов его было нападение племянника Карла I принца Руперта на Херсткасл, но он опоздал: короля там уже не оказалось. Вторая попытка его захватить была предпринята во время остановки в Бэгшоте, в поместье лорда Ньюберга. Под предлогом необходимости сменить коня, на котором в пути восседал король, предполагалось дать ему рысака из знаменитой конюшни гостеприимного хозяина. На нем он в случае погони был

бы недосыгаем. Гаррисон рысака с благодарностью принял, но королю велел дать коня одного из солдат конвоя. Недалеко от Виндзора между Карлом и Гаррисоном состоялась любопытная беседа. «Я слышал,— сказал Карл,— что вы участвуете в заговоре, имеющем цель меня убить». Гаррисон ответил: «Что касается меня, то я презираю столь низкие и скрытые предприятия». Король может на этот счет быть спокоен. То, что с ним произойдет, «будет происходить на глазах всего мира».

В Виндзоре охрана узника была поручена полковнику Томлинсону. Он получил инструкции перевести короля на более строгий режим: сократить число его слуг, постоянно охранять дверь, за которой находился Карл, один офицер должен днем и ночью находиться с королем. Прогулка разрешалась только на террасе замка. Запрещались свидания. Слуги короля под присягой обязывались немедленно доносить все, что узнают о готовящемся побеге.

Отныне подготовка суда была ускорена. Члены Военного совета перешли на казарменный режим. Днем многие из них в качестве членов парламента заседали в палате общин, ночью — в Армейском совете. Здесь царил общее возбуждение и напряженность. Спали урывками. А политические страсти вокруг готовящегося суда только разгорались. Между тем парламент как механизм власти был по существу парализован. Заседания палаты общин зачастую не собирали кворума, необходимого для вотирования рассматриваемых вопросов,— 40 членов.

Когда же 23 декабря палата постановила создать комитет для рассмотрения вопроса, каким образом король может быть привлечен к судебной ответственности, началось повальное бегство из Лондона членов парламента — наиболее опытных юристов и клерков, т. е. именно тех, от кого зависела разработка юридической формулы суда. Лондон покинули Селден, Уайтлок, Уолдрингтон. От участия в суде отказались верховные судьи Генри Ролл, Оливер Сент-Джонс, Джон Уилд. Все они были назначены на эти должности парламентом, находились у него на службе как убежденные противники королевской прерогативы, и тем не менее все они не пожелали стать участниками суда. Где для них проходила грань между правом воевать против короля и правом его судить, между корыстью и принципами, каковы на деле были эти принципы? На все эти вопросы трудно ответить.

В обстановке роялистских инсинуаций и интриг, внеш-

неполитического нажима, равнодушия одних и малодушия других только народные низы твердо стояли за спиной радикально настроенной части Военного совета. Характерен такой эпизод. 29 декабря в совет явилась женщина из Эбингдона, некая Элизабет Пулл. В ответ на вопрос, что ей нужно, она заявила, что получила «небесное откровение» столь большой важности, что решила его немедленно довести до сведения совета: «Господь бог на стороне армии, которая должна стоять за свободу народа». Откуда это видно? Очень просто: ей было «видение». С одной стороны, к ней явилась изможденная, больная женщина, олицетворяющая, по мнению Элизабет, состояние Англии, с другой — мужчина, «олицетворяющий армию парламента» и обещающий исцелить «больную». Полковник Гаррисон, большой приверженец «свидетельств», «знамений» и «голосов», настойчиво допытывался у Элизабет: «Не было ли указаний, каким образом «мужчина» собирается это сделать?» Однако ясновидящая на этот счет ничего определенного не смогла сказать, и ее «со словами благодарности» за сообщение отправили домой. Офицеры Армейского совета, если они желали «управлять событиями», должны были в этот час сами находить ответы на подобные вопросы. 1 января 1649 г. Генри Мартен внес в палату общин от имени «подготовительного комитета» проект ордонанса, гласившего:

«Поскольку известно, что Карл Стюарт, теперешний король Англии, не довольствуясь многими посягательствами на права и свободы народа, допущенными его предшественниками, задался целью полностью уничтожить древние и основополагающие законы и права этой нации и ввести вместо них произвольное и тираническое правление, ради чего он развязал ужасную войну против парламента и народа, которая опустошила страну, истощила казну, приостановила полезные занятия и торговлю и стоила жизни многим тысячам людей... изменнически и злоумышленно стремился поработить английскую нацию... На страх всем будущим правителям, которые могут пытаться предпринять нечто подобное, король должен быть привлечен к ответу перед специальной судебной палатой, состоящей из 150 членов, назначенных настоящим парламентом, под председательством двух верховных судей».

Это в высшей степени важный и весьма любопытный исторический документ. Прежде всего в нем четко и недвусмысленно осуждался абсолютизм как политическая

(государственная) система, вместе с тем в нем не осуждалась королевская власть как таковая. Англия и впредь мыслилась монархией. Карл I привлекался к суду за злоупотребления королевской властью, но и на скамье подсудимых он оставался королем, более того, именно в качестве злоупотребившего властью короля он должен был предстать перед судом.

Но события явно опережали замыслы: они вели за собой вперед даже самых трусливых индипендентов армии и парламента.

Дело в том, что приведенное нами постановление палаты общин могло приобрести силу закона, только будучи одобренным палатой лордов. Эта палата начиная с 1642 г. (т. е. первой гражданской войны короля и парламента) существовала скорее формально, нежели фактически. Абсолютное большинство пэров, оказавшись, как и следовало ожидать, на стороне короля, покинуло Вестминстер — 80 из 100 членов палаты лордов. К концу 1648 г. в палате лордов обычно заседало шесть лордов под председательством графа Манчестера. В середине декабря лорды прервали свою сессию в связи с рождественскими праздниками. 2 января 1649 г. в палату ввиду исключительной важности вопроса явилось 12 лордов. Интереснее всего, как они повели себя в столь щекотливом деле. Граф Манчестер, командовавший парламентскими частями так называемой Восточной ассоциации в войне против короля, заявил теперь: «Один король имеет право созывать или распускать парламент, и поэтому абсурдно обвинять его в измене парламенту, над которым он возвышался как высшая юридическая власть в стране». Граф Норсемберленд, поддерживавший парламент на протяжении всей гражданской войны, выразил свое мнение следующим образом: «Вряд ли даже один человек из 20 согласится с утверждением, что король, а не парламент развязал войну. Без предварительного выяснения этого обстоятельства невозможно короля обвинить в государственной измене». Приблизительно так же повели себя и другие пэры.

В результате палата лордов единодушно отвергла предложенный палатой общин ордонанс о привлечении Карла I к суду. Вслед за этим лорды объявили о недельном перерыве в заседаниях и поспешно покинули столицу. Однако «очищенная Прайдом» палата общин была готова к такому ходу событий. 4 января она декларировала, что в качестве единственно избранной народом палаты, а народ — источник всякой справедливой власти, она явля-

ется высшей властью в стране и ее решения не нуждаются в подтверждении никакой другой палаты. Из списка членов специального суда были вычеркнуты значившиеся там немногие имена пэров. Это был поистине исторический шаг.

Официальное провозглашение принципа «народ — источник всякой власти под богом» было не только вынужденным конституционным актом с целью устранить из будущего государственного устройства палату лордов, вместе с тем оно ярче всего свидетельствовало о том, где следует искать источник политической смелости и решительности организаторов суда. Беспрецедентный шаг в политике был возможен только как выражение воли взявшегося за оружие народа Англии.

Этим конституционным актом совершилось нечто непредвиденное для его авторов и вдохновителей: перечеркивалась старая, монархическая конституция Англии, согласно которой парламент законодательствует в составе двух палат во главе с королем. Отныне парламент фактически провозгласил себя однопалатным. Следовательно, формально республиканский строй был на деле введен намного раньше официального объявления Англии республикой, а палаты лордов — несуществующей. 6 января палата общин приняла акт об учреждении специальной высшей судебной палаты для суда над королем в составе 135 членом, назначенных парламентом.

Этим были окончательно пресечены все попытки повлиять на парламент и армию с целью не допустить суда. А подобных попыток было множество. С личными посланиями к парламенту и к Ферфаксу обратилась находившаяся в Париже жена Карла I королева Генриетта-Мария. Французский резидент в Лондоне сделал по тому же поводу официальное представление парламенту от имени своего правительства. Шотландские комиссары в Лондоне просили палату общин не допустить суда. Уличные проповеди врагов армии — пресвитериан, обширный поток листовок, пресвитерианских и роялистских, увещевали, грозили, запугивали смертным грехом «пролития невинной крови», «египетскими казнями неминуемого возмездия». Англия, и прежде всего столица, наполнилась тревожными и противоречивыми слухами. Улицы и площади напоминали муравейники. Все жадно ловили новости, где-то раздавались крики глашатаев, возникали свалки и уличные драки. Но несколько полков, размещенных в городе, быстро восстанавливали порядок.

Характерно, что в эти критические дни «умыл ру-

ки» — уехал на север «по личным делам» — не кто иной, как Джон Лильберн, прославленный левеллер, поборник «прирожденных прав» бедного люда Англии. Что руководило им? Ведь он был убежденным врагом монархии и тирании палаты лордов, требовал учреждения республики с однопалатным парламентом в дни, когда Кромвель и Айртон были еще откровенными монархистами и сторонниками традиционной конституции. Вероятнее всего Лильберн окончательно и бесповоротно разуверился в демократизме «своих недавних союзников — офицерской верхушки». Он опасался, что казнь короля приведет к установлению в стране открытой, ничем не ограниченной диктатуры офицеров-грандов, и не желал своими руками ковать «новые цепи Англии». Когда же его опасения сбылись, Лильберн публично признал казнь короля незаконным актом и предпочел традиционную монархию произволу офицерского совета.

Наконец, среди судей короля не оказалось еще одного выдающегося деятеля партии индипендентов — члена парламента сэра Генри Вэна. И это поразительно, поскольку незадолго до этого он употребил все свое влияние и красноречие, чтобы добиться отмены парламентом соглашения пресвитериан с королем. Однако после «Прайдовой чистки» палаты он перестал посещать ее заседания. Он был против суда над королем не из политических принципов, а в силу того, что считал незаконным актом насильственное «очищение палаты» Прайдом. Открытое нарушение армией парламентской привилегии предвещало характер правления, которое должно было в недалеком будущем установиться в стране. И Вэн не желал участвовать в учреждении военной диктатуры, вынося смертный приговор Карлу I.

Обратимся теперь к тем, кто не ушел, по политическим или личным мотивам не мог уйти от организации суда. Далеко не всем сторонникам парламента это бремя было по плечу, ибо одно дело — выступить, даже с мечом в руках, против произвольного правления короля и совсем иное дело — замахнуться этим мечом на голову венценосца.

Тем временем список 135 членов специальной судебной палаты был опубликован. Он открывался знатным именем Томаса Ферфакса, хотя его баронский титул шотландского, а не английского происхождения. Затем следовали лорд Мусон, чей титул был ирландского происхождения, и два старших сына английских пэров: лорда Грея и лорда Лесли. Наконец, список «знатных судей»

включал 11 баронетов, чьи титулы были в большинстве случаев в недавнем прошлом куплены за деньги. Перед нами характерная подробность, проливающая яркий свет на специальную психологию армейской верхушки, этих революционеров XVII века. Джентльмены в офицерских мундирах продолжали преклоняться перед титулом, знатность участников суда придавала в их глазах авторитет и солидность готовящейся политической акции.

Далее мы находим в числе судей представителей джентри многих графств и благопристойных мэров и олдерменов важнейших городов (Йорка, Ньюкасла, Гулля, Ливерпуля, Кембриджа, Дорчестера и др.). Одним словом, составители списка явно заботились о том, чтобы представить суд делом общенациональным, делом всего английского народа. Вместе с тем в перечне значились 30 офицеров, что составляло немногим меньше четверти состава палаты. Поскольку в список было внесено множество тех, кто заведомо не мог участвовать в заседаниях суда (находившихся по долгу службы далеко от Лондона полковников Дезборо, Ламберта, Овертона, Ригби и др.), и еще больше тех, кто не желал в них участвовать (яркий пример тому подавал сам Томас Ферфакс), то кворум был фиксирован на чрезвычайно низком уровне — суд был правомочен заседать при наличии 20 членов из 135! В действительности же число являвшихся на заседания членов суда никогда не опускалось ниже 60. С другой стороны, 47 членов суда ни разу не участвовали в заседаниях. Председателем был назначен верховный судья Чешира Джон Бредшоу, поскольку верховные судьи Англии, как мы видели, от этой миссии решительно отказались.

Первое заседание Высшей палаты правосудия (как именовался трибунал) состоялось 8 января в Вестминстерском дворце. На нем были назначены судьи для составления формулы обвинения короля — ими оказались Джон Кук, Энтони Стил, Джон Элс и ученый, иммигрант из Голландии, Исаак Дорислау.

Пока суд вел подготовительную работу, для заседаний спешно приспособлялся крупнейший зал страны — Вестминстер-холл. У южной стены зала воздвигались амфитеатром скамьи для судей. Эту «рабочую» часть его площади ограждали два параллельно идущих от стены к стене барьера, за ними должна была находиться публика. Для более богатых зрителей по бокам зала воздвигались галереи. Сюда билеты продавались только избранным. Солдаты охраны несколькими линиями должны

были расположиться вдоль стен у барьеров. Такая «планировка» зала приводила к тому, что публика мало что могла видеть и слышать. При всем том существовала несомненная опасность роялистских покушений на председателя суда, Кромвеля и других судей. Если Кромвель не придавал ей значения, то Бредшоу принял меры предосторожности, подбив свою шляпу стальными пластинами.

19 января настало время переправить узника из Виндзора к месту суда. В замок была подана карета с шестеркой лошадей; по обеим сторонам дороги до внешних ворот замка стояли шеренги мушкетеров, и, как только карета покинула замок, ее окружил отряд кавалерии под командой Гаррисона. Когда короля доставили к Темзе, его перевели на поджидавшую у берега баржу, которую сопровождали по реке боты с солдатами на борту. У пристани сэра Роберта Коттона короля высадили на берег и между двумя сомкнутыми шеренгами пехотинцев доставили в дом, избранный в качестве местопребывания Карла на время суда. Охрану дома круглосуточно несли 200 пехотинцев и отряд кавалерии. 20 января, около двух часов пополудни, члены суда, предшествуемые 20 стражами, вооруженными алебардами, и клерками, несшими меч и скипетр — знаки высшей власти, вошли в зал и заняли свои места. Их скамьи были покрыты красным сукном. Кресло председателя стояло на возвышении. С обеих сторон его располагались кресла двух его помощников — Уильяма Сея и Джона Лесли. Все трое были в черных судейских мантиях. Перед ними находился стол секретаря и несколько поодаль — обитое красным кресло для подсудимого. Сначала был зачитан акт парламента, согласно которому суд получил свои полномочия. Затем Бредшоу велел привести обвиняемого. В ожидании его секретарь приступил к переключке членов суда. Когда было названо имя Ферфакса, женщина в маске, находившаяся в одной из ближайших галерей, что-то закричала. Это была леди Ферфакс, произнесшая ставшую знаменитой фразу: «Он слишком умен, чтобы здесь находиться». Но вот появился король в черном платье, окруженный 12 солдатами. В знак непризнания полномочий суда он нарочито не снимал шляпы. Не глядя по сторонам, Карл быстро прошел и сел в предназначенное для него кресло спиной к публике. Охрана заняла свои места у барьера.

Бредшоу заговорил: «Карл Стюарт, король Англии, общины Англии, собранные в парламенте... в соответст-



вии со своим долгом перед богом, нацией и перед самими собою, в соответствии с властью и доверием, которыми наделил их народ, учредили эту высшую палату правосудия, перед которой вы предстали. Выслушайте предъявленное вам обвинение». Со своего места поднялся обвинитель Джон Кук и произнес: «Милорды, именем общин Англии и всего народа страны я обвиняю присутствующего здесь Карла Стюарта в государственной измене. Именем общин Англии я желаю, чтобы обвинение было зачитано».

Во время чтения король несколько раз пытался прервать читающего, но безуспешно.

Главные пункты обвинения гласили: «Как король Англии, Карл был наделен ограниченной властью управлять страной в согласии с законами, и не иначе. Однако он возымел коварную цель учредить и присвоить себе неограниченную и тираническую власть, дабы управлять по произволу, уничтожив права и привилегии народа; преследуя эту цель, он изменнически и злоумышленно объявил войну парламенту и народу, в нем представленному». Затем Карл обвинялся в подготовке «иноземного вторжения» в Англию, указывалось на преступность развязанной им второй гражданской войны. «И все это принималось с единственной целью отстаивания личного интереса, произвола и претензии на прерогативы для себя и королевской фамилии в ущерб публичному интересу, общему праву, свободе, справедливости и миру народа этой страны». Итак, «Карл ответствен за все измены, убийства, насилия, пожары, грабежи, убытки... причиненные нации в указанных войнах». Именем народа Англии «упомянутый Карл призван к ответу как тиран, изменник, публичный и беспощадный враг английского государства».

Карл, слушавший с показным равнодушием текст обвинения, при произнесении последних слов нарочито громко рассмеялся в знак презрения к суду и к словам обвинения. «Сэр, — обратился к нему Бредшоу, — вы выслушали обвинение... Суд ждет от вас ответа». Всю жизнь заикавшийся король вдруг под влиянием скрытого напряжения заговорил довольно бегло. «Я хотел бы знать, какой властью я призван сюда, т. е. какой законной властью?» — читаем мы в протоколе. Карл остался верен себе: власть именем народа в его глазах была незаконной. Он изложил бы суду теорию божественного происхождения королевской власти, если бы суд пожелал его выслушать, но его прервали. Он пытался апеллировать к «свое-

му долгу перед народом», но эти слова прозвучали как кощунство после затеянных Карлом кровопролитных войн против народа. Запугивал он судей и божьей карой, но в их глазах бог давно отвернулся от «нечестивого короля». Как этого и опасались организаторы суда, Карл отказался признать его законность и тем самым отвечать на предъявленное ему обвинение. Бредшоу потребовал от Карла ответить «именем народа Англии, которым вы избраны королем». Тот сослался на историю: «Англия никогда не была выборной монархией, а на протяжении без малого тысячи лет являлась монархией наследственной. Я нахожусь не в качестве признающего власть суда... Я не вижу палаты лордов, которая (вместе с общинами) составляет парламент... Покажите мне законные основания (суда), опирающиеся на слова божьи, Писание или... конституцию королевства, и я отвечу».

Чтобы прервать поток королевского красноречия, Бредшоу прибегнул к простейшему способу: он приказал удалить подсудимого из зала. Со всех сторон солдаты закричали: «Правосудие, правосудие!»; возглас, требующий возмездия и осуждения, был подхвачен в зале для публики. Так закончился первый день этого исторического процесса. Для членов суда создалось довольно трудное положение: с одной стороны, они во что бы то ни стало стремились сохранить неприкосновенным существующее, хотя и изжившее себя право — а это было право королевское, — и в то же время они должны были именем этого права осудить короля, власть которого венчала это право. Создавался порочный круг. Социальный консерватизм судей пришел в явное и непримиримое противоречие с их в высшей степени революционным шагом — публичным судом над законным монархом.

Позиция же короля сводилась к тому, что на почве существующего права он не может быть судим ни одним из судов страны. Молчание короля, если оно будет продолжаться, грозило срывом суда: не смогут быть заслушаны подготовленные свидетели обвинения, нельзя будет произнести антимонархическую речь обвинителю. Между тем все это имело важное внутри- и внешнеполитическое значение. В итоге завязывался узел, который можно было только разрубить. Но прежде чем прибегнуть к мечу, следовало любой ценой продолжать публичную процедуру суда, создав хотя бы видимость разбирательства.

Следующее заседание суда состоялось в понедельник 22 января. Чтобы заставить короля отвечать суду, он был

предупрежден, что молчание подсудимого, обвиненного в государственной измене, рассматривается как признание вины. Король, со своей стороны, решил представить свою позицию интересом не только личным. «Если бы речь шла только обо мне,— заявил он,— я ограничился бы сделанным в первый день заявлением о незаконности этого суда... Но дело не только во мне, речь идет о свободе и праве народа Англии».

Бредшоу прервал его: от обвиняемого требуется прямой и точный ответ: признает ли он себя виновным или нет? «Я не знаю,— сказал король,— каким образом король может превратиться в обвиняемого». Карл снова и снова отрицал законность суда и в ответ на заявление Бредшоу: «Мы сидим здесь властью общин Англии, перед которой все ваши предшественники и вы ответственные» — потребовал: «Покажите мне хотя бы один прецедент». Палата общин действительно никогда не становилась судебной палатой по обвинению королей. Армейские джентльмены, столь отстаивавшие неприкосновенность старого права в борьбе с радикально настроенными низами, расплачивались сполна: *старое право было на стороне короля!*

В конце концов в ходе заседания Бредшоу взял реванш. Когда король уж слишком настаивал на том, что он «защищает не себя, а свободу и права своих подданных», Бредшоу парировал это многозначительной репликой: «О том, каким большим другом прав и свободы вы являетесь, пусть судит вся Англия и весь мир... О человеческих намерениях говорят дела, и вы раскрыли свои намерения кровавыми знаками по всей стране».

На этом закончился второй день процесса. Снова, покидая зал суда, король услышал возгласы: «Правосудие, правосудие!»

На заседание в среду 24 января явилось рекордное число членов палаты — 71 человек, т. е. немногим более половины ее состава. Посредине стены, у которой стояли судейские скамьи, был прибит щит с изображением креста св. Георгия — национальный символ Англии. Король, как и в прошлые дни, явился в парадной черной одежде и занял свое место.

Тотчас же поднялся поддерживающий обвинение член суда Кук и, обращаясь к Бредшоу, сказал: «Милорд, палата общин, верховная власть и юрисдикция этого королевства декларировали виновность короля. Истинность предъявленного ему обвинения ясна, как кристалл, как свет солнца и как полдень. Если же суд еще не удов-

летворен, я прошу выслушать показания свидетелей... с тем чтобы всемерно ускорить приговор». Затем Бредшоу снова и снова убеждал подсудимого ответить по существу предъявленного ему обвинения. «Поймите, — заклинал он, — суд может утвердить свою власть простым объявлением своего приговора, но он дает вам последнюю возможность признать или отрицать свою виновность».

Карл был непреклонен. Он ясно предвидел конец драмы, который должен был наступить в любом случае, и он на этот раз вопреки своему обычному малодушию решил до конца сыграть роль мученика во имя принципа неограниченной власти короля.

«Для меня невозможно признать новый суд, о котором я никогда раньше не слышал, я — ваш король, и какой пример я подал бы своим подданным... До тех пор, пока не буду убежден, что этот суд не противоречит законам королевства, я не могу отвечать на ваши вопросы». Бредшоу прервал подсудимого напоминанием, что он находится перед судом и должен с этим считаться. Карл ответил: «Я вижу, что нахожусь перед силой». На этом диалог закончился, и суд прервал заседание.

Два следующих дня были посвящены допросам свидетелей. Этой процедурой занялась выделенная судом специальная комиссия. Всего были допрошены 33 свидетеля. 25 января их показания были зачитаны на публичном заседании суда. Несколько жителей города Ноттингема рассказали о том, как в 1642 г. в знак объявления Карлом войны парламенту в этом городе был поднят королевский штандарт. Одним из свидетелей был маляр, рисовавший штандарт. Некий Ричард Бломфилд, лондонский ткач, служивший в парламентской армии под командованием графа Эссекса, сообщил, что видел, как солдаты короля грабили захваченных пленных в присутствии короля. Крестьянин из Рэтленда рассказал о том, что после взятия королевскими частями города Лейстера в присутствии Карла началась поголовная резня взятых в плен защитников города. Когда же один из королевских офицеров попытался приостановить избиение, король ему заметил: «Меня мало беспокоит, если их будет вырезано в три раза больше — они мои враги». Другие свидетели рассказали, что видели короля на поле боя в доспехах, участвующим в сражении. Последние показания были особенно важны для суда: король, воюющий и лично убивающий своих подданных, уже не король, а тиран и убийца. Издававшиеся в те дни газеты широко публиковали эти рассказы...

Тем временем агитация против суда в Лондоне и за его пределами достигла вершины. Ее вели с одинаковым рвением и роялисты, и пресвитериане. Проповедники Принс и Уокер, находясь в тюрьме, умудрились издавать памфлеты, полные ненависти к армии — виновнице суда. Другие клирики делали то же в ежедневных устных проповедях, в церковных приходах, на улицах и площадях. Даже в рядах армии появились в эти дни колеблющиеся. Некий майор Уайт обратился с открытым письмом на имя Ферфакса, в котором выражалось сомнение, может ли король быть судим. Не было недостатка в давлении на ход событий извне. Флот племянника Карла I, принца Руперта, состоявший из 14 кораблей, крейсировал у британских берегов. От имени французского короля был опубликован манифест, осуждавший процесс. Однако внутренние события во Франции исключали возможность более эффективного вмешательства. Генеральные штаты Голландии направили в Лондон двух послов с просьбой отменить суд. Несколько представителей крупной английской знати обратились к парламенту и армии с той же просьбой.

Однако натиску этой волны справа противостояли мужество и непоколебимость армии и народа. 27 января суд был вновь открыт для публики — предстояло оглашение приговора. Бредшоу по столь торжественному случаю был в красной мантии.

Королю предоставили последнее слово. И он сделал новый ход, вытекавший из его прежних притязаний. Он обратился с просьбой, прежде чем будет вынесен приговор, выслушать его в парламенте на совместном заседании палаты общин и палаты лордов. Замысел короля был ясен суду — вновь продемонстрировать презрение к нему, как к чему-то незаконному. Но сразу отказать подсудимому в просьбе было нельзя, скорее всего по причине психологической. Тем более что среди членов суда появились сомневающиеся и колеблющиеся. А некий Джон Даунас даже порывался заявить громогласно о своей поддержке просьбы короля. Кромвель, сидевший неподалеку, с большим трудом удержал его на месте. И суд ушел на совещание. О том, что происходило на нем, можно только догадываться. Когда спустя 12 лет сын Карла I король Карл II оказался на «родительском престоле» и был затеян суд над «цареубийцами» — членами суда, многие из подсудимых сочиняли легенды о своих «протестах», о своем несогласии, высказанном во время этого исторического совещания 27 января 1649 г. Так или иначе, но в ту

критическую минуту событиями овладел Кромвель. Он заявил, что нельзя верить ни единому слову, ни одному предложению или обещанию Карла. Ожидать добра от человека, от которого сам всевышний отшатнулся? Через полчаса публичное заседание суда было возобновлено, но в зал вернулись только 59 членов. Бредшоу объявил, что подсудимому в его просьбе отказано, так как это только способ оттянуть приговор.

В своей обширной речи Бредшоу изложил исторические и юридические основания приговора. Центральным пунктом в ней явилось в высшей степени важное утверждение: «Существует договор, заключенный между королем и его народом, и обязательства, из него вытекающие, обоюдосторонние: обязанность суверена защищать свой народ, обязанность народа — верность суверену. Если король однажды нарушил свою клятву и свои обязательства, он уничтожил свой суверенитет». «Были ли вы, — обратился он к Карлу, — заступником Англии, кем вы по должности обязаны были являться, или ее врагом и разорителем, пусть судит вся Англия и весь мир».

Эти слова содержали стройное учение о народе как источнике всякой власти в государстве; о договорном происхождении королевской власти; о короле как должностном лице, ответственном перед народом, его избравшим; о праве народа не только восстать против короля, превратившегося в тирана, но если он будет обстоятельствами принужден к этому, то и убить его. Под знаменем этого учения штурмовали абсолютизм не в одной только Англии. Но здесь оно впервые стало знаменем буржуазной революции.

Заключительные слова Бредшоу гласили: «Мы творим великое дело справедливости. Если даже нам суждено погибнуть, творя его, мы милостью божьей... не отступим от него».

Приговор был краток: «Упомянутый Карл Стюарт, как тиран, изменник, убийца и публичный враг, приносится к смертной казни через отсечение головы от туловища». Под приговором стояло 59 подписей. Среди них подписи генерала Ферфакса не было. Первым значилось имя Бредшоу. Третьим подписался Оливер Кромвель.

Казнь произошла 30 января 1649 г. День выдался на удивление морозный. Темза покрылась льдом. На площади, с трех сторон огороженной зданиями королевского дворца Уайтхолл, раздавался стук топоров — шли последние приготовления к публичной казни. Здесь сооруже-

жался помост, на котором Карл должен был умереть. В два часа пополудни король, одетый в черное, в сопровождении усиленного военного конвоя появился на площади. Помост был окружен несколькими шеренгами кавалерии, отделявшей место казни от зрителей. Вся площадь была запружена народом, многие забрались на уличные фонари, балконы и крыши окружающих домов. На помосте стояли наготове палач и его помощник. В обязанности последнего входило поднять высоко отрубленную голову, выкрикивая: «Вот голова изменника!» Они были в полумасках и к тому же загримированы (им приклеили усы и бороды), в одежде моряков. Помост был задрапирован черным. Король взошел на эшафот в сопровождении епископа, избранного им в духовники. Оглядевшись вокруг, он вынул из кармана сложенный лист и обратился к охране, ибо другие его не могли слышать, с «прощальным словом». Затем, опустившись на колени, он положил голову на плаху и через несколько мгновений вытянул вперед руки — это был знак палачу, и тот одним взмахом топора отрубил ему голову.

Дело было сделано. Кавалерия быстро рассеяла толпу, и площадь опустела. Этим актом первая социальная революция Нового времени наиболее зримо раскрыла ряд связей, от которых более чем непозволительно отвлекаться при анализе истории ее и ей подобных: во-первых, революция, если она действительно является народной, не может не отразить ступень цивилизованности ее вершителей; во-вторых, народные низы веками проходили школу жестокости, проявлявшейся к ним властями предрержащими, могли ли они забыть эти уроки в момент, когда одерживали верх над теми, кто в этой этике их наставлял столь долго; наконец, в-третьих, действительно великие революции, открывающие новые всемирно-исторические эпохи, взламывающие цитадель старого порядка, сталкиваются с ожесточенным сопротивлением его вершителей и хранителей; отважившиеся восстать ввергаются в кровавую гражданскую бойню. Таков ход истории: народы-пионеры дорогой ценой оплачивают прогресс всего человечества.

Легальные и нелегальные печатные листки быстро разнесли по всей стране весть о случившемся. Впечатление от этого события было громадным. Жителю удаленных от Лондона графств трудно было поверить в его реальность. «Сосед, встречая соседа на улице, с трудом с ним заговаривает, и это не столько от ужаса перед совершившимся, сколько от удивления, что такое неслы-

ханное дело все же свершилось» — так житель Йоркшира рисует реакцию на казнь короля.

Карла казнили как короля, однако и после его казни Англия еще оставалась монархией. Республика провозглашена не была. Тем самым существовала юридическая возможность для сторонников короля немедленно провозгласить королем наследника короны, находившегося в эмиграции принца Уэльского — будущего Карла II. Парламент буквально в день казни спохватился и наскоро вотировал билль, запрещающий подобного рода акт под страхом сурового наказания. Лорд-мэр столицы, известный своими роялистскими симпатиями, отказался его провозгласить.

Прошло немало дней, пока «цареубийцы» во главе с Кромвелем убедились, что им волей-неволей придется стать номинальными республиканцами. Подводя итог событиям тех дней, В. И. Ленин писал: «Английская буржуазия еще в XVII в. расправилась с неограниченной монархией довольно демократическим способом».

### **Индепendentская Республика 1649 года и ее символ «общее благо»**

Итак, гранды во главе с Кромвелем свершили, казалось бы, невозможное — превзошли сами себя. Именем народа Англии они наконец сделали то, на чем так настаивали левеллеры и их приверженцы в армии: предали суду и казнили короля Карла I Стюарта. Однако с провозглашением Республики явно не спешили. Только актом парламента от 17 марта 1647 г. королевскую власть, как «ненужную, обременительную и опасную» для блага народа, объявили уничтоженной. 19 марта того же года упразднили палату лордов, ее дальнейшее существование было признано «для английского народа делом бесполезным и опасным», и только 19 мая провозгласили Англию «свободным государством общего блага», которое отныне будет управляться «представителями народа и парламента». Это был последний акт, на который еще был способен Кромвель — Робеспьер Английской революции. Примечательно, что слово «республика» и на этот раз было употреблено.

Возникает, однако, вопрос: почему решающей важности конституционный акт, объявлявший Англию только иносказательно Республикой, последовал с таким запозданием — спустя два месяца после отмены королевской



власти? Разгадка здесь проста: Кромвель — главный режиссер этой эпической драмы — отнюдь не был республиканцем по убеждению. Для него, в его окружении, как он сам признавал, это была всего лишь «жестокая необходимость», акт, предпринятый с целью не выпустить развитие событий из своих рук. Хотя в публичных декларациях он назвал казнь короля актом, «который христиане в последующие времена будут вспоминать с гордостью, а тираны — взирать на него со страхом», однако в более интимных случаях признавал, что «король лишился головы не потому, что он был королем, равно как и лорды \* казнены не потому, что они были лордами, а потому, что они не оправдали доверия». Нет поэтому ничего удивительного в том, что Республика 1649 года оказалась по сути монархией без короля. «Охвостье» Долгого парламента, опираясь на статус «избранности» народом, декларировало себя единственным и неделимым носителем верховной власти и, следовательно, Англию — республикой. В действительности же в стране установилась прикрытая парламентским убором олигархия «охвостья» и офицерской верхушки армии во главе с Кромвелем.

Достаточно заметить, что из 41 члена созданного «парламентом» Государственного совета 31 человек являлись одновременно членами «охвостья» при условии, что и в том, и в другом тон задавали гранды. В этом смысле характерно, что Декларация «охвостья», торжественно объявлявшая об учреждении Республики, не преминула напомнить, что неизменными остаются «основные законы» страны, т. е. сложившиеся в условиях феодально-монархического режима, что соответствовало стремлению Кромвеля к политическому устройству «Республики с элементами монархической власти». О том же, что монархическое начало было заложено в самом фундаменте этой Республики, наиболее наглядно свидетельствовали нерушимость системы лендлордизма, церковной десятины и политическое бесправие <sup>9</sup>/<sub>10</sub> английского народа, исключенных унаследованным от монархии избирательным цензом из состава «политической нации».

Однако вопреки своему очевидному консерватизму индипендентский режим был с самого начала далек от стабильности. Прежде всего он оказался в изоляции в международном плане: казнь короля потрясла коронованных правителей Европы, и они отшатнулись от «царе-

---

\* Вскоре после Карла I были казнены захваченные в плен предводители роялистов во второй гражданской войне — герцог Гамильтон, граф Голланд, полковник Пойер, лорд Кейпл.

убийц». В Шотландии сын казненного короля Карл был тотчас же провозглашен королем Карлом II. Ирландия, где против Республики наряду с ирландскими кланами выступил маркиз Ормонд во главе армии протестантских колонистов, могла стать плацдармом для интервенции в Англию извне. Ключ к овладению политической ситуацией Кромвель определил безошибочно — подчинение Ирландии власти Республики. «Я предпочел бы скорее быть побежденным «кавалерами», нежели шотландцами, я скорее предпочел бы быть побежденным шотландцами, чем ирландцами. И я думаю, что из всего перечисленного ирландские дела являются наиболее опасными». Указание на Ирландию как на главную опасность основывалось не только на аргументе политическом. Ирландский мятеж символизировал реальность угрозы контрреформации, что приводило в содрогание прежде всего те социальные слои, которые возвысились в результате раздробления монастырских владений в самой Англии. Но и этого мало. Первоочередное подавление ирландского мятежа диктовалось уже давно ожидавшимися конфискациями ирландских земель, под «залог» которых парламент одалживал деньги у дельцов Сити начиная с 1641 г. Ирландскими землями надеялись также вознаградить офицерскую верхушку и погасить задолженность рядовым армии.

Однако, прежде чем военная экспедиция в Ирландию стала возможной, Кромвелю пришлось столкнуться с глубоким недовольством, царившим в армии и в народных низах — за ее пределами. Чем очевиднее проявлялся олигархический характер индипендентской Республики, тем более острым становилось сознание совершенного Кромвелем и его окружением «обмана». Именно так в этой среде был воспринят конечный результат его «заигрывания» с левеллерами и согласия передать «на рассмотрение» парламента «Народное соглашение» как основу государственного устройства страны. В самом деле, отредактированный «офицерским» советом вариант «Народного соглашения» был представлен в парламент (точнее — в его «охвостье») еще в декабре 1648 г. Однако вместо того, чтобы его рассмотреть и вотировать, он был положен под сукно и так основательно «забыт» при учреждении институтов Республики 1649 г., что создавало впечатление, будто гранды никогда о нем и не слышали. Что оставалось левеллерам, обойденным и обманутым в своих упованиях более искушенными в политике грандами, как не предупреждать своих приверженцев в армии и за ее пределами о совершенном Кромвелем «великом

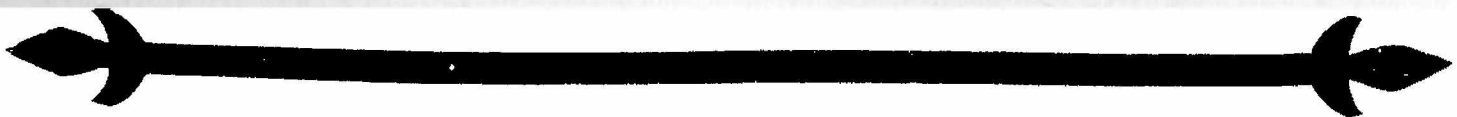
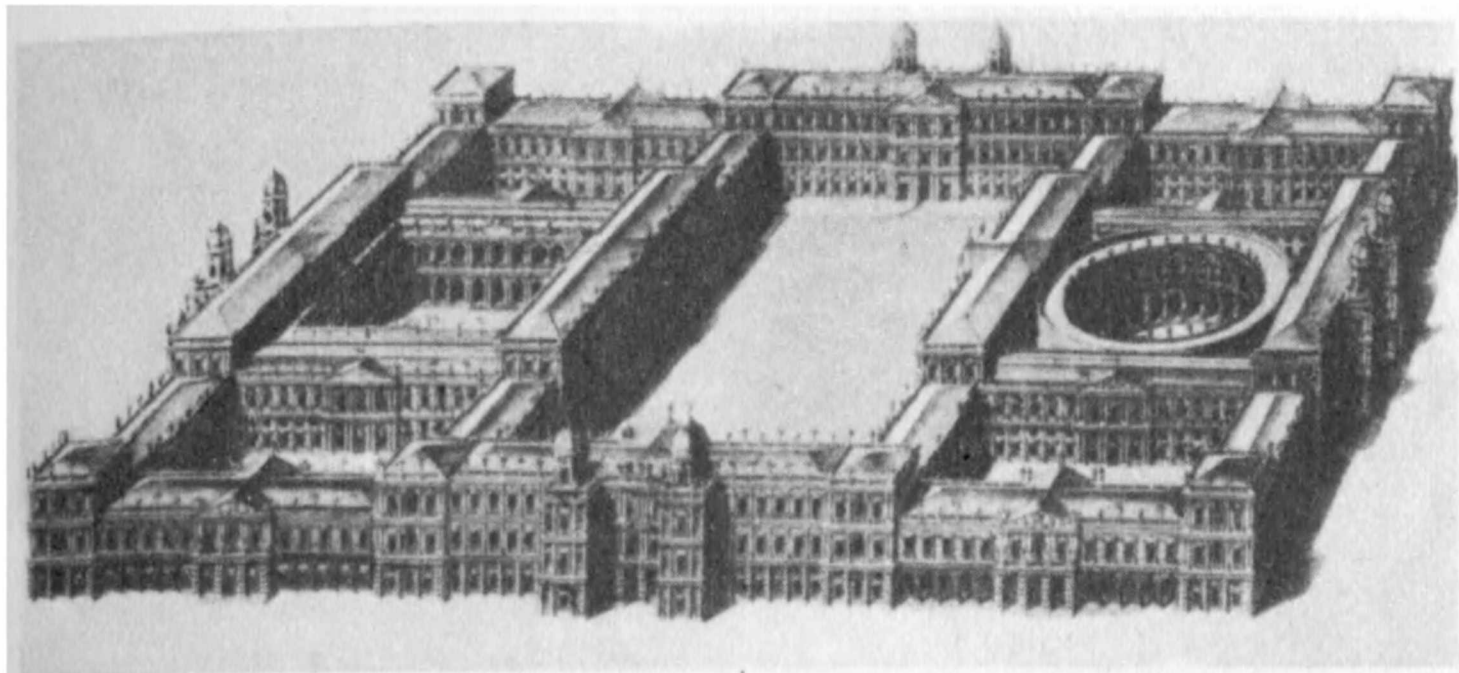
обмане». Так, в левеллерском памфлете тех дней значилось: «Едва вы заговорите с Кромвелем о чем-нибудь, он (тотчас) положит свою руку на сердце, возденет глаза (к небу) и призовет господу в свидетели; он станет плакать, стонать и каяться даже в том случае, когда нанесет вам смертельный удар. О, Кромвель! Куда ты метишь?»

Растущее недовольство в армии и народных низах могло стать непреодолимым препятствием на пути к отправке армии в Ирландию. Недаром Кромвель 23 марта предупреждал: «Гораздо бóльшая опасность скрывается в раздорах между нами, нежели исходит от наших врагов». И он не ошибался. Весть о предстоящей отправке армии в Ирландию была встречена во многих ее частях приблизительно с таким же негодованием, как это случилось в 1647 г. И гранды решили прежде всего изолировать возмутителей спокойствия — лидеров левеллеров — Лильберна, Уолвина, Овертона и Прайса. Они были арестованы, доставлены в Государственный совет, за закрытой дверью которого Лильберн услышал истерический крик Кромвеля: «Я говорю вам, сэръ, у нас нет иного способа поступать с этими людьми, чем сломить их, или они (сломят вас) и (тем самым) на ваши головы и плечи падет вина за то, что кровь и средства, потраченные в этом королевстве, окажутся напрасными». Как меняются времена, политические ситуации, а главное, политические позиции этого человека! Давно ли Кромвель писал своему кузену Геммонду, что левеллеров «нечего бояться» — они ведь выступали с ним рука об руку против роялистов и в требовании суда над королем. Теперь, когда «шелковые» индипенденты оказались у власти, левеллеры превратились в опаснейших врагов.

Дух мятежа снова охватил ряд частей армии. Полки, отобранные по жеребьевке для отправки в Ирландию; отказывались покидать Лондон, и Военный совет спешил поскорее удалить их из столицы. 25 апреля при подобной попытке восстал драгунский полк Уолли. Появившийся в критический момент Кромвель, при отсутствии единства среди солдат, быстро восстановил порядок. Однако брожение в армии не затихло, а, наоборот, расширилось. Бедственное положение солдат, долгими месяцами не получавших жалованья, довело многих из них до отчаяния. Задолженность армии достигла осенью 1648 г. суммы в 314 тыс. ф. ст. В этих условиях перспектива быть отправленными в Ирландию была последней каплей, переполнившей чашу. 9 мая, когда в Гайд-парке Кромвель производил смотр войск, многие солдаты вновь явились

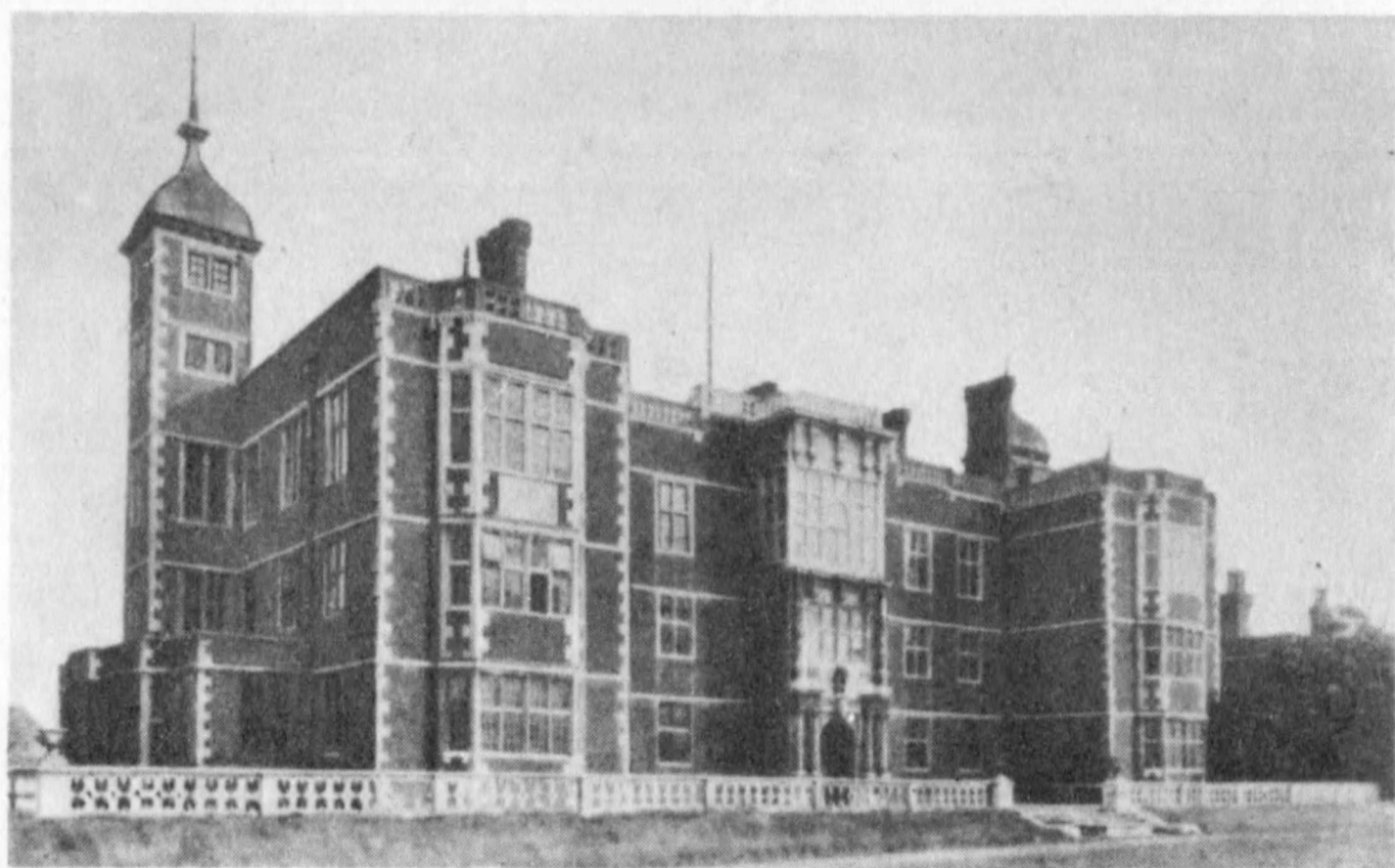
**Дворцовая архитектура XVII в.  
Вверху королевский дворец  
Уайтхолл**

**Костюмы состоятельных англи-  
чан. XVI в.**



**Бегство из Лондона во время  
эпидемии чумы. 1630 г.**

**Дворцовая архитектура XVII в.**

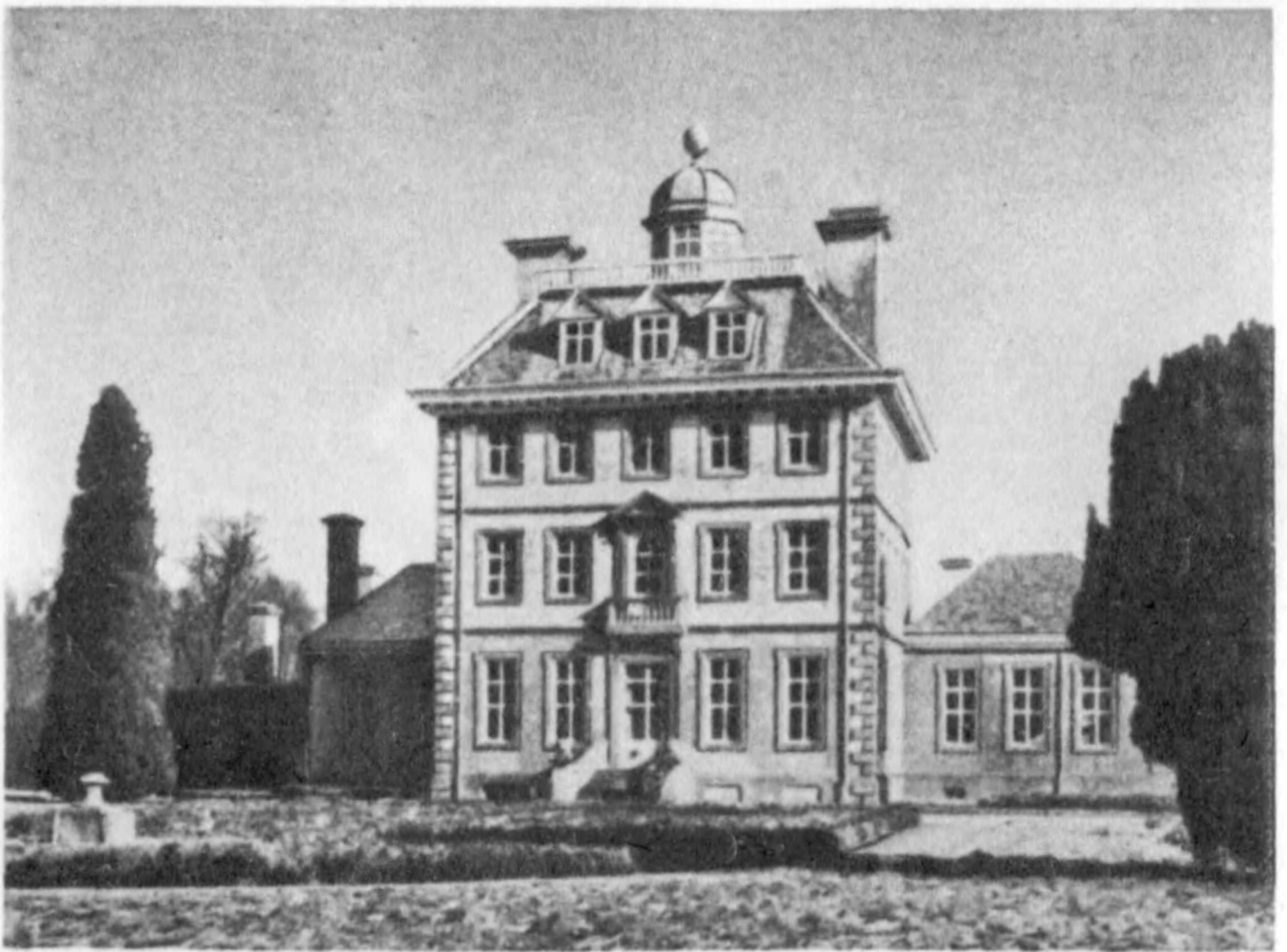
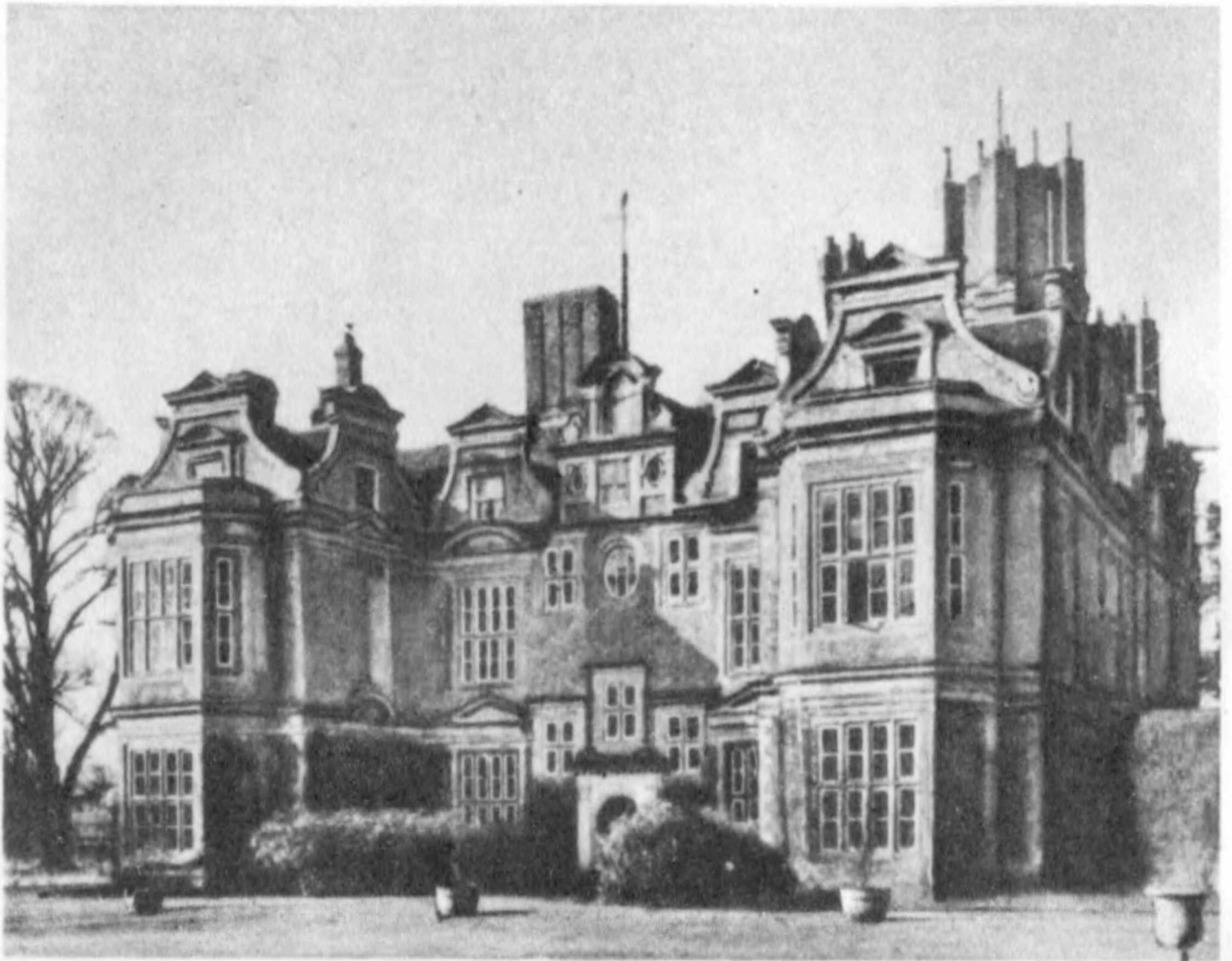


**Бездомные бродяги.  
Начало XVII в.**

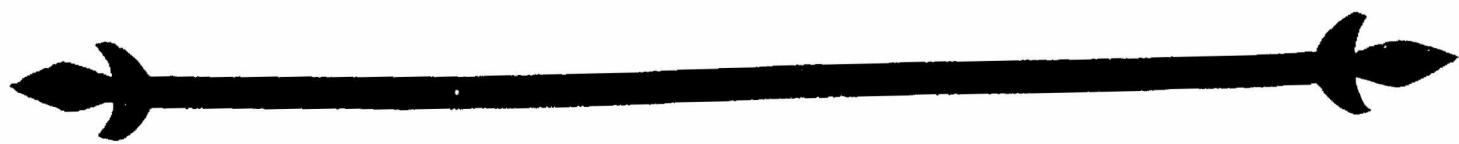
Крестьянское жилище. XVII в.

Дом лорда манора





Архиепископ Уильям Лод







*All flesh is grass, the best men vanity;  
Thou, but a shadow, here before thine eye,  
Of him, whose wondrous changes clearly show,  
That GOD, not man, sweeps all things here below.*

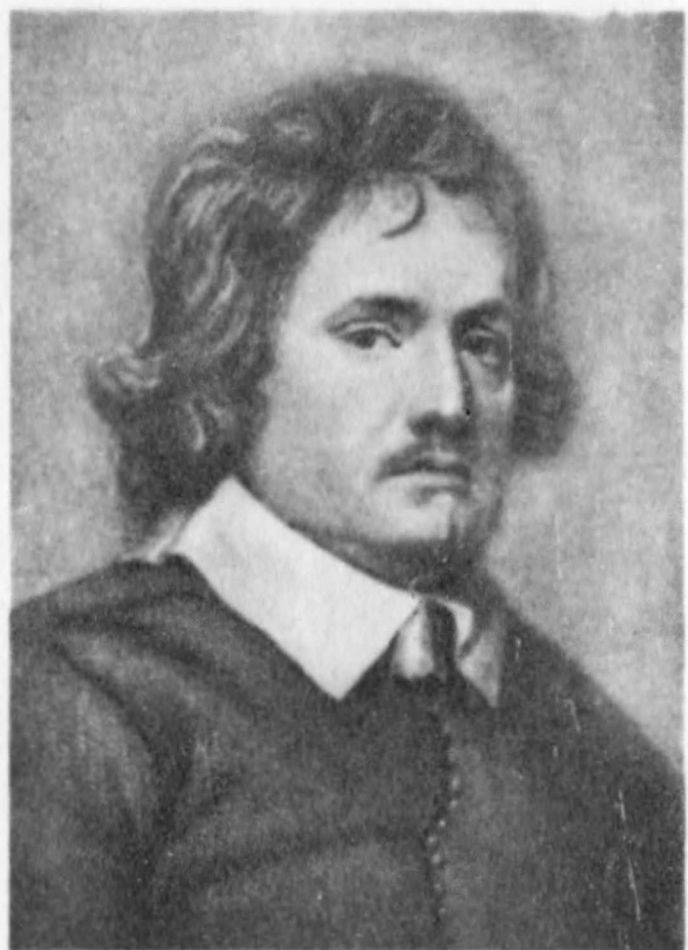


Воины, вооруженные алебардами



**Граф Томас Стаффорд**

**Парламент в правление Карла I**

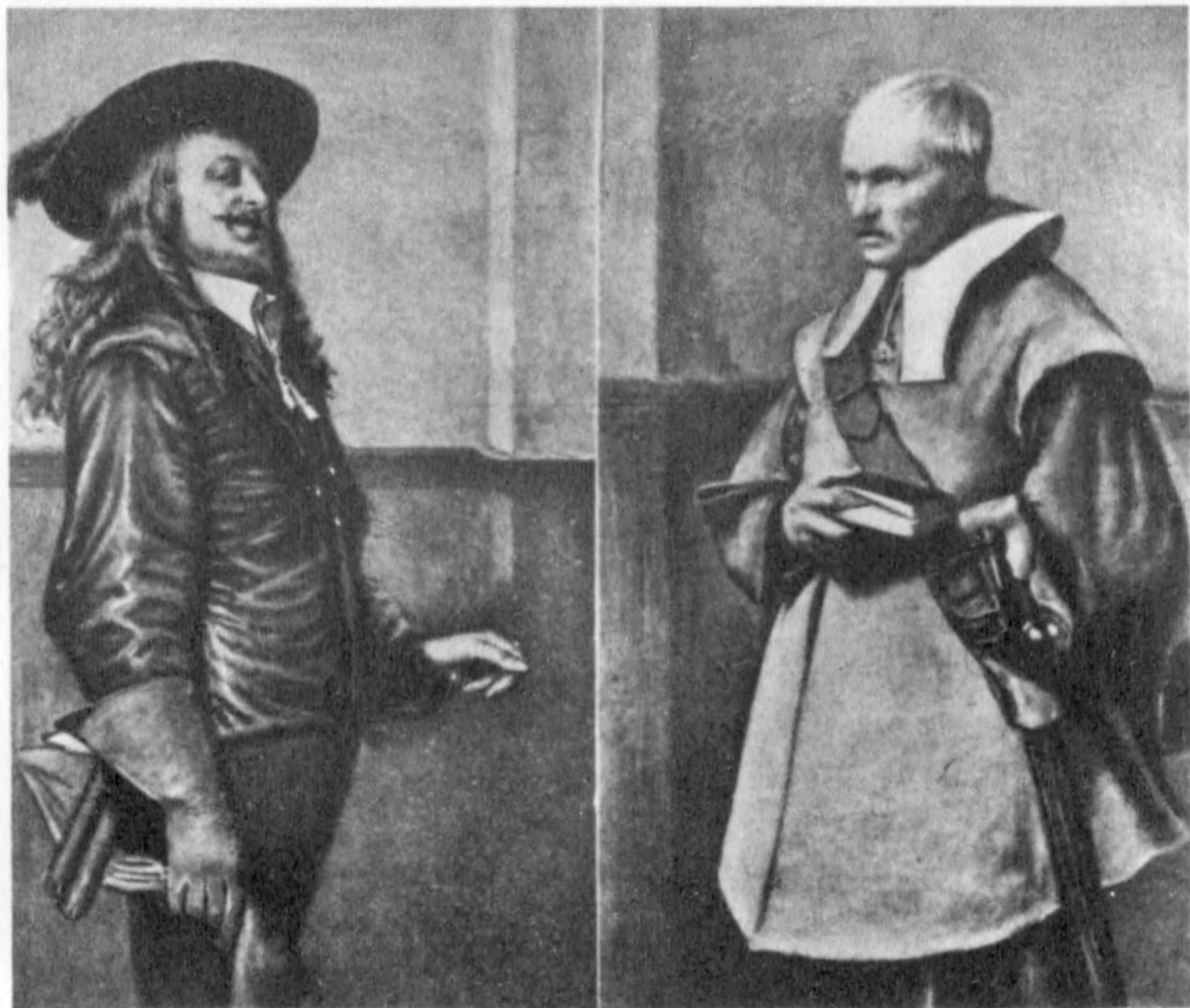


**Джон Гемпден**

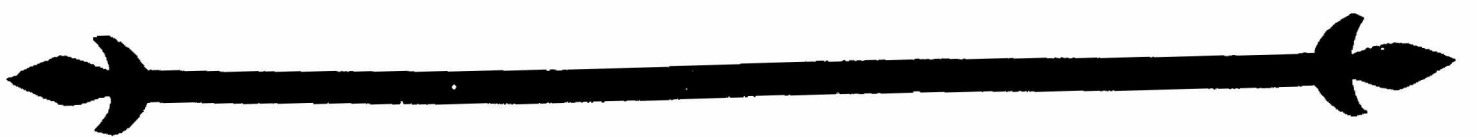
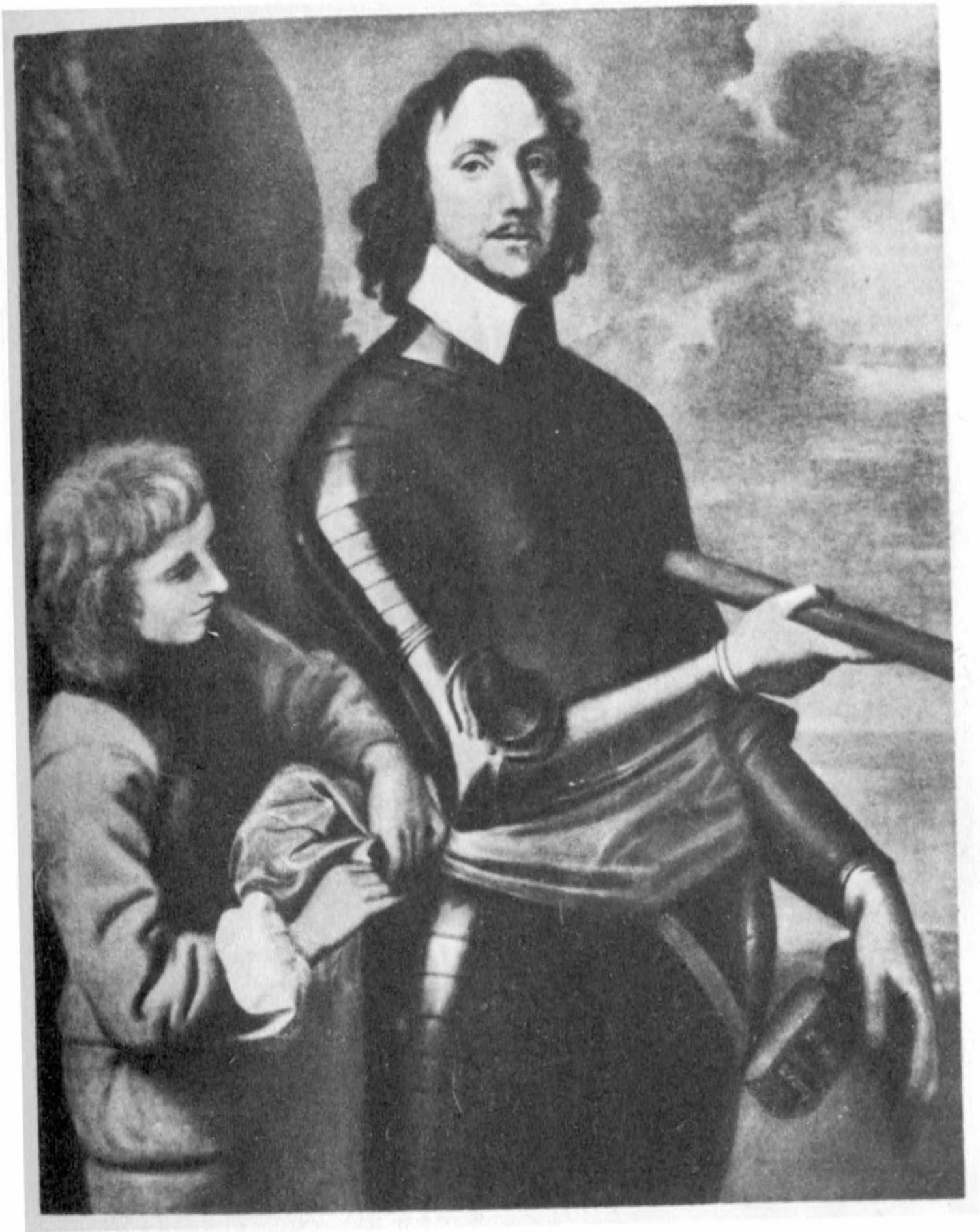
**Джон Пим**

**Посещение Карлом I палаты  
общин с целью ареста пяти ее  
членов**

**Кавалер и «круглоголовый»**



Оливер Кромвель

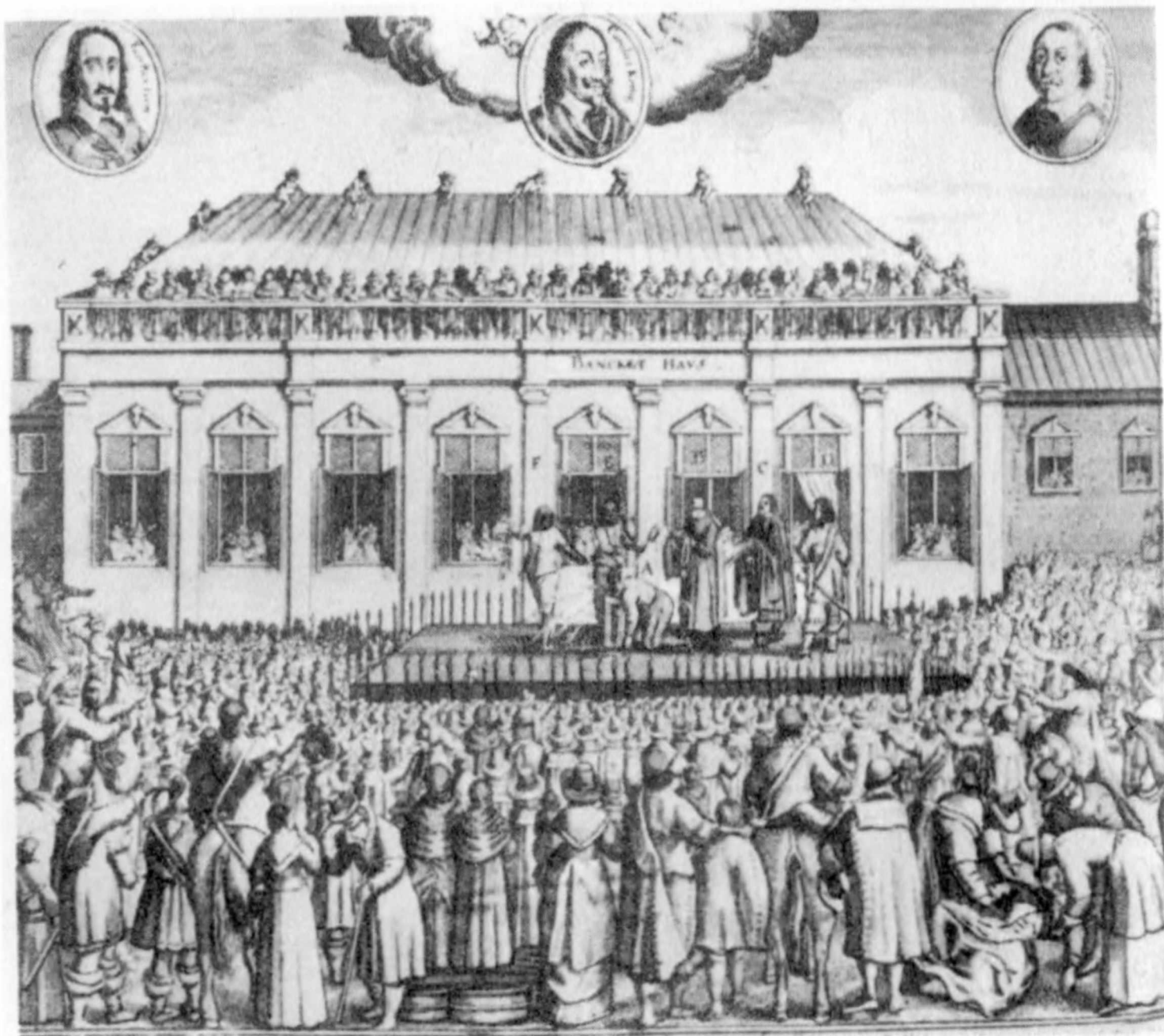


Сэр Томас Ферфакс

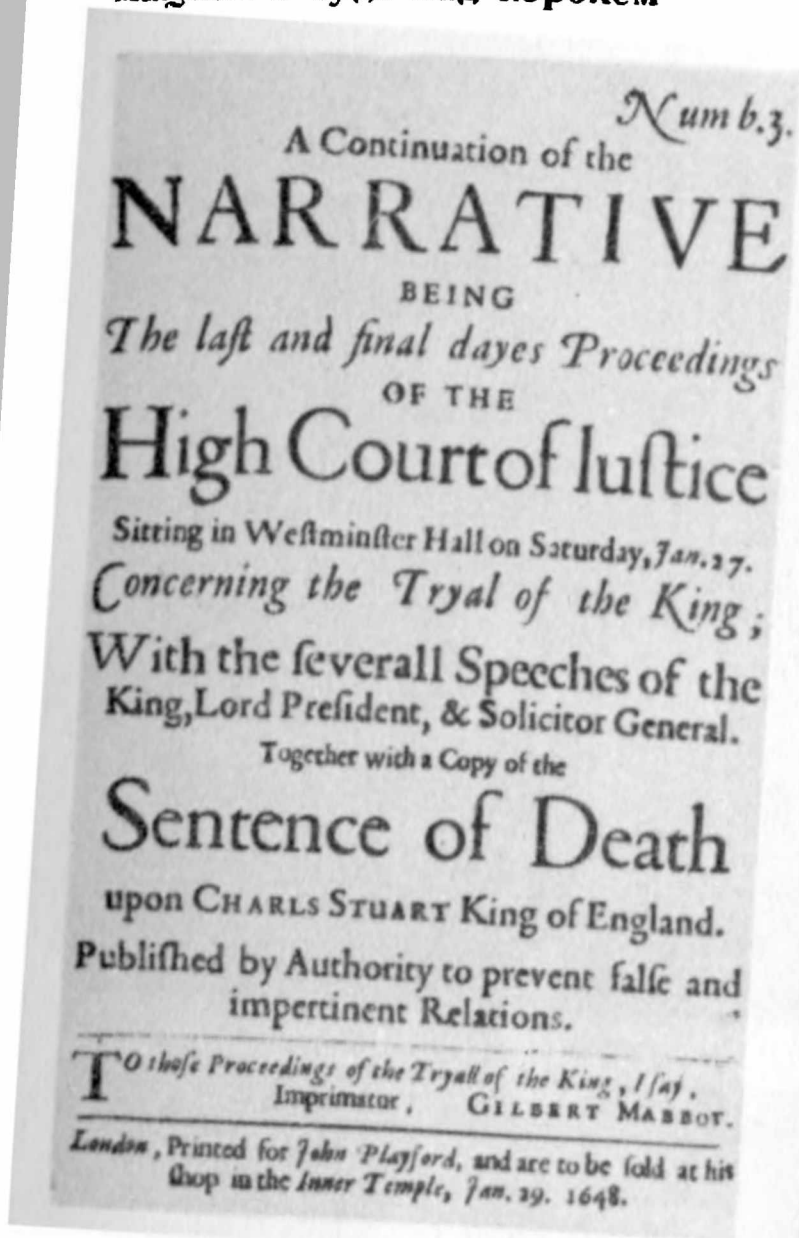
Суд над Карлом I



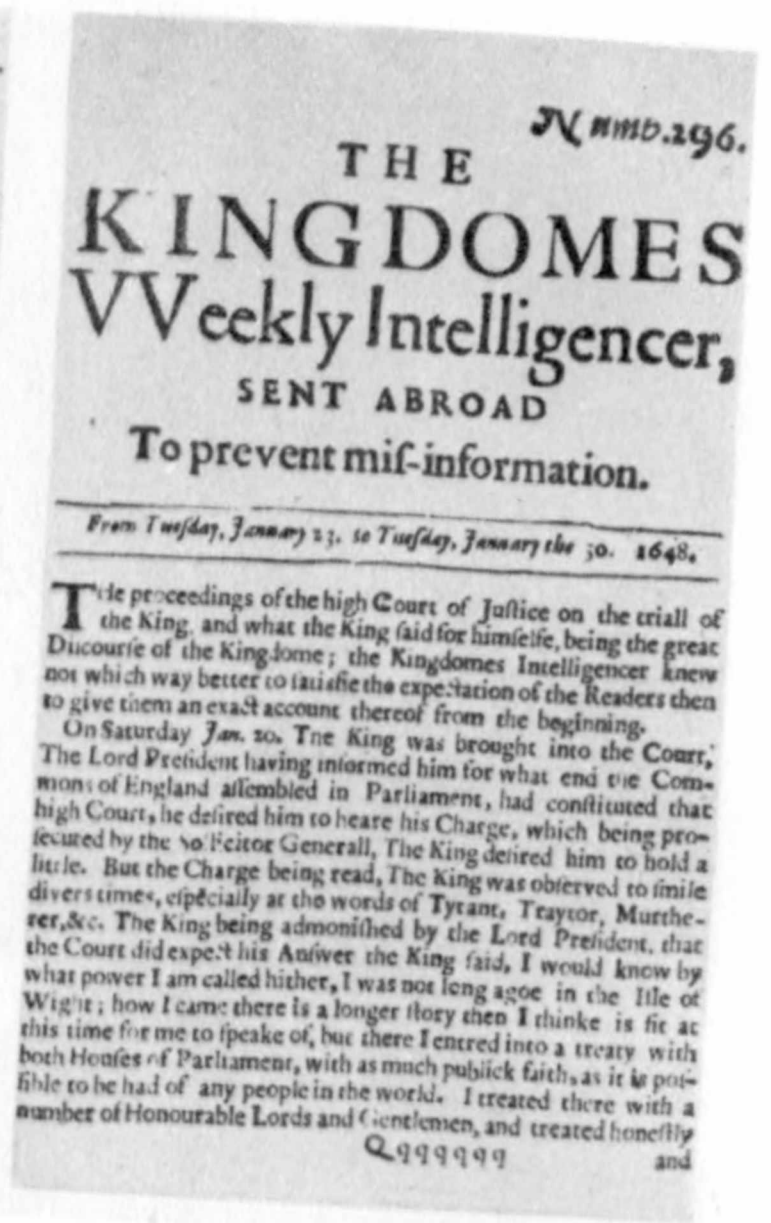
Казнь Карла I



Титульный лист «Еженедельного вестника королевства» с информацией о суде над королем



Титульный лист описания заключительных заседаний суда над королем

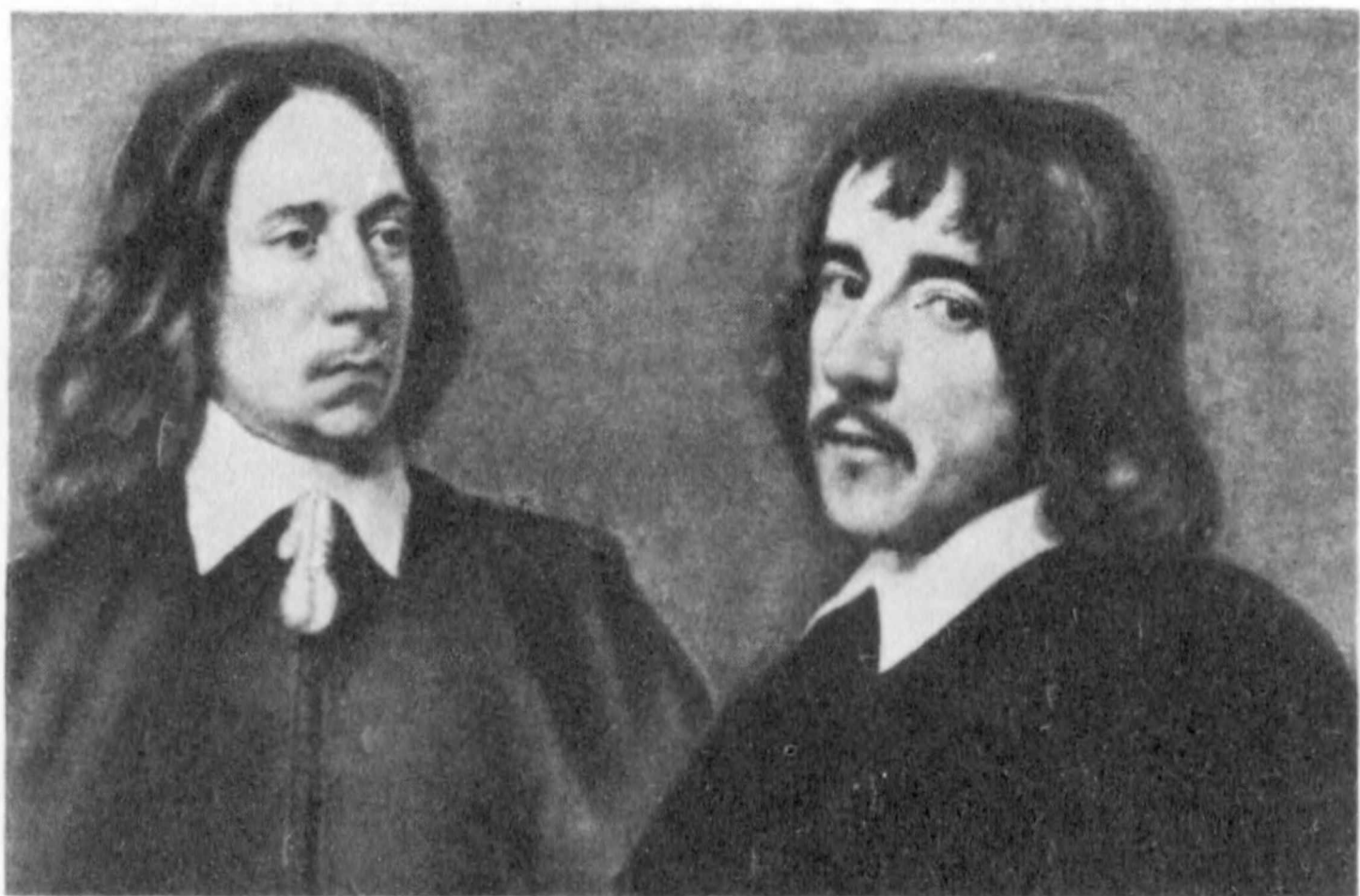


Большая печать Республики 1649 г.



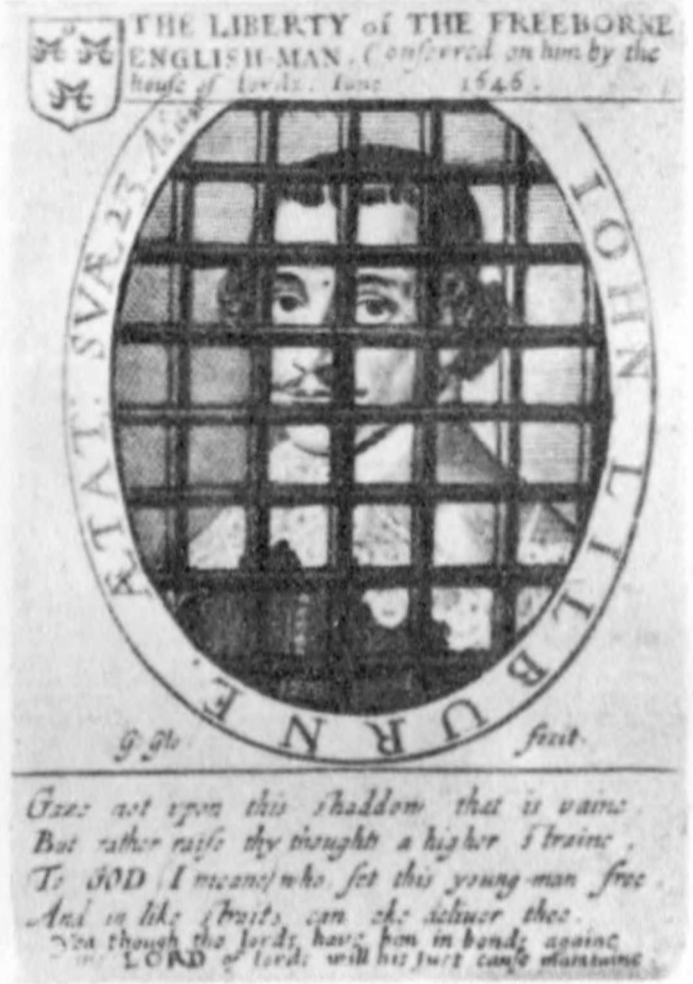
Джон Брэдшоу (слева)  
и Хью Питер (справа)

Разгон Кромвелем «охвостья»  
Долгого парламента









**THE CHRISTIAN MANS TRIALL:**  
OR,  
**A TRVE RELATION**  
of the first apprehension and severall examinations of **JOHN LILBURNE,**  
With his Censure in *Star-Chamber*, and the manner of his cruell whipping through the Streets: whereunto is annexed his Speech in the Pillory, and their gagging of him:  
Also the severe Order of the Lords made the same day for fettering his hands and feet in yrons, and for keeping his friends and monics from him, which was accordingly executed upon him for a long time together by the Wardens of the Fleet, with a great deale of barbarous cruelty and inhumanity, &c.

Revel. 2. 10. Behold, the Devil shall cast some of you into prison, that you may be tryed, and you shall have tribulation ten dayes: be thou faithfull unto death, and I will give thee a Crowne of life.  
Matth. 10. 19. But when they deliver you up, take no thought how, or what you shall say, for it shall be given you in that hour what you shall say.

The second Edition, with an addition.

LONDON,  
Printed for **WILLIAM LARNAR**, and are to be sold at his Shop at the Signe of the *Golden Anchor*, neere *Pauls-Church*, 1641.

**ENGLANDS Troublers Troubled,**  
Or the just **RESOLUTIONS**  
OF *The plaine-men of ENGLAND,*  
Against the **RICH AND MIGHTIE:**  
by whose pride treachery and wilfulness, they are brought into extreme necessity and misery.

JAM. 5. 1. 5. 6,

Ye rich men weep and howle, for the miseryes that shall come upon you: ye have lived in pleasure and wantonnes on the earth, ye have nourished your hearts as in a day of wrath: ye have condemned and killed the just, and have not been repented.

Aug: 17

Printed in the year. 1648.

Титульный лист памфлета Лильберна «Испытание христианина»

Титульный лист памфлета «Беспокойство доставляющим Англии заботы»

**Титульный лист памфлета Питера Чемберлена «Защитник бедного человека»**

The Epistle Dedicatory.

God, and shall in the Honour of your memories in the hearts of all men. They are not weary of you, but of your Taxes and Charges. Nor can they change faces but conditions. And with this period work proclaim a Jubile of Conscience, but let it not utter in a habit of sin.

How much blood and exprober had been shed, had honest men distinguished between Liberty of sin and Liberty of Conscience, between punishment of sin and punishment of Conscience? The answer is, leave Conscience free. Let us men here performe above the Lawes, God only judgeth the heart.

He that despiseth the Law, is judged by the Law, and thus the Law is sufficient. He that despiseth the Gospel, is judged by the Gospel, but that is proved by the spirit. God loveth not trifling words. He opposeth the Gospel Censures for legal Transgressions, not legal censures for Gospel sins. The Magistrate for the Law the Church for the Gospel.

How can we be guided by the suprem Authority and Power of all the World, and the fundamentall Lawes of Nature written to Moses by God, we may all agree concerning the Authorities, Power, and Lawes of England, unless we must ever continue penitus toto divisus ab orbe, out of the World. Verbum sapienti: I am not sedum unless displeasur, And can there be displeasur in love the Christian love of him that is.

3. April, Your Honours  
1649.

In all humble Christian Duty,  
PETER CHAMBERLEN.



THE  
**POORE MANS**  
ADVOCATE,  
OR  
England's Samaritan, Pouring Oyle, and  
Wine into the wounds of the Nation.



The most necessary work of mankind, is to provide for the poore.

1. The rich can help themselves. *Reason.*

2. The rich are provided for, in providing for the poore; For if the poorest of all want nothing, the care of the rich is at an end, since the end of riches is but to be further off from poverty. *Quis tandem finis querens? Ut cum quis habeat plus pauperum metus minus.*

3. The wealth and strength of all Countries are in the poore; for they do all the great and necessary workes and they make up the waime body and strength of Armies.

4. The poore have a right unto the creature as well as the rich, and to this purpose, men are entrusted with riches, that (as Gods Stewards) they might reward the labours and industries of the poore.

5. It is the worke of God, and of men that will be like God, which

B W

*Unum Necessarium:*  
OR,  
**The Poore Mans Case:**  
BEING  
An Expedient to make Provision for all poore People in the Kingdome.  
*Humbly presented to the higher Powers:*  
Begging some Angelicall Ordinance, for the speedy abating of the prices of Corne, without which, the ruine of many thousands (in humane judgement) is inevitable.

In all humility propounding, that the readiest way is a suppression or regulation of Innes and Ale-houses, where halfe the Barley is wasted in excess: Proving them by Law to be all in a *Præsumptio*, and the grand concernment, that none which have been notoriously disaffected, and enemies to common honesty and civility, should sell any Wine, strong Ale, or Beere, but others to be licensed by a Committee in every County, upon recommendation of the Minister, and such of the Inhabitants in every Parish, where need requires, that have been faithfull to the Publike.

Wherein there is a *Hue-and-Cry* against Drunkards, as the most dangerous Antinomians: And against Ingrossers, to make a death, and cruel Misers, which are the Caterpillars and Bane of this Kingdome.

By *John Cooke*, of Graies Inne, Barreller.

Prov. 11. 26. He that withholdeth corne, the people shall curse him, but blessing shall be upon the head of him that selleth it.

L O N D O N,  
Printed for Matthew W'albancke at Graies Inne Gate.

(639)  
Numb. 60.

**The Moderate:**  
Impartially communicating Martial  
Affaires to the KINGDOM OF  
**ENGLAND.**

From Tuesday August 28. to Tuesday September 4. 1649.

**A**L L Townes are ordained by the suprem Authority of the people, for their good and well-being; and when they cease to act contrary to that end, they not onely cease to be any longer obeyed, but ought to be quashed for all that evil and misery which they have brought the Nation into, by their breach of Trust, Corruption, Self Interest, &c. (if by the Law provided.) Hence it is, that corrupt Judges have tasted the severity of this Judgement, and things themselves have drunk the dregs of the peoples fury; which as it is a precedent for all other Free Nations, so it is a warning to many, whose hearts are still hardened, and their endeavors yet prosecuted to oppress, subvert, and vassalize the Majesty of the Free-people, whose ill displeasure therein will make all the Foundations of the greatest powers of Earth to tremble, and none shall stand for a while, but such onely as themselves are the original of their Authority.

Die Luna, 27 Augusti, 1649.

Printed by the Remembrance of *John Mafey*, on behalf of himself, and others well-affected in the Countie of Lancashire, Westmerland, and Cumberland, particularly of *Thomas Massey* Esquire, *John Massey* his son, and *Elizabeth Massey* his daughter, *Captain Richard Creech* Major, and *Mary Bircham*, Widow: And upon

O o o W o n

**Титульный лист памфлета Джона Кука «Дело бедного человека»**

**Титульный лист газеты левеллеров «Умеренный»**

Защитительная речь Джона  
Лильберна во время суда над

ним в 1649 г. и медаль, выбитая  
в ознаменование его оправдания



с эмблемой левеллеров, и Кромвель предпочел на этот раз тактику обещаний: парламент вскоре будет распущен, состоятся новые выборы по новым избирательным округам, солдатам выплатят жалованье, и угроза восстания на этот раз была отведена.

Однако в провинции восстание вспыхнуло с новой силой. К северу от Оксфорда, в Бэнбери, восстала рота солдат во главе с капитаном Томпсоном. Два полка восстали в Солсбери: до тех пор, пока не будет осуществлено «Народное соглашение», восставшие решили не покидать Англию. Мятеж охватил части полков Айртона, Скиппона и Гаррисона. Однако и на этот раз разрозненность сил восставших предрешила исход солдатских восстаний в мае 1649 г., как она же сыграла на руку генералам осенью 1647 г. Кромвель и Ферфакс во главе четырехтысячного отряда кавалерии, неожиданно напав на основные силы восставших близ Берфорда, в коротком и ожесточенном ночном бою нанесли им сокрушительное поражение: 400 мятежников сложили оружие, однако около 800 солдат избежали плена, рассеявшись по окрестным полям и селениям. Избежавший плена Уильям Томпсон, возглавивший восстание, сумел затем вновь собрать вокруг себя отряд, решив драться до конца. В новом сражении с превосходящими силами генералов он и большая часть его соратников погибли. Как заметил Ферфакс, он сражался «с мужеством, достойным лучшего применения».

Итак, восстание левеллеров в солдатских мундирах, расквартированных в Оксфордшире, Ланкашире, Дербишире, Сомерсетшире, было беспощадно подавлено «отцами»-генералами. Англия собственников вздохнула с облегчением. Парламент объявил Кромвелю «благодарность» за «услуги нации». Оксфордский университет поспешил избрать его своим почетным членом. Но самое умильное ханжество проявили дельцы Сити, еще вчера ненавидевшие Кромвелю как «цареубийцу»; сегодня же они были столь растроганы его беспощадностью по отношению к левеллерам, что не поскупились на организацию в его честь торжественного приема с преподношением драгоценных подарков — золотых и серебряных чаш.

Подавление левеллерского восстания в армии развязало руки Кромвелю и заметно увеличило щедрость денежных мешков Сити по отношению к Республике. Подготовка военной экспедиции в Ирландию велась спешно. Ее главнокомандующим был назначен Кромвель с окладом в 12 тыс. ф. ст. в год. 13 августа флотилия в составе 132 су-

дов, имевших на борту 10 тыс. хорошо снаряженных солдат, военные припасы и продовольствие, покинула берега Англии и через два дня достигла Ирландии близ Дублина, административного центра страны. К этому времени военная обстановка вокруг него сложилась довольно благоприятно для парламента. До прибытия Кромвеля генерал Джонс разбил блокировавшие Дублин войска маркиза Ормонда, вставшего на сторону короля Карла II, и отбросил их на север.

Однако в целом ситуация в Ирландии была крайне запутанной. Власть английского парламента признавалась только в Дублине и его ближайших окрестностях. Против власти парламента выступали силы совершенно различные: армия англо-ирландских протестантов под началом маркиза Ормонда и ирландские католики; последние были в свою очередь разделены: с одной стороны, речь шла о католиках-роялистах англо-ирландского происхождения, а с другой — о коренных ирландских кланах во главе с Оуэном О'Нейлом, враждебных англичанам-протестантам не только по причинам конфессиональным, но и как колонизаторам, независимо от того, являлись ли они роялистами или приверженцами парламента.

В результате силам парламента в этой стране представлялась уникальная возможность не только сталкивать своих противников между собой (спекулируя на вражде между протестантами и католиками), но и сразиться с ними порознь. Одновременно вновь назначенный адмиралом парламента флота Блейк очистил Ирландское море от роялистских кораблей принца Руперта и тем самым обеспечил регулярное сообщение экспедиции Кромвеля с Англией. Поскольку Кромвелю противостояли по сути только разрозненные очаги сопротивления, вся его тактика заключалась в том, чтобы подавить их порознь, и первым таким очагом была крепость Дрогеда, о которой говорили: штурмовать Дрогеду равносильно тому, что штурмовать ад. Обладая тройным превосходством сил (10 тыс. против 3 тыс. защитников крепости) и абсолютным превосходством в артиллерии, Кромвель в ответ на отказ коменданта Дрогеды сдать крепость начал штурм ее. После того как артиллерия сделала два пролома в стене, ее окружавшей, солдаты пошли на приступ, но были отражены. Тогда Кромвель лично возглавил вторую атаку, и укрепления были прорваны. По его приказу была учинена столь жестокая резня защитников крепости, которая заставила содрогнуться даже видавших ужасы Тридцатилетней войны ветеранов,—

всех захваченных с оружием в руках предавали мечу. «Я полагаю,— сообщал Кромвель в Лондон,— что в эту ночь было предано мечу не менее 2 тыс. человек. 100 человек, укрывшихся в колокольне церкви св. Петра, были сожжены заживо. Около 1000 человек, искавших убежища в самой церкви, были убиты на месте». Распоясавшиеся солдаты предали город повальному грабежу. При этом англичане потеряли всего лишь 64 человека.

В итоге Дрогеда стала символом не столько военной победы англичан, сколько беспощадной жестокости победителя по отношению к побежденным (резни не избежали не только сопротивлявшиеся, но и сдавшиеся на милость победителя). Жестокость Кромвеля в Дрогеде была явно преднамеренной — он задался целью устрашить защитников других крепостей, с тем чтобы в короткое время завершить покорение Ирландии и предотвратить крупные потери в собственных войсках. «Я убежден,— писал Кромвель в своей реляции парламенту,— что это был справедливый приговор господ над этими варварами». Этой жетактики Кромвель придерживался и в следующей крупной битве — 14 октября при штурме крепости Уэксфорд к югу от Дублина. И здесь уже после того, как сопротивление прекратилось, было вырезано не менее 2 тыс. человек, а город был также предан повальному разграблению.

Однако по мере продвижения Кромвеля в глубь страны тактика устрашения не давала желаемых результатов. Ирландские кланы и не думали складывать оружие. Ему пришлось, несмотря на превосходство в вооружении (артиллерия играла решающую роль при штурме крепостей), вести продолжительную и изнурительную борьбу за каждый укрепленный лагерь. Когда после тяжелой зимы, принесшей в лагерь англичан голод и эпидемии, Кромвель в мае 1650 г. осадил город Клонмель, он потерпел тяжкое поражение: 1200 его защитников успешно отбили штурм численно превосходящих сил англичан. В этом сражении Кромвель потерял около 2 тыс. человек. Желая смягчить сопротивление ирландцев, он решил продемонстрировать «мягкость» — начал щадить сдававшиеся гарнизоны, запрещал грабить население. Однако довести борьбу до конца Кромвелю так и не удалось: в мае 1650 г. его срочно отозвали в Англию. Его преемникам генералу Айртону и генералу Флитвуду еще долгие месяцы пришлось тушить пламя народного гнева.

Придя в Ирландию, Кромвель провозгласил: «С помощью божьей мы пришли сюда, чтобы поддержать блеск

и славу английской свободы, в которой народ Ирландии... может равным образом участвовать во всех выгодах, пользоваться свободой и достоинством наравне с англичанами». А в результате треть населения Ирландии погибла в ходе завоевания острова англичанами. Тысячи ирландцев «добровольно» покинули родину, нанявшись в ландскнехты в страны континента. Еще большее число ирландцев, включая женщин и детей, были свезены в американские колонии в качестве «белых рабов». Согласно акту «об устройении Ирландии», все владения захваченных с оружием в руках подлежали конфискации: в одних случаях полностью, в других — от двух третей до одной пятой части. Однако и оставшуюся им долю они могли получать только в пустынном и бесплодном Коннауте, куда насильно переселялась основная часть туземцев. «Очищенные» таким путем земли шли на удовлетворение парламентских кредиторов и армии. В руки новых собственников переходило  $\frac{2}{3}$  ирландской территории. Впрочем, поскольку это касалось большинства солдат, то, не имея средств на обзаведение хозяйством, они за бесценок продавали офицерам выданные им взамен причитавшегося жалованья «долговые обязательства», дававшие право на получение надела в Ирландии. В результате офицерская верхушка вместе с кредиторами парламента составила новый слой английских лендлордов в Ирландии, ставших дополнительным оплотом буржуазно-дворянской диктатуры Кромвеля.

«На примере ирландской истории,— писал Ф. Энгельс К. Марксу в 1865 г.,— можно видеть, какое это несчастье для народа поработить себе другой народ». «Английская республика при Кромвеле в сущности разбилась об Ирландию»,— заключил Маркс.

Итак, Кромвель был спешно отозван из Ирландии ввиду возросшей угрозы Республике со стороны Шотландии. Карл Стюарт, сын и наследник казненного Карла I, направившийся было в Ирландию и дожидавшийся по пути на острове Джерси исхода военной экспедиции в эту страну Кромвеля, естественно, не стал в сложившейся там обстановке продолжать задуманное путешествие с целью возглавить вторжение в Англию. Теперь все его надежды были связаны с Шотландией, где он был провозглашен королем под именем Карла II. Однако военную поддержку притязаний последнего на «родительский престол» шотландцы ставили в зависимость от его согласия на введение пресвитерианского церковного устройства.

Сообразно с условиями так называемого Ковенанта

10 июня Карл Стюарт согласился на эти условия и направился в Шотландию. Однако парламент в Лондоне решил нанести упреждающий удар. Поскольку склонявшийся к пресвитерианству генерал Ферфакс наотрез отказался возглавить армию, направляемую не для защиты, а для вторжения в Шотландию, то во главе ее решено было поставить Кромвеля. Уговаривая Ферфакса не отказываться от похода, Кромвель говорил: «То, что между нами (т. е. Англией и Шотландией) будет война, я боюсь, является неизбежным. Ваше превосходительство пусть поразмыслит, не лучше ли вести эту войну на чужой территории, чем на нашей собственной; в том же, что это произойдет на одной из них, я не сомневаюсь».

Наотрез отказавшись от этой чести, Ферфакс заметил, что вероятность еще не является достаточным основанием для нападения на соседа. Однако логика Кромвеля, в особенности после Ирландии, уже предвосхищала логику грядущего Наполеона. Уверовав в свою звезду, именовавшуюся им не иначе как «свидетельством провидения», Кромвель повторно превращал следовавшую за ним армию из оплота былой народной революции в *орудие внешних завоеваний и порабощения других народов*.

После решительного отказа Ферфакса возглавить Северный поход парламент 26 мая 1650 г. назначил Кромвеля лордом-генералом — главнокомандующим всеми вооруженными силами Республики. С 10 тыс. пехоты и 5 тыс. кавалерии он в конце июня выступил на север и 22 июля пересек шотландскую границу. Шотландцы выставили против него 18 тыс. пехоты и 8 тыс. кавалерии под командованием опытного полководца Дэвида Лесли. Для того чтобы уловить специфику этой военной кампании Кромвеля, следует указать на одно невоенное обстоятельство. В войне с шотландцами фактор религиозной розни играл далеко не столь существенную роль, которую мы могли наблюдать во время ирландской экспедиции Кромвеля — глубокая вражда между католиками и протестантами, определявшая в те дни в значительной степени межнациональные отношения. В последнем случае сыграла немаловажную роль в поддержании боевого духа английских солдат в Ирландии. Однако в Шотландии ситуация была иная: шотландцы ведь являлись не только протестантами, но и такими же противниками англиканства, как и приверженцы парламента в Англии. Что же касается розни между пресвитерианами и индепендентами, то она в определенной мере была лишена драматизма: ведь и в лагере Долгого парламента суще-



ствовал тот же водораздел. Вот почему, вступив на землю Шотландии, Кромвель в первой же своей декларации призывал уладить дело «полюбовно», не прибегая к оружию. «С момента нашего прихода в Шотландию,— писал он,— нашим страстным желанием и стремлением является избежать кровопролития». Только в случае, если дело дойдет до войны, «пусть богу будет угодно решить ее исход мечом».

Несмотря на численное превосходство, Лесли благоразумно придерживался оборонительной тактики, изматывая англичан мелкими стычками и стараясь завлечь их в глубь страны, с тем чтобы, отрезав от баз снабжения, окружить их и разбить. Кромвель же, сознавая трудности войны в гористой местности, напротив, стремился дать решительное сражение. Однако противник держался все время гор и оставался, в особенности для кавалерии, неуязвимым.

Не решаясь на штурм сильно укрепленного Эдинбурга и потеряв надежду выманить Лесли в долину, Кромвель отступил в сентябре к Денбару, где он решил ждать подкреплений. Лесли следовал за ним по пятам, готовя ему ловушку, из которой, казалось, невозможно было выбраться. Положение Кромвеля становилось с каждым днем все более критическим. Единственная дорога на Беркли, связывавшая его с Англией, была перерезана шотландцами. Снаряжение и продовольствие истощались, голод и болезни уносили все большее число английских солдат. Из 16 тыс. у Кромвеля оставалось не более 11 тыс. Многие уже начали отчаиваться и предлагали погрузить пехоту на корабли, предоставив кавалерию ее собственной судьбе.

Однако, когда угасал уже последний луч надежды, случилось невероятное: Лесли спустился со своей армией в долину, с тем чтобы дать Кромвелю сражение. Имея двойное превосходство сил (22 тыс. человек), он был почти уверен в успехе. Построив свое войско обычным для того времени порядком — пехоту в центре, кавалерию на флангах, Лесли сосредоточил основную часть своей кавалерии на правом фланге, намереваясь обходным движением обрушиться на англичан с фланга и с тыла.

Многие считали положение Кромвеля безнадежным, да и сам он почти не верил в спасение. Однако это неверие длилось лишь до того момента, пока Кромвель не заметил роковых слабостей в позиции шотландцев. Имея в тылу горы, Лесли почти был лишен возможности маневрировать, в особенности был стеснен левый фланг его войск,

зажатый между холмами и урочищем реки. И мгновенно у Кромвеля сложился план сражения — демонстрируя атаку против этого по существу обреченного на бездействие фланга, Кромвель под покровом ночи перегруппировал свои ряды, собрав основные силы против правого фланга армии Лесли. Шотландцы, выстроенные в боевую линию, всю ночь ждали сражения, но Кромвель медлил. Только в предрассветной мгле, когда уставшие солдаты Лесли расположились на отдых, а офицеры разбрелись по ближайшим домам, Кромвель начал атаку.

Однако шотландцы не были полностью застигнуты врасплох. Сравнительно быстро приняв боевой порядок, они успешно отбили первую атаку кавалерии Кромвеля и оттеснили его пехоту. В этот критический момент сражения в дело вступил сам Кромвель во главе кавалерийского резерва. Под его натиском правый фланг шотландцев все больше загибался назад, оголив таким образом фланг своей пехоты. По нему и ударила теперь кавалерия Кромвеля, в то время как его пехота перешла в атаку с фронта. Стесненные со всех сторон, шотландцы, лишенные возможности перегруппироваться и отойти, окончательно потеряли боевой порядок и превратились в беспомощно мятущуюся многотысячную толпу. Все было кончено в течение часа. Первый луч восходящего солнца открыл взору страшное зрелище битвы.

Три тысячи шотландцев погибли, и 10 тыс. сложили оружие. Были захвачены весь обоз и артиллерия. Кромвель был уверен, что его потери составили всего лишь 20 человек. В его собственных глазах свершилось чудо: мечтать лишь о спасении и одержать подобную победу! Кромвель сообщал о ней парламенту, назвав ее одним из самых значительных проявлений милосердия господа, оказанного Англии и ее народу в этой войне. Вскоре после Денбара Кромвель овладел Эдинбургом. Здесь его застигла суровая шотландская зима — он тяжело заболел и только к весне почувствовал себя лучше.

Однако война еще не была завершена. Состоявшаяся 1 января 1651 г. коронация Карла II еще больше укрепила союз пресвитериан и роялистов. Они решительно отвергли даже мысль о мире с Республикой. Под командованием Лесли снова были собраны значительные силы. Когда Кромвелю стало очевидно, что в связи с оборонительной тактикой Лесли английским войскам не избежать второй зимней кампании в горах, он решился на рискованный шаг: открыл Лесли дорогу на юг, в Англию, и шотландцы как будто только этого и ждали. Возглавляемые Кар-

лом II, они ринулись в глубь Англии, встречая лишь слабое сопротивление разрозненных частей парламента. Кромвель между тем следовал за ними по пятам. Когда же Карл II решил направиться к Лондону, Кромвель с невероятной быстротой его обошел и преградил ему путь у Вустера. 3 сентября 1651 г., в годовщину Денбара, произошло решающее сражение: 31-тысячной армии англичан шотландцы могли противопоставить всего 6 тыс. человек. Надежды Карла II на пополнение своих сил английскими роялистами не оправдались.

Во-первых, они были основательно разгромлены во второй гражданской войне, и, во-вторых, как бы они ни относились к парламенту, но получить короля из рук иноземного завоевателя даже они не согласились. Естественно, что в битве при Вустере шотландцы были разбиты наголову, почти никому не удалось избежать плена или смерти. Карл II едва спасся бегством. Вустер был концом независимости Шотландии, ее парламент был распущен, таможенные барьеры уничтожены, на нее распространили английскую правовую и налоговую систему. И хотя победители не предпринимали здесь сколько-нибудь массовых земельных конфискаций и воздерживались от жестокостей, недавно творимых ими в Ирландии, индипендентская Республика и здесь выступала в роли угнетательницы малой народности.

17 сентября 1651 г. Кромвель вернулся в столицу, устроившую ему небывало торжественную встречу. Слава его находилась теперь в зените и гремела далеко за пределами Англии. Парламент осыпал его дарами: вдобавок к ранее переданному ему дворцу Уайтхолл ему предоставили летний дворец короля Гемптон-Корт. Его снова наградили годовым доходом в 4 тыс. ф. ст.

### **Крушение Республики и Протекторат Кромвеля**

Победоносный меч Кромвеля, казалось, окончательно укрепил индипендентскую Республику. Опасность роялистской интервенции была ликвидирована. Военное искусство генерала, продемонстрированное при Денбаре и Вустере, укрепило ее международный престиж. В 1650 г. Республику официально признала Испания, через два года ее примеру последовала Франция, ей подчинились заморские колонии Виргиния и Мэриленд, а также Вест-Индские острова.

Однако в той же мере, в какой Республика укрепилась

внешнеполитически, она ослабляла себя изнутри. И главная тому причина — внутриполитический курс, диктовавшийся целиком и полностью классовым эгоизмом имущих. Прежде всего она полностью пренебрегла интересами крестьянства, т. е. класса, которому она, больше чем кому бы то ни было, обязана была своим существованием. Копигольдеры не были освобождены от власти лендлордов. Их повинности, их подсудность, их бесправие — все эти атрибуты «старого режима» были оставлены нетронутыми. В вопросе об общинных землях Республика встала на защиту огораживателей, причем еще более беззастенчиво, чем уничтоженная ею королевская власть.

Ярким проявлением этой политики было жестокое подавление колоний безземельных бедняков, так называемых диггеров («копателей»), возникших на пустошах в ряде графств (с целью их возделывания). Отказывая пауперам в возможности кормиться трудом своих рук, Республика дала волю «благородным» грабителям общинных земель. Распродажа земель делинквентов, санкционированная актами Республики 1651—1652 гг., осуществлялась на условиях, практически исключавших их парцеллирование с целью уменьшения земельного голода в деревне (требование выплаты стоимости участка в течение нескольких недель открывало возможность неслыханного обогащения клики спекулянтов — членов парламента, парламентских кредиторов и армейской верхушки \*). Республика ничего не сделала ни для борьбы с массовой безработицей и дороговизной, обрекавшими на жизнь впроголодь низы города и деревни, ни для облегчения налогового бремени, ни для отмены вызывавшей всеобщее возмущение церковной десятины, ни для реформы унаследованного права.

Классовый эгоизм властителей Республики был настолько вызывающим, что даже Кромвель счел нужным закончить реляцию в парламент о победе при Денбаре призывом: «Отрешитесь от себя и пользуйтесь властью для обуздания гордых и наглых. Облегчите угнетенным их тяготы, прислушайтесь к стонам бедных узников в Англии, позаботьтесь об устранении злоупотреблений во всех профессиях. Не к лицу Республике, если для обогащения немногих разоряются многие».

---

\* Полковник Оккей приобрел два владения; генерал-лейтенант Ламберт — владения в графстве Серри, полковник Уолли — два манора в графстве Норфолк, полковник Прайд — парк в Серри, сэр Нортон — манор Ричмонд с парком и т. д.

Не будем верить в искренность генерала по отношению к страждущим. Как показало близкое будущее, в этих словах заключалась политика. Однако суть политики «охвостья» он вскрыл достаточно образно — только с обратным знаком: к чему генерал призывал, тем парламент полностью пренебрегал. Наконец, не установилась в индипендентской Республике и ожидавшаяся свобода совести. В особенности преследовались радикальные секты — милленарии, рантеры, фамилисты, анабаптисты, рассматривавшиеся как источник мятежа, имевшего целью установление «общности имущества».

Когда наконец стало очевидным, что, с одной стороны, «охвостье» Долгого парламента выродилось в кучку обнаглевших дельцов, пользовавшихся своим положением лишь для округления своих состояний, а с другой — что растущим недовольством и брожением в низах готовы воспользоваться притаившиеся роялисты, Кромвель, в какой уже раз, переходит в «оппозицию». В августе 1651 г. офицерский Совет подает петицию в парламент, в которой помимо требований о выплате армии задолженности значилось проведение реформы права, уничтожение церковной десятины (требование о назначении даты своего «самороспуска» и новых выборов было по настоянию Кромвеля опущено). Но как он впоследствии признал, он пользовался всяким удобным случаем, чтобы напомнить «охвостью» о необходимости положить предел своей власти. Только под большим нажимом оно назначило срок своего роспуска — ноябрь 1654 г. Однако в проекте «избирательного закона» предусматривалось, что члены Долгого парламента не подлежат переизбранию, а должны автоматически войти в состав не только нового парламента, но и всех других будущих парламентов; это — во-первых. И во-вторых, что только «охвостью» принадлежит право впредь устанавливать «законность» избрания того или иного члена парламента.

Кромвель добивался изменения этого проекта. Когда же лидеры парламента убедились в том, что армейская верхушка никогда не согласится на подобный закон, они решили провести его за ее спиной. Заверив Кромвеля, что пока не будут принимать никакого решения по этому вопросу, они на следующий день, воспользовавшись его отсутствием в палате, в спешном порядке принялись обсуждать законопроект, с тем чтобы сделать его законом. Узнав о таком вероломстве парламента, Кромвель пришел в бешенство. В чем был (в домашнем черном кафтане и серых чулках), он отправился в парламент, не забыв

захватить с собой несколько десятков мушкетеров. Он вошел туда, сел рядом с Гаррисоном. О том, что было дальше, красочно повествует Ледлоу в своих мемуарах: «Кромвель... сказал ему, что надо распустить парламент и что нужно это сделать сейчас. Гаррисон возразил, что дело это большое и трудное и что нужно хорошенько его обсудить. «Вы правы», — ответил генерал и еще около четверти часа сидел молча. Затем, когда был поставлен вопрос об утверждении законопроекта, Кромвель шепнул ему: «Теперь пора, я должен это сделать» — и, внезапно встав с места, произнес речь». О ее содержании дает представление тот же мемуарист: «Он осыпал парламент самыми грубыми упреками, обвиняя его членов в том, что они не пожелали сделать что-либо для общественного блага, отстаивают корыстные интересы пресвитериан и юристов, являющихся пособниками тирании и угнетения; обвиняя их в намерении навсегда сохранить за собой власть...

После этого он сказал, что господь отрекся от них и избрал своим орудием других людей, более достойных, чтобы свершить его дело. Он говорил с такой страстью и воодушевлением, словно обезумел. Сэр Питер Уэнтворт встал с места, чтобы ответить ему, и сказал, что он впервые слышит такие неподобающие для парламента речи и что это тем более ужасно, что их произносит слуга парламента...

Пока он говорил, генерал вышел на середину зала и, продолжая свою бессвязную речь, крикнул: «Довольно, довольно, я положу конец вашей болтовне». Затем, расхаживая по залу вперед и назад, как сумасшедший, и топая ногами, он воскликнул: «Вы полагаете, что это не парламентский язык, я согласен с вами, но вы и не можете ожидать от меня иного языка. Вы не парламент, я говорю вам, что вы не парламент, я положу конец вашим заседаниям», — и, обратившись к Гаррисону, он приказал: «Позовите их сюда». После этого подполковник Уортли вошел в зал с двумя шеренгами мушкетеров. Когда сэр Генри Вэн заметил это, он громко крикнул с места: «Это не честно, это противно морали и общепринятой нравственности!» Тогда Кромвель обрушился на него: «Ах, сэр Генри Вэн, сэр Генри Вэн! Боже, избави меня от сэра Генри Вэна». Затем, не называя имен, но указывая пальцем так, чтобы легко можно было догадаться, о ком речь идет, Кромвель обвинял одного в пьянстве, другого — во взяточничестве, третьего — в безнравственности. Спикер отказался покинуть свое место, «пока его не принудят

к этому силой». Кромвель крикнул: «Уведите его!» «Сэр,— сказал подошедший к нему Гаррисон,— я помогу вам». Спикер взял его за руку и сошел с места. После этого Кромвель приказал очистить палату от всех членов. «Вы вынудили меня на это,— сказал он им вдогонку,— ибо я день и ночь молил господу, чтобы он лучше убил меня, чем заставил сделать это». Кромвель подошел к секретарю и, выхватив у него заготовленный акт о роспуске палаты, сунул его себе под шляпу. Ему в глаза бросилась лежавшая на столе булава — символ власти спикера. «Что нам делать с этой безделушкой? Унесите ее прочь!» Когда все было закончено, Кромвель приказал запереть двери и отправился домой. Это произошло 20 апреля 1652 г.

Вечером того же дня судьбу парламента разделил и избранный им Государственный совет. Напрасно его председатель Бредшоу — судья, объявивший Карлу I смертный приговор,— пугал Кромвеля «опасными последствиями», когда о содеянном узнает страна. Между тем эта вестъ была встречена в народе с большим удовлетворением, как доносил домой венецианский посол: «Ни одна собака даже не твякнула». Такими словами подтвердил и Кромвель это сообщение. На время Кромвель снова стал наиболее популярным человеком в стране. Приверженцы радикальных сект снова понадеялись, что он избавит народ от «египетского рабства». Даже «истинный уравниатель» Джерард Уинстенли посвятил ему свою коммунистическую утопию «Закон свободы», вручив ему ее судьбу. «Сам английский народ в лице Кромвеля разогнал Долгий парламент» — так впоследствии оценил события этого дня К. Маркс. В этот день Кромвель в последний раз проявил выдающиеся качества революционера.

Однако было бы ошибочным предполагать, что Кромвель разогнал «охвостье» Долгого парламента по причине его полного безразличия к нуждам и ожиданиям народа, вопреки тому, что офицеры, в особенности после Вустера, убеждали его в необходимости проведения предлагаемых ими «мер» для «общего блага» народа. О характере этих мер Кромвель, как мы помним, в более чем общих словах указывал парламентау в реляции, сообщавшей о победе при Денбаре.

В действительности дело было в другом: члены «охвостья» больше не скрывали намерения увековечить свою власть, которая даже в глазах грандов, не говоря уже о народных низах, полностью потеряла всякое мо-

ральное оправдание. Продолжение этой власти грозило неизбежными взрывами массового недовольства.

Но кто же эти люди, которых Кромвель при разгоне «охвостья» назвал «более достойными» осуществить «дело божье»? Ему было очевидно, что искать этих людей путем «свободных выборов» в новый парламент в условиях, когда существовала реальная угроза того, что роялисты и пресвитериане, воспользовавшись растущим недовольством масс политикой Республики, добьются в нем большинства в парламенте, было предприятием более чем рискованным. Тогда оставалось очень узкое поле для маневрирования. Оно простиралось между двумя «партиями», существовавшими в Военном совете по вопросам политического устройства страны. Ламберт отстаивал план временного управления страной узким Государственным советом, созданным армией; Гаррисон, приверженец радикальной секты милленариев («людей пятой монархии»), мечтал об установлении «правления святых». Ни один из этих проектов не был приемлем для Кромвеля, поскольку он не включал хотя бы видимости парламента, этого символа «народного» волеизъявления. Но как отобрать этих людей и сколько их должно быть? На офицерском Совете было решено созвать в качестве членов парламента «божьих людей», т. е. представителей известных своим пуританским рвением церковных общин. В июле 1653 г. 140 человек, отобранных офицерским Советом из кандидатов, названных церковными конгрегациями по графствам (фактически получилось то, что большинство избранных были названы самим офицерским Советом), съехались в Лондон.

Собрание «святых», вскоре ставшее известным как «Малый (или Бербонский) \* парламент», было столь же внутренне неоднородным, как и армия, в недрах которой оно было укомплектовано. Неудивительно, что оно очень скоро оказалось неприемлемым для офицерской верхушки, и прежде всего потому, что тон в нем задавали «опасные религиозные энтузиасты» — «фанатики», как вскоре стали называть оказавшихся в нем сторонников радикальных реформ. В действительности не они составляли большинство этого собрания: 115 человек из 140 являлись мировыми судьями, а 55 оказались впоследствии членами ранее функционировавших парламентав. Иными словами,

---

\* Своим названием этот парламент обязан фамильному прозвищу одного из его членов, Вачеволе (лат.) (имя не сохранилось), — лондонского торговца, подвизавшегося в качестве баптистского проповедника.



речь в этих случаях идет о сельских джентльменах довольно «охранительного» склада мыслей. И хотя радикально настроенное ядро составляло в нем меньшинство (около 40—60 членов этого собрания), оно вселяло страх в грандов непредсказуемостью планов и действий.

Хроника «Малого парламента» должна привлечь наше внимание хотя бы потому, что она предоставила нам неповторимый случай воочию убедиться в том, что скрывалось за призывом Кромвеля и офицеров к «охвостью» осуществить меры на «благо народа». 4 июля 1653 г. Кромвель обратился к собранию «святых» с длинной, близкой к фразеологии милленариев речью: «Поистине, вы призваны господом управлять с ним и за него»; «Признаюсь, я никогда не надеялся увидеть день, подобный сегодняшнему»; «Почему мы должны страшиться сказать или помыслить, что этот путь может стать началом вещей, обещанных господом, о которых пророчествовали, ожиданием которых были полны сердца его народа»; «Мы находимся у порога, и поэтому нам следует поднять наши головы... вы находитесь на грани обещаний и пророчеств».

Потребовалось, однако, немного времени, чтобы Кромвель раскаялся в своих «увлечениях святыми». Оказалось, что радикальное ядро «собрания божьих людей» всерьез задумало осуществить далеко идущие реформы различных сторон общественной жизни. Провозгласив свое намерение «стать орудием, свергающим всякий гнет и удаляющим препятствия к тому, чтобы все нуждающиеся и обремененные были благословенны», парламент «святых» образовал комитеты, каждый из которых должен был подготовить проект соответствующей реформы. Так, они назначили комитеты для реформы системы права, для выработки рекомендаций относительно помощи бедным и жертвам огораживаний, реформы финансовой системы, церковного устройства и брака — таков был круг рассматривавшихся вопросов.

Уже первые шаги работы «Малого парламента» свидетельствовали о том, что он не собирается ограничиваться дискуссиями. Он начал с того, что отменил откуп налогов, финансовую систему, обогащавшую откупщиков за счет казны; подлежали уничтожению акцизные сборы, особенно обременительные для бедных; обсуждался билль о реформе Канцлерского суда (верховного суда по гражданским делам), давно заслужившего позорную славу беспримерной волокитой (в нем накопилось более 20 тыс. нерешенных дел, многие из которых были 20- или даже

30-летней давности) и взяточничеством. Церковный брак заменялся браком гражданским (впервые была введена регистрация актов гражданского состояния). Раздавались голоса, требовавшие раскладки налогов пропорционально доходам. Близким к решению был вопрос о десятине («Пусть священников содержат те, кто нуждается в них» — такова была простая и смелая формула). Когда обо всем этом услышали Кромвель и его окружение, перед ними снова возникла угроза «уравниательства». Вспомним, что сам Кромвель был одним из светских «собственников» (импроприаторов) церковной десятины, что в сохранении последней как рода «права собственности» была заинтересована значительная часть сельских сквайров.

Неудивительно, что офицерская верхушка во главе с Ламбертом начала против «Малого парламента» кампанию клеветы и травли. Кто может сказать, где этот парламент остановится? Сегодня он посягнет на десятину, а завтра он может поднять руку на ренту лендлордов. Собственников пугали призраком «уравнивания состояний», «анархией», «беззаконием». И, вступив в сговор с умеренной частью парламента, офицеры решили положить конец деятельности парламента «святых».

12 декабря 1653 г. консервативно настроенные «святые» явились в палату в ранний час, когда значительная часть ее членов-радикалов, не подозревавших о заговоре, отсутствовала. Заседание началось с выступления одного из «умеренных», обрушившегося на парламента с градом обвинений: он хочет уничтожить духовенство, собственность, право, и в заключение оратор предложил объявить парламента распущенным, так как «дальнейшая его деятельность не будет на благо государства». Не поставив эти предложения на голосование, спикер поднялся со своего места и в сопровождении 66 членов собрания отправился к Кромвелю в Уайтхолл, где объявил о решении парламента передать ему свои полномочия. Отказавшихся покинуть палату «святых» выдворили оттуда с помощью мушкетеров.

Кромвель по своему обыкновению сделал вид, что происшедшее является для него полной неожиданностью. В действительности он, разумеется, был обо всем достаточно осведомлен, в том числе и о замышлявшемся офицерами «самороспуске» парламента «святых». Характерно, что впоследствии он не находил слов, чтобы изобразить ту опасность, в которой, по его мнению, находилась Англия собственников: «Если кто-либо имел 12 коров, конвент (т. е. «Малый парламента») полагал, что

он должен поделиться с соседом, не имевшим ни одной. Кто мог бы назвать что-либо своим, если бы эти люди продолжали хозяйничать в стране?» Но что же в таком случае означали слова Кромвеля об «использовании всех возможных и законных средств, чтобы нация могла пожинаать плоды пролитой крови и потраченных средств»? Очевидно, все дело в том, что в понятие «нация, пожиная плоды» Кромвель не включал «бедных», или, что то же, под «плодами» он вероятнее всего имел в виду только такие «реформы», которые не затрагивали существующий «баланс» собственности, т. е. систему лендлордизма.

Теперь инициатива в политическом «устройении» страны целиком перешла к офицерам во главе с Ламбертом. Выработанная ими конституция, известная под названием «Орудие правления», была нацелена на сосредоточение исполнительной власти в одном лице. В соответствии с ней 16 декабря 1653 г. Кромвель был провозглашен Лордом-Протектором Англии. В стране устанавливался режим единоличной власти. В речи после церемонии принесения присяги Кромвель обещал править таким образом, чтобы «Евангелие могло цвести в его полном блеске и чистоте, а народ мог пользоваться своими справедливыми правами и собственностью». Таков финал. Кромвель-революционер объявил себя Констеблем Англии собственников.

С позиции историков, как роялистов, так и «республиканцев», Кромвель «наконец сбросил маску». Он достиг цели, к которой будто бы шел если не с самого начала гражданской войны, то по крайней мере со времени казни короля и затем разгона «охвостья». Думается, что в действительности скорее объективное развитие событий — от революции к контрреволюции — привело ее к концу 1653 г. к подобному исходу: страх перед устремлениями народных низов оказался у грандов сильнее желания реформ. Сама невозможность конституирования «свободно избранного» парламента в условиях непрекращающихся роялистских заговоров и роста массового недовольства политикой Республики, с одной стороны, и все более откровенный социальный консерватизм джентри, проявлявшийся Кромвелем и его окружением, о чем свидетельствовал горький для них опыт «Малого парламента», — с другой, позволяют понять причины отказа правящей офицерской верхушки даже от чисто внешних атрибутов республиканизма и пойти на установление режима Протектората. Другого в тех условиях просто не было дано. Кромвель — прославленный полководец

гражданских и внешних войн страны, единственный человек, само имя которого обеспечивало послушание армии и держало в страхе врагов,— оказался в данных условиях «естественным» правителем страны.

Как мы помним, Кромвель никогда не был убежденным республиканцем. Еще в декабре 1651 г. на совещании у спикера палаты Лентала он заявлял: «Мы должны рассмотреть, будет ли республика или смешанная (т. е. конституционная.—М. Б.) монархия лучшей формой устройства; если же предположить нечто монархическое, тогда кому эта власть должна быть доверена». В то же время он отнюдь не был из ряда тех честолюбцев, которым гордыня слепит глаза. О себе он говорил: «Я — бедное, слабое существо... призванное, однако, служить господу и его народу... вы не знаете меня, мои слабости, мои необузданные страсти, мою неумелость и на каждом шагу непригодность к моему делу, и тем не менее господь... возлагает ее [власть] по своему усмотрению, как вы видите».

Он был искренен, когда заявлял первому парламенту Протектората: «Я не призвал самого себя на это место». Хотя для народных низов революция закончилась разгромом левеллеров, для Кромвеля же она закончилась «неудачей» парламента «святых». Вместе с ним он потерпел поражение в своем главном стремлении — «реформировать Англию», не затрагивая привилегий и интересов классов-союзников, т. е. Англии собственников. В этом заключался стержень его политического идеала на том отрезке революции, когда на первый план выдвинулась задача юридического и политического закрепления ее результатов.

Отныне Кромвель стал олицетворением движения революции по нисходящей — от Республики к монархии. Подобное же перерождение настигло и некогда революционную армию, сменившую широкие общественные идеалы на жалованье наемников. Для достижения этой цели из нее изгнали носителей этих идеалов. Прежде всего это коснулось и высших офицеров. После роспуска «Малого парламента» из армии были удалены милленарий генерал-майор Гаррисон, полковник Рич и их приверженцы. В окружении Кромвеля-Протектора оказались теперь только офицеры «благородных кровей» — Дезбро, Сиденхем, Монтэгью и др. Установление режима Протектората сопровождалось во всех сферах публичной жизни резким сдвигом вправо. Приведем только несколько иллюстраций.

Племянник графа Манчестера (в прошлом врага Кромвеля) — Эдуард Монтэгью был назначен адмиралом флота; на место уволенного полковника Рича был назначен член аристократической семьи Говардов, известный своей реакционностью еще в дни монархии.

Согласно «Орудию правления», законодательная власть в стране вручалась Протектору «совместно с парламентом», а исполнительная — Протектору «совместно с Государственным советом». По широте полномочий, сосредоточенных в его руках, Кромвелю мог позавидовать и «легитимный» монарх: он был главнокомандующим армией и флотом, контролировал финансы и правосудие, руководил внешней политикой, с ведома Государственного совета объявлял войну и заключал мир, наконец, в перерывах между парламентами его ордонансы имели силу законов. 16 февраля 1654 г. в Вестминстерском дворце состоялась торжественная церемония «введения» Кромвеля в должность Лорда-Протектора. На ней он предстал сугубо штатским человеком — черный бархатный костюм сменил кожаный дублет, туфли и чулки — ботфорты со звенящими шпорами, походный плащ уступил место черной мантии, его шляпа украсилась золотой лентой.

Как это ни парадоксально, Кромвель-Протектор больше устраивал имущих, нежели Кромвель — член парламента и кумир армии. Единоличный правитель знаменовал в их глазах возврат к «традиционной», близкой к монархической форме правления. И Кромвель как будто только то и делал, чтобы завоевать их доверие и расположение. Он всячески демонстрировал свое расположение к аристократии: три баронета были введены им в Государственный совет, и при удобном случае он напоминал, что и сам он по рождению «джентльмен с положением». Куда девались его былая «раздвоенность», мучившие его сомнения перед каждым политическим решением?

Избавившись от всяких следов демократизма, отбросив либеральную фразеологию, Кромвель теперь обратил свое красноречие против угрозы слева, олицетворяемой приверженцами радикальных сект. Одни лишь воспоминания об опасности, исходившей от левеллеров, недавно еще являвшихся его союзниками, приводили его в содрогание. Так, обращаясь к первому парламенту нового режима, он метал громы и молнии против левеллеров: «Знатный, джентльмен, йомен — [сохранение] различий между ними представляет большой интерес для нации. Магистратура нации, не была ли она растоптана в прах, не

стала ли она предметом озлобления и презрения со стороны приверженцев уравнительных принципов... не клонились ли эти принципы к уравниению всех... Какова была [их] цель, если не та, чтобы сделать держателя столь же благополучным, сколь им является лендлорд. Это звучало благовестом для всех бедных людей и, несомненно, приветствовалось всеми порочными людьми» \*.

Нет ничего удивительного в том, что сила государственного подавления была теперь направлена прежде всего против приверженцев революционной демократии. Жестоким преследованиям подверглись не только воинственные милленарии, отважившиеся на открытые вооруженные выступления, но и сугубо мирные «квакеры», уповавшие не на силу оружия, а на силу слова — «внутреннего просветления». Была введена строжайшая цензура печатного слова, мало-мальски независимые газеты закрывались. В январе 1655 г. был арестован бывший левеллер Овертон, возглавивший попытку восстания в армии, размещенной в Шотландии; через месяц был арестован Джон Уайлдман, представлявший в 1647 г. гражданских левеллеров на конференции в Пэтни.

Однако новый режим вопреки его резкому повороту вправо встречал оппозицию и среди отдельных слоев имущих классов. Речь в этих случаях шла либо о скрытых «роялистах» и приверженцах дома Стюартов, либо о так называемых республиканцах, все еще не примирившихся с разгоном Кромвелем «охвостья» Долгого парламента. И эта оппозиция заявила о себе уже в первом парламенте Протектората, созванном 3 сентября 1654 г. Подтянув войска, Кромвель потребовал от всех его членов признания (присяги) нового режима — отказавшиеся присягнуть сами себя исключали из парламента (таких оказалось более 100 человек). Однако, когда и после этой своеобразной чистки оппозиция не проявила склонности к «сотрудничеству», Кромвель 22 января 1655 г. распустил парламента.

«Полагаю, моя обязанность — заявить вам, что ваше дальнейшее пребывание здесь не служит ни на пользу этой нации, ни общему благу, и поэтому я объявляю о роспуске этого парламента». Действительность, к которой привела политика «примирения партий» в среде имущих, оказалась прямо противоположной ожидаемому

---

\* Не исключено, что Кромвель сознательно смешивал левеллеров с «истинными левеллерами», чтобы сделать их имя и устремления более однозначными.

результату. Денежные мешки Сити не стали щедрее по отношению к режиму Протектората. Республиканцы — сторонники олигархического правления под покровом защиты «исконной конституции» не переставали видеть в Кромвеле «узурпатора», а роялисты не прекращали интриг и подготовки открытого мятежа.

Бюджетный дефицит стал неизлечимым недугом Протектората. Войны миновали, а военные расходы не уменьшились. Армия стала главной опорой режима. Однако содержание ее и флота требовало огромных сумм, которые не покрывались ординарными поступлениями от налогов. Все конфискованные в ходе революции земли были уже распроданы. Сити, не веря в стабильность режима, отказывал ему в кредитах. Временами положение становилось столь критическим, что прибегали к сбору средств по подписным листам, открывавшимся фамилией Протектора. Сохранение налогов военного времени вызывало острое массовое недовольство. Им попытались воспользоваться роялисты в марте 1655 г., в ряде городов вспыхнули мятежи, правда такие ничтожные по своим масштабам, что их подавление заняло считанные дни. Однако слоям, разбогатевшим на грабеже конфискованных земель, они лишней раз напомнили, как тесно связано их благополучие с режимом Протектората. Этим воспользовался Кромвель. Летом 1655 г. страна была разделена на 12 округов, во главе которых были поставлены генерал-майоры, наделенные чрезвычайными полномочиями для поддержания «порядка и спокойствия». Так называемый режим генерал-майоров сделал очевидной ту истину, что Протекторат может существовать только как режим чрезвычайный, опирающийся на армию, цементируемую именем Кромвеля.

Контраст внутренней политике Протектората, ограничивавшейся охранительной функцией всеанглийского Констебля, составляла его внешняя политика, в которой предвосхищались интересы буржуазного будущего страны. Суть этих интересов — подчинение этой политики цели торговой и колониальной экспансии, облегчению заморских колониальных захватов. Именно этим объяснялась способность Кромвеля не следовать слепо принципу «повсеместная поддержка протестантизма любой ценой». Заключив мир с Голландией (1654 г.), Кромвель должен был решить, каким будет следующий шаг: на чью сторону встать? Его выбор в пользу союза с Францией диктовался не только желанием лишить претендента на английский престол Карла Стюарта французской поддержки, но

и более выгодной для Англии перспективой колониальной экспансии Англии за счет Испании.

Дело в том, что Испания — наиболее обширная колониальная империя того времени — явно клонилась к упадку. Вест-Индские владения Испании казались Кромвелю легкодоступной добычей. Еще в октябре 1654 г. туда была отправлена военная экспедиция в составе 38 кораблей с целью захватить Эспаньолу. И хотя вместо нее пришлось ограничиться второстепенным островом — Ямайкой, начало было положено. В ответ Испания отозвала своего посла из Лондона и объявила Англии войну. В тот же день Кромвель подписал договор о союзе с Францией\*. Теперь вместо легкой военной прогулки в Вест-Индию предстояла затяжная и дорогостоящая морская война с Испанией — первая ярко выраженная колониальная война буржуазной Англии. Пришлось снова обратиться к помощи парламента, от которого по-прежнему зависело вотирование налогов. Второй парламент Протектората открылся 17 октября 1656 г., и хотя и на этот раз Государственный совет из 400 избранных членов парламента утвердил полномочия только 300, тем не менее и в этом «очищенном составе» парламента оказался отнюдь не безропотным — он обрушился на режим генерал-майоров. Большинством в 212 голосов против 20 он был отменен. Хотя офицерская верхушка пришла в ярость, Протектор неожиданно одобрил этот акт, то ли потому, что сам тяготился бесцеремонным вмешательством этой верхушки в государственные дела, то ли потому, что без парламентских субсидий Протекторату вообще грозил крах.

Воодушевленные этой неожиданной поддержкой, члены парламента решили сделать следующий шаг: увенчать Кромвеля короной и тем самым исключить из престолонаследия династию Стюартов. Этим достигалась двойная цель: придать послереволюционному политическому устройству «традиционную» — конституционную — основу, что гарантировало бы его устойчивость и преемственность. Это в свою очередь позволило бы резко удешевить его, поскольку он не нуждался бы в столь дорогостоящей опоре, какой являлась постоянная армия. Наконец, это обеспечило бы незыблемость земельных перестановок, совершенных в ходе революции.

27 февраля 1657 г. член парламента от Лондона,

---

\* Секретный пункт его содержал обещание Мазарини не допускать Карла Стюарта во Францию.



управляющий компанией купцов-авантюристов Христофер Пекк внес в палату предложение просить Кромвеля принять королевский титул и восстановить верхнюю палату. 25 марта большинством голосов (123 — «за», 63 — «против») было принято постановление обратиться к Кромвелю с официальной петицией, которая в действительности являлась проектом новой конституции. Нельзя сказать, чтобы «Смиренная петиция», как она была названа, вызвала гнев Кромвеля. Когда депутация парламента явилась к нему для ее передачи, он благодарил за оказанную ему честь. Он хорошо сознавал, что корона раз и навсегда положила бы конец неопределенности его положения, зависимости от офицерской верхушки армии, примирила бы с новым режимом значительную часть роялистов. Однако на сей раз этот столь решительный на поле боя человек заколебался. Напрасно юристы палаты горячо убеждали его в том, в чем он сам, и, по-видимому, давно, был убежден. Его пугало невыясненное общественное мнение страны, в особенности армии.

Между тем, как и следовало ожидать, офицерская ее верхушка резко воспротивилась этому плану. Уже через четыре дня после предложения Пекка 100 офицеров посетили Протектора с просьбой не давать согласия. Королевский титул, заявили они, «не нравится армии», он «является скандальным в глазах божьих людей». Флитвуд, Десборо и Ламберт грозили отставкой. Прайд в случае принятия Кромвелем королевского титула грозился его убить при первой возможности. В самом парламенте этим предложением возмущались республиканцы: «Неужели вы хотите сделать Лорда-Протектора величайшим в мире лицемером, посадив его на трон, отвергнутый господом?» И Кромвель не без колебаний и нелегкой внутренней борьбы ответил отказом.

Еще в речи 13 апреля 1657 г. Кромвель был на этот счет далеко не определен, заявив: «Я не считаю, что эта вещь необходима», — и подчеркивал при этом, что не считает возможным высказать все соображения на этот счет.

Приблизительно в те же дни Уайтлок записал, что «Протектор в своих частных суждениях высказывает удовлетворение (предложением) принять... титул короля». Однако из-за настояний республиканцев, опасений мятежей и дезертирства значительной части армии его настроения изменились, и многие офицеры армии всячески угрожали ему в случае согласия. 8 мая последовал наконец решительный отказ: «Я убежден, что не могу

возглавить правительство с титулом короля»; на все же другие пункты «Смиренной петиции» он ответил согласием.

Хотя Ламберт и его коллеги поплатились своими постами, но они сделали свое дело: Кромвель по-прежнему оставался в полной зависимости от расположения армии. 26 июня 1657 г. состоялось торжественное утверждение новой конституции. Хотя режим генерал-майоров был упразднен, власть Кромвеля не ослабла, он снова остался неограниченным правителем страны.

После принятия присяги спикер палаты облачил Протектора в опущенную горностаем пурпурную мантию, опоясал его мечом и вручил ему в руки скипетр и Библию. Очищенная от «недовольных» армия все еще сохраняла верность Протектору. Шпионская сеть во главе с Терло бдительно охраняла его жизнь. Его резиденция Уайтхолл по роскоши и блеску превзошла многие дворы европейских монархов. Звезда Протектора ярко сияла и за пределами Англии. В благодарность за военную помощь против Испании Франция предоставила Кромвелю право на Дюнкерк — порт на берегу Фландрии... А через год после блестящей победы солдат Кромвеля (под командованием Тюренна) над испанцами Дюнкерк и его внешний порт Мардик стали английскими владениями. Союз с Кромвелем напрасно добивался шведский король Карл-Густав, стремившийся превратить Балтийское море в «шведское озеро». Однако Кромвель предпочитал роль посредника между Швецией и Данией, добиваясь наиболее выгодных условий для английской торговли в этом районе.

Союз с Португалией (1654 г.) потенциально открыл для английской торговли обширный рынок ее колоний. Кромвель носился с планами изгнания голландцев из Нового Амстердама и французов из Канады, но прежде всего Кромвель заложил фундамент Великобритании, включив Шотландию и Ирландию в английскую политическую систему.

И тем не менее вопреки этим внешнеполитическим успехам Протекторат становился все менее популярным в английском народе. Испанская война подорвала заморскую торговлю. Множество ремесленников, и прежде всего занятых в производстве сукна, осталось без работы. Крестьяне-копигольдеры были предоставлены неограниченной власти лендлордов. Ордонанс 1656 г. подтвердил отмену рыцарского держания и оставил по-прежнему копигольдеров в бесправном состоянии — держателей «на

воле лорда» (что в новых условиях означало фактическую отмену даже тех непрочных «обычаев манора», которые эту волю прежде как-то связывали). Огороживателям были развязаны руки. Протекторат поощрял деятельность осушителей «Великой равнины болот», против которых в прошлом еще ополчался скромный сквайр Оливер Кромвель. Внесенный в парламент в 1656 г. билль «О мелиорации пустоши и предупреждении обезлюдения», преследовавший цель поставить процесс огораживаний под контроль государства, был отклонен, поскольку в нем было усмотрено «покушение на право собственности». Реформа права, которую Кромвель сам в прошлом неоднократно требовал, была предана забвению, как и требование отмены церковной десятины. Неудивительно, что Протекторат почти полностью лишился опоры за пределами армии, его финансовое положение стало критическим. Не веря больше в стабильность режима, Сити оставался глух к обращениям Протектора с просьбой о кредите. Государственный долг достиг по тому времени громадной суммы в 1,5 млн ф. ст.

Между тем Протектору исполнилось 58 лет, и его здоровье сильно пошатнулось. Усилилась одутловатость лица, шаркающей стала походка, тряслись руки — он едва мог писать. Вне семьи он был почти одинок, и в делах государства он мог полагаться только на близких: младшего сына Генри — наместника Ирландии, своего зятя Флитвуда — фактически командовавшего армией, родственников, задававших тон в Государственном совете. Летом 1658 г. тяжело заболела его любимая дочь Элизабет, и Кромвель две недели не отходил от ее постели. Смерть ее была для него тяжелым ударом. В середине августа он сам заболел, и 3 сентября, в день его счастливых побед под Денбаром и Вустером, Кромвель умер. Казна была совершенно пуста. Для устройства похорон пришлось прибегнуть к займу — на этот раз кредиторы не поскупились. «Узурпатора» похоронили в древней усыпальнице английских королей — в Вестминстерском аббатстве. Однако после реставрации (монархии) Стюартов по постановлению верноподданнического парламента 30 января 1661 г., в день казни Карла I, прах Кромвеля был извлечен из могилы, и после варварской процедуры «повешения цареубийцы» от трупа отсекали голову, туловище было зарыто в яме, выкопанной под виселицей, а голову, насаженную на копье, выставили у Вестминстерского дворца «на обозрение».

Итак, Кромвель, непобедимый при жизни на поле

брани, оказался неуловимым для «опьяненных жаждой мести» роялистов, и не только потому, что смерть его опередила их торжество, а прежде всего потому, что имя его и дела к тому времени уже принадлежали не им, а истории. И вот уже более трех столетий в историографии длится неутихающий спор: что это был за человек? Что являлось определяющим началом в его нравственном облике — предельная скромность в оценке своей личности или беспредельное искусство в маскировке своей гордыни; гений лицемерия и мимикрии или истово верующий в призвание пуританина вершить «дело божье» ловкий честолюбец, шедший извилистыми путями к заранее намеченной цели, или политик-прагматик, умевший решать лишь задачи данного момента, и, наконец, революционер или душитель революции? Добиться однозначности в искомым ответах, думается, мешают два обстоятельства. Во-первых, допускающийся сплошь и рядом анахронизм: слова и дела Кромвеля рассматриваются сквозь призму более позднего рационализма и «здравомыслия», вместо того чтобы попытаться их постичь в рамках менталитета его класса и его времени. Во-вторых, происходящее в ходе анализа смешение объективного и субъективного планов.

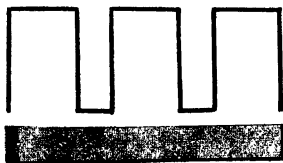
Итак, как пуританин, усматривавший в ходе истории всего лишь проявление божественного промысла, а в деяниях людей — служение или сопротивление этому промыслу, Кромвель не мог не расценивать свои победы на полях сражений как самое убедительное свидетельство своей «богоугодности» и «святости» дела, во имя которого он поднял свой меч. Но как же трудно в силу подобной убежденности не отождествить свое сословно обусловленное видение мирского порядка с божественным «планом» его устройства, а свой выбор средств для его достижения — с волей божьей! «Инструментальный» характер человеческих деяний — по отношению к «провидению» — подчеркивается тем сильнее, чем искреннее звучит самоуничижение людей, «избранных» всевышним для этих целей. Случилось так, говорил в свое время Кромвель, вспоминая гражданскую войну: когда всевышнему угодно было собрать компанию людей бедных и презираемых, не сведущих ничего в военном деле и, более того, лишенных природного предрасположения к нему... «господь благословил их и споспешествовал всем их начинаниям». В свете этой доктрины несомненно искренним было признание Кромвеля: «Я бедное, слабое существо... призванное, однако, служить господу и его народу».

Искренним потому, что в рамках пуританского — паче гордости самоуничтожения — перед всемогуществом провидения в сочетании с успехом предпринятых во имя его дел проявлялся наиболее убедительный способ возвышения содеянного человеком. Из этого совершенно искреннего убеждения в своем предназначении — свершить дело провидения — Кромвель не мог не заключить, что именно его представления, разумеется сословно обусловленные, о характере гражданской и духовной свободы и являются богоугодными, иначе ему не сопутствовали бы столь блистательные победы. Что же касается политических средств их достижения, то Кромвель, монархист по убеждению и республиканец по необходимости, после казни Карла I настолько «просветился», что любая из форм государственного устройства оказывалась уже не принципом, а только «пером на шляпе». Его собственным идеалом правопорядка оставалось положение сквайра в родном графстве. Недаром он предпочитал для своих сыновей: «Господь ведает мое желание, чтобы он (сын Генри) и его брат вели частную жизнь в провинции». И разве не сам он в канун установления Протектората признавался (в письме к своему зятю) Флитвуду: «Поистине я никогда еще так не нуждался в помощи моих христианских друзей, как теперь!.. Я надеюсь, что могут сказать: моя жизнь была добровольной жертвой, и я надеюсь... я готов сказать: «О, если бы я имел крылья, подобно голубю, я улетел бы и обрел покой»».

Если по всем этим вопросам все более или менее ясно и споры в историографии отражают только субъективные предубеждения авторов, то по поводу одного, однако, сомнения этого сказать нельзя. Речь идет об отношении Кромвеля к религиозным и политическим радикалам, прежде всего в самой армии, в ходе гражданских войн и после завершения каждой из них. Почему в первом случае он считал их «божьими» людьми, видеть их в бою было для него равнозначно тому, что видеть «лицо господа», почему в те критические для судеб революции дни он мог о своих солдатах писать члену парламента: «Честные люди служат вам преданно... сэр, они заслуживают доверия. Я именем бога прошу вас не обескураживать их... Тот, кто рискует своей жизнью за свободу своей страны... вверяет ее вам».

Почему же, когда военная страда миновала, те же «честные люди», жертвовавшие своей жизнью во имя свободы, оказались столь «опасными» в своих чаяниях и помыслах, что Кромвель, по его словам, «содрогался»

при одной мысли о возможных последствиях, если они возьмут верх? Что же, он ранее не знал об этих чаяниях или не считал нужным их выяснять или ближайшая задача военной победы над роялистами отодвигала на задний план вопрос: что произойдет после нее? Очевидно, что в этих «трансформациях» Кромвеля сказалась неизбежная классовая ограниченность дворянского революционера. Дело в том, что в ходе буржуазной революции происходит постоянное *уточнение* изначальных понятий — лозунгов, которыми вдохновлялись штурмовавшие старый режим массы. Обобщенное понятие «свобода», достаточное для периода гражданской войны, впоследствии неизбежно дифференцируется сообразно различному положению различных социальных сил в лагере революции. Стоило поэтому народным низам уточнить свое понимание содержания свободы, как они в глазах «свободолюбца» Кромвеля из «божьих», «святых» людей превратились в исчадие ада. В этом одном-единственном вопросе Кромвель оказался не только объективно, подчеркиваем — не только объективно, но и субъективно *непоследовательным*, чтобы не сказать сильнее — *отступником*. Но именно этого отступничества традиционная двухпартийная английская историография не заметила.



## Глава VIII!

### «Свободнорожденный» Джон Лильберн

Как герои одной и той же исторической драмы — Великой английской революции XVII века, Джон Лильберн и Оливер Кромвель имели много общего в том, что определяло их исходную позицию в назревшей борьбе. Оба они по рождению принадлежали к нетитулованному провинциальному джентри, оба воспитывались в пуританских семьях и с раннего детства впитывали пуританские убеждения и нравственные наставления домашних толкователей так называемой Женевской Библии \*. И одного и другого отличали необузданный темперамент, хотя и по-разному проявлявшийся, неукротимая энергия, активная неприязнь к произволу и насилию со стороны сильных мира сего. Наконец, оба они сравнительно недалеко продвинулись в премудростях школьной образованности тех дней.

Однако сколь же различными оказались исторические судьбы этих двух «воителей в стане храбрых»... революции! И менее всего в силу различия меры и характера их талантов, а прежде всего потому, что принципиально различными были интересы общественных сил, от имени которых они выступали, а следовательно, и роли, сыгранные ими в этом подлинно героическом десятилетии истории английского народа.

Как уже известно, Кромвель был первым, кто в самом начале заседаний Долгого парламента поднял вопрос об освобождении из тюрьмы Джона Лильберна. По рекомендации Кромвеля Лильберн был зачислен на должность подполковника в армии Восточной ассоциации. В свою очередь «дух свободы», владевший в те годы Кромвелем, казался Лильберну столь сродни своему собственному, что, как признавал он впоследствии, он считал его «своим наиболее близким... сердечным другом». Но как же далеко разошлись их пути после оконча-

---

\* Так именовался английский перевод Библии, осуществленный протестантами, бежавшими из Англии в Женеву в правление Марии Тюдор (1553—1558). В отличие от официальной, так называемой Большой, Библии она была небольшого формата, удобная для индивидуального и домашнего пользования.

ния первой гражданской войны! Каким же «опасным государственным преступником» казался Лильберн Кромвелю в период, когда он достиг высшей власти, если столь жестоко преследовал его тюрьмой и изгнанием до тех пор, пока дух его не был сломлен и жизнь вскоре оборвана!

И тем не менее имя Джона Лильберна, революционера и мученика, в такой же мере принадлежит истории Английской революции, как и имя его гонителя, торжествовавшего на пепелище революции,— властелина Оливера Кромвеля. Более того, в определенном смысле имя Лильберна оказалось и более благородным, и более долговечным, ибо идеалы, за торжество которых он готов был взойти на эшафот, на столетия пережили идеалы Кромвеля, оставаясь для многих народов живыми и злободневными по сей день. В более абстрактном смысле его политические идеалы вошли в сокровищницу не только английской, но и политической мысли и культуры Нового времени в целом.

Сложное переплетение социальных сил, совершавших Великую английскую революцию середины XVII века, проявлялось не только во вскоре давших о себе знать глубоких различиях конечных целей, но и в *многоликости самого типа революционера этой эпохи*. Типология исторических деятелей в нашей литературе базировалась почти исключительно на принципе «классовой обусловленности». Однако на примере исходной сословной близости Лильберна и Кромвеля и их дальнейшей судьбы мы воочию убеждаемся, в какой мере этот принцип недостаточен для создания подобной типологии. *Сама неповторимость исторической личности, сугубая индивидуальность того, что именуется человеческим характером, выступает на первый план, в особенности в моменты судьбоносные*. Конечно же тип революционности, т. е. диапазон желаемых изменений сущего, равно как и способ, избираемый для достижения этой цели, диктуется не только социально-классовыми убеждениями и предубеждениями данной исторической личности, но и *широтой ее интеллекта, врожденными (или приобретенными) чувствами справедливости, исторической ответственности и гуманизма*.

Поистине история делается людьми. Представление же о том, как они ее творят в различные исторические, и особенно в революционные, эпохи, нам дают слова и дела тех, чьи роли в данные эпохи наиболее ярко раскрывают тайну, что в плане чисто человеческого значит быть актером на сцене истории.



Джон Лильберн родился в 1615 г. \* в Сандерленде, близ Ньюкасла. Хотя его родословная была безусловно дворянской, однако генеалогически она оказалась довольно своеобразной. Его отец Ричард, потомок рода Лильбернов, на протяжении столетий связанного с северными английскими графствами Дэрем и Норсемберленд, являлся лордом сравнительно небольшого манора Тикли-Панчардон (Дэрем) \*\*. Мать Джона, Маргарет, была дочерью Томаса Хиксона, придворного министра — хранителя гардероба в королевском дворце в Гринвиче. Это сочетание мелкопоместных традиций и распорядков на отдаленном севере Англии и придворных нравов близ столицы сказалось впоследствии в судьбе Джона Лильберна.

Хотя социальная структура северных графств (в сравнении с южными) была в общем еще весьма незначительно затронута раннекапиталистическим укладом, многие джентльмены были и здесь втянуты в предпринимательскую и торговую деятельность. В числе этих «новых дворян» находились близкие родственники Джона Лильберна, разбогатевшие на арендах угольных копей и перевозке каменного угля морским путем для сбыта его на юге страны, прежде всего в Лондоне \*\*\*. Судя по тому, что во владении отца Лильберна площадь лугов и пастбищ намного превышала площадь пахоты, нетрудно предположить, что он либо выращивал скот для продажи, либо торговал сеном.

Может быть, именно связи Ричарда Лильберна на юге страны и побудили его определить четырнадцатилетнего

---

\* Год рождения Джона Лильберна устанавливается не по приходским записям, а по эпизодическим упоминаниям самого Лильберна, сколько ему лет в момент данного, описываемого им события. Туманность и неопределенность этих указаний позволяет одним исследователям считать искомым годом 1614-й и соответственно местом рождения — Гринвич.

\*\* Манор Тикли-Панчардон включал 200 акров пашни, 100 акров лугов и 200 акров пастбищ. Наличие в маноре всего лишь 2 мессуагиев может свидетельствовать либо о том, что в этих данных фиксирован только домен лорда, либо о том, что держатели здесь были изгнаны в ходе огораживаний, либо, наконец, о том, что речь идет о типе пастбищного хозяйства, в котором земли много, а людей мало.

\*\*\* Так, сэр Томас Лильберн числился в 1630-х годах среди наиболее известных и влиятельных предпринимателей и торговцев в Ньюкасле. Брат Ричарда Лильберна Джорж занимал такое же положение в Сандерленде.

Джона — как младшего сына в семье \* и по обычаю «новых дворян» того времени — в торговые ученики не в ближнем Ньюкасле, а к лондонскому оптовому торговцу шерстяными изделиями Томасу Хьюсону. Это случилось в 1629 г. Что успел юный Лильберн к этому времени усвоить из школьной науки, остается неясным. Очевидно лишь одно: дальше королевской грамматической (т. е. начальной) школы в Сандерленде он не пошел. По его собственному признанию, он владел латынью и начатками греческого и, следовательно, читал хрестоматийных античных авторов.

Если же судить по его многочисленным ссылкам на источники, то помимо несомненного таланта драматизации событий своей биографии и умения представить их как иллюстрации общенациональных, общенародных проблем, помимо склонности к экзальтации и оборотам разговорной речи в них обращает на себя внимание разве что иаличие ходовых в то время латинских изречений и дежурных библейских образов и притч.

Что же касается знания «элементов» английского общего и конституционного права, а также драматической истории Реформации, то это приобретено было Лильберном впоследствии самостоятельно, путем интенсивного домашнего чтения, благо королевские власти и вслед за ними поднявший против них восстание Долгий парламент обеспечивали ему для самообразования достаточно «свободного» времени, запрятывая его на долгие годы в тюрьмы \*\*.

По его признанию, даже на положении торгового ученика, в общем более привилегированном в сравнении с положением учеников ремесленных \*\*\*, он «располагал достаточным свободным временем... использовавшимся для чтения Библии, «Книги мучеников» \*\*\*\*...

---

\* Старшим был его брат Роберт, в годы гражданской войны сражавшийся под началом Ферфакса и Кромвеля в чине полковника кавалерии.

\*\* Только при Карле I он пробыл во Флитской тюрьме с конца 1638 по конец 1640 г.

\*\*\* Подобного рода торговые ученики никогда не забывали своего «благородного» происхождения и при всяком удобном случае об этом напоминали. Так, Джон Лильберн писал: «Я сын джентльмена, и мои друзья занимают видное положение в графстве, в котором они живут». Или: «Я второй сын джентльмена». Или: «Я происхожу из древнего и уважаемого рода».

\*\*\*\* Речь идет о сочинении Джона Фокса, опубликованном в 1553 г. и в среде пуритан ценившемся как своего рода вторая библия. Архиепископ Лод запретил его переиздание.

Лютера, Кальвина, Безы, Картрайта, Перкинса... и многих других подобных книг, которые приобретал на собственные деньги». С детства подготовленный к восприятию пуританской проповеди, Джон оказался в центре ее в Лондоне, в котором кипение страстей, ею вызываемое, захватывало все более широкие слои торгового и ремесленного люда, в том числе и пылкую среду ученичества. Никогда еще пуританские проповедники не собирали столь отзывчивую и массовую аудиторию. Пуританские памфлеты, частично печатавшиеся за рубежом и тайно ввозившиеся в Англию, покупались нарасхват\*.

Это были первые годы беспарламентского правления Карла I Стюарта, когда во главе английской церкви оказался архиепископ Лод, методами истинно драконовскими выкорчевывавший в ней пуританскую «ересь» и устанавливавший единообразие культа, который все больше приближался к католическому.

Стоит ли удивляться тому, что пылкий по натуре Лильберн не только зачитывался сочинениями пуританских проповедников, но и пожелал активно содействовать их распространению. В конце 1637 г. он был арестован по обвинению в печатании в Голландии, куда он в начале этого года выехал (под предлогом поиска занятий, поскольку его хозяин Томас Хьюсон закрывал свою контору), и переправке в Англию нескольких тысяч экземпляров сочинения доктора Баствика «Литания», содержавшего нападки на епископов. Суть этого сочинения хорошо передана в одной из содержащихся в нем молитв: «От чумы и голода, от епископов, священников, дьяконов спаси нас, боже милосердный».

В качестве иллюстрации твердости духа юного пуританина Лильберна\*\* и его изворотливости на допросе, достойной более зрелого борца, приведем отрывок из диалога между главным клерком королевского поверенного (прокурора) и Лильберном.

Вот как Лильберн рассказывает о первом после ареста

---

\* Приведем только два примера: наставление Бейли «Практика благочестия» («The Practice of Piety») между 1612 и 1636 гг. издавалась 36 раз. Точно так же и наставление Дента «Тропа простого человека в небеса» («The plaine mans path to Heaven») между 1601 и 1640 гг. выдержало 24 издания.

\*\* Когда впоследствии от изувеченного во время публичного бичевания Лильберна потребовали отречения от своих убеждений, он воскликнул: «До тех пор, пока епископы на основании законов страны и слова божия не укажут мне, в чем заключается моя вина, я никогда, пока я дышу, не подчинюсь и не отступлюсь».

допросе: «Клерк, производивший дознание... посадил меня перед собой и начал следующим образом:

— Мистер Лильберн, каково ваше христианское имя?

— Я ответил: Джон.

— Жили ли вы в Лондоне до того, как отправились в Голландию?

— Да, — ответил я.

— Где?

— Вблизи Лондонстоуна.

— А с кем вы проживали?

— С Томасом Хьюсоном.

— Чем он торгует?

— Сукном.

— Сколько времени вы служили у него?

— Около пяти лет.

— Каковы были причины вашего отъезда?

— Зная, что мой хозяин хочет оставить свое торговое дело, я часто напоминал ему, что я могу взять на себя ведение дел. Наконец он согласился со мной; затем я уехал домой, чтобы заручиться согласием родителей, после чего отправился в Голландию.

— Где вы жили в Голландии?

— В Роттердаме.

— И оттуда вы поехали в Амстердам?

— Да, я был в Амстердаме.

— Какие книги вы видели в Голландии?

— О, весьма много книг. В каждой книжной лавке можно было видеть большое количество книг.

— Я это знаю, но меня интересует, видели ли вы ответ доктора Баствика сэру Джону Бэнксу и книгу его «Литания»?

— Да, я видел их там, но, если бы вам было угодно съездить туда, вы могли бы купить сотни таких книг у книготорговцев, было бы только желание...

— Кем напечатаны все эти книги?

— Я не знаю.

— Кому было поручено их печатание?

— Я совершенно не знаю этого.

— Но разве вы не переслали некоторые из этих книг сюда?

— Ни одной из них.

— Видели ли вы там некоего Харчеста?

— Да, я видел этого человека.

— Где вы его видели?

— Я встретился с ним однажды в Амстердаме.

— Как часто вы встречались с ним?

— Дважды в день.

— Не занимался ли он пересылкой книг?

— Если он и переслал их, это меня не касается, в его дела я не был посвящен.

— Но разве он не написал письма по вашему распоряжению?

— Что он писал, я знаю не больше вас самих.

— Виделись ли вы с ним где-нибудь в другом месте?

— Да, я видел его в Роттердаме.

— Что за разговоры у вас были с ним?

— У меня их было мало. Но почему вы задаете мне все эти вопросы? Они не имеют никакого отношения к моему аресту, я прошу перейти прямо к делу, по которому я обвинен и посажен под стражу.

— Напротив, все эти вопросы имеют самое прямое отношение к делу, по которому вы находитесь под стражей. Знаете ли вы кого-нибудь из пересылавших эти книги?

— Что другие делают, это меня несколько не касается, и я не должен расследовать это; мне достаточно наблюдать за своими собственными делами.

— Хорошо, но у нас имеются показания некоего Эдмонда Чиллингтона, знаете ли такого?

— Да, знаю.

— Как давно вы познакомились с ним?

— Незадолго до моего отъезда.

— Знаете ли вы некоего Джона Уортона?

— Нет.

— Вы не знаете? Он декатировщик сукна.

— Да, я знаю его, но я не припомнил второго его имени.

— Как давно вы знакомы с ним? И как вы познакомились?

— Я не могу точно сказать этого.

— О чем вы беседовали с Чиллингтоном до прибытия в город?

— Я не обязан говорить вам об этом. Однако, сэр, что за вопросы вы мне задаете? Они не имеют никакого отношения к моему аресту, так как не мог же я попасть в тюрьму только за то, что видел, о чем-то разговаривал с тем или другим человеком, и за то, что он пересылал книги. А поэтому я не желаю отвечать ни на один из вопросов. Я вижу, что всем этим допросом вы хотите загнать меня в ловушку, так как у вас нет никаких доказательств против меня, вы хотите добыть их путем этого допроса, а потому, если вы не будете задавать мне вопросы по

существо моего обвинения, я отказываюсь вам отвечать. На обвинение же, предъявленное мне, будто я пересылал книги, я ясно говорю: я не переслал ни одной книги. Пусть мой обвинитель лицом к лицу предъявит мне свои обвинения, чтобы я мог защищаться. Вот все что я вам скажу. Если сами меня начнете спрашивать о другом, я отвечу вам молчанием.

— Положим, у нас есть средство заставить вас отвечать.

— Я не знаю, что вы сделаете со мной, только одно я прошу вас заметить: я отказываюсь отвечать не из презрения, а просто потому, что... я боюсь, что своими словами могу повредить себе.

...

— Вам все-таки лучше отвечать, так как у меня два показания, обвиняющие вас.

— Кто меня обвиняет?

— Вас обвиняет Чиллингтон в том, что вы напечатали от 10 до 17 тысяч книг в Голландии, что они обошлись вам в 80 ф. ст., что у вас в Дельфте была комната у мистера Джона Футса, где, по его мнению, вы скрывали книги.

— Я не верю, чтобы Чиллингтон говорил эти вещи.

— А получили вы деньги от Уорта по приезду в Лондон, не правда ли?

— Ну и что же из того, что получил?

— Что были за книги?

— Я не могу сказать этого... делайте что хотите.

— Но если вы не будете нам отвечать, мы можем отослать вас туда, откуда вы прибыли.

— Делайте, что хотите.

Приговор Звездной палаты был жестоким: штраф в 500 ф. ст. и, сверх того, «бичевать беспощадно от Флитской тюрьмы, где содержался Лильберн, до Вестминстера». Полураздетый, с руками, привязанными к задней стенке медленно движущейся телеги, сопровождаемый тюремщиком, вооруженным бичом из трех ремней. Процессия двигалась нарочито медленно, бич мерно поднимался и с силой опускался на голую спину, быстро превращавшуюся в сплошное кровавое месиво. День был необычайно жарким. Солнце нестерпимо жгло непокрытую голову, пот и пыль слепили его глаза. Многие горожане, ставшие свидетелями этой экзекуции, плакали, другие из сочувствия и солидарности с жертвой ее следовали за телегой.

Между Флитской тюрьмой и позорным столбом, установленным у Вестминстерских ворот, на спину Лиль-

берна обрушилось пятьсот ударов бича. После этого истязания он должен был два часа неподвижно простоять на солнцепеке у столба, к которому его голова была прикреплена надетой на шею деревянной колодкой. Превозмогая адскую боль, Лильберн нашел в себе силы для нового проявления мужества и обратился к стоявшей на площади толпе с речью, в которой рассказал о причинах своего ареста, и затем обрушился на власть епископов — «отроде дьявола». Когда же стражники побоями заставили его замолчать, обливавшийся кровью Лильберн неожиданно вытащил из карманов брюк свертки припрятанных памфлетов и бросил их в толпу. Стоическое поведение юного мученика «за истинную веру» буквально потрясло ее, и он с этого дня прослыл в Лондоне «свободнорожденным Джоном».

Вскоре после возвращения в тюрьму Лильберна ожидал новый приговор Звездной палаты: в наказание за «возмутительное» поведение у позорного столба содержать узника в яме, в отдаленной части тюрьмы, скованным по рукам и ногам двойной цепью. Тяжелобольной, лишенный помощи врача, он был оставлен на попечение старой надсмотрщицы, т. е. по сути брошен на погибель (или в надежде, что он в состоянии полной беспомощности будет убит кем-либо из подосланных заключенных).

К счастью, не случилось ни то, ни другое: победила молодость узника и высокий дух мученичества, «предназначенного ему по великой милости всевышнего». Лильберн выжил. И более того, в этих нечеловеческих условиях, находясь в полной и строжайшей изоляции, он ухитрился, неизвестно каким путем, достать писчий материал, написать первые свои памфлеты, передать их на свободу, где они были вскоре опубликованы его друзьями.

Первый памфлет был написан до экзекуции и озаглавлен «Испытание христианина» (12 марта 1638 г.), следующий за ним — «Дело зверя» — после нее. В них содержалось описание его ареста, допроса, публичного бичевания и пересказана речь, с которой он обратился к собравшимся. В августе из тюрьмы последовал третий памфлет под названием «Изыди из нее, народ мой...»\*, в котором Лильберн страстно убеждал в необходимости отделения (ухода) пуритан от церкви папистских прелатов (т. е. из церкви англиканской, государевой). В нем

---

\* Памфлет был опубликован в Амстердаме.

содержалось заверение, которому Лильберн ценой тяжелых духовных и физических испытаний был верен до конца своих дней: «Останусь ли жить или умру, но я буду говорить, что думаю, свободно и мужественно».

Между тем условия тюремного заключения оставались для Лильберна крайне тяжелыми. В петиции на имя Тайного совета он жаловался, что слепнет в своей полутемной клетке, что болен. Ночью его преследуют кошмары, он опасался, что в темноте его убьют по приказу архиепископа. Не надеясь на то, что жалоба достигнет адресата, Лильберн присовокупил ее к обращению к народу «Крик (о помощи) бедного человека», в котором просил приходиться к тюрьме и ежедневно его окликать, дабы его убийство не могло совершиться тихо, «в углу». В одиночном заключении Лильберн находился четыре месяца, и все это время в цепях, доставлявших ему нестерпимую боль при малейшем движении рукой или ногой. Однако и после того, как цепи с него были сняты, его условия ненамного улучшились, и причина тому — его нежелание потворствовать режиму коррупции, царившей в тогдашних тюрьмах.

Дело в том, что, поскольку тюремщики не получали государственного вознаграждения — они должны были содержать себя за счет мздоимства с заключенных за каждую «услугу» (передача вещей или пищи, посещения, прогулки заключенных), — следовало «подносить» стражам довольно значительные суммы. Возмущение Лильберна этими порядками восстановило против него тюремщиков. В начале 1639 г. он настолько ослаб, что без посторонней помощи не мог уже передвигаться. В мае того же года он обратился с призывом к лондонским ученикам, побуждая их просить у лорда-мэра о переводе его в другую тюрьму, где он чувствовал бы себя в большей безопасности. И тем не менее и в этих условиях пуританский экстаз не оставлял узника. «В моей невинной груди — сердце солдата», — заверял он своих коллег-единомышленников. С распространением этого памфлета Лильберна связывают бунт учеников против архиепископа в Троицын день этого года. В таких условиях Лильберн оставался в тюрьме вплоть до начала революции — созыва Долгого парламента в 1640 г. В этот год ему исполнилось 25 лет.



Новую страницу в биографии Джона Лильберна открыла революция. 3 ноября 1640 г. собрался на свое первое заседание Долгий парламент, а 9 ноября, как мы уже знаем, со своего места поднялся член парламента Оливер Кромвель, произнесший первую в этом парламенте публичную речь, в которой он привлек внимание палаты к судьбе заключенного в тюрьме Джона Лильберна. 13 ноября Лильберн получил свободу. 4 мая 1641 г. палата общин приняла резолюцию, в которой арест и обращение с Джоном Лильберном в тюрьме были объявлены «противозаконным... кровавым, порочным, жестоким, изуверским и тираническим» и за ним признавалось право на материальную компенсацию.

В этой трудной ситуации на помощь Лильберну пришел его состоятельный дядя Джордж, основавший в Лондоне пивоварню, управление которой передал Джону. В это же время Лильберн женился на Элизабет Дьюэлл, женщине исключительного мужества, глубоко и до конца преданной мужу спутнице жизни. С началом гражданской войны Лильберн в чине капитана пехотной части, состоявшей главным образом из лондонских учеников и подмастерьев, сражался под Эджилем и Brentfordом. Однако мужество отдельных частей не могло компенсировать нежелание парламентских генералов в войне с королем побеждать. 12 ноября 1642 г. Джон был захвачен в плен «кавалерами» и доставлен в Оксфорд, где к тому времени обосновался король. За «измену» государю Лильберну угрожала смертная казнь, от которой в прямом смысле его спасла жена. Будучи беременной их первенцем, она ворвалась с мольбой о спасении мужа в палату общин. Впечатление от ее неподдельного горя и отчаяния было столь велико, что далеко не сердобольная палата приняла постановление, угрожавшее роялистам «отмщением» в случае приведения угрозы в исполнение.

Следует заметить, что эта угроза имела реальную подоплеку: в руках парламента находилось немало пленных-роялистов. С этим документом в руках Элизабет, опрокинув все военные заслоны и преграды, достигла Оксфорда и этим спасла жизнь не только Джона, но и других пленных «круглоголовых». В результате обмена пленными Джон получил свободу, Сити Лондона при-

ветствовал его как героя. Ему была предложена гражданская должность, которая обеспечивала солидный доход и спокойную жизнь, однако Лильберн не колеблясь отверг ее: пока идет гражданская война, его место — в сражении. И на этот раз судьба снова свела Лильберна с Кромвелем, но уже лично. Индепендентские воззрения Лильберна, помешавшие ему присягнуть на верность так называемому Ковенанту (т. е. обязательству, принятому на себя Долгим парламентом под давлением шотландцев, ввести в стране пресвитерианское церковное устройство, связанное с принудительным единообразием), находили у Кромвеля полное понимание и поддержку.

Как мы помним, желание сражаться за «дело парламента» Кромвель ставил выше всех других соображений при комплектовании своих частей. По его ходатайству Лильберн получил должность подполковника в армии Манчестера. Бок о бок с Кромвелем Лильберн сражался в 1644 г. при Марстон-Муре. Когда же Лильберну вскоре после этого представился случай «самовольно» принудить гарнизон роялистского замка Тикхилл к сдаче, не потеряв при этом ни единого человека, Манчестер обрушился на него с грубой бранью, угрожая «повесить» за самоуправство. Впоследствии, когда Кромвель выступил в парламенте с обвинениями против Манчестера, Лильберн оказался для него как нельзя более ценным свидетелем. На этом военная карьера Лильберна закончилась. Несмотря на то что во вновь создававшейся армии «нового образца» ему была предложена высокая командная должность, он отказался вступить в нее, так как и на этот раз предварительным условием являлась присяга Ковенанту. В конце апреля 1645 г., в канун битвы при Несби, Лильберн сдал своих драгун полковнику Окею, заявив при этом, что «скорее будет сажать морковь и капусту, нежели сражаться за власть, которая поработит его». В данном случае Лильберн проявил гораздо большую принципиальность, чем Кромвель, формально согласившийся с этим требованием.

Однако возврат Лильберна к «гражданскому состоянию» не означал для него возврата к мирной жизни. На самом деле речь шла лишь о смене форм и оружия борьбы. На этот раз слово сменило меч. Это во-первых. Во-вторых, в новом обличье предстал теперь перед ним противник, мешавший торжеству справедливости, как ее все более отчетливо понимал и Лильберн. После победоносного завершения первой гражданской войны, как мы уже знаем, линия водораздела между сформировавшейся

к тому времени партией левеллеров и теми, кто занял место их гонителей за стремление обеспечить в новом политическом устройстве страны положение, при котором произвол властей предрежащих не был бы возможен и по отношению к самому скромному по достатку жителю Англии, проходила теперь внутри самого лагеря индепендентов. Нечего говорить, что Долгий парламент, в котором большинство составляли пресвитериане и который фактически осуществлял высшую законодательную и исполнительную власть в стране, оказался выразителем интересов тех социальных слоев, для которых революция практически закончилась. Лендлорды, чьи владения были освобождены от бремени так называемого рыцарского держания, кредиторы парламента, разбогатевшие на займах, поставщики парламентских армий, нажившиеся на войне, спекулянты, участвовавшие в грабеже конфискованных у роялистов имуществ, — все они сгруппировались вокруг Долгого парламента в его сопротивлении, исходившем от левеллеров, требованиям политических, юридических и церковных реформ.

### **Защитник прав и привилегий «свободнорожденных» \* англичан**

Как уже отмечалось, в дни единоличного правления Карла I Лильберн считал своими главными врагами прелатов английской церкви. Что касается светских властей, то в полном соответствии с учением Кальвина он призывал к повиновению им. Так, в уже упоминавшемся памфлете «Изыди из нее, народ мой» Лильберн писал: «Если ничтожнейший слуга в королевстве задержал бы меня... именем власти короля, я подчинился бы ему... ибо я знаю, что власть короля от бога... я считаю незаконным со стороны кого бы то ни было из народа божьего, даже в состоянии его величайшего угнетения магистратами, восставать или поднимать против них какое-либо светское оружие».

В ходе гражданской войны ему пришлось в основном переучиваться. На пути к свободе теперь стояло пресвитерианское большинство в парламенте, враждебно относившееся ко всякому проявлению инакомыслия столь же в вопросах веры, сколь и в вопросах политического

---

\* Дискуссии, развернувшиеся в новейшей литературе по вопросу о том, какие социальные слои народа подводил Лильберн под понятие «свободнорожденные», см. ниже.

устройства страны. В этих условиях мужественная борьба Лильберна против политического консерватизма и своекорыстия пресвитерианского большинства парламента была борьбой за углубление демократического содержания революции. Переход его с позиции повиновения светской власти на позицию открытого сопротивления ей объяснялся, разумеется, прежде всего опытом гражданской войны, но не только. На этот раз олицетворением верховной светской власти являлся не помазанник божий — король, а лишенный ореола «святости» парламента — установление не божественное, а человеческое. То же, что людьми учреждено, подлежит суду людей! К тому же нерасчлененность светской и церковной властей приводила к тому, что не только политические, но и религиозные оппоненты пресвитериан неизбежно сталкивались с карающей десницей парламента.

Парадокс в данном случае — арест Лильберна по прямому доносу теологов-пресвитериан — заключался только в том, что доносчики Принн и Баствик в правление Карла I сами являлись жертвами осуществлявшейся Лодом политики церковного единообразия любой ценой — и тот и другой в 1637 г. лишились ушей, отрубленных во время публичной экзекуции над ними. Ныне же они сами проповедовали аналогичную по жестокости политику единообразия, но только уже на почве пресвитерианства. В итоге вчерашние покровители и наставники Лильберна в теологии и практике пуританизма ныне стали его беспощадными хулителями и гонителями.

Так, в своем памфлете «Индепендентство, рассмотренное, разоблаченное и опровергнутое» (1644 г.) Принн, явно запугивая парламентское большинство, предупреждал: религиозное индепендентство — первый шаг к «узаконенной анархии».

Дело в том, что среди пресвитериан Лильберн был известен острым неприятием какого-либо принуждения в делах веры и широкой популярностью на этой почве среди лондонских низов — приверженцев различного рода радикальных сект. Недаром в неизвестном памфлете «Гангрена», принадлежавшем перу пресвитерианина Томаса Эдвардса, значилось: «Имеется некий Джон Лильберн — архисектант, большой любимец сектантов, всячески превозносимый и возвеличиваемый во многих памфлетах». Естественно, что стрелы, пущенные Принном против индепендентов, заделали Лильберна, и он не смолчал. Еще будучи в армии, в январе 1645 г. он опубликовал документ под названием «Письмо мистру Прин-

ну». Обращаясь к нему, Лильберн писал: «Я желаю поспорить с Вами, хотя один из Ваших друзей не так давно сказал мне, сколь велико различие между нами... как между стройным кедром и мелким кустарником... я ответил: пойди и скажи стройному кедру, что ему предстоит схватка с мелким кустарником». В этом небольшом, но удивительном по ясности мысли памфлете все слилось воедино: и личная ссора Лильберна с пресвитерианами — с графом Манчестером и полковником Кингом, и реминисценции его мученичества под властью Карла I, и, наконец, необеспеченность его материального положения.

Занятие, которому он был обучен, — торговля сукном — оказалось для него недоступным из-за монополии компании купцов-авантюристов, полученной на этот раз от парламента в благодарность за денежные займы и подношения. Хотя еще в 1641 г. палата общин приняла постановление о выплате Лильберну возмещения за нанесенный ему ущерб, оно так и осталось пустым обещанием. Даже обращение Кромвеля к парламенту с просьбой выплатить Лильберну задолженное ему армейское жалование в сумме 880 ф. ст. не имело последствий \*. Тем не менее «Письмо Принну» все еще не содержало прямых нападок на парламент; главной его мишенью была пресвитерианская нетерпимость к инакомыслию, принуждение в вопросах совести.

«Ни парламент, ни совет, ни синод, ни император, ни король или магистрат не обладает властью или юрисдикцией» над духовным царством Христа или гражданами его, «ибо, сэр, позвольте Вам заявить, что неотчуждаемой прерогативой одного только Иисуса Христа является быть царем его святых и законодателем своей церкви и народа и править в душах совести его избранных». Из этого вытекало, что преследовать за несогласие в вопросах совести — безразлично, исходит ли оно от архиепископа Лода или Принна, — является делом антихриста.

Как и полагал Лильберн, Принн немедленно обратился в парламент с жалобой на него, требуя «мести» за нападки на Ковенант. Однако, поскольку дважды вызванный в Комитет дознаний для допроса, но не устраши-

---

\* Вместе с тем поражает щедрость парламента к деятелям «своего круга»: потомкам Пима были переданы земельные владения с годовым доходом 10 тыс. ф. ст., точно так же потомкам Джона Гемпдена были подарены владения, приносявшие в год 5 тыс. ф. ст., хотя он и без того был известен как наиболее богатый член палаты общин.

мый Лильберн все еще оставался на свободе, соратники Принна донесли на него спикеру палаты общин Ленталю, будто Лильберн распространяет слухи о том, что спикер и его брат передали королю в Оксфорд 60 тыс. ф. ст. (впоследствии даже осторожный в своих заключениях историк С. Гардинер не считал такую возможность «невероятной»). На этот раз все ведущие пресвитериане парламента, включая его личных врагов — Кинга и Манчестера, а также бывшего покровителя, наставника Лильберна в теологии доктора Баствика, решили воспользоваться этим наветом, чтобы расправиться с ним. Лильберн тут же был арестован, и, хотя он требовал, чтобы ему были предъявлены обвинения и сообразно действующему праву рассмотрены в судебном порядке, его без следствия и суда заключили в Ньюгейтскую тюрьму.

Итак, победа «круглоголовых» в гражданской войне — начало нового этапа не только в истории революции, но и в жизни Лильберна. Она потребовала ответа на важнейший вопрос: как должна быть устроена страна, избавившаяся от произвольной власти абсолютной монархии? И здесь впервые отчетливо проявилась не только разнородность общественных элементов в лагере революции, но и проистекавшая из нее — и только теперь полностью раскрывшаяся — несовместимость целей и интересов, во имя которых они сражались на войне. Так, возобладание пресвитериан в парламенте означало стремление верхних слоев имущих классов города и деревни свести дело революции к одной лишь замене королевского всевластия своим собственным диктатом под прикрытием все той же короны. В то же время распространение индипендентских настроений в ходе войны в армии — процесс, ее цементирующий, в новых условиях свидетельствовал о размежевании внутри ее — между рядовым и младшим офицерским составом, который в отличие от так называемых шелковых индипендентов волновала не только гарантия веротерпимости, но и нечто более фундаментальное: каким образом и насколько победа парламента в гражданской войне изменит положение народных низов?

Ответ на эти вопросы, как мы уже знаем, волновал и так называемых гражданских левеллеров, представлявших радикальное крыло религиозно-политического индипендентства за пределами армии, отколовшееся от него и оформившееся в самостоятельную политическую партию. Наиболее популярным и влиятельным поборником ее принципов стал Джон Лильберн. И хотя в искусстве

слова он явно уступал таким ее деятелям, как Уильям Уолвин или Ричард Овертон, однако по смелости атак на власти предержавшие, полному пренебрежению к грозящим ему карам и в целом к собственной судьбе, по умению публицистически использовать злоключения, выпавшие на его долю, для иллюстрации сути восторжествовавших в стране порядков и положения, на которое ими был обречен простой люд, он не знал среди левеллеров равных. К тому же живая память о его мужестве во время публичной экзекуции, совершенной над ним королевской властью в дни его юности, — все это вызвало к нему горячие симпатии среди лондонских низов, в особенности в среде учеников и подмастерьев.

Итак, Лильберн оказался первым, кто осмелился публично разоблачить суть политики властей.

По крайней мере с лета 1645 года он все свое искусство публициста — трибуна, стража «народной свободы» — обратил против политики парламента. 25 июля появился его нелегально опубликованный памфлет под названием «Копия письма подполковника Джона Лильберна другу». Члены парламента выступают в нем не только как преследователи религиозных убеждений, отличающихся от их собственных; они, побудившие народ сражаться во имя свободы, которая оказалась только новой тиранией, сами живут в роскоши, в то время как тысячи и тысячи, потратив на службе парламента все, чем располагали, остались нищими, без куска хлеба. Многие бедные вдовы и осиротевшие дети, потерявшие на войне кормильцев, кричат: «Хлеба, хлеба», но их крики не слышат новые повелители. Сильные мира сего поедают малых сих. Впервые в своей «памфлетной войне» против душителей свободы Лильберн открывал глаза своих читателей не только на существующее социальное и имущественное неравенство, но и на олигархическую суть политики парламента.

В августе 1645 г., пока Лильберн находился в Ньюгейтской тюрьме, в палату общин поступила петиция, подписанная 2 или 3 тыс. горожан, требовавших освобождения Лильберна и выплаты ему компенсации и армейской задолженности. В то же время, продолжая травлю Лильберна, Принн следующим образом рисовал проистекающую от него опасность: «Невежественные простолюдины боготворят его как единственного вещателя истины»; его писания «разжигают в публике опасный огонь, настраивают на враждебный лад многих его (парламента) сторонников и обращают их речи, более того — сердца, против парламента». Лильберн — завсегдатай таверны

у ветряной мельницы \*, где происходят «частные собрания» его мятежной клики. Другой гонитель Лильберна, уже знакомый нам Баствик, под предлогом заботы о благочестии также доносил властям: «Толпы, сопровождающие его, смотрят на него как на своего защитника, возторгаясь всеми его действиями», так как «бедный люд вводится в заблуждение его лживыми словами».

Подобные «разоблачения» ученых-богословов — блюстителей порядка вряд ли доходили до лондонских низов, а если и доходили, то с презрением отвергались. Толпа по-прежнему сопровождала своего любимца на всем пути от тюрьмы до дверей парламента, когда его вели на очередной допрос, и на обратном пути; она осаждала палату общин, требуя его освобождения.

Одно из наиболее значительных творений Лильберна-публициста — созданный им в Ньюгейтской тюрьме памфлет «Прирожденное право Англии оправданное, против всех произвольных узурпаций, будь то королевских или парламента». Однако, прежде чем мы обратимся к его содержанию, следует указать на важные обстоятельства. По мере того как борьба против навязываемого пресвитерианами принудительного единообразия в вопросах совести перерастала в борьбу против «новой тирании» — политики пресвитерианского парламента в целом, менялись авторитеты, у которых Лильберн заимствовал аргументы в поддержку своих инвектив против этой политики. Так, наряду с Библией — чаще опуская ее — его памфлеты пестрели ссылками на Великую хартию вольностей (кстати, более чем вольно интерпретируемую), на так называемую Книгу деклараций (содержавшую своего рода «лозунги парламента» периода его борьбы с королем), на «Институции» — труд наиболее авторитетного юриста первой половины XVII века Эдуарда Кока — и, наконец, на «Зерцало судей» — средневековую юридическую компиляцию, содержавшую изложение столь же далекой от реальности, сколь и идеализированной картины общественно-политического устройства Англии в донормандский период. Из нее вероятнее всего Лильберн почерпнул аргумент в пользу уже известной нам доктрины «нормандского ига», из которого проистекали все последующие формы угнетения «свободнорожденных» англичан.

Характерно уже само начало памфлета, в котором, обращаясь ко всем «свободнорожденным», Лильберн во

---

\* Место собраний левеллеров Лондона.



всеуслышание заявил: те, кто воевал за дело парламента, находятся ныне в худшем положении, чем до этого. Их жизнь, имущество и драгоценное время потрачены напрасно. Петиции в парламенте с трудом принимаются, правосудие должным образом не отправляется, печать скована, к крикам бедных остаются глухими, жалобы угнетенных не рассматриваются. Поскольку же парламент от всего этого отвернулся, единственной защитой «свободнорожденных» остается право. Поэтому каждый должен знать законы, защищающие его от произвола и притеснений. С этой целью Лильберн заключает: все связывающие законы Англии должны быть доступны всем, т. е. должны быть написаны на английском языке, с тем чтобы каждый свободный человек мог знать их столь же хорошо, как и профессиональные законники, сопровождавшие их для собственной выгоды ложными глоссами\*.

Настаивая на исключительно правовом регулировании положения человека в обществе, Лильберн, однако, еще не ставил в этом памфлете под сомнение справедливость самого существующего права. О том, что Лильберн в соблюдении буквы этого права усматривал самую надежную защиту свободнорожденного англичанина, свидетельствовала уже на заре формирования партии левеллеров намеченная им, хотя и незримо, связь между двумя, казалось бы, разнохарактерными категориями: свободой и собственностью. «Более того,— писал Лильберн,— отмените провозглашенное и неотъемлемое право, и тогда что станет с «моим» и «твоим», свободой и собственностью?» И хотя нет сомнения, что Лильберн обращался и вел за собой прежде всего «простой люд» Лондона, нижняя граница отстаивавшейся им свободы отсекала и исключала из разряда «свободнорожденных» всех лишенных того минимума собственности, который обеспечивал ее владельцу свободу волеизъявления\*\*. Только в одном пункте требования Лильберна оказались в противоречии с этой доктриной: существование церковной

---

\* Глосса — примечание, толкование к отдельным положениям (или понятиям) основного текста.

\*\* Заслуживает быть отмеченным, что в появившемся вскоре после цитируемого памфлета Лильберна памфлете другого идеолога левеллеров, Уильяма Уолвина, «Плачевное рабство Англии» граница свободы опускалась гораздо ниже, включая в ее сферу всех жителей страны независимо от их имущественного положения: «Та свобода и привилегии, которые вы требуете, в такой же мере принадлежат вам, как сам воздух, которым вы дышите».

десятины он рассматривал как основную опору папизма в стране, между тем ордонанс парламента (1645 г.) требовал строгого ее соблюдения и уплаты, что находилось, по Лильберну, в противоречии с обещанием ее искоренения. И хотя десятина в значительной ее части уже давно (со времени Реформации XVI века) стала статьей дохода светских владельцев (так называемых импроприаторов), т. е. родом их собственности, Лильберн требовал ее отмены, так как она «несправедлива... в гражданском смысле». Священники, едва составляющие тысячную долю населения, получают десятую часть плодов народного труда. Парламент не только проповедь слова божия превратил в монополию тех, кто носит черные одежды, но и торговлю сукном, отдав ее в руки купцов-авантюристов, что противоречит закону природы и законам страны.

Подобным же нестерпимым притеснением «свободнорожденных» является лишение их свободы печати, отданной в монополию компании книготорговцев. Наконец, Лильберн требовал: 1) замены системы обложения продуктов первой необходимости пошлиной (акцизом), которая основной тяжестью ложилась на бедных, традиционными «субсидиями», т. е. налогом, раскладывавшимся сообразно имущественному состоянию плательщиков, и 2) ежегодно избираемых парламентам, с тем чтобы «свободнорожденные» имели возможность один раз в году контролировать поведение тех, кого они избирают. «О англичане! Где ваша свобода и что стало с вашими правами и привилегиями, за которые вы сражались ценой вашей крови и имущества и которые, как вы надеялись, должны были обеспечить ваши права и свободу? Однако по воле некоторых сильных [мира сего] вы оказались еще пуще прежнего в крепости и рабстве. Поэтому оглянитесь вокруг, пока не стало слишком поздно, и не давайте повода своим детям, еще не родившимся, проклинать вас за то, что сделали их рабами из-за своей... трусливой низости и робости... Поднимитесь же как один человек и справедливым и законным путем потребуйте к ответу тех, кто предал ваши права и свободы». Обратим внимание на специфику революционности левеллеров, на утопизм их политического мышления: «справедливый и законный путь» борьбы означал призыв добиваться коренных изменений в рамках существующего права! Таков был диапазон выдвинутых Лильберном решений политических, юридических и социально-экономических вопросов, ставших отныне и до конца революции водоразделом между революционной демократией, их отстаивавшей, и консер-

вативным большинством в Долгом парламенте, всеми силами им сопротивлявшимся.

14 ноября 1645 г. Лильберн был освобожден из Ньюгейта. Однако на свободе он оставался недолго. Впрочем, где бы он ни был — на свободе или в тюрьме, он отдавал всего себя без остатка борьбе устным и печатным словом против установившейся власти олигархии, полного безразличия Долгого парламента к положению девяти десятых английского народа. Уже весной 1646 г. Лильберн оказался вовлеченным в новый конфликт с парламентом — на этот раз с палатой лордов. Будучи вызван 10 мая к барьеру этой палаты по поводу нападок на ее члена лорда Манчестера, содержащихся в памфлете «Оправдание справедливого человека», Лильберн, ссылаясь на Великую хартию вольностей, отрицал право этой палаты заседать в качестве суда по уголовным делам простолюдинов. В результате 11 июня он был снова отправлен в Ньюгейт под строгий надзор. Однако, как мы уже не раз убеждались, Лильберну в тюремных условиях удавалось оповещать мир о происходящем с ним с целью раскрывать всем глаза на положение в стране вообще и положение «свободнорожденных» в целом — ведь он же один из них. И данный случай не был исключением.

Уже 16 июня был опубликован памфлет Лильберна «Защита свободы свободного человека». В нем не только содержался пересказ того, что с ним произошло в предшествующие дни, но и излагалась своего рода политическая философия левеллеров: «Бог... наделил человека... разумной душой или пониманием и тем самым сотворил его по своему собственному образу... Каждый индивидуум — отдельный мужчина и отдельная женщина, которые когда-либо (со времени Адама и Евы) жили и живут на земле, по своей природе являются подобными и равными по своей власти, достоинству, величию и авторитету. Никто из них по природе не обладает какой-либо властью, господством или властью магистратов над другим. Равным образом никто не обладает и не может осуществлять какую-либо власть иначе как только «по взаимному согласию, и соглашению, и договору... для блага... и удовольствия каждого».

И далее следовало положение, которое стало с тех пор отправным в учении о правах человека: «Было бы противоестественным, неразумным, греховным, порочным и несправедливым со стороны кого-либо... расстаться с такой толикой своей (прирожденной) власти, чтобы дать возможность кому-либо из их представителей в парламенте,

являющихся только их доверенными лицами.., разорить их и превратить их в ничто. Противоестественно, иррационально, дьявольски и тиранически со стороны кого-либо, будь то лиц духовных или светских, церковных или мирских... присваивать себе власть... управлять, властвовать или править над кем-либо в мире без его свободного согласия».

Перед нами левеллерский вариант доктрины естественного права и общественного договора, имевшей широкое обращение, в частности, в индипендентских кругах. Однако специфика левеллерской ее интерпретации заключена в том, что она применялась для истолкования не только истоков государства, но и *границ компетенции и призвания существующих государственных институтов*. В центре такого анализа находился вопрос: на каких условиях члены парламента — номинальные представители «народа Англии» — получили право управлять теми, кто их уполномочил?

Это был поразительный по своей революционной сути вопрос. Во-первых, за ним скрывалось признание не только изначального, естественного равенства людей, равенства по рождению, но и равенства по гражданскому состоянию. Во-вторых, в нем содержалось признание *добровольного согласия суверенных индивидов на управление ими* (уполномоченными на то избранными), утверждение не только вторичного, производного от воли народа характера суверенитета государства, всех его магистратур, но и *подконтрольности* его народу. И в-третьих, в нем признавалось наличие у индивида совокупности прирожденных и неотчуждаемых прав, т. е. сферы привилегий, в которую никакая внешняя власть вторгаться *неправомерна*. В целом это и означало утверждение равного достоинства индивида безотносительно к его словному или имущественному положению перед лицом властей.

Новый памфлет вновь привел Лильберна к барьеру палаты лордов, куда его на этот раз доставили силой. Здесь он отказался, как того требовал ритуал, преклонить колени. На соответствующий приказ Лильберн ответил: «Я воспитан в лучшей религии и манерах, чтобы преклонять колени перед какой-либо человеческой или смертной властью». Как и следовало ожидать, он был отослан в Ньюгейт с приказом держать его в строгой изоляции.

11 июля 1646 г. Лильберн предстал перед судом палаты лордов по обвинению в «ложных, скандальных и злонамеренных» наветах на нее с целью возбудить

разногласия между палатами парламента. На этот раз Лильберн не только отказался преклонить колени, но и закрыл руками уши, чтобы не слышать предъявляемых ему обвинений и не отвечать на обращенные к нему вопросы; единственное, что услышали лорды из его уст, — требование, чтобы он был предан суду палаты общин. На этот раз Лильберн был по решению палаты лордов оштрафован на 2 тыс. ф. ст., отправлен в Тауэр на срок, пока угодно будет палате, и лишен прав впредь занимать какие-либо должности — светские или церковные. Его памфлеты «Оправдание справедливого человека» и «Защита свободы свободного человека» подлежали публичному сожжению.

Итак, летом 1646 г. левеллеры в лице Лильберна встали на путь политической борьбы, в центре которой находился вопрос о конституционном устройстве страны. В самом деле, в факте апелляции Лильберна к нижней палате на действия палаты лордов, в том, что он палату общин рассматривал как единственно «избранную» и тем самым «единственно облеченную доверием всех общин Англии», т. е. в качестве «единственной формальной и легальной верховной власти страны», уже заключалось *прямое отрицание не только судебной власти палаты лордов, но и ее конституционных правомочий в целом.* Поставив в центр политической агитации левеллеров вопрос: каковы истоки власти в обществе, во имя каких целей эта власть существует и кому эта власть подотчетна, Лильберн вскрыл *центральный узел общественных противоречий тех дней.*

Набатным колоколом для лондонской улицы прозвучали слова, произнесенные Лильберном у барьера палаты лордов: «Сэр, я свободный человек Англии, и поэтому со мной нельзя обращаться как с рабом или вассалом лордов... Я не могу, не изменив своим свободам, являться к барьеру их превосходительств, будучи обязанным властью, долгом перед господом и перед самим собой и моей страной воспротивляться их злоупотреблениям ценой моей жизни, на что с божьей помощью я готов. Сэр, вы можете пытаться применить ко мне силу или совершить надо мной насилие с целью удалить меня из моей камеры, поэтому дружески советую вам быть мудрым и «осмотрительным», прежде чем совершить то, что уже никогда не сможете переделать».

Однако «дружеское» предупреждение Лильберна не подействовало: он насильно был доставлен в палату лордов, отказался, уже не в первый раз, встать на колени

и отвечать на вопросы и вскоре был снова отправлен в тюрьму с предписанием: «...держать в строгой изоляции, лишив его бумаги, пера, чернил, свидания с женой, детьми или кем-либо другим».

На этот раз в защиту Лильберна выступили его друзья Уолвин и Овертон. Перу первого принадлежит памфлет «Жемчужина в навозной куче», в котором говорилось: «Народ (Англии) стал знающим и рассудительным народом: страдания сделали его мудрым. Теперь угнетение сводит мудрых людей с ума. Мудрых людей невозможно ввести в заблуждение. Им безразлично, кто их угнетает. Если парламент действительно их облегчит, они будут любить парламент... в противном случае они его возненавидят. Ибо для народа быть низведенным в рабство во время правления парламента или посредством его, подобно тому как для человека быть преданным или убитым его родным отцом».

В аналогичных, но еще более решительных тонах был выдержан памфлет Р. Овертона «Ремонстрация многих тысяч граждан и других свободнорожденных людей Англии... их собственной палате общин... призывавшей своих уполномоченных в парламенте к отчету, как они с начала его заседаний до сегодняшнего дня выполняли свои обязанности по отношению ко всему народу — их суверенному господину, от которого ими получена власть и сила».

По заглавию этого памфлета легко заключить, что автор вознамерился выразить в нем не только свое возмущение по поводу жестоких преследований парламентом Лильберна. В нем содержалась *теоретическая платформа левеллерского движения в целом*, так как были сформулированы конституционные принципы, которые только под давлением неотвратимых исторических событий стали в начале 1649 г. основанием, хотя, правда, фиктивным, лишь словесным, нового государственного устройства страны. Очевидно, что идеи Лильберна были Овертоном не только повторены, но и в значительной мере развиты и углублены.

Во-первых, «Ремонстрация» указывала на «нестерпимые неудобства», проистекающие из королевского правления, и требовала «избавить нас навсегда от этого очень большого бремени и беспокойства». Во-вторых, подчеркивалось, что только палата общин обладает властью, обязательной для всей нации, «поскольку она ее избрала и уполномочила на это». Что касается лордов, то они всего лишь «захватчики», навязанные королями. И как вывод — требование отменить их право вето на акты палаты

общин, что было равносильно признанию палаты лордов ненужной. Перед нами по сути *первый в истории революции* призыв к установлению в стране республики с однопалатным парламентом.

Свой памфлет Овертон завершил призывом, обращенным к палате общин как «единственной носительнице власти, связывающей всю нацию»: «Не скрывайте от нас свои помыслы и придайте нам мужество быть чистосердечными с вами, объявляйте нам впредь, каковы ваши намерения, предпринимая что-либо, что должно пребывать, и выслушайте все, что может быть сказано «за» или «против» по поводу одного и того же. И с этой целью освободите находящуюся в заключении печать».

В другом памфлете — «Стрела в палату лордов», опубликованном в конце июня 1646 г., также в защиту Лильберна, Овертон формулировал вопрос, вскрывавший суть перемен в политике Долгого парламента, последовавших за завершением гражданской войны: является ли мятежным со стороны свободного человека, несправедливо заключенного в тюрьму, объявить об этом всему миру? «Подобное деяние совершенно по-иному расценивалось в начале заседания данного парламента, ибо тогда было начало свободы, и ныне кажется, что мы находимся в ее конце и в начале нового рабства». Естественно, что различие между тем, что парламента декларировал в начале гражданской войны как цель, во имя которой она ведется, и положением этих низов после ее завершения не могло не порождать острое недовольство в среде обманутых в своих надеждах низов и отверженных. Об этом Лильберн заявил недвусмысленно: «Если меня назовут государственным преступником, я отвечу, что меня таковым сделали декларации самого парламента. И если я был введен в заблуждение и обманут, то это сделали они (т. е. члены парламента сами)» \*.

Несмотря на то что с лета 1646 г. репрессии Долгого парламента против нелегальной печати усилились, наиболее энергично загружали эту печать именно находившиеся в тюрьме Лильберн и Овертон. И сквозь тюремные решетки проникали на свободу и распространялись их

---

\* Собственно, в действительности никаких перемен в социальной политике парламента не произошло: в начале гражданской войны было только произнесено громко звучащее слово «свобода» без уточнения ее сути и границ, не более того. Теперь же, после ее окончания, обнаружилось, что обещание изначально не распространялось на большинство народа Англии.

памфлеты: «Королевская тирания разоблаченная» (королевская власть приобрела тиранический характер со времени нормандского завоевания Англии), «Грамоты Лондона» и «Свободы Лондона» (в защиту демократического устройства городских властей) и др. Имеются сведения о том, что памфлеты левеллеров распространялись не только в Лондоне, но и в графствах. Это подтверждается тем фактом, что «честные люди» Бекингемшира и Гертфордшира в феврале 1647 г. привезли в Лондон адресованную палате общин петицию, под которой значилось 10 тыс. подписей. Среди прочих в ней содержалось требование об освобождении Лильберна, Овертона и других левеллеров. Однако доставивших ее в палату не допустили, и они были вынуждены оставить ее лондонским единомышленникам, которые должны были попытаться передать ее в парламент (каждая из попыток так и осталась безрезультатной).

Между тем и в самой столице шел сбор подписей под петицией, вошедшей в историю под названием «Пространная». Хотя петиция эта только готовилась, копия ее была кем-то услужливо заблаговременно доставлена в палату общин и вызвала в ней настоящую панику. В ней содержалась обширная программа реформ, и среди них требования свободы совести, свободы слова, уничтожения монополий и десятины, облегчения участи бедных и др. Последовавшие аресты среди левеллеров не остановили эту своего рода петиционную кампанию.

22 мая опубликованные тексты «Пространной петиции» были по постановлению палаты общин преданы публичному сожжению городским палачом\*.

Опасаясь массовых выступлений, пресвитериански настроенные «отцы» Сити изгнали из комитета, ведавшего городской милицией, индипендентов, заменив их своими людьми. Теперь в случае волнений парламент имел под рукой восемнадцатитысячную милицию Лондона, находившуюся под командованием пресвитериан. Весной 1647 г. на политической сцене страны появилась еще одна сила наряду с парламентом и левеллерами, прежде всего Лондона, — «агитаторы» в армии «нового образца». Ее конфликт с пресвитерианским большинством парламента означал, что на этот раз ему противостояла оппозиция,

---

\* Традиция гласит, будто присутствовавший при этом пресвитерианин заметил: «Теперь нашим волнениям наступил конец», на что услышавший эти слова индипендент ответил: «Нет, это только их начало».



с которой — в противоположность державшимся в рамках закона левеллерам — нельзя было справиться ни сожжением петиций, ни заключением в тюрьмы. С этого момента свои надежды на углубление демократического содержания революции левеллеры связывали с позицией «агитаторов» в армии.

Как уже отмечалось, по мере нарастания конфликта между армией и парламентом он все яснее принимал характер политический; армия становилась выразительницей интересов всех недовольных политическим консерватизмом парламента.

«Наша армия, — значитя в одной из ее деклараций, — состоит главным образом из добровольцев... многие из коих — люди выдающихся благочестия и способностей... мы не являемся просто наемниками, собравшимися вместе в надежде на плату за военную добычу».

Естественно, что в памфлетах Лильберна, Овертона и Уолвина радикально настроенные солдаты и офицеры находили ответы на волновавшие их вопросы. Чтение и толкование публицистики левеллеров, слушание наставлений самозванных проповедников пробуждали у одетых в солдатские мундиры сыновей крестьян и ремесленников сознание своего долга перед народом не только на войне, но и в мирное время, когда решались вопросы послевоенного устройства страны.

Вскоре после Несби пуританский проповедник Бакстер, посетивший армейский лагерь, писал: «Я нашел много честных, но невежественных людей... приученных к разговорам о демократии в церкви, о демократии в государстве». И, объясняя это «немыслимое» положение вещей, Бакстер указал, что в значительной мере это было результатом распространения памфлетов Овертона, Лильберна и других, направленных против короля и духовенства и ратующих «за свободу совести». Они утверждают: кем являлись лорды Англии, если не полковниками Вильгельма Завоевателя, или бароны — его майоры, или рыцари — его капитаны? Явно преувеличивая, другой наблюдатель сообщал, что армия — «вся целиком — сплошной Лильберн».

Со своей стороны Лильберн полагал: «Я мог бы иметь под своим началом столь многих приверженцев, которые дали бы мне возможность с мечом в руках чинить правосудие над теми изменниками и тиранами [которые засели] в Вестминстере». Он не делал различий между собственной свободой и делом солдат. Это было тем более естественно для него, что, как уже отмечалось, в соб-

ственных злоключений он видел судьбу народную, а в своих памфлетах — акты борьбы за основополагающие свободы всех и каждого в отдельности из свободнорожденных в Англии. Главным посредником между заключенным в тюрьме Лильберном и армией был младший чин Эдвард Сексби. Посланцы солдат, посещавшие его в заключении, регулярно сообщали Лильберну о положении дел в армии. Особо важные миссии «свяznego» выполняла жена Лильберна Элизабет, по его отзывам «наиболее вдумчивый, мудрейший и способнейший курьер, которого я только могу представить, и хотя она женщина, но истинно мужского духа и мужества».

В мартовские дни 1647 г., когда Кромвель убеждал палату общин, что армия подчинится ее приказу о роспуске, Лильберн из Тауэра обращается к нему с письмом, в котором страстно призывает его стоять за свободу: «Если тирании следует сопротивляться, то это относится в равной степени к тирании парламента, как и к тирании короля». Лильберн убеждает адресата в том, что у него нет «личных интересов и расчетов». «Сэр, я могу только потерять жизнь...» «Я не сошел с ума, но полностью сознаю рабские последствия, если армия будет распущена, прежде чем свобода Англии будет обеспечена».

Письмо это осталось без ответа. Когда же Кромвель покинул Лондон и направился в расположение армии, дабы окончательно не потерять власть над нею, где все более решительно и самостоятельно заправляли так называемые агитаторы, Лильберн направляет ему второе письмо: «Пожертвовав всеми интересами в мире, действуя денно и ночью, с тем чтобы армия заняла должную позицию», он (Лильберн) достиг того, что избранные по общему согласию «агитаторы» стали действенным инструментом в борьбе за его освобождение, способным поставить заслон тирании и установить в стране мир и справедливость, не ожидая от Кромвеля и других армейских грандов никакой помощи. Можно ли после этого сомневаться в том, что сама идея избрания в полках «агитаторов», определение их задач, перед лицом прямого или скрытого саботажа со стороны высших офицеров (грандов) если и не исходила от узника Тауэра, то во всяком случае поощрялась им. Иными словами, демократическая организация «агитаторов», осуществлявших в те дни власть в армии, с которой вынуждены были в тот момент считаться и высшие офицеры, стала отныне основной надеждой Лильберна на демократическое устройство послереволюционной Англии.

В конце мая 1647 г. был опубликован памфлет Лильберна под названием «Неоправданно поспешная клятва». Его основной пафос — разоблачение происшедшего перерождения членов парламента. Что представляет собой существующий парламент, если не заговор и «союз сообщников беззаконных, безответственных людей», которые в действительности уничтожили законы и свободы в Англии, не желают руководствоваться в своих действиях ничем иным, кроме собственной коррумпированной и кровавой воли, в результате чего установили высочайшую тиранию, которая только и мыслима в мире. «Против нее королевство может по справедливости подняться как один человек с оружием [в руках] и уничтожить упомянутых заговорщиков без жалости и сострадания... ибо уничтожьте закон и откажите в правосудии — и чем мы теперь в лучшем положении, чем дикие животные в поле?»

По сути Лильберн призывал к *продолжению революции*, к новой революции, направленной на этот раз против выродившейся власти Долгого парламента — силой оружия ниспровергнуть его. Англия должна управляться ежегодно избираемым парламентом при условии, что каждый свободный человек — бедный и богатый — сможет подавать свой голос за тех, кому доверяет законодательствовать (управлять). Это соответствовало принципу: «в делах публичных никто не может быть принуждаем к чему-либо без его добровольного согласия на это». Если в данном памфлете усмотреть одно из ранних левеллерских предначертаний новой конституции страны, то ее следует признать определенно республиканской и демократической, поскольку в ней нет упоминания не только о королевской власти, но и о палате лордов. Следовательно, так же как народ признан в ней единственным источником всякой власти в обществе, точно так же только избранная им палата общин и является ее единственным законным олицетворением.

Эти идеи были широко распространены и в армии. Недаром враги Лильберна рассматривали «агитаторов как порождение Лильберна». Что же касается самого Лильберна, то он считал их дело заслуживающим «вечной хвалы». Как уже отмечалось, один из «агитаторов», уже упоминавшийся Эдвард Сексби, вступивший в отряд Кромвеля в 1643 г., поддерживал постоянную связь с Лильберном, посещая его в Тауэре. Нет сомнений, что Лильберн был, вероятно, одним из вдохновителей движения «агитаторов», и в частности их важной политической

инициативы — захвата короля с целью не допустить сделки между ним и парламентом за спиной народа. В памфлете «Простая истина без страха или лести» (май 1647 г.) Лильберн писал: «Мы — свободные общины Англии, действительное и существенное политическое тело... и армия в частности... можем на законном основании удерживать, распоряжаться и располагать своим оружием и силой с целью сохранения в безопасности короля и королевства».

Захват короля отрядом под командованием корнета Джайса не только обнаружил политическую зрелость и смелость «агитаторов», но и указал недвусмысленно на объем власти, которую они осуществляли в армии.

Именно это обстоятельство должно было толкнуть Кромвеля, колебавшегося до той поры между верностью парламенту и страхом потерять власть над армией и вместе с ней влияние в парламенте, на решающий шаг — встать на сторону армии.

5 июня в Ньюмаркете на общем смотре армии было принято торжественное обязательство не складывать оружия до тех пор, пока не будет обеспечено такое «установление общих и равных прав, свобод, которыми все смогут пользоваться в равной степени». 14 июня от имени «Новой модели» была опубликована «декларация», в которой значились ставшие знаменитыми слова: «Мы не являемся армией ландскнехтов, нанятых служить любой произвольной власти, но собрались, будучи вдохновленными декларациями парламента, призывавшими к защите справедливых прав и свобод, как наших собственных, так и народа».

В этот период решающую роль в делах армии играл не Военный совет, а Совет армии (в состав которого входило помимо высших офицеров по два представителя от «агитаторов» и по два офицера от каждого полка \*). Однако вскоре после приезда в армию Кромвеля дала о себе знать вся мера расхождения интересов «агитаторов», с одной стороны, и высших офицеров (так называемых шелковых индпендентов — грандов) — с другой.

Будучи хорошо осведомленным о положении дел в армии и в Лондоне («связные» между левеллерами столицы и армией посещали его регулярно), узник Тауэра Лильберн побуждал «агитаторов» действовать самостоя-

---

\* Как мы помним, Совет армии был учрежден не без умысла — с целью «обезвредить» влияние и власть существовавших в полках «советов агитаторов».

тельно и решительно. И его призывы не оставались без последствий. 15 июня Совет армии потребовал удаления из парламента 11 ведущих пресвитериан — членов палаты общин. 22 июня Лильберн умолял Кромвеля во имя его жизни двинуть армию на Лондон, где «друзья» помогут ему «заполучить» указанных лиц. Однако Кромвель все еще стоял на почве «конституционных действий»: он слишком опасался армии, в которой столь большим влиянием пользовались «агитаторы», чтобы ей доверить положение дел в столице, где к тому же царило сильное брожение в низах. Его не могло не настораживать, сколь близко к сердцу «агитаторы» принимали судьбу Лильберна и его соратников, требуя их немедленного освобождения.

1 июля Лильберн снова направил Кромвелю письмо, полное упреков и возмущения: «Вашими бесчестным коварством и ловкими приемами Вы лишили честных и мужественных агитаторов их власти и силы». Если не будут приняты срочные меры, «чтобы я смог лицом к лицу изложить мои мысли», Лильберн угрожал возглавить восстание своих «друзей», которые освободят его силой. Это был прямой вызов и ультиматум: «Я жду положительного и удовлетворительного ответа самое большее в течение четырех дней».

16 июля на собрании Совета армии «агитаторы» снова потребовали похода армии на Лондон, освобождения Лильберна и выплаты ему материального ущерба. Однако Ферфакс и Кромвель снова этому воспротивились, и это неудивительно. Позиция Лильберна и «агитаторов» в этот момент заключалась в том, что «несправедливые, тиранические и неправедные» действия парламента освободили подданных от обязанности повиноваться ему и настало время для тех, кого парламента представляет, перейти к прямым действиям для защиты своих свобод.

Позиция же Кромвеля и его окружения, наоборот, диктовалась страхом перед подобными действиями, и поэтому гранды все еще усматривали в парламенте «единственную законную власть» в стране, а переговоры с ним, точнее, уговоры его — единственным способом решать политические проблемы.

В те дни Лильберн обратился к Ферфаксу с письмом, в котором писал: «Если Вы что-то намерены предпринять для меня, то делайте это быстро и энергично, ибо погибнуть я не могу и не хочу... и если ничто не может подействовать на обе палаты (парламента), кроме моей беспричинной гибели, то я буду вынужден обратиться ко

всем общинам Англии и солдатам Вашей армии и сделаю все, что в моих силах, чтобы перерезать их тиранические глотки, если даже я погибну вместе с ними».

Тем временем для подкрепления требований об удалении 11 наиболее одиозных пресвитериан из палаты общин армия начала свое движение к Лондону. Известие об этом немедленно возымело свои действия, поименованные лица (Голльз, Стэлтон и др.) покинули палату общин, и снова армия остановилась. Когда же пресвитериане Сити 26 июля предприняли попытку своего рода государственного переворота, приведя в боевую готовность милицию и силой заставив парламент проголосовать за немедленное приглашение короля в Лондон (за которой и последовало бегство 57 коммонеров во главе со спикером и 8 пэров в распоряжение армии), Ферфакс и Кромвель решились наконец на «антиконституционный» шаг: 6 августа армия вступила в Лондон, не встретив сопротивления. Но и после этого парламент бросил вызов армии, отказавшись одобрить ее действия. 29 августа, оставив военный отряд в Гайд-парке и расположив солдат снаружи парламента, Кромвель заставил наконец палату общин санкционировать действия армии, 7 пресвитериан — членов парламента бежали из страны, один был арестован. И хотя позиции индипендентов в парламенте вследствие этого укрепились, его политика по отношению к левеллерам нисколько не изменилась — их лидеры все еще оставались в тюрьме.

Политическая трусость армейской верхушки — так называемых грандов — придавала смелость парламенту: не доверяя армии, страшаясь ее союза с лондонскими низами, Кромвель поспешил вывести ее за пределы столицы.

Перед нами парадоксальный феномен — всесилие и поразительное бессилие многотысячной армии перед ничтожным сборищем прожженных политиканов, верховодивших в обеих палатах парламента и творивших его политику в 1647 г. И причина этого заключалась не только в отсутствии единства в рядах самой армии — решающей организованной силы демократии в период, когда революция оказалась на распутье, но и в политической незрелости лидеров партии левеллеров — этих идеологических знаменосцев радикальной оппозиции в стране. Выражая интересы и устремления прежде всего ремесленников и мелких торговцев в городах и мелких сельских хозяев в деревне, левеллеры разделяли многие свойственные этим слоям предрассудки и иллюзии. К этому

следует присовокупить узость социального и исторического кругозора, неустойчивость, идеализацию политических традиций, фетишизацию норм традиционного права. Со всеми этими чертами идеологии и политической практики левеллеров мы уже в определенной мере сталкивались, в частности прослеживая одиссею Лильберна до 1647 г., и в еще большей степени об этом будут свидетельствовать его слова и дела в грядущие годы. С дискуссией, развернувшейся на конференции в Пэтни осенью 1647 г., мы уже познакомились \*. В данном случае наше внимание будет сосредоточено только на одном вопросе: каковы те пределы, до которых левеллеры стремились довести общественный переворот в стране?

Заметим для начала, что политическая риторика Лильберна давала весьма расплывчатый ответ на этот вопрос. В самом деле, провозглашавшиеся им условия обеспечения «свободы и прав общин Англии» в качестве конечной цели борьбы были крайне социально неопределенными и по своим границам размытыми, поскольку понятие «общины Англии» в восприятии различных общественных слоев наполнялось различным содержанием. Точно так же далеко не устоявшимися были представления Лильберна о наиболее пригодной для достижения провозглашенной цели форме правления. К лету 1647 г. только исходный для искомого ответа пункт был им установлен: поскольку парламент выродился в тиранию, он потерял право на власть, и последняя *вернулась в руки тех, чьими полномочиями парламент пользовался, т. е. к «общинам Англии».*

Иными словами, последние вправе установить политический строй заново, не считаясь с традиционным. Очевидно, что между позицией в этом вопросе Лильберна, Овертона и других левеллеров, с одной стороны, и позицией Кромвеля и Айртона, исходивших из принципа сохранения наличного, основанного на традиции политического (монархического) строя, — с другой, различие было принципиальным. Вместе с тем Лильберн, как мы вскоре убедимся, в различных политических ситуациях давал отнюдь не однозначные ответы на вопрос: какое политическое устройство наилучшим образом обеспечит «свободу и права» граждан?

Во всяком случае на протяжении 1647 г. Лильберн поочередно надеялся то на палату общин — против тира-

---

\* См. выше, с. 192.

нии палаты лордов, то на армию — против выродившейся палаты общин и, наконец, — в полном отчаянии — на возвращение короля в столицу. Кстати, мимолетное на строение Лильберна не следует смешивать с политическими принципами. Столь длительное заточение в каменном мешке, равнодушие к его судьбе не только индипендентов в палате общин, но и верхушки армии, к которой он неоднократно обращался за помощью, приводили его в иступление. О том, сколь ошибочным было бы подобное смешение, свидетельствует реакция «агитаторов», не без влияния Лильберна узнавших о тайных контактах Кромвеля и Айртона с королем: «Почему офицеры превращают короля в идола?.. Почему они преклоняют перед ним колени и выслуживаются? Какой позор перед людьми! О, грех против господ! Как можно так вести себя с человеком, повинным в пролитии крови, утопающим в крови ваших самых дорогих друзей и соратников по самые уши и выше головы».

В конце сентября Лильберн опубликовал памфлет «Плуты разоблаченные», содержащий программу реформ, которую должна отстаивать армия. Если оставить в стороне совет чаще менять состав «агитаторов», так как «стоячая вода... со временем подвергается порче», то в нем содержались все те же требования: уничтожение монополий и десятины, перевод законов на английский язык, свободное и равное правосудие, отмена солдатских постоев. Это была своего рода программа-минимум, в которой основной конституционный вопрос о государственном строе был обойден.

6 сентября Кромвель наконец откликнулся на многочисленные обращения к нему просьбы и посетил Лильберна в Тауэре. Он посоветовал ему впредь воздерживаться от нападок на парламент, что ускорит его освобождение. Однако Лильберн стоял на своем: всеми путями он будет стремиться разрушить тиранию парламента. Кромвель обещал ему после освобождения хорошо оплачиваемую должность в армии. «За все золото мира, — ответил Лильберн, — я не принял бы предложения поступить на службу парламента или армии».

«Хотя вы меня не очень вдохновили, — заключил беседу Кромвель, — но мое расположение к вам таково, что я приложу все силы, чтобы добиться в парламенте вашего освобождения».

В случае его освобождения и выплаты 2 тыс. ф. ст. давно обещанной компенсации за ущерб, нанесенный ему в свое время Звездной палатой (включая



половину задолженности за службу в армии), Лильберн со своей стороны обещал на год покинуть Англию. Изложив все условия письменно, он вручил Кромвелю этот документ. На том они расстались, и Лильберн стал ждать добрых вестей.

Между тем парламент под разными предлогами откладывал слушание этого дела. Только 14 сентября Кромвелю удалось привлечь к нему внимание палаты общин. Однако с целью не принимать «немедленного решения было предложено передать это дело в Комитет для изучения прецедентов юрисдикции палаты лордов над коммонерами».

Известие о таком решении было воспринято Лильберном как откровенный акт издевательства. Всю вину за продление своих мучений он возложил на Кромвеля, сохранявшего, как он был убежден, только видимость зависимости от парламента, а на самом деле замышлявшего «навечно удерживать бедный народ... в рабстве», под властью выродившегося и прогнившего парламента. Впредь, писал он в те дни Генри Мартену (известному своими республиканскими воззрениями члену парламента), он намерен направлять свои жалобы непосредственно солдатам, гвоздильщикам и холодным сапожникам, в которых он усматривал своих подлинных друзей и заступников. Это была угроза добиться освобождения посредством «неконституционных действий» низов, т. е. угроза народного восстания.

Однако дальше угроз прибегнуть к «неконституционным» массовым действиям ни Лильберн, ни его сторонники не заходили. И это очевидное свидетельство того, сколь велика была еще политическая незрелость революционной демократии тех дней и сила довлевшей над нею робости перед лицом властей предрержащих, сохранявших видимость «конституционности».

Вспомним, что сам Лильберн в борьбе с парламентом стоял на платформе права, конституционности, юридического прецедента. Как же мог он стать предводителем мятежа — действия, по своему характеру явно «противозаконного»? К тому же не следует забывать, что Лильберн, хотя и младший сын в семье, был по рождению джентльменом, о чем при всяком удобном случае он напоминал: в парламенте — с целью заставить больше считаться с ним; вне парламента — с целью придать своим злоключениям больший моральный вес в глазах тех, для кого джентльмен все еще заслуживал большего уважения, чем простолюдин. Последнее же все еще было широко

распространенным убеждением в среде тех самых низов, к которым он апеллировал.

Совокупность перечисленных моментов, может быть, объяснит нам тот на первый взгляд парадоксальный факт, что «защитник бедного народа» Лильберн, полностью разочаровавшись в Кромвеле и отчаявшись получить иным путем свободу, склонялся к заключению «соглашения «агитаторов» с королем», если последний со своей стороны согласится «гарантировать справедливую свободу» его и народа. Следовательно, политическая незрелость этого предводителя радикалов была в ту пору еще столь велика, что личную свободу он все еще надеялся получить как дар «со стороны», не исключая и из рук монарха, обещающего «гарантии» таковой, поскольку парламент на это оказался неспособным.

Эта недостаточная разборчивость Лильберна в «конституционных средствах» еще проявится неоднократно. В одном, однако, он оставался последовательным: в искренней преданности делу свободы, которому он посвятил все свои силы и жизнь. Так, в одном из писем Ферфаксу Лильберн писал: «Я не поступаю и не действую по воле случая, а исходя из принципов и будучи в душе полностью убежденным, что они справедливы, праведны и честны, и я, по доброте божьей, никогда от них не отступлюсь, даже если мне суждено погибнуть, отстаивая их». Так или иначе, но бегство короля из Гемптон-Корта 11 ноября 1647 года положило конец попыткам установить контакт между королем и «агитаторами» — замысел, который отнюдь не всеми сторонниками Лильберна одобрялся (в частности, полковником Рейнсборо, Сексби и др.).

К этому времени произошли перемены и в судьбе самого Лильберна. 9 ноября ему было разрешено днем покинуть тюрьму и возвращаться в нее на ночь. Однако и такое половинчатое «освобождение» было уже благом — он получил возможность находиться в семье, свободно общаться с друзьями и единомышленниками и тем самым активно влиять на движение левеллеров в целом.

Между тем движение это достигло критической фазы. В начале сентября в большинстве полков состоялись выборы новых «агитаторов» — событие, горячо поддержанное Лильберном. Это был момент, когда противоречия между радикалами и «грандами» в армии грозили вылиться в открытое неповиновение солдат своим офицерам. То же предгрозовое положение вещей отмечалось и за пределами армии. Резко усилились нападки Лиль-

берна на Кромвеля, открыто выступившего в палате общин 20 октября в защиту монархического строя. Умеренные индипенденты в долгу не остались, обвиняя левеллеров в стремлении к анархии и «уравнению состояний». Вот образчик «критики» идеалов левеллеров:

«Нет больше нищего под кустом,  
Нет больше плута-слуги.  
Разносчик пусть расхаживает в бархате,  
А негодяй — драпируется алым сукном».

В этой обстановке появился памфлет «Дело армии, правильно изложенное», ставший отправным пунктом дискуссии, развернувшейся в Пэтни по вопросу о послевоенном устройстве. Хотя он был подписан 11 вновь избранными «агитаторами», его автором был левеллер Д. Уайлдмен, а косвенно — все лондонские идеологи левеллеров. Поскольку «дело армии» практически отождествлено в нем с делом «бедного, угнетенного народа Англии», постольку основное содержание этого документа сводилось к требованиям, реализация которых означала бы превращение страны в демократическую республику, при этом армия рассматривалась в качестве инструмента этого преобразования. Конкретная программа его включала основные требования левеллеров, и прежде всего Лильберна, изложенные в предшествующих памфлетах идеологов. «Дело армии» стало первым наброском знаменитого «Народного соглашения» — этого первого опыта создания писаной Конституции Англии.

Известно, что оратором от имени левеллеров на конференции в Пэтни выступал Джон Уайлдмен (Лильберн все еще находился в тюрьме).

Здесь нет необходимости подробно излагать ход этой конференции, заметим лишь, что ее созыв свидетельствовал прежде всего о силе влияния идеологии левеллеров в армии. Задуманная «грандами» как политический маневр, тактическая уступка рядовым и младшим офицерам армии, от имени которых выступали на ней «агитаторы», она должна была создать впечатление «беспристрастного» рассмотрения их требований и тем самым отвести реальную в те дни угрозу открытого отказа армии в повиновении генералам. Что же касается позиции сторон, то обращает на себя внимание следующий примечательный факт: левеллеры, прежде всего в лице Лильберна, столь упорно отстаивавшие в столкновениях с парламентом букву и дух «конституционного» наследия Англии (бесконечные ссылки на Великую хартию вольностей,

Билль о праве, статуты королевства), на этой конференции выступили как подлинные революционеры, готовые ниспровергнуть самые основы традиционной конституции страны. В этом проявилось — и на этот раз наиболее отчетливо — *принципиальное противоречие*, столь характерное для движения левеллеров в целом, *между декларацией абстрактных принципов, безусловно революционных по их сути, и пониманием, выбором ими средств, которые привели бы к их реализации*. Именно на уровне политической практики обнаруживалась вся мера незрелости, если угодно беспомощности, их политического мышления. Итак, нет никакого сомнения в том, что левеллеры первые в истории Англии подняли знамя массового движения за установление в стране Республики, так как считали, что ввиду возврата народа Англии (из-за враждебности короля и перерождения парламента) к «естественному состоянию» ее политическое устройство надо начинать с нового «соглашения», составленного в соответствии с принципами естественного права. С другой стороны, гранды Кромвель и Айртон, наоборот, отстаивали в Пэтни «историческую» Конституцию Англии и соответствующее ей гражданское право, «основанное на принципе обладания собственностью», т. е. речь шла о сохранении монархического правления, контролируемого в той или иной степени посредством парламента, избранного на основе монархического ценза, т. е. только одной десятой частью народа.

Дабы избежать упрощения, необходимо еще одно замечание. В ходе дискуссии левеллеры постепенно отклонились от последовательной реализации в избирательной системе принципа естественного права, согласившись, как мы уже знаем, исключить из него не только женщин, но и мужчин — слуг и нищих, «потерявших способность независимого волеизъявления», т. е. сделали в этом важном вопросе шаг навстречу принципу, выдвинутому Айртоном, — наличие у будущего избирателя помимо факта рождения в стране еще и «постоянного интереса», т. е. собственности в той или иной части страны. К объяснению причин этой уступки мы еще вернемся.

В то же время гранды Кромвель и Айртон, отрицавшие, что Англия вернулась в «естественное состояние», поскольку сохранился парламент, а вместе с ним все «конституционные устои», тем не менее в ходе прений апеллировали к «договорной теории», своеобразно интерпретируемой, так как за ней стояли интересы прежде всего крупных и средних собственников — только одни

они обладали «постоянным и весомым интересом» и поэтому были впоае конституировать органы власти в стране.

И здесь мы подошли к самому важному пункту — позиции левеллеров в вопросе об избирательном праве. В исторической литературе, причем и самоновейшей, эта проблема решается явно упрощенно. Поскольку «Народное соглашение» является своего рода резюме программы партии левеллеров (фразеология этого документа обнаруживает несомненное влияние Лильберна на формирование его содержания), мы напомним его основные положения. Преамбула его гласила:

«Показав всему миру нашими недавними трудами и риском, сколь высоко мы ценим наши справедливые свободы, и убедившись, в какой степени всевышний поддержал наше дело, выдав в наши руки его врагов, мы считаем себя связанными друг с другом взаимными обязательствами проявить наилучшую заботу, на которую мы способны, для избежания в будущем как опасности возврата в рабское состояние, так и дорогостоящего освобождения из него посредством другой войны, ибо так же, как нельзя себе представить, что столь многие из наших земляков оказали бы нам сопротивление в минувшей войне, если бы они поняли, в чем состоит их собственное благо, точно так же мы можем с уверенностью утверждать: после того как наши общие права и свободы будут должным образом выяснены, окажутся тщетными усилия тех, кто стремятся стать нашими господами».

Четыре основных требования привлекают наше внимание вслед за этим:

- 1) демократическая избирательная система;
- 2) роспуск в течение года существующего парламента;
- 3) двухгодичный срок правомочий каждого вновь избранного парламента;
- 4) фиксация неотчуждаемого характера ряда свобод, в сферу которых парламента не вправе вмешиваться, т. е. законодательствовать; отсутствие упоминания о короле и палате лордов косвенно свидетельствовало, что речь идет о республиканском строе.

Остановимся, как уже было условлено, только на первом из перечисленных требований левеллеров. Вопрос заключается в следующем: что скрывалось за требованием всеобщего избирательного права для мужчин?

Итак, представляется, что в существующей литературе, посвященной позиции левеллеров в вопросе об избирательном праве, произошло смешение двух аспектов про-

блемы: 1) внутренней логики программы левеллеров, отталкивавшейся от принципа «естественного права», и 2) его политического истолкования в исторических условиях Англии середины XVII века. Суть первого из этих аспектов с предельной ясностью изложил в ходе дискуссии в Пэтни полковник Рейнсборо: «...в самом деле, я полагаю, что беднейший из англичан должен прожить свою жизнь, равно как и величайший из них». Поэтому представлялось очевидным, «что человек вовсе не обязан подчиняться власти того правительства, в образовании которого он не участвовал». Нет сомнения, что Рейнсборо, говоря о «беднейшем из англичан» как равноправном «избирателе правительства», власти которого он должен будет подчиняться, отталкивался от абстрактного принципа гражданского полноправия личности как ее «прирожденного», естественного права. Однако когда идеологи левеллеров оказывались перед необходимостью раскрыть содержание понятия «всеобщая гражданская свобода», которым они столь широко оперировали в своей публицистике, то оказывалось, что в реальной действительности личность может свое «гражданское полноправие» потерять, так как определенным конститутивным элементом его оказывалось такое положение человека, при котором его источники жизненных средств, а следовательно, и волеизъявление являлись независимыми от воли других и неподконтрольными другим. Иначе говоря, пределом «свободы», если можно так выразиться, «предельной моделью» выступало положение мелкого самостоятельного производителя как в ремесле, так и в земледелии.

Отсюда и понятие «свободнорожденный» в терминологии левеллеров указывало лишь на потенциальную гражданскую свободу (правоспособность) личности, которая могла не реализоваться, не состояться в случае, если человек оказывался на положении наемного «слуги» или нищего, живущего на милостыню. Очевидно, что левеллеры раскрывали содержание понятия «свобода» как идеологи (предвосхищая позднейшую терминологию) мелкобуржуазных слоев города и деревни. Их основное отличие в этом вопросе от так называемых шелковых индипендентов заключалось, во-первых, в пренебрежении качественной характеристикой владения (к примеру, им было безразлично, является ли основанием осуществления независимости сельского жителя держание на правах Фригольда, копигольда или аренды) и, во-вторых, в игнорировании количественной характеристики имущества

(т. е. размер годового дохода и т. п.), лишь бы оно ограждало обладателя от опасности оказаться в положении лица, потерявшего свое «прирожденное право» вместе с *независимым источником* средств существования.

Очевидно, что различия между этими двумя решениями данного вопроса были большими, и тем не менее от нас не должно ускользать фактическое сближение левеллеров с исходным принципом «шелковых индипендентов», рассматривавших избирательное право не как «прирожденное», а как производное от имущественного положения человека. Мелкий собственник, не зависящий от чужой воли в добывании жизненных средств, — таким виделся, в частности, Лильберну идеальный и отправной тип гражданина будущей республики. Но если это так, то *расхождение его и его приверженцев с «шелковыми индипендентами» являлось уже вопросом меры, а не принципа.*

Неудивительно, что Петти, один из наиболее радикально настроенных ораторов в Пэтни, успокаивал «грандов», опасавшихся, что принцип «всеобщего» избирательного права для мужчин приведет к уничтожению собственности: «Причина того, что люди соглашались создать какую-то форму правительства, заключалась в том, что благодаря ему они сохранят собственность»\*.

Мы остановились на этом вопросе столь подробно потому, что это поможет нам лучше понять как возможность политического сближения Лильберна с Кромвелем, так и *недвузначное отмежевание его (и его единомышленников) от устремлений тех слоев общества, для которых сохранение принципа неприкосновенности частной собственности означало только новую форму их порабощения.*

Во время конференции в Пэтни Лильберн почти ежедневно встречался с «агитаторами», направляя развернутую ими кампанию в армии в поддержку «Народного соглашения». Когда же Кромвелю удалось драконовским методом восстановить в ней дисциплину и послушание, левеллеры сосредоточили свои усилия на пропаганде «Народного соглашения» не только в Лондоне, но и в графствах. В парламент одна за другой подавались петиции с требованием рассмотреть этот документ.

---

\* Если принятое здесь истолкование левеллерского принципа свободы было бы в ходе революции реализовано, то число избирателей *удвоилось бы* в сравнении с их числом по унаследованному от монархии избирательному цензу. При реализации принципа всеобщего (мужского) избирательного права оно возросло в четыре раза.

В противовес этому 9 ноября им было принято решение, что «Народное соглашение» не заслуживает обсуждения. Справедливо полагая, что неведение мешает людям понять «истинную природу их прав», левеллеры повсеместно создали своеобразные комитеты, в задачу которых входило разъяснение, прежде всего в народных низах, содержания «Народного соглашения». В Лондоне одним из 12 избранных членов такого комитета был Джон Лильберн. Оставаясь еще формально заключенным (хотя он какое-то время уже не являлся в Тауэр и ночью), Лильберн со свойственным ему пылом активно участвовал в организации массовой кампании в поддержку «Народного соглашения».

К этому времени Лильберн находился в центре разветвленной по всей стране организации, связь между отдельными ячейками которой осуществлялась посредством наезжавших из столицы в графства «агентов», а внутри графств — своими собственными уполномоченными, объезжавшими крупные селения. Наконец, в каждом приходе имелись местные представители: они разъясняли содержание общенациональных петиций и собирали под ними подписи. Лильберн вел оживленную корреспонденцию с местными уполномоченными, наставляя выезжавших в графства «агентов», выступал на митингах в различных районах Лондона и в пригородах. Петиция, которую левеллеры намеревались подать в парламент в конце января 1648 г., была в основном составлена Лильберном. Ее содержание существенно отличалось от «Народного соглашения». Во-первых, палата общин побуждалась объявить себя «верховой властью» и при этом решить, являются ли члены парламента слугами народа или самозванными тиранами. Далее, вместо изложения наиболее «одиозной» — в восприятии членов парламента — части программы левеллеров следовало требование провести судебную реформу. Юрисдикция отдельных судов должна была быть строго очерчена, а избыточные суды — уничтожены. Весь корпус права должен быть переведен на английский язык. Ни один судья не должен оставаться на своем посту более пяти лет. Экономические требования петиции гласили: монополии должны быть уничтожены, они нарушают не только свободу, но и собственность; должны быть созданы публичные средства, приобретены дома, земли, улучшены пустоши с целью использования доходов для общественных нужд; следует развить национальное производство, с тем чтобы бедные получали большую плату за свой труд; в интере-



сах моряков и всей нации должен быть улучшен сельдяной промысел. Ежемесячно должна публиковаться общенациональная и локальная (по графствам) отчетность о доходах и расходах общественных средств; акциз назван «бременем, лежащим на бедных» и «тормозом торговли». Вместо него левеллеры требовали введения пропорционального имущественному положению обложения. Наконец, петиция содержала требование «всеобщего права голоса» (что за этим скрывалось — мы уже знаем), более равномерного распределения избирательных округов.

Характерная деталь: требуя материального возмещения тем, кто подвергался преследованиям за приверженность делу парламента, петиция наряду с именем Лильберна упоминала и имена его врагов — Принна и Баствика. Это был жест примирения с целью противопоставить «единый фронт» армейским грандам. Уже в январе 1648 г. в парламент стали поступать донесения о попытке Лильберна «совратить народ», подбивая его на поддержку «Соглашения». Эти обвинения вскоре достигли обвиняемого, и, не дожидаясь ареста, он немедленно явился в парламент. Когда он 19 января прибыл туда, чтобы ответить на выдвинутые против него обвинения, его у входа ждала толпа сочувствовавших ему, жаждавших узнать, чем все завершится. Отвечая на выдвинутые против него обвинения (среди которых фигурировал призыв к убийству Кромвеля), Лильберн заявил: «Я могу только поразиться мерой бесстыдства, проявленной донесчиком, осмелившимся с такой уверенностью высказать столь много лжи». Признав, что он играл важную роль в сочинении так называемой «Серьезной петиции» и в привлечении к ней внимания в Лондоне и в графствах, он отверг все, что могло быть истолковано как заговорщическая деятельность. Тем не менее решение парламента было не в пользу Лильберна — он должен был впредь вновь находиться в Тауэре, и в строгой изоляции. Найдя предписание палаты общин юридически неправильным, Лильберн потребовал его исправления, дав слово прибыть в парламент завтра утром для его получения. На следующий день, вооружившись «Институциями» Эдуарда Кока — трудом, пользовавшимся в парламентских кругах авторитетом официально признанного толкования действующего права, Лильберн явился в парламент.

Поскольку палата общин еще не заседала, он стал излагать свое истолкование данного казуса солдатам, охранявшим вход в парламент, заявив им, между прочим, что «они были призваны сражаться за сохранение прав

и свобод Англии, а не для уничтожения их», что они и совершат, если насильно отправят его в тюрьму на основании незаконного предписания палаты общин.

5 февраля некий Уолтер Фрост в памфлете «Декларация о некоторых происшествиях» ответил по поручению парламента на «Петицию», и среди «ответов» Фроста на жалобы петиционеров мы находим следующий: «Вы жалуетесь на то, что члены палаты общин избираются только фригольдсрами, а не всеми свободнорожденными людьми королевства... но не является ли несправедливостью по отношению к тем, кто избран таким образом, получать от вас указания?» Перед нами на самом деле типичный пример ухода от ответа на вопрос по существу путем выдвижения обвинений против поставивших столь «неудобный» вопрос. В итоге автор вообще находит петиции заслуживающими сожжения, если они несправедливы, ложны, скандальны и возмутительны, а подателей таковых — наказания.

В конце февраля 1648 г. Лильберн ответил на «Декларацию» Фроста памфлетом «Кнут для сегодняшней палаты лордов». Однако в центре внимания Лильберна оказалась не только палата лордов, но и Кромвель. Начиная свою отповедь с защиты левеллеров от обвинений, раздававшихся со стороны их недругов, Лильберн повторяет то, что уже не раз звучало до этого, в частности в Пэтни: левеллеры — истинные защитники свободы и собственности и вовсе не «коммунисты» и «анархисты». «Те, кого вы называете левеллерами, являются... антиграндами, антимонополистами, антиотступниками, антипроизвольниками и антиимущественными уравниателями».

Обратим внимание на первое и последнее замечания. Лильберн неустанно отмежевывался не только от своих оппонентов справа, но и от идейного течения, вплоть до конца 1648 г. выступавшего под общим названием левеллеров, выдвигавшего, однако, не только требования установления в стране публичного равенства всех родившихся в этой стране, но и признания за каждым из них на том же основании права на долю в национальном богатстве родины, производить свой хлеб, обрабатывая свободную от чужой власти землю. Вскоре приверженцы этого течения в левеллерском движении назовут себя истинными уравниателями.

О себе Лильберн пишет, что вопреки 11-летним жестоким преследованиям он остается приверженцем демократических и патриотических принципов, «преданным англичанином в поддержании и защите... прав и свобод,

строго придерживаясь права страны», тогда как его преследователи, в частности Кромвель и Айртон, — «узурпаторы-тираны и разрушители права и свободы».

В связи с замечанием Фроста, что существует широко известная молва о «заразе», скрытно распространяющейся (речь идет о доктрине равенства или уравнивания, приведения владений всех людей к равенству), Лильберн в письме, адресованном Фросту, с возмущением отверг это обвинение и потребовал доказательств того, что кто-либо из ведущих левеллеров обнаружил малейшую тенденцию к разрушению свободы и собственности, т. е. к установлению равенства посредством «всеобщей общности» имущества. При этом он подчеркивал, что основание именовать их левеллерами состоит разве только в том, что тиранья в лице Кромвеля и Айртона и их сообщников для них столь же невыносима, как и тиранья короля и его «кавалеров», что единственная форма уравнивания, которой они добивались, — это равенство всех перед законом.

Между тем новое заключение Лильберна в Тауэр не прервало его публицистическую деятельность. Между апрелем и июнем 1648 г. он опубликовал три памфлета \*, в которых снова-таки его личные злоключения были представлены как общенациональная драма «свободно-рожденного» англичанина в условиях попрания его фундаментальных прав, признанных парламентом, в котором возросло в те дни влияние индипендентов (из чего следовало, что арест Лильберна продолжен с одобрения Кромвеля и его окружения).

Сдвиги в расстановке классовых сил в лагере парламента в связи с возросшей роялистской опасностью (после бегства короля на остров Уайт и в особенности после заключенного вскоре союза между Карлом I и шотландцами) побудили пресвитерианское большинство в парламенте предпринять шаги с целью привлечь на свою сторону левеллеров, метивших до тех пор свои самые острые стрелы в «шелковых индипендентов» во главе с Кромвелем как своих наиболее коварных врагов \*\*.

---

\* «Просьба заключенного о представлении его в суд для рассмотрения законности его ареста» («The prisons plea for a habeas Corpus»), «Похороны законов» («The Laws Funeral»), «Плачевное зрелище Англии» («England's weeping Spectacle»).

\*\* В июне 1648 г. вышел первый номер еженедельника левеллеров «Умеренный» («The Moderate») — издания, сыгравшего важную роль в пропаганде левеллерских идей.

Публикация его продолжалась до 63-го номера и была прекращена по распоряжению республиканских властей в сентябре 1649 г.

В результате этих усилий наступило некоторое облегчение положения Лильберна. 18 апреля 1648 г. палата общин распорядилась выплачивать ему еженедельно 40 шилл. Этому процессу не помешало решение суда королевской скамьи, расследовавшего по настоянию Лильберна основания его ареста и нашедшего их «достаточными», чтобы отправить его снова в Тауэр (в ответ на приговор Лильберн воскликнул: «Если объявленный мне приговор является законным, тогда мы действительно полные рабы!»).

1 мая началась вторая гражданская война. 27 июля в палате общин пресвитерианин мэр Джон Мейнард поднялся со своего места, чтобы «напомнить» присутствовавшим о судьбе Лильберна, о том, что этот «непобедимый дух совершил и выстрадал во имя парламента». Поводом для этого послужила левеллерская петиция, под которой стояло несколько тысяч подписей. На этот раз петиция была принята палатой благосклонно! 1 августа палата общин постановила снять с Лильберна обвинения. На следующий день было получено согласие палаты лордов. Таким образом, Лильберн снова оказался на свободе. В конце августа «ухаживание» парламента за Лильберном зашло столь далеко, что было решено в виде компенсации за нанесенный ущерб выплатить ему 2 тыс. ф. ст. из доходов владений, конфискованных у лорда Ковентри\*.

Однако Лильберн оказался «неблагодарным» и не оправдал надежд пресвитерианских политиков. Вместо поворота в их сторону он, учитывая возросшую роялистскую опасность (в разных графствах Англии вспыхивали роялистские мятежи, не говоря уже о прямом вторжении шотландцев), сделал трудный, после опыта предшествующих месяцев, шаг к примирению с Кромвелем. На следующий день после освобождения Лильберн направил ему письмо, в котором, между прочим, значилось: «С целью продемонстрировать Вам, что я не являюсь отступником от своих исходных принципов, в защиту которых я рисковал своей жизнью, равно как и от Вас, если Вы остались тем же, кем Вы должны быть... Хотя, если бы я стремился и желал мести за жестокое и почти умертвлявшее меня тюремное заключение, я в недавнем прошлом имел выбор

---

\* Как уже отмечалось, речь шла об ущербе, нанесенном Лильберну до революции Звездной палаты по приговору того же лорда Ковентри. Впоследствии эта сумма была увеличена до 3 тыс. ф. ст., но уже из доходов других секвестрованных владений роялистов — на севере Англии.

между двадцатью возможностями, чтобы отплатить Вам должным образом. Однако я презрел их, особенно в момент, когда Вы находитесь в трудном положении. И это должно убедить Вас, что если когда-либо моя рука подыметя на Вас, то это произойдет не иначе как тогда, когда Вы будете находиться в сиянии славы,— если Вы тогда отклонитесь от праведных путей истины и справедливости. Если же Вы неизменно и беспристрастно будете их преследовать, я буду Вашим до последней капли крови в моем сердце».

В ходе второй гражданской войны погиб младший брат Джона Лильберна Генрих Лильберн, перешедший на сторону короля. Его голова была выставлена на воротах замка, комендантом которого он являлся и который был взят штурмом силами парламента; его владения подверглись конфискации. Движение левеллеров понесло тяжелую потерю: у Донкастера погиб полковник Рейнсборо, наиболее последовательный защитник прав обездоленных. На его похоронах присутствовало несколько тысяч человек, носивших серо-зеленую эмблему левеллеров — ленты цвета морской волны. Лильберн не принял участия во второй гражданской войне: он был слишком истощен длительным пребыванием в тюрьмах и, кроме того, поглощен заботами о содержании семьи (в которой было уже трое детей), да к тому же он был совершенно разорен, так и не получив ни фартинга из «обещанных» компенсаций. С этой целью он отправился на север, где находились обещанные ему секвестрованные владения некоего Джибба. Встретившись по пути с находившимся там Кромвелем, Лильберн пережил глубокое разочарование, осознав, что тот гораздо больше печется о самовозвеличении, чем о благе государства \*. Этим наблюдением Лильберн как бы предсказал всю будущую биографию полководца.

Однако на севере Лильберн долго не задержался; через пять дней он вернулся в Лондон, чтобы принять участие в составлении и пропаганде обширной петиции. 11 сентября 1648 г. так называемая «Смиренная петиция», под которой стояло 40 тыс. подписей, была подана

---

\* Одна деталь этой поездки очень важна для понимания характера Лильберна. Осмотрев владения упомянутого Джибба, Лильберн выразил сомнение в юридической обоснованности произведенного секвестра. Джиббу никогда не предъявлялось какого-либо обвинения в преступлении, заслуживавшем такого наказания, и к тому же он «не совершил лично против Лильберна ничего плохого».

в палату общин. Это происходило в то время, когда вторая гражданская война была уже победоносно завершена и на переднем плане политики снова оказался вопрос о государственном устройстве Англии.

В 27 пунктах этой петиции была, правда, несколько хаотически (вперемежку фундаментальное и частное) изложена вся программа левеллеров, как она сложилась к тому времени. Характерно уже ее начало. Палата общин, к которой была обращена петиция, названа «высшей властью Англии», поскольку лишь она может исторически рассматриваться как представительница народа. Управление страной двумя или тремя верховными властями (намек на претензии короля и палаты лордов) «несовместимо» ни с безопасностью, ни со свободой нации. В политическом разделе петиции отрицалось «вето» короля и лордов (это было равносильно отрицанию их реальной власти), содержалось требование роспуска существующего парламента и ежегодного переизбрания парламента в будущем. Будущим членам парламента запрещалось законодательствовать по вопросам свободы совести, объявлять принудительную мобилизацию в вооруженные силы. В статье 18-й будущим парламентам запрещалось «отменять право собственности, уравнивать имущество людей или вводить общность всех вещей». Среди экономических требований наряду с отменой монополий, акцизного обложения, десятины содержалось осуждение нищенства «в столь плодородной стране», требовалось удалить недавно возведенные изгороди на переувлажненных и других общинных землях или сохранять их только в тех случаях, когда огороженный участок приносит пользу (или главным образом пользу) бедным. Несколько статей были посвящены реформе права и судопроизводства с целью сделать его доступным и равным для всех. Наконец, в одной из заключительных статей содержалось требование привлечения Карла I к суду за «обильно пролитую невинную кровь». Уже только в силу того, что республиканский характер политических требований петиции находился в те дни в полном противоречии с предпринимавшимися парламентом усилиями как можно быстрее договориться с королем (об условиях его возвращения на престол), можно было ожидать, что она будет оставлена палатой общин без внимания. Так и случилось.

И тем не менее без малого двухлетние усилия левеллеров на ниве пропаганды демократических идей не остались бесследными: они подготовили общественную и в

значительной мере юридическую почву для установления республиканского строя в стране во главе с однопалатным парламентом. И в этом их непреходящая историческая заслуга.

Так или иначе, но роль партии левеллеров в политической жизни страны в осенние месяцы 1648 г. по сути достигла вершины. В условиях, когда роялистски настроенное пресвитерианское большинство палаты общин в спешном порядке и за спиной армии готовило возвращение короля на престол, у грандов во главе с Кромвелем не было другого выхода, как пойти на сближение с левеллерами, чьи республиканские воззрения теперь оказались как нельзя более кстати \*. В те дни Лильберн писал Кромвелю, что «по воле божьей ему дано было понять принципы справедливого правительства, при котором слава божья может воссиять, будучи равным образом распределена среди всех людей».

В ответ Кромвель предложил встретиться с ним с целью нахождения приемлемых для обеих сторон форм послевоенного устройства страны.

Это совещание состоялось в одной из лондонских таверн. Главными ораторами от левеллеров были Лильберн и Джон Уайльдмен. От индипендентов присутствовали полковники Тичберн, Джон Уайт, Паркер и др. Индипенденты настаивали на том, что королю следует отрубить голову \*\*, а парламент — если не разогнать, то подвергнуть «чистке». Лильберн возражал: хотя король по его делам «порочный человек», однако и армия «обманывала нас в течение последнего года, предала забвению все обещания и декларации и поэтому не заслуживает больше доверия с нашей стороны без надлежащих осмотрительности и гарантий».

В интересах народа, продолжал он, «сохранить одного тирана для уравнивания другого до тех пор, пока мы определенно не узнаем, какой из них лучше обеспечит наши вольности». Если король будет обезглавлен, парла-

---

\* Собственно говоря, к «левоблокистской» тактике «шелковые индипенденты» начали прибегать еще весной 1648 г., когда вырисовывалась угроза новой гражданской войны. Так, с целью восстановить единство в армии Военный совет в апреле 1648 г. в Виндзоре постановил: призвать Карла I к ответу за тягчайшие преступления против бога и народа.

\*\* Впрочем, в эти дни армия была далека от единства по вопросу об отношении к королю. Так, созданный Ферфаксом в начале ноября 1648 г. Совет офицеров высказался против предания Карла I суду. Он предложил посредничество армии между королем и парламентом.

мент подвергнут «чистке», вся власть окажется в руках армии, которая ею воспользуется по законам меча. Иными словами, Лильберн пророчески предвидел, к чему клонит в сложившейся ситуации Кромвель. При таком исходе событий, предупреждал Лильберн, «наше рабство в будущем... вероятно, было бы бóльшим, чем когда-либо под властью королей».

Пусть сначала будет узаконено «Народное соглашение», которое исключит возможность установления тирании. Хотя «джентльмены-индепенденты» были весьма возмущены выдвинутыми против них опасениями, однако сила и влияние левеллеров достигли в те дни зенита, и их поддержка замыслов Кромвеля была слишком необходима, чтобы идти на открытый разрыв с ними. Но помимо всего прочего существовала опасность, что пресвитериане могут перехватить инициативу в деле привлечения левеллеров на свою сторону. И индепенденты согласились скрепя сердце создать смешанную комиссию — по четыре представителя с каждой стороны — для составления согласованного текста «Народного соглашения». Лильберн на этот раз возглавил делегацию левеллеров. На заседании согласительной комиссии под давлением последних было решено, что новая редакция «Народного соглашения» будет передана на «одобрение всей страны». Тем временем Айртон — «альфа и омега» армии, как его назвал Лильберн, — опубликовал свой план политического устройства страны под названием «Ремонстрация». Основное отличие его от проекта левеллеров состояло в том, что сперва предлагалось провести судебный процесс над королем, а затем заняться новой конституцией. В предложениях левеллеров, как мы помним, этот порядок был противоположным.

Однако в то время, как левеллеры продолжали дискуссию в комиссии, армия была приведена в действие. 24 ноября она, двигаясь на Лондон, достигла Виндзора. Новая встреча левеллеров и индепендентов в Виндзоре ни на шаг не приблизила стороны к соглашению. На этот раз разногласия, по словам Лильберна, были вызваны стремлением Айртона ограничить свободу совести, оставляя за парламентом принудительную власть в этой области. Левеллеры же настаивали на запрете настоящему и будущим парламентам законодательствовать в этой области, «так как свобода совести — прирожденное право» свободного человека. Левеллеры прервали переговоры и вернулись в Лондон. Однако, поскольку армия готовилась к вступлению в столицу, они были очень нужны в каче-



стве союзников ее, и Айртон, по-видимому, послал к Лильберну полковника Гаррисона, известного своей приверженностью к сектантству, дабы уговорить его вернуться за стол переговоров. В результате левеллеры предложили назначить новую комиссию для выработки окончательной редакции «Народного соглашения». В ней должны были быть представлены парламент, армия, индипенденты, левеллеры \*. В то время как комиссия, вновь собравшаяся в Виндзоре, занималась словесными перепалками, армия вступила в Лондон, была проведена «Прайдова чистка» парламента.

Иными словами, армия обеспечила за собой реальную власть, прикрытую в дальнейшем фиговым листком парламента, от которого в палате общин оставалось только послушное армии «охвостье». Левеллеры же хитроумной политикой Айртона в этот критический момент были нейтрализованы. Заседавшая теперь в Уайтхолле Согласительная комиссия, не без умысла грандов, превратила обсуждение «Народного соглашения» в жалкий фарс. Представители офицеров по каждому пункту затевали бесконечные словопрения. В конечном счете Лильберн пошел на уступки во имя принятия согласованного текста.

Однако в конце столь многотрудного пути его ждало глубокое разочарование. Проект «Народного соглашения», составленный комиссией, не был передан в армейские полки и не разослан в графства, как было задумано, а поступил на рассмотрение Совета офицеров, который подверг его «переработке». Победу одержал не честный, но политически не искушенный Лильберн, а ловкий Айртон, в его глазах «коварнейший из всех макиавеллистов». Стало очевидным, что индипенденты-джентльмены затеяли с левеллерами политическую игру с целью по крайней мере их временной политической нейтрализации.

Когда суть этой тактики стала совершенно очевидной, Лильберн опубликовал адресованное всем «соотечественникам» письмо, присоединив к нему проект «Народного соглашения» под названием «Основы свободы, или Народное соглашение». Оказавшись в который раз обманутым в своих надеждах, Лильберн на время отошел от

---

\* Четыре представителя от парламентских (политических) индипендентов, четыре представителя от религиозных индипендентов (Лондон), четыре представителя от армейской верхушки и, наконец, четыре представителя от левеллеров (помимо Лильберна были включены Уолвин, Петти и Уайдлмен).

активной деятельности. Офицеры со своей стороны опубликовали свою версию «Агримента», передали ее в палату общин 20 января 1649 г.\* и на этом полностью успокоились, сочтя свою миссию законченной.

В чем заключалось различие между двумя подходами — левеллеров и грандов — к процедуре утверждения конституционного документа? Лильберн считал «справедливым и разумным», чтобы «все люди имели возможность судить о справедливости его и высказывать свои соображения по поводу всего в нем содержащегося». Эта процедура диктовалась не только недоверием к существующему парламенту, но и тем, что левеллеры, верные своим конституционным принципам, считали «Народное соглашение» проектом писаной конституции, связующая сила которой проистекает от народа, ее единодушно одобрившего. В условиях 40-х годов XVII века это, разумеется, была политическая утопия, пример превращения абстрактной политической теории в инструмент конкретной политики. Со своей стороны офицеры, представляя «Народное соглашение» в парламент, вместо того чтобы апеллировать к народу, не только проявляли неожиданное «уважение» к власти парламента (которую та же армия бесцеремонно уничтожала, когда гранды считали это для себя выгодным), но и совершали акт для отвода глаз, так как хорошо понимали, что без напоминаний с их стороны «охвостье» предаст его полному забвению. Реальная политика в эти дни, творившаяся Кромвелем и его окружением, была столь же далека от содержания этого документа, сколь далекими были интересы имущих классов от инте-

---

\* Основная разница между левеллерской и офицерской версиями «Агримента» может быть сведена к следующему:

1) левеллеры рассматривали народ в качестве постоянного носителя верховной власти в стране. Для офицеров эта власть олицетворялась парламентом;

2) в вопросах религии противоречие между проектами сводилось к различию между полной и ограниченной веротерпимостью. Благодаря уступчивости левеллеров сравниваемые проекты «Народного соглашения» практически совпадали по всем остальным вопросам политического устройства страны, вплоть до оснований наделения людей избирательным правом. Оно предоставлялось мужчинам в возрасте 21 года, не получающим милостыню, не находящимся в услужении у кого-либо за плату и, наконец, облагающимся налогом в пользу бедных. Тем самым индипенденты отказались от сохранения традиционного 40-шиллингового фригольдерского ценза в деревне и наличия у человека полноправия в городских корпорациях. Со своей стороны левеллеры согласились на установление определенного имущественного ценза, поскольку налог в пользу бедных предполагал у плательщика определенный имущественный достаток.

ресов народных низов, испытывавших в те дни самую жестокую нужду. Одним словом, своим «согласием» участвовать в «доработке» левеллерского проекта «Народного соглашения» гранды выиграли время, необходимое для организации суда над королем. Они сняли маски «союзников», представ открытыми и беспощадными врагами левеллеров.

Тем временем был судим и публично казнен король Карл I. Характерно, что Лильберн отказался от приглашения войти в состав членов специально созданной для этой цели высшей судебной палаты. Разумеется, его оппозиция этой акции грандов не имела ничего общего с монархическими настроениями, а была продиктована исключительно опасениями, что, будучи предпринятой в подобной спешке, она может привести лишь к смене форм тирании. До тех пор пока демократическое конституционное устройство страны не обеспечено общенациональным одобрением «Агримента», политически целесообразно, чтобы силы — король, парламент и армия, от каждой из которых в отдельности исходила угроза тирании, уравновешивали друг друга. Теперь же, после того как Кромвель «стал управлять парламентом, как учитель своими учениками» и организовал суд и казнь короля, угроза установления ничем не ограниченной тирании, исходившая в данном случае от грандов, становилась политической реальностью. Именно поэтому Лильберн отрицал законность самого суда над королем, поскольку больше в стране не существовало (после «Прайдовой чистки» парламента) независимой от армии конституционной власти. Более того, в стране больше не оставалось законной судебной власти, именем которой «могут судить кого-либо». А если это так, то судьи, выносящие смертные приговоры, оказываются «простыми убийцами», которых следует повесить, поскольку их приговоры в данных условиях лишены юридической силы. Это же относилось и к судьям, вынесшим смертный приговор Карлу I. Сколь бы ни провинился король, но до тех пор, пока в стране не установлена законная, т. е. одобренная народом, форма власти, судить его никто не правомочен. Но если это так, то те, кто обвинил его в убийствах, сами оказались в положении убийц.

Очевидно, что при всей обоснованности, как показали последующие события, опасений Лильберна абстрактные юридические принципы явно сковывали его политическое мышление. Не правда ли, какое поразительное сочетание — революционер, стоящий в политической практике

на почве традиционных конституционности и законности, отрицаемых им в политическом идеале! Что может быть более характерно для понимания особенностей самого характера революционности идеолога демократических низов XVII века!

Лильберн, почувствовавший себя «старым, потрепанным штормами кораблем», которому более всего нужна «тихая гавань и покой», дал себе слово «без экстраординарной необходимости не ввязываться в публичные споры». Однако он поселился слишком близко к парламенту (в Саутворке), чтобы полностью оторваться от страстей политики. Между тем худшие опасения Лильберна подтвердились: Республика, вылепленная в Совете офицеров, оказалась откровенно олигархическим режимом. В «охвостье» и Государственном совете заправляли люди из окружения Кромвеля. Сам Лильберн отказался от предложенного ему государственного поста на том основании, что не желал своим именем поддержать «столь несправедливый и незаконный институт, как бесконечно длившийся и силой армии дважды очищенный парламент».

Но помимо этого он не желал жить за счет несправедливо собираемых налогов: «Я не могу со спокойной совестью жить за счет добытого бедными людьми в поте лица, получая большое жалованье за место... Ныне они остались без занятий, их имущество истрачено ради обещанного восстановления их свобод... и голод обрушился на некоторые части страны, где тысячи находятся на грани голодной смерти».

### Лильберн и Республика 1649 года

Установление республиканского режима, бесспорно, явилось знаменательной вехой в истории Английской революции. Однако тот факт, что это событие не оказалось следствием реализации «Народного соглашения», а произошло в обход его, сразу же не только насторожил Лильберна, но и поставил его в открытую оппозицию к нему. Он просто не мог оставаться посторонним наблюдателем совершающегося обмана и вопреки ранее принятому решению держаться подальше от политики вернулся к активной политической деятельности.

26 февраля 1649 г. Лильберн предстал перед барьером

палаты общин со своим памфлетом «Новые цепи Англии» \*.

Однако, прежде чем мы познакомимся с его содержанием, бросим хотя бы беглый взгляд на положение трудового народа Англии. В результате двух гражданских войн народное хозяйство страны было основательно подорвано. Помимо прямого уничтожения материальных ресурсов во многих районах были нарушены внутренние и внешние хозяйственные связи. Экономическая депрессия особенно поразила основную отрасль промышленности — производство и сбыт шерстяных изделий. Центры этой промышленности, и прежде всего юго-западные графства, были поражены безработицей. Сокращение внешнего и внутреннего обмена тяжело отразилось и на положении мелких ремесленников, наемных рабочих и подмастерьев в самой столице. К массовой безработице в городах и промышленных местечках прибавилось плачевное состояние сельского хозяйства, где последствия военных действий оказались особенно разрушительными. К ним прибавились недороды 1646 и 1649 г., приведшие к резкому вздорожанию продовольствия. В 1648 г. средняя цена пшеницы вдвое превышала средние цены за пятилетие (1641—1645). Хлеб стал недоступной роскошью для лишенных работы городских и сельских бедняков. Со всех концов страны в Лондон доносились горькие жалобы и прямые угрозы бедствующих масс. «О члены парламента и богатые люди Сити, которые легко живут и пьют вино из кубков. Вы, перемалывающие наши лица и сдирающие нашу кожу, неужели ни один из вас не заметит наши лица, почерневшие от горя и голода? Чем же являются ваши блестящие шелка и бархат, сверкающие золотом и серебром галуны, если не потом наших лиц и нуждой наших желудков».

К весне 1649 г. острое недовольство охватило и армию. Казнь короля и установление республиканского правления не приблизили радикально настроенные элементы в ней к ожидаемым целям. Рядовые по-прежнему не получили причитающейся им задолженности, их возмущало сохранение солдатского поста, т. е. дарового содержания их в частных домах, возбуждавшего и восстанавливавшего против них население. Ничего не было сделано для обеспечения бедных; сохранились десятина и полуварварская система права и правосудия. Недовольство

---

\* Его полное название «Раскрытие новых цепей Англии, или Серьезные опасения части народа относительно Республики».

в армии было в эти дни столь распространено, что командование запретило частные собрания (митинги) солдат и офицеров. Гражданским лицам не разрешалось появляться в расположении армии; обращаться с петициями солдаты могли лишь через офицеров.

Новое положение вещей Лильберн выразил словами горькими и беспощадными: «Обнадеживающее цветение свободы дало эти горькие плоды наиболее отвратительного и низкого рабства, в котором когда-либо находился англичанин». Где же та свобода, именем которой поднимали народ на борьбу и которая столь дорогой ценой была обретена? — вопрошал автор «Новых цепей Англии». И далее шел перечень первых актов только что родившейся индипендентской Республики, которая была не чем иным, как издевкой над этим великим понятием. Изданный ею ордонанс о печати по-прежнему подавлял свободу слова; чрезвычайное судилище — высшая судебная палата — пришло на смену традиционному судебному разбирательству посредством жюри; вместо свободы совести — контроль властей над ней, вместо судебной реформы — введение новых пошлин за право возбуждать судебные иски. Сохранено тюремное заключение за долги. И в дополнение к этому «новому роду свободы» спешно создан Государственный совет, наделенный высшей властью.

И Лильберн продолжал: «Они поступают с нами, как в доброе старое время епископы — с честными пуританами... до такого ничтожества низведен народ в то время, когда ему льстят, уверяя, что он — единственное начало всякой справедливой власти». И как вывод: вместо ожидавшейся свободы народ оказался в новых цепях. Наконец, в анализируемом памфлете содержался перечень традиционных для левеллерской публикации жалоб (уничтожение десятины, акциза и пошлин — этих скрытых воров, грабителей и опустошителей бедных и среднего достатка людей, монополий, «мешающих» и приводящих к упадку сукноделие) и требований. Среди них роспуск существующей палаты общин, смена должностных лиц, давно пребывающих у власти, роспуск Государственного совета, выплата задолженности солдатам и др.

1 марта пять солдат вручили Ферфаксу и Совету офицеров петицию, в которой содержался протест против введенных для рядового состава армии ограничений свободы собраний и права подачи петиций. Петиционеры заявили, что их было восемь человек и что они причастны к составлению «Новых цепей Англии». Они были немедленно схвачены и преданы военно-полевому суду.

После позорной экзекуции их навсегда изгнали из армии. 21 марта от их имени был опубликован памфлет «Охота на лисиц пятью гончими». Номинально авторами его выступали изгнанные из армии пять солдат (в действительности им, вероятно, являлся Овертон). Усмотрев суть конфликта, которым отмечена история Англии в 1647—1648 гг., в конфликте между добром и злом, авторы отождествили дело солдат с первым, а их гонителей — со вторым. Гранды всегда рассматривали солдат как «простых наемных рабов. Теперь и парламент превращен в представительство Кромвеля, Айртона и Гаррисона». «В результате если прежде страна управлялась королем, лордами и общинами, то теперь ею управляет генерал, военно-полевой суд и (беспомощная) палата общин». В чем же заключается различие? Завершается памфлет обращением к палате общин в поддержку требований, изложенных в «Новых цепях».

24 марта Лильберн представил в палату общин вторую часть «Новых цепей Англии» и «массовую петицию» за многими подписями, одобряющую изложенную им программу. Лильберн допускал в этой части явную непоследовательность: в начале памфлета он обрушивался с нападками на «охвостье» Долгого парламента за безволие и рабское послушание генералу и оружию, а в заключение от него же требовал наложить узду на грандов, подготовить условия для своего самороспуска и проведения в жизнь демократического «Народного соглашения». Однако основную свою задачу автор усматривал в разоблачении методов самовозвеличения Кромвеля, достигшего наконец посредством учреждения Государственного совета власти, к которой давно стремился. На данной стадии, когда Кромвель отстоит лишь на один шаг от трона, единственной надеждой, по словам Лильберна, оставался факт утери тиранами «расположения всего народа». Поэтому левеллеры в состоянии посредством просвещения народа и при его поддержке принудить парламент предпринять срочные и необходимые шаги. Как и следовало ожидать, гранды усмотрели в памфлете Лильберна угрозу режиму, столь же опасную, как и угроза справа — со стороны роялистов и пресвитериан.

27 марта, т. е. через три дня после представления Лильберном второй части «Новых цепей Англии» в парламент, палата общин объявила ее авторов изменниками. На следующий день руководящие деятели левеллеров — Лильберн, Уолвин, Овертон и Томас Принс — были на рассвете арестованы и доставлены в Государственный

совет. Его председатель Брэдшоу и его коллеги оказались на этот раз в роли следователей и судей одновременно.

Первый вопрос, обращенный к Лильберну, гласил: «Каково было ваше участие в последнем скандальном памфлете?» Лильберн, верный своему однажды принятому модусу поведения в таких случаях, сперва отказался снять головной убор, а затем вместо ответа по существу довольно пространно обосновал отсутствие у Совета юридической власти. Если же парламент наделил его таковой, то это делегирование не имеет законной силы. На это Брэдшоу ответил, что Совет в данном случае выступает не как юридическая трибуна, а как инстанция, ведущая расследование. На повторно поставленный вопрос о доле его участия в составлении памфлета Лильберн отказался отвечать, иначе он бы «предал свободы Англии». В заключение Лильберн заявил: «Я желаю заявить, что мои действия не были совершены в тайнике или в глухом углу... Но при свете солнца, перед лицом сотен и нескольких тысяч человек, а если это так, то возможно, что среди тех, кто слышал меня и видел, вы найдете несколько сот свидетелей, которые сообщат вам, что я говорил и делал, ибо я ненавижу темные углы и тайники. Мои недавние действия не нуждаются ни в маскировке, ни в сокрытии, они были более достойными этого, и я не сожалею по поводу того, что совершил, ибо я хорошо осматриваюсь вокруг, прежде чем совершить то, что совершаю, и я готов положить свою жизнь, чтобы оправдать мной совершенное, и это все, что я могу ответить на ваш вопрос». Когда он уже был удален из помещения Совета, Лильберн услышал за дверью голос Кромвеля: «Нет другого пути обращения с этими людьми, чем уничтожить их... Если вы не уничтожите их, они уничтожат вас».

На следующий день всех четырех левеллеров заключили в Тауэр. Все это было живо изложено в той части памфлета «Картина Государственного совета», которая принадлежала Лильберну. Арест лидеров партии левеллеров привел в движение многие тысячи ее членов и сторонников.

2 апреля 1649 г. петиция, под которой значилось 10 тыс. подписей, была вручена парламенту делегацией в составе 80 человек. В ней говорилось: «Ни один человек не может быть... осужден... иначе как за нарушения какого-либо закона, сперва утвержденного, а затем опубликованного к сведению народа, чем избегается неопределенность и произвол, иначе каждый человек оказывается



перед угрозой того и другого в отношении своего имущества, свободы и жизни».

Спустя две недели аналогичная по содержанию петиция была снова передана в парламент за таким же числом подписей делегацией в составе 20 человек. 23 апреля толпа женщин передала в парламент петиции «благорасположенных женщин», выразивших свою солидарность с делом левеллеров,— это было по сути первое в истории Англии самостоятельное выступление женщин, потребовавших, чтобы их голос был выслушан в публичных делах. Наконец, в защиту арестованных левеллеров была составлена и петиция солдат.

Сами узники тоже не сидели сложа руки. 14 апреля была опубликована «Декларация \* Лильберна, Уолвина, Принса и Овертона», содержащая четко сформулированную квинтэссенцию социальной философии левеллеров. Она гласила: «Поскольку ни один человек не рожден только для себя одного, он обязан по законам природы... христианства... и гражданского общества употребить все свои силы для содействия прогрессу, счастью всех, (простояющего) из равной заинтересованности каждого в благе другого как в своем собственном. И хотя в этом направлении мы трудились недостаточно успешно, однако с искренностью сердца для того, чтобы из общих бедствий этого времени добыть такую толику свободы и добра для нации, которая могла бы возместить ее многие горести и длительные страдания».

Вместе с тем Лильберн и его соратники отвергали распространявшиеся (с явным умыслом) в их адрес обвинения в том, что они стремятся к «уравниванию состояний», «к общности вещей». Попытка законодательно уничтожить частную собственность, считали они, была бы несправедливой, если только этому не предшествовало бы «всеобщее согласие на это всех и каждого человека в отдельности». «Точно так же мы никогда не полагали, что это находится в компетенции представительства (т. е. избранных народом депутатов), ибо, хотя власть представительного учреждения является верховной, тем не менее по своему характеру она власть делегированная и доверительная, а следовательно, должна быть ограничена открыто или молчаливо определенными частными случаями, что является как залогом безопасности и свободы народа, так и границей полномочий самого правительства. Что же

---

\* Ее автором является Уильям Уолвин.

касается общности имущества первых христиан, то она была добровольной, а не принудительной». И в заключение: «Мы объявляем, что у нас никогда в мыслях не было уравнивать состояние людей». Поскольку требование «всеобщего согласия» являлось универсальным принципом, основанием любого публичного нововведения, постольку левеллеры, как практические политики, выражавшие интересы мелких собственников, в данной области провозглашали:

«Наивысшим нашим стремлением является такое положение Республики, при котором каждый человек может пользоваться своей собственностью с наиболее возможной обеспеченностью». Нет ни малейших сомнений в том, что это положение ближайшим образом выражало суть социальной философии Лильберна. Публичное равноправие (в политическом и юридическом смысле) «свободнорожденных», самостоятельная хозяйственная дееспособность, неограниченная экономическая свобода и независимость — иными словами, равный перед законом индивид, обладатель неотчуждаемых прав, — вот та отправная составляющая гражданского общества, которая лежала в основе конституционного проекта левеллеров в его окончательной редакции. Естественно, что такой индивид — гражданин демократически устроенной республики не знает ни привилегий «родовитости», ни ценза «богатства». Единственное, что может отличать одного индивида от другого, — это нахождение по другую сторону от границы, отделяющей их от тех, кто не сохранил публичную правоспособность. Нетрудно убедиться в том, что не патриархальный коллективизм, а *владельческий индивидуализм* — истинная сердцевина социальной философии.

Далее авторы «Декларации» опровергали распространявшиеся грандами наветы на левеллеров, будто они стоят за «анархию», являются «атеистами», руководствуются личной обидой и завистью и т. п. Разумеется, чем более глубокий характер принимал конфликт между левеллерами и грандами, тем чаще последние прибегали к клевете с целью оттолкнуть от них массы, не очень искушенные в тонкостях политической и религиозной фразеологии. Неудивительно, что, вынужденные опровергать выдвигавшиеся против них обвинения, идеологи движения левеллеров фактически впервые свели воедино свои воззрения по основным общественно-политическим вопросам своего времени, сформулировав их в окончательной форме.

1 мая 1649 г. появилась третья, и последняя, редакция «Народного соглашения»\*, озаглавленная «Соглашение свободного народа Англии, предложенное как мирное подношение несчастной нации подполковником Джоном Лильберном, мистером Уильямом Уолвином, мистером Томасом Принсом и мистером Ричардом Овертоном, узниками в Тауэре, опубликованное с целью, пусть весь мир знает, что мы представляем собой и к чему стремимся». Этот документ являлся своего рода демократической альтернативой конституционному устройству страны, выдвинутой в противовес строю установившейся индипендентской Республики, последней и наиболее завершенной попыткой изложения программы партии левеллеров в революции. Он исходил из признания однопалатного парламента высшей законодательной властью. При этом преследовалась цель уничтожить произвольную власть офицерской верхушки армии и в целом установить границы всякой власти в стране. Вместе с тем даже власть парламента рассматривалась как временно делегированная ему народом, суверенитет которого не только изначален, но и неотчуждаем. В этом заключалось одно из важнейших отличий политической философии левеллеров от построенной в этой области Томаса Гоббса.

Последняя редакция «Агримента» наделяла избирательным правом мужчин, достигших 21 года, не получивших милостыню и не находящихся в услужении у других. Большое внимание уделялось фиксации сферы неотчуждаемых прав человека. И как следовало ожидать, одним из первых среди них названа свобода совести\*\*. Особенно подчеркивался запрет парламенту законодательствовать по вопросам собственности: «Мы объявляем, что во власти представительства никоим образом не может быть права нарушения, искажения или изменения какой-либо части настоящего «Соглашения», а равно и права уравнивания состояний, разрушения собственности или обобществления всех вещей». Обращает на себя внимание это сопоставление равной важности — незыблемости «Соглашения» и частной собственности.

Обобщая содержание анализируемого документа, нельзя не заметить, что в нем отразились уже ранее отме-

---

\* Если же считать «компромиссный» офицерский вариант этого документа, то речь должна идти о четвертой его редакции.

\*\* Хотя политическая правоспособность католиков и иностранцев ограничивалась, однако это мотивировалось не только религиозными, но и политическими соображениями.

ченные характерные черты глубоко противоречивого политического сознания Лильберна, и прежде всего сочетание в нем революционного республиканизма и ангикварного формального юридикзма, оказывавшегося сугубым анахронизмом в условиях ниспровержения политического устройства страны (монархии), которым указанное право формировалось, иначе говоря, обоснование республиканизма монархическим прошлым Англии.

Публикация этой последней версии «Народного соглашения» пришлось как нельзя кстати. В стране впервые за эти годы левеллерское движение заявило о себе как о действительно массовом, достаточно организованном, а главное — перешедшем от слов к политическим действиям \*. Центром движения в поддержку «Народного соглашения» снова, как и осенью 1647 г., стала армия. На этот раз дело дошло до открытого восстания, начатого несколькими десятками солдат полка Уолли, расположенного в Лондоне. Захватив полковое знамя, они забаррикадировались в здании, требуя уплаты им задолженности. Исход выступления был трагическим: 15 солдат предстали перед военно-полевым судом, по приговору которого их предводитель 23-летний Роберт Локкьер был расстрелян. Его похороны превратились в демонстрацию массового протеста. Перед гробом шли, выстроившись в колонну, тысячи солдат. За гробом, покрытым черным, вели коня Локкьера. Наконец, процессию замыкало несколько тысяч гражданских левеллеров в черных одеждах с серозеленой эмблемой. Вершиной выступлений левеллеров стали солдатские восстания в мае 1649 г., когда под знаменем «Народного соглашения» вышли из повиновения армейские части, расположенные в Оксфордшире.

Только разрозненность восставших частей помогла Кромвелю и Ферфаксу потопить это движение в крови. В «Декларации» от имени восставших возглавивший движение капитан Томпсон писал: «Пусть весь свет знает, что мы намеревались устроить эту несчастную нацию по форме и способу «Народного соглашения», предложенно-

---

\* Свою роль в мобилизации широких масс в поддержку «Агримента» Лильберн позднее подробно описал. Из Тауэра он призывал своих сторонников: «Советуйте своим друзьям в каждом графстве Англии избрать из своей среды и направить к вам, т. е. в Лондон, агентов, в крайнем случае двух от каждого графства, снабдив их деньгами на расходы, с целью рассмотреть совместные с агентами меры, необходимые и неотложные для осуществления принципов «Агримента» как единственных, которые под властью земного правительства могут сделать вас счастливыми».

го в виде мирной попытки подполковником Джоном Лильберном, Уильямом Уолвином, Томасом Принсом и Ричардом Овертоном 1 мая 1649 г. Поэтому да будет известно всему свободному народу Англии и всему свету, что мы предпочли умереть за свободу, чем жить рабами...»

В эти дни Лильберн стал необычайно популярной фигурой. 8 июня он опубликовал один из лучших своих памфлетов — «Защита законных основных прав английского народа», где впервые с такой отчетливостью связал свою борьбу за проведение в жизнь «Агримента» с интересами «бедных и среднего сорта людей», т. е. мелких ремесленников и мелких торговцев в городе и мелких хозяев и арендаторов в деревне. Если учесть, что именно эти слои оказались в XVII веке в положении между молотом наступающего на их способ существования капитализма и наковальней гнета изживших себя традиционных феодальных отношений, то само описание Лильберном своих злоключений раскрывает истоки отмеченной выше противоречивости его воззрений и утопичности его общественно-политической практики.

Летом 1649 г. на его семью обрушилось несчастье — жена и трое детей стали жертвой эпидемии оспы, вспыхнувшей в Лондоне. По просьбе Лильберна и при поддержке Генри Мартена ему было разрешено днем покидать Тауэр.

Борьба за жизнь родных, столь страдавших от невыносимых бытовых условий, закончилась трагически: два сына Лильберна, по его признанию «большая часть его земного наслаждения», умерли, жена и дочь с большим трудом выздоравливали. Казалось бы, от горя Джон должен был дрогнуть, надломиться, но не таким был характер этого человека, верившего в свое провиденциальное назначение до конца отстаивать дело правды и справедливости. 10 августа Лильберн опубликовал памфлет «Обвинение в государственной измене Оливера Кромвеля и его змия Генри Айртона», в котором в своих нападках на генерала автор зашел дальше, чем когда-либо раньше. «Теперешняя борьба, ведущаяся под предлогом притворного интереса индипендентов к установлению вольностей всего народа... (в действительности) же преследует единственную цель — возвести ложного святого и наиболее ужасного отступника, убийцу и изменника Оливера Кромвеля посредством инсценированного его избрания наемными солдатами, под лживым предлогом божественного споспешествования на трон Англии». В ав-

густе не без участия Лильберна был опубликован анонимный памфлет «Призыв молодых людей и учеников Лондона»; в нем резко осуждались методы, к которым прибегали власти для подавления майских восстаний левеллеров, и была выражена поддержка «Агримента».

Не без влияния этого обращенного к солдатам призыва в начале сентября вспыхнуло восстание в полку Ингольдсби. Солдаты потребовали от офицеров присоединения к «Агрименту», восстановления Совета армии, уплаты недоимок. Натолкнувшись на отказ, восставшие арестовали офицеров, избрали «агентов» и засели в военных складах. Однако двинутые против них по приказу Лондона крупные силы не потребовались. Восставшие в большинстве случаев либо вскоре выразили покорность, либо частично рассеялись, предводители же были схвачены. В связи с солдатским восстанием в парламенте было заслушано сообщение о памфлете «Призыв». На основе постановления о привлечении его авторов к суду Государственный совет 19 сентября потребовал строгой изоляции Джона Лильберна и возвращения его в Тауэр. На этот раз над ним решено было устроить формальное судилище на основании парламентского акта «О государственной измене», изданного 14 мая 1649 г. С этой целью был назначен состав суда, определено место его заседания (в Гильдхолле), которое должно было охраняться войсками.

Жизнь «честного Джона» повисла на волоске... Сознывая эту опасность и не без уговоров жены, вконец замученной мытарствами мужа по тюрьмам и обрушившимся на них несчастьем, Лильберн обращается в парламент с просьбой разрешить ему покинуть страну при условии получения средств для жизни в изгнании. Однако петиция была оставлена без ответа.

Аналогичное предложение было им опубликовано ко всеобщему сведению в памфлете «Второе предложение невинного человека». В нем предлагалось переселить в Вест-Индию не только Лильберна, но и всех, кто пожелает за ним туда последовать. В защиту Джона выступил его брат, полковник Роберт Лильберн, преданный Кромвелю, он просил только об одном — отсрочить суд над братом.

Однако жена Лильберна, передававшая его петицию, столкнулась в парламенте с такой грубостью и жестокостью, что сделала единственный вывод: над жизнью Лильберна нависла смертельная опасность.

С рыданиями, полубезумная от отчаяния, она умоляла

мужа выразить покорность, смириться, лишь бы остаться в живых. Непреклонный свободнорожденный Джон на этот раз уступил мольбам жены: он направил спикеру Палаты письмо с просьбой отложить на некоторое время суд, «чтобы дать мне возможность выслушать и серьезно обсудить то, что многие мои друзья советуют мне, как утверждают они, на основании доводов разума, пытаюсь убедить меня в том, в чем моя совесть в настоящее время еще не убеждена».

Заседание суда открылось 25 октября. Против Лильберна были мобилизованы лучшие юридические силы. Обвинение поддерживал генеральный атторней (прокурор) Придо, в состав суда, состоявшего из 39 назначенных комиссаров, входил известный юрист судья Джермин. Суд продолжался два дня в присутствии многих сторонников и друзей Лильберна. Описание хода этого уникального с юридической точки зрения процесса заняло бы слишком много места.

Лильберн избрал единственно правильную в сложившихся условиях форму защиты — не отрицать правомочия суда, а «поддавливать» судей на нарушениях процедуры разбирательства и доказывать отсутствие состава преступления.

На вопрос, признает ли себя подсудимый виновным, Лильберн прокричал: «Это мой ответ — я не виновен в какой-либо измене». Именем «свободы Англии» он просил суд назначить в помощь ему юриста. Однако в этом ему было дважды отказано. В своем последнем слове, обращенном к жюри, Лильберн произнес: «Как свободнорожденный англичанин и как истинный христианин, стоящий теперь на виду и в присутствии господ с чистым сердцем и совестью... я вручаю свою жизнь и жизнь всех честных фрименов Англии в руки господ и его милосердной защите, а также совести достойного жюри и сограждан, которые, я снова заявляю, по законам Англии являются хранителями и единственными судьями моей жизни, единственно обладающими юридической силой закона... вы же, судьи, здесь сидящие, являетесь не более чем инструментами оглашения их (т. е. жюри) приговора, или их клерками... будучи в лучшем случае по своему происхождению самозванцами нормандского завоевателя. Поэтому, джентльмены жюри, мои единственные судьи, — хранители моей жизни, от которых зависит, в случае если вы согласитесь с какой-либо частью обвинительного заключения, будет ли пролита моя кровь... Поэтому я желаю, чтобы вы знали свою власть и помнили

свою обязанность по отношению к богу, а также ко мне, [наконец], к себе самим и вашей стране... С вами бог всемогущий, правитель неба и земли и всех вещей на них, он дает вам советы и направляет вас. Совершите же то, что справедливо и служит его славе».

Последние слова Лильберна были встречены присутствующими в зале суда возгласами одобрения и сочувствия. Со всех сторон раздавалось: «Амины!», «Амины!» (Да будет так!). В пять часов пополудни члены жюри удалились на совещание. Через час они вернулись, и в затаившем дыхании зале прозвучало краткое «Невиновен». В ответ в зале поднялось что-то невообразимое. Наэлектризованная ожиданием толпа выражала свою радость столь громким и единодушным криком, что, казалось, рухнут стены и потолок. Это длилось полчаса без перерыва. Что же касается самого Лильберна, то он, казалось, оставался невозмутимым: молчаливо стоял у барьера, скорее более грустный по своему виду, чем прежде. Радость сочувствовавшей ему толпы вылилась далеко за пределы Гилдхолла и затопила улицы столицы. Как заметил современник событий, «ничего подобного в Англии еще не видели».

Этой ночью улицы Лондона были иллюминированы кострами, вокруг которых веселилась молодежь. В память об этом событии была выбита медаль. Однако только 8 ноября Лильберн и его соратники получили свободу, и перед ними раскрылись ворота Тауэра. Левеллерское движение, центром которого в майские и сентябрьские дни 1649 г. стала армия, было сокрушено. Индепендентская Республика, опиравшаяся на армию, которая все более превращалась в армию наемных служаков, оказалась врагом еще более беспощадным, чем пресвитерианский парламент в 1647 г.

Что ожидало в этих условиях столь нестигаемого поборника народной свободы, каким был Лильберн? Его жизнь с ранней юности вылилась в непрерывную цепь сражений с общественным злом. И хотя он неизменно побеждал в этих сражениях морально, но каждый раз расплачивался тяжелыми физическими страданиями. Вместе с тем уровень общественного сознания тех масс, за права и вольности которых он готов был положить свою голову на плаху, был таким, что, сочувствуя ему как мученику и восторгаясь им как борцом, они только способны были следовать за ним толпой, сопровождая его то из тюрьмы в парламент, то из парламента в тюрьму, осаждая парламент петициями в его защиту. Ни на что



более самостоятельное и в политической борьбе более убедительное они, к сожалению, способны не были. К тому же и сами идеологи левеллеров, и прежде всего сам Лильберн, с их верой в абстрактную силу унаследованного права и с их наивной апелляцией к древнему «закону» ни к каким другим, более действенным формам борьбы эти массы не могли ни призвать, ни вдохновить. В итоге Лильберн чаще всего оставался один на один с врагом.

Его семья была лишена не только постоянного жилища, но и сколько-нибудь регулярных средств к существованию. На публикацию своих бесчисленных памфлетов, обращенных к народу, на оплату содержания в тюрьме он истратил все свое имущество. Его жена Элизабет, столь самоотверженно разделявшая с ним невзгоды и в критические моменты борющаяся за его жизнь и свободу, делившая с ним армейский лагерь в дни войны и тюремную камеру в дни мира, убедила его наконец в необходимости заняться каким-нибудь «мирным» делом, предоставив врагов их собственной судьбе. И Лильберн согласился. В течение полутора лет он не напечатал ни единого слова. Он перебрался с семьей из Саутуорка в Сити, где он числился полноправным членом корпорации, и занялся мыловаренным промыслом. В декабре 1649 г. во время выборов в Общинный совет Лильберн был избран его членом\*. Однако, чтобы занять в нем свое место, Лильберн должен был подписать декларацию, в которой от всех должностных лиц требовалось следующее: «Я заявляю и обещаю, что буду верным английскому государству в том его виде, в каком оно теперь установлено, — без короля и палаты лордов». Разумеется, Лильберн не был бы Лильберном, если бы он поступил против собственных убеждений. Прежде чем подписать подобное обязательство, он пожелал внести в приведенный текст изменения в том смысле, что под государством он понимает весь добрый и живущий под властью законов народ Англии, а не только существующий парламент и Государственный совет.

Возмущенные подобным своеволием, власти Лондона

---

\* Незадолго до этого был проведен акт, по которому лишались права голоса на выборах или права занимать публичные должности лица, которые ранее заключались в тюрьму или подвергались секвестру, помогали королю, участвовали в восстаниях роялистов 1648 г. Как следует из этого перечня, речь шла не только о роялистах, но и о руководителях левеллеров.

пожаловались на его действия в парламент, который в этих случаях реагировал исключительно быстро. Избрание Лильберна в Общинный совет было объявлено недействительным. Жена с большим трудом удержала его от ответных действий, и Лильберн продолжал занятие мыловара. В октябре 1650 г. Элизабет родила сына. По ходатайству Кромвеля парламент постановил выплатить Лильберну долгожданную компенсацию за нанесенный ему ущерб в годы королевской тирании из доходов секвестрованных земель. Когда Кромвель вернулся в столицу после победы над шотландцами в битве под Вустером, благодарный Лильберн посетил его дома.

Полученная им со столь большим опозданием компенсация оказалась весьма кстати: он купил дом, оставил постылое занятие мыловара и, пользуясь накопленными за долгие годы тюремного заключения знаниями в области права и судопроизводства, занялся практикой самозваного стряпчего. Хотя в приеме в юридическую корпорацию ему было отказано (для ее членов он оставался лишь бедным выскочкой), Лильберн тем не менее пользовался известностью как успешно ведущий судебные дела (а точнее, берущийся за дела, в которых явный произвол имущих и облеченных властью возмущал его совесть). Так, среди подобных дел следует упомянуть тяжбу крестьян-держателей манора Эпуорс (Линконшир), лишившихся в результате осушения плавней 8 тыс. акров общинных выпасов, огороженных в пользу компании осушителей. В ноябре 1651 г. Лильберн опубликовал памфлет «Дело держателей манора Эпуорс».

Однако другое дело, в которое вмешался Лильберн, — тяжба одного из наиболее циничных расхитителей доходов Республики, поступавших с конфискованных владений делинквентов, сэра Артура Гэзрига, закончилось для Лильберна печально. Не ограничившись публикацией против него разоблачительного памфлета, Лильберн обратился в декабре 1651 г. с петицией в парламент, в которой были изложены все пункты обвинения против Гэзрига.

Это был шаг более чем опрометчивый, ибо немало парламентариев сами и не без его помощи погрели руки на тех же махинациях с конфискованными владениями. Неудивительно, что парламент нашел петицию Лильберна «лживой, злонамеренной и скандальной». За публикацию памфлета до вручения петиции в парламент ее автор был оштрафован на 7 тыс. ф. ст. и был осужден на вечное изгнание из Англии с угрозой, что, в случае если он не

покинет страну в течение 30 дней, его должно казнить, как находящегося вне закона\*.

Разумеется, парламент так жестоко расправился не с Лильберном-стряпчим, а с Лильберном, все еще оставшимся в его глазах «опасным заговорщиком», возмутителем спокойствия, не дающим грабителям, защищенным парламентским мандатом, спокойно вершить свои бесстыдные дела. Наконец, тот факт, что Кромвель допустил эту расправу, должен быть связан с подозрениями в роялистских связях левеллеров. Задержанный в 1651 г. роялистский агент некий Кок сообщил, что он видел письмо левеллеров. Предполагалось, что Джон Лильберн приложил к нему руку. В общем это был акт мести, принятый без юридически признанных оснований. В довершение ко всему спикер палаты общин отказался выдать осужденному разрешение на выезд из страны, с тем чтобы истек отпущенный ему срок, и тем самым открылась возможность казнить его без суда и следствия.

30 января 1652 г. Лильберн с большим трудом сел на корабль, отплывавший в Голландию. Следом за ним были посланы два агента осведомительной службы Республики. Случилось так, что в это время Голландия становилась центром роялистских интриг против Английской республики. В этой стране имелась довольно густая сеть осведомителей, сообщавших в Лондон о всех шагах ведущих деятелей роялистской эмиграции. Легко представить себе, в каком двусмысленном положении оказался здесь изгнанник — «честный Джон».

С одной стороны, среди роялистов было распространено убеждение, что изгнание Лильберна из Англии всего лишь ловкий ход лондонских властей, облегчающий Лильберну внедрение в роялистские круги с осведомительскими целями. С другой стороны, ряд ведущих деятелей роялистской эмиграции связывали с Лильберном серьезные планы реставрации монархии. Особенно большие надежды на левеллеров возлагал сэр Эдуард Гайд, будущий граф Кларендон. Ход его рассуждений был прост. Поскольку левеллеры — непримиримые враги деспотизма и сторонники «фундаментальных законов» страны, они являются наиболее вероятными союзниками тех, кто выступает за восстановление легитимной монархии, а значит, и фундаментальных законов. При условии обещания левеллерам элементарной веротерпи-

---

\* В 1659 г., после смерти Лильберна, парламент отменил этот приговор, как незаконный.

мости и некоторых реформ судопроизводства, соблюдения буквы закона и частых созывов парламента их можно привлечь на сторону свергнутой династии. В Лондон доносили о том, что Лильберн «обедал с герцогом Бекингемским». Это выглядело устрашающе. Однако, как впоследствии показывал на суде сам Лильберн, беседа касалась только личных дел герцога, обсуждавшего с ним планы возвращения на родину. Так или иначе, но близкое знакомство Лильберна с некоторыми умеренными представителями роялистской эмиграции дало основание шпионившим за ним агентам парламента сочинять баснословные донесения на родину. К примеру: за 10 тыс. ф. ст. Лильберн согласился низложить Кромвеля, парламента, Государственный совет и восстановить на престоле Карла II.

Между тем жизнь Лильберна в Голландии была трудной в материальном отношении и полна опасностей — он легко мог стать жертвой убийц, подосланных враждовавшими между собой кликами роялистов. Он писал: «Я был вынужден долгие месяцы жить среди чужестранцев и одалживать каждый пенс, чтобы купить себе хлеба». Не менее трудным было и положение его жены, оставшейся в Лондоне. Она была вынуждена продать и заложить большую часть имущества, чтобы поддерживать себя и детей. Дети снова тяжело болели, и сама она, вконец измотанная, испытывала страх, как бы Джон снова не ввязался в словесную войну с лондонскими властями.

В мае 1653 г. она посетила Лильберна в изгнании, обрадовав его новостью о разгоне Кромвелем «охвостья». И снова, в который уже раз, уверовав в то, что Кромвель решил наконец следовать его советам, Лильберн на следующий день засел за письмо к нему. Он выражал надежду на установление в Англии «действительной свободы», основанной на «истинных принципах разума» и справедливости. Он даже рискнул просить у Кромвеля разрешения вернуться в Англию, обещая своим «верным и возлюбленным друзьям» хорошо себя вести. С этих пор Лильберн уже не знал покоя, обращаясь с аналогичными просьбами то к Кромвелю, то к Государственному совету.

Чтобы оказаться поближе к родине, он покидает Голландию и переезжает во Францию, ожидая в Кале ответа из Лондона. Однако Лондон явно не спешил с ответом, и Лильберн, так и не дождавшись столь желанного решения, отважился на отчаянный шаг (от которого его

тщетно удерживала жена). Он самовольно вернулся в Лондон, одновременно уведомив Кромвеля о том, что намерен просить новый, так называемый Малый парламент отменить приговор «охвостья».

Между тем положение самого Кромвеля, окруженного со всех сторон враждой то мнимых республиканцев — членов разогнанного «охвостья», то заговорами роялистов, не было столь блистательным, чтобы позволить себе «слабость» — разрешить Лильберну остаться на свободе с перспективой появления нового очага активной оппозиции. Новый парламент, собравшийся 4 июля, вопреки ожиданиям Лильберна не отменил акта об его изгнании. Ситуация становилась поистине трагической.

Еще раньше Государственный совет отдал распоряжение об аресте Лильберна, как нарушившего парламентский акт об изгнании. 13 июля Лильберн предстал перед судом присяжных, которому для вынесения смертного приговора оставалось установить только один-единственный факт, а именно что перед судом действительно предстал тот самый Джон Лильберн, о котором сказано в акте об изгнании. Положительный ответ жюри на этот вопрос означал, что смертный приговор автоматически вступал в силу. Как же в этой ситуации повел себя «свободнорожденный» Джон? Единственно доступная ему тактика заключалась в том, чтобы, елико возможно, затягивать судебное разбирательство. Только в этом случае оставалась надежда на то, что его многочисленные лондонские сторонники успеют вмешаться в ход процесса. И Лильберн и на этот раз не ошибся.

Как только в лондонских предместьях распространился слух о грозящей ему смертельной опасности, они пришли в движение. Уже к началу заседания суда помещение было до отказа забито народом, а само здание окружено густой толпой. Из рук в руки переходила листовка: «Если честный Джон должен умереть, 60 тыс. человек желали бы узнать, по какой причине». В парламент буквально посыпались петиции в его защиту. По городу распространялось множество памфлетов, оправдывавших действия Лильберна. Свидетель событий сообщает: «Трудно себе представить, какое глубокое уважение он заслужил одной только защитой законов и свобод от узурпаций этого времени». Сам Кромвель заявил, что смерть Лильберна породит 20 тыс. мстителей. Правительство как бы подтверждало своими действиями истинность этого предупреждения: три полка пехоты и кавалерии расположились у Сент-Джеймского дворца.

Во время заседания суда шум толпы в зале и на прилегающей площади был столь велик, что заглушал голоса судей и ответчика. Само наличие в суде и вокруг него сочувствовавшей Лильберну толпы вдохновляло его настолько, что, когда его прерывали, он угрожал: «Если вы осмелитесь перед лицом столь большого стечения народа быть столь несправедливыми, чтобы лишить меня всех правил правосудия и прав, и насильно заставите меня замолчать... то я во всеуслышание обращусь к народу, который слышит меня сегодня, сообщив ему, как лорд-мэр и его суд насильно отняли у меня мое прирожденное право».

Разумеется, подобный ход уголовного процесса был возможен только в революционное время, когда голос уличной толпы звучал громко и угрожающе. Очевидно, что только в этих условиях вместо прямого ответа на вопрос: «Тот ли вы Лильберн, который упомянут в акте парламента об изгнании?» — «честный Джон» мог потребовать предварительного рассмотрения вопроса о законности этого акта. Вообще все свои реплики и речи Лильберн обращал не к допрашивавшим его судьям, а к присутствовавшей в зале толпе. По этой причине он не говорил, а кричал, временами истерически, и зал отвечал невероятным шумом одобрения его слов и возмущения поведением судей. Когда же судьи призвали в зал отряд солдат для наведения порядка, Лильберн обратился к ним следующим образом: «Кто вы есть? Разве вы не являетесь англичанами и истинно английскими солдатами, призванными для поддержания и защиты древних прав и свобод Англии? Как объяснить ваше появление в месте заседания суда на лошадях и с саблями наголо?» В конечном счете препирательства между судьями и подсудимым завершились уступкой первых. Лильберну было обещано рассмотрение законности оснований парламентского акта. Это случилось 16 июля.

Следующее заседание суда было назначено только на 10 августа. Тем временем сторонники Лильберна, невзирая на распространявшиеся против него властями инсинуации (о мнимых связях его во время изгнания с роялистами), продолжали подавать в парламент петиции в его защиту (29 июля — от имени женщин, 2 августа — от имени лондонских учеников). Когда же суд возобновился, несколько сот вооруженных сторонников Лильберна, присутствовавших в зале и окружавших здание, были готовы в случае обвинительного приговора силой вырвать Лильберна из рук властей. Лильберн снова продолжал свою

тактику препирательства с судьями с целью затянуть как можно дольше процесс. Однако давала о себе знать и его усталость. Уже больше месяца он противостоял судебной машине, будучи на волосок от виселицы. 20 августа ему было предоставлено последнее слово. Его главная защита основывалась на разгоне «охвостья», из чего он заключал, что, поскольку он был осужден парламентом, его освобождение должно быть следствием признания парламента повинным в несправедливости и произволе. Если же парламент был законным и его управление — честным, то наказанию прежде всего должен был подвергнуться Кромвель как главный организатор его разгона. Между тем власти Лондона хорошо сознавали, что политическое положение требовало максимальной осторожности, так как даже такая искра, как осуждение Лильберна, могла вызвать непредсказуемого размера пожар. Так заключал цитировавшееся выше свидетельство современник. На этом основании он полагал, что Лильберн вероятнее всего будет подвергнут строгому заключению вместо смертной казни. Обращаясь в своем последнем слове к членам жюри, Лильберн произнес: «Если я умру в понедельник, то не сможет ли парламент во вторник вынести приговор каждому из вас... вашим женам и детям и затем всему Сити, затем всему графству Миддлсекс... и так шаг за шагом не останется людей для заселения Англии, кроме самих членов парламента». Через несколько часов жюри вернулось с ответом: «Невиновен в каком-либо преступлении, заслуживающем смертной казни».

Кромвель ожидал смертного приговора и поэтому приготовил войска для подавления народного мятежа. Однако они не понадобились. Оправдание Лильберна было встречено кликами радости, которую выражали огромные толпы лондонцев, запрудивших улицы столицы. Ликование в народе было столь всеобщим, что к нему невольно присоединились и солдаты. Это был крупнейший, но и последний триумф Лильберна-борца. Однако оправдательный приговор еще не привел к немедленному освобождению Лильберна из заточения. По распоряжению парламента он еще целых шесть месяцев оставался в Тауэре в строжайшей изоляции.

Дальнейшая судьба Лильберна была предрешена тем обстоятельством, что раскрывавшиеся в это время один за другим заговоры с целью убийства Кромвеля нередко были связаны с именами бывших левеллеров. Одним из наиболее опасных заговорщиков оказался связавшийся с роялистами бывший армейский «агитатор» и близкий

друг Лильберна Эдвард Сэксби\*. В этих условиях Государственный совет решил удалить Лильберна из Тауэра, ибо, даже заключенный в нем, он мог стать центром формирования очага сопротивления. Новым местом изоляции Лильберна был избран уединенный замок Маунт-Оргейл на восточной оконечности острова Джерси.

В марте 1654 г. Лильберн стал узником этого мрачного каземата. Строжайшая изоляция, голод и сырость каменного мешка быстро подтачивали его физическое и душевное здоровье. 3 июля 1655 г. правитель замка полковник Гиббон советовал перевести Лильберна в тюрьму поближе к дому, где его могли бы посещать друзья. 31 июля жена Лильберна Элизабет обратилась с просьбой к Кромвелю даровать ее мужу свободу, объясняя резкость его выражений выпавшими на его долю страданиями. Она заверяла Протектора, что получивший свободу Лильберн «успокоился бы и оказался благодарным». «Я гарантирую своей жизнью,— писала она,— что он не потревожит государство». В октябре Лильберна перевезли в Англию с условием, что он будет содержаться в Дуврском замке. И здесь совершилось его новое «обращение». Он примкнул к «обществу друзей», т. е. к квакерам, в учении которых нашел «успокоение». Однако в то время Лильберн, равно как и его духовные наставники квакеры, еще был далек от принципа непротивления злу насилем. Так, когда Кромвель согласился освободить Лильберна при условии, что он подпишет обязательство впредь не касаться — ни словом, ни действием — публичных дел, Лильберн от этого предложения отказался. В его сознании вспыхнули последние искры активного неприятия существующего мирского порядка.

Получив ограниченную свободу — право покидать замок в дневное время, Лильберн посещает собрания квакеров в городе и в окрестных селениях. Его новые знакомые убеждали его в том, что он «заблуждался», что его «сварливый, буйный, придиричивый» характер мешает ему услышать глас божий, что на пути к его спасению стоит «гордыня». Эти и подобные речи западали в его надломленное сознание. В декабре 1655 г. он писал жене, что «стал мертвым». Он просит ее прекратить бесконечные хождения и труды с целью добиться для него «внешней свободы». Тем не менее Элизабет просит его подпи-

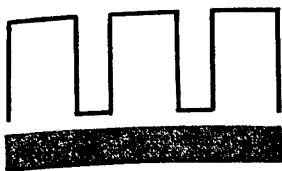
---

\* Весной 1657 г. Сэксби опубликовал памфлет «Убийство (Killing) не есть преступление (no murder)». При попытке убийства Кромвеля он был схвачен, заточен в Тауэр, где умер в 1658 г.



сать требовавшееся от него обязательство. Он же упорно отказывается это делать.

В мае 1656 г. Лильберн опубликовал памфлет «Воскресение Джона Лильберна, заключенного теперь в Дуврском замке», в котором признал свое «обращение». Он писал: «Я теперь мертв... для... внешних войн, и поэтому я твердо убежден, что впредь никогда не воспользуюсь светским мечом и не примкну к тем, кто это делает». Временно отпущенный «под честное слово» на свободу, Лильберн соединился со своей семьей, но очень ненадолго. 29 августа 1657 г., сломленный духовно и физически, он умер на руках Элизабет, беззаветно любившей его жены, соратницы и защитницы. Около четырехсот человек молчаливо сопровождали его в последний путь. Но вряд ли те, кто наблюдал эту скорбную процессию, понимали, что «честный Джон» ушел «в жизнь вечную», только не на небе, а на земле — в историческую память своего народа, чьи права и свободы он десятилетиями отстаивал с мужеством борца, поистине беспримерным, недюжинным талантом публициста, самоотверженностью неподкупного народного трибуна.



## Глава IX

### Джерард Уинстенли — мыслитель, революционер и пророк

Среди колоритных фигур, появившихся на сцене английской истории в бурные 40-е годы XVII века, когда, по выражению современников, «мир перевернулся вверх дном»\*, Джерард Уинстенли занимает особое место. Оказавшись на ней по сути лишь на короткий миг — с весны 1649 по весну 1650 г., он оставил неизгладимый след в памяти не только своего народа, но и всего цивилизованного человечества. И в этом смысле самым обездоленным массам стюартовской Англии — обезземеленным, изгнанным из своих родовых мест пауперам и наемным работникам, разоренным дотла гражданскими войнами ремесленникам и земледельцам — поистине повезло: от их имени на всю страну прозвучал голос мыслителя подлинно гениального и революционера, бесстрашного (хотя и миролюбивого) в осознании надвременной правоты дела, в защиту которого он поднял знамя борьбы.

То было поистине удивительное время, когда веками задавливавшийся и втоптывавшийся в прах гений простолюдинов засверкал гранями и переливами неповторимой чистоты и нравственного благородства. Среди мыслителей этой революционной поры Уинстенли единственный с наибольшей глубиной и исторической прозорливостью вскрыл самую суть конфликта, лежавшего в основе демократического этапа революции 40-х годов.

Кто же он, этот удивительный человек?

#### Вместо биографии

Подробности биографии Уинстенли, по-видимому, навсегда останутся неизвестными. И это легко объяснить: жизнь людей его круга оставила мало следов в официальных бумагах своего времени и редко привлекала к себе внимание современников. Эти

---

\* Идентичное по содержанию английское выражение звучит иначе: «The World turned upside down».

люди, сколь одаренными они были бы, оставались для власть имущих лишь олицетворением «черни» и «толпы», поглощающей и растворяющей их без остатка. Произведения Уинстенли, несмотря на оригинальность и глубину содержания, а может быть именно поэтому, остались незамеченными и надолго потонули в общем потоке памфлетной, народной литературы тех лет, тем более что их автор обнаруживал отсутствие формальной учености. Уже одно это служило причиной вполне достаточной, чтобы современные ему ученые фарисеи третировали их содержание как «болтовню» и «излияния» самозваных, «ремесленных» проповедников.

Что же касается деяний Уинстенли, то они на короткое время привлекли внимание центральных властей и стали достоянием лондонской прессы, несколько удивленной их необычайностью, но оставшейся к ним либо высокомерно равнодушной, как к событию малозначительному, одному из чудачеств, которыми столь изобиловали эти необычные времена, либо открыто враждебной, как к угрозе, заключенной во всем загадочном и неизведанном.

Сам же Уинстенли расценивал свое обращение к перу как неожиданный акт милосердия Провидения, чудесным образом открывшего ему причину происходящего. Поэтому о себе и своей жизни он не считал нужным что-либо поведать читателю. Ведь все, о чем он повествует, не плод его мучительных размышлений, а только «сообщено ему» «голосом свыше». Все очень просто: один слышит этот голос, другой же (а таких, к сожалению, большинство) остается к нему глухим.

То же немного о жизни Уинстенли, чем располагает современная наука, сводится к следующему.

Джерард Уинстенли родился в 1609 г. в приходе Уигэн, в Ланкашире, в строгой пуританской семье. Его отец Эдуард Уинстенли торговал сукном и шерстью, и, по-видимому, довольно успешно, так как в год его кончины (1639 г.) его имя в приходских регистрах уже сопровождалось уважительной припиской «мистер», что было свидетельством значительного материального достатка. О детских и юношеских годах Джерарда ровно ничего не известно. Вероятнее всего, что его образование ограничилось местной начальной («грамматической») школой. Во всяком случае его имя не удалось обнаружить в архивах Оксфорда или Кембриджа. Это, однако, не исключает, а, наоборот, предполагает, что интенсивное домашнее чтение продолжалось и многие годы спустя.

Как известно, в пуританских семьях были весьма

распространены семейные чтения и толкования прочитанного, разумеется прежде всего Библии, проповедей, а нередко и исторических сочинений. Во всяком случае круг чтения Уинстенли оказался достаточно широким: он включал и «Институции» Кока (XVII в.), и статуты Англии. Есть основания предположить, что он знал «Утопию» Томаса Мора и был знаком с сочинениями Френсиса Бэкона. В общей форме Уинстенли упоминает античных писателей, нередко вводит в изложение исторические экскурсы и столь же неопределенные ссылки на Великую хартию вольностей.

Одно несомненно: перед нами один из тех народных самородков, ум которого был разбужен к интенсивной деятельности необычайностью времени и человеческих свершений и не в последнюю очередь трудными университетами его собственной жизни. Так, отдавая дань предрассудкам современников, Уинстенли в своем первом памфлете «Тайна Господа» («The Myserie of God») (май 1648 г.), в обращении «К моим возлюбленным землякам графства Ланкастер» как бы приносит извинения за свою смелость — обращение к перу: «Не удивляйтесь, увидев здесь мое имя, ибо бог не всегда выбирает ученых, чтобы в них открыть себя».

В двадцатилетнем возрасте мы застаем Уинстенли в Лондоне учеником в торговом доме некоей Сарры Гейтер. В 1637 г., по истечении семилетнего срока ученичества, Уинстенли стал полноправным членом компании торговцев шерстяными изделиями. Следующее упоминание о нем содержится в приходских архивах Лондона и датируется 1640 г., когда он обратился за разрешением на бракосочетание с некоей Сьюзен Кинг, дочерью лондонского лекаря Уильяма Кинга \*. На протяжении нескольких лет Уинстенли вел, судя по всему, более чем скромную торговлю сукном \*\*. Однако, как свидетельствуют его позднейшие, неизменно печально заканчивавшиеся попытки посвятить себя «хозяйственным делам», он был плохо приспособлен к подобного рода занятиям. По его собственному замечанию, «люди, руководствующиеся принципами честности, чуждые обману, не знают в эти дни, как прожить...». Когда мы ближе познакомимся с этим удивительным человеком, эта его «ущербность» получит исчерпывающее объяснение.

---

\* Сама запись о состоявшемся бракосочетании отсутствует ввиду гибели соответствующих архивов в результате пожара.

\*\* За 2,5 года его торговый оборот составил более 300 ф. ст.

В 1643 г. Уинстенли полностью разорился, обанкротился и стал паупером. Об этом мы узнаем из его собственных показаний, данных по поводу предъявленного ему в 1660 г. иска на сумму 114 ф. ст., которые он задолжал некоему Ричарду Олдворту. Не отрицая этого факта, Уинстенли сообщил, что из-за «плохих времен» в торговле, наступивших в результате гражданских войн, он был вынужден прекратить торговые дела и покинуть Лондон.

Воспользовавшись приглашением друзей, Уинстенли поселился в приходе Кобхем, в графстве Серри, где прожил до 1660 г. Здесь он имел возможность не только близко наблюдать, но и в качестве батрака, пастуха чужого скота самому изведать весь ужас нищеты и унижений, выпавших на долю пауперов в стюартовской Англии, даже в тех случаях, когда им удавалось перебиваться трудом по найму у сельских богатеев. А в Англии их насчитывались сотни тысяч. Как он сам заметил, их уделом были брань, голодный желудок, презрение и тюрьма. Впоследствии, сравнивая свои университеты жизни и свое детство, Уинстенли напишет: «Меня никогда не учили побираться или работать за поденную плату». Теперь, уже в зрелые годы, ему, по-видимому, приходилось делать и то и другое.

С 1643 и вплоть до весны 1648 г. жизнь Уинстенли снова окутана мраком неизвестности. Лишь его первые памфлеты, опубликованные весной и летом 1648 г., позволяют в какой-то степени судить о направлении и характере его духовных исканий. Последние же для современников революции вообще и для людей того социального круга, к которому принадлежал Уинстенли, в особенности в той или иной форме являлись не чем иным, как поисками ответов на самые жгучие вопросы окружавшей их жизни. Единственно же доступной им сферой духа оставались Библия (чаще всего на слух воспринятая) и внутренний религиозный опыт — будь то коллективный или индивидуальный. Из случайных, разбросанных по различным памфлетам Уинстенли (а их известно около двух десятков) сведений мы узнаем, что в прежние времена он был «слепо верующим» и «исправным ходоком» в церковь, «как они (т. е. его оппоненты) это называют», что может означать принадлежность к одной из пуританских конгрегаций. Затем он, по-видимому, примкнул к секте баптистов, подвергшись обряду повторного крещения водой. Однако к моменту, когда Уинстенли взялся за перо, он уже успел разочароваться не только в «исповедании веры» баптистов, но и в вероучениях ряда других ради-

кальных сект, впитав тем не менее немало элементов их духовного арсенала, в особенности секты так называемых фамилистов, наставлявших своих прозелитов, рассматривавшихся как члены одной семьи, в братской любви, которая распространялась и на имущественные отношения. Теперь же, не без иронии продолжал Уинстенли, те, кто раньше считал его добрым христианином, после того как ему открылся «внутренний свет» истины, называют его не иначе как «богохульником» и смотрят на него «как на человека из другого мира».

К 1648 г. Уинстенли утвердился в мысли, что «истинная вера» несовместима с какими-либо предустановленными формами организованной церкви, а может быть обретаена только в личном, *сугубо внутреннем опыте верующего*. Имеет смысл обратить внимание на то, сколь различными были понимание «опыта» и отношение к нему Лильберна и Уинстенли. В то время как Лильберн, будучи прежде всего политиком, непрерывно драматизировал прежде всего свой личный политический (т. е. внешний, гражданский) опыт с целью продемонстрировать «перед всем миром» положение «свободнорожденного» народа в целом и потому не уставал подробно и систематически описывать собственные страдания, в частности и под властью Долгого парламента, Уинстенли, будучи в первую очередь мыслителем и выше всего цenia опыт внутренний, никогда не разрешал себе сообщать подробности своей личной жизни \* и тем более использовать их в какой-либо форме в качестве аргумента своих воззрений. Вследствие этого понятие «опыт» имело для него только один-единственный смысл — внутреннего «откровения», «озарения», «света», «голоса», которых дано увидеть и услышать лишь тому, кто убьет в себе гнездившегося внутри человека «плотского дьявола» — себялюбие, обман, жадность, животный эгоизм, зверя. Однако для обретения подобной способности необходимо обладать надлежащим социальным опытом, опытом человека неимущего, добывающего богатство для другого. Так, противопоставляя проповедникам «по книге» тех, кто подтверждает свои свидетельства не из «писаний» и не «со слов других», а из

---

\* Лишь однажды, и то более чем косвенно, в памфлете «Рай святого» Уинстенли в самых кратких и общих словах сообщил то, что может случиться с человеком вообще, а на самом деле, вероятно, во многом с ним самим: «болезнь, упреки друзей, людская ненависть, потеря имущества в результате пожара и на воде, будучи обманутым лицемерными людьми, гибель скота и многие подобные случайности, в результате которых он стал бедным в мире».

собственного «опытного знания», Уинстенли включает в него не только «внутреннее откровение», но и то, что они «видели и слышали», т. е. реалии окружающей их жизни\*.

Естественно, что в формировании столь различного понимания «опыта» и отношения к нему немаловажную роль должен был сыграть философский склад ума Уинстенли, большая глубина и интенсивность его духовных исканий и, наконец, сам предмет размышлений. Сказанное, впрочем, не означает, что религиозный мистицизм являлся движущим началом деятельности Уинстенли — идеолога и лидера так называемых диггеров («копателей»), появившихся на сцене английской истории в 1649 г., когда революция XVII века достигла своей вершины. Представляется, что истинным является нечто прямо противоположное такому предположению. Даже в пору наиболее интенсивных мистически окрашенных религиозных исканий Уинстенли побудительным мотивом его деятельности являлись условия английской социальной действительности, в которых «проклятие во плоти (жадность) побуждает человека угнетать или обманывать своего соседа или присваивать его права и свободу, бить и издеваться над ним различным образом».

Таким образом, религиозные искания Уинстенли являлись лишь поиском теологических оснований для социально-этической проповеди «Нового Евангелия», способом ее оправдания и морального возвышения, одним словом, наиболее впечатляющей для мировидения слушателей и читателей — современников Уинстенли формой выражения социального идеала.

## В поисках «Нового Евангелия»

Как уже отмечалось, происходящее буквально на глазах читателей памфлетов Уинстенли невероятно быстрое духовное развитие их автора — феномен настолько неожиданный\*\* и уникальный в истории общественной мысли, что ему, по-видимому, суждено

---

\* Поэтому мы не можем согласиться с мнением английского исследователя Д. Петергорского, будто только в конце 1648 г. Уинстенли «непосредственно заинтересовался социальными проблемами» (см.: *The Left-Wing Democracy in the English Civil War*. L., 1940. P. 138).

\*\* Не исключено, что «неожиданность» духовного прозрения Уинстенли всего лишь результат нашего полного незнания большей части его биографии.

остаться вечной загадкой. В самом деле, человек, как будто оставшийся на протяжении семи лет молчаливым свидетелем столь необычайных событий — разворачивавшихся в стране двух гражданских войн, пленения короля, вдруг взялся за перо, чтобы поведать миру, что он о них думает, в одночасье оказался мыслителем столь глубоким и оригинальным, стилистом столь одаренным, что, по общему признанию новейших исследователей его творчества, сразу же встал в один ряд с такими прославленными его современниками, как поэт Джон Мильтон, левеллер Джон Лильберн и мыслитель Джеймс Гаррингтон, автор политической утопии «Республика Океания». Более того, выступая в своих первых памфлетах религиозным мистиком, которых, кстати, было немало среди идеологов радикальных сект тех лет — анабаптистов, фамилистов, сиккеров, рантеров, Уинстенли в течение двух лет проделал в своем духовном развитии путь, на который другим не хватило бы всей жизни, придя в завершение его к рационализму и пантеизму, близкому к материализму. Право же, этот путь заслуживает того, чтобы проследить его хотя бы в самых общих чертах.

Итак, весной 1648 г. Уинстенли опубликовал один за другим два памфлета: «Тайна Господа, относящаяся ко всему творению, человечеству, которая должна стать известной каждому мужчине и женщине» (ранняя весна 1648 г.) и «Заря занимающегося дня Господа» (20 мая 1648 г.). Затем последовали «Рай святого» (лето 1648 г.) и «Истина, поднимающая голову выше клеветы» (октябрь 1648 г.).

И по содержанию, и по системе образов, и по речевому строю они, несомненно, принадлежат к образцам народной религиозной литературы тех дней. Доискиваться книжных источников, помимо Библии — вдохновения Уинстенли, было бы занятием малопродуктивным. Во-первых, потому, что в отличие от многих современных ему религиозных мистиков Уинстенли не украшает свои сочинения блестками показной учености, не приводит цитат и изречений ни древних, ни новых авторов. Более того, он неоднократно подчеркивает, что не из книг человеческих почерпнул он содержание своих памфлетов, что своими идеями-прозрениями он обязан не человеческой мудрости, а услышанному им внутри себя «голосу» свыше. И в этом он был в определенном смысле прав. Убеждения в близости дня искупления и то, что спасение не может быть достигнуто через посредство видимой церкви и каких-либо внешних обрядов, замена доктрины об избран-



ности немногих верой во всеобщее спасение всех «детей божьих», утверждение о присутствии Христа в душе каждого человека — все эти убеждения в различных модификациях являлись общим достоянием религиозных мистиков тех дней. Они легко переплавлялись и сплавлялись в публичных проповедях «ремесленных» вероучителей и писателей.

Обратимся, однако, к первым памфлетам Уинстенли. О чем они?

Хотя в центре внимания их автора традиционная для христианских мыслителей всех времен, и в частности изучаемого периода, троица: бог — мир — человек, однако ее рассмотрение подчинено ответу на главный для него вопрос: откуда взялось царящее в мире зло и где пролегает путь к избавлению от него человека и человечества? Уже упоминавшийся современный исследователь истории революции середины XVII века Кристофер Хилл, вводя читателя в вопрос, нас интересующий, писал: «Мы должны читать Уинстенли, как мы читаем поэта, как мы читаем Уильяма Блейка и так же, как сам Уинстенли читал Библию». А читал он ее как социально-этическую аллегорию, как иносказание природы человека, его земного призвания, стоящего перед ним нравственного выбора. Естественно, что подобного рода толкование Священного писания — кратчайший путь к разрыву со всеми формами христианского благочестия, с одной стороны, и к превращению его в острейший инструмент препарирования «подвергшейся порче» человеческой природы и тем самым критики существующих общественных порядков — с другой.

Итак, все библейские «события» и пророчества — грехопадения, смерть и воскресение Христа, обещание «второго пришествия» и «спасение» — не более чем аллегории того, что происходит в душе отдельного человека. Но даже и в тех случаях, когда Уинстенли, отдавая дань традиции, толкует эти понятия и образы исторически, не только ветхозаветные персонажи, но и прежде всего Христос оказываются всего лишь людьми среди людей, а «происходившее» с ними — лишь напоминанием о том, что происходит с тех пор с каждым человеком.

И в самом деле, в истолковании Уинстенли библейский рассказ о грехопадении Адама — это в одно и то же время и «история» первого человека, и аллегории нравственной драмы, разыгрывающейся с тех пор в душе каждого человека, стоящего перед ним выбора между добром и злом, «богом и дьяволом». «Мы можем ежеднев-

но собственными глазами видеть Адама, расхаживающего по улице туда и обратно», ибо причина грехопадения первого Адама — себялюбие живо в современниках, так же как и в их далеком предке. Точно так же и рассказ о так называемом воскресении и вознесении Иисуса Христа — это не только однократные «исторические» события, не столько свидетельство того, что произошло некогда с человеком, носившим это имя, но и *аллегория* того, что в эти дни происходит с человеком, «отринувшим дьявола». Иначе говоря, это иносказание духовного возрождения, духовной истории человека, готового следовать «свету справедливости».

Итак, в религиозно окрашенном мировидении Уинстенли, как оно рисуется в памфлетах 1648 г., было преодолено противоречие, присущее исповеданию веры не только протестантских церквей, но и ряда сект, возникших на их почве и отклонившихся от них в ту или другую сторону. И заключено оно, это преодоление, с одной стороны, в признании божества не чем-то внешним по отношению к верующему, пребывающим в отдалении от него, а духом, пребывающим внутри его, и, с другой стороны, в отрицании внешних атрибутов веры и превращении ее полностью во внутреннее, нравственное состояние верующего.

Уинстенли не знает бога, равно как и дьявола, ни ада, ни рая, ни искупления, ни Страшного суда вне человека — все происходит только в нем и составляет его духовную и нравственную историю. «Рай и ад, — писал он, — свет и тьма, горе и радость — все это только должно видеть внутри вас. И власть тьмы, и власть света и жизни следует видеть внутри нас... добрых ангелов... и злых ангелов должно видеть (только) внутри». И тем самым все следствия, проистекающие из связи «верующего с богом» (или с дьяволом), принимают для него исключительно внутренний, духовный характер, для мира — характер внешний — этики и морали.

Иными словами, речь идет о поисках каждым человеком бога внутри себя как единственном месте его существования. Поэтому напрасно искать бога в иных местах, его попросту там нет. Бог, писал Уинстенли, не существует «вне вас», на расстоянии «от вас», «в каком-то особом месте славы за небесами». «Тот, кто доискивается бога вне самого себя и славит бога (якобы пребывающего) на расстоянии, тот славит неизвестно что». «Возносить молитву чему-то внешнему, не есть ли это род идолопоклонства?»

Но что же есть бог в понимании Уинстенли? Прежде всего заметим, что он полностью отрицал христианскую догму о троичности бога. Троица для Уинстенли всего лишь «три имени», данные одному и тому же творцу. Уинстенли именуется его то метафорически, то следуя библейской традиции. В первом случае бог есть то Солнце Справедливости, то Король Справедливости, сидящий на троне внутри человека, совершая суд и осуждая «несправедливость плоти». То, наконец, Бог есть Разум (точнее, «дух разума», «чистый разум» — pure reason). «Чистый разум»... связывает все творение в единое целое жизни и умеренности, каждое существо радостно и с любовью... протягивает руки, дабы сохранить друг друга... Дух-Разум не сохраняет одно создание и уничтожает другое, как многократно поступал человек, будучи ослепленным воображением плоти, а заботится обо всех творениях... превращая каждое создание в хранителя ближнего». *Разум выступает, таким образом, выражением единства согласия и гармонии людей в обществе и единства общества и природы.*

Когда же Уинстенли следует библейской традиции, то тот же по своей чисто духовной субстанции Бог может быть назван Отец, Иисус Христос или Святой дух — все это безразличные способы наречения одного и того же безличного Бога. В этих случаях в качестве Короля Справедливости и мира внутри человека могут фигурировать и Отец, и Сын, и Дух святой. Значительный интерес представляет истолкование, данное Уинстенли понятиям «воскресение» и «спасение». Дух, ниспосланный «творцом» в тело исторического Христа, и есть «сам бог в человеке»; этим подчеркивается, что *Иисус это «только человек, решивший жить в свете разума»*. Но та же «сила божья», пребывавшая в «историческом» Иисусе, в конечном счете со временем снизойдет на всех мужчин и женщин, победит дьявола «в каждом сыне и дочери Адама».

Вместе с тем, толкуя Христа аллегорически, Уинстенли приходит к удивительному заключению: «совершенный человек», подобно Иисусу, является «сыном Отца», и все верующие люди — его сыновья. Именуя таких («совершенных») людей «святыми», т. е. людьми, в которых полновластно правит Король Справедливости, Уинстенли *сравнивает их с Иисусом Христом*. Просто «исторический» Христос был «первым» человеком, в котором Отец поселился «во плоти». Но тем самым божественность Христа только символизирует божественную

суть духа, пребывающего в каждом человеке. «Иисус Христос — не единичный человек, пребывающий на расстоянии от вас, но мудрость и власть Отца... пребывающего... в вашей плоти». И еще: «Если вы ищете Христа под именем одного отдельного человека, который должен стать вашим спасителем, вы никогда не испытаете спасения через него».

Как и другие радикальные религиозные писатели тех дней, Уинстенли отрицал доктрину об изначальной греховности человека, нуждающегося поэтому в искуплении. Вместо нее он проповедовал веру во «всеобщее спасение»: «Каждый человек будет спасен... без исключения». Однако центр тяжести драмы «спасения», равно как и идеи «воскресения» из мертвых, Уинстенли явно перенес на земную жизнь человека. И это было вполне логично, поскольку и Страшный суд в его истолковании вовсе не ожидаемое в «конце времени» событие, а то, что совершается в душе человека на протяжении длительного времени.

В заключение следует заметить, что разрыв Уинстенли с ортодоксией в истолковании «обещания» спасения заключался не только в том, что оно оказывалось универсальным, распространялось на всех «детей божьих» («Иисус Христос... — писал Уинстенли в «Тайне господя», — воцарится во всех творениях, т. е. в каждом мужчине и женщине без исключения»), но и в том, что из «события», определяющего потустороннюю судьбу человека, оно переносилось в земную его жизнь. «Спасение, о котором сообщает буква Писания», произойдет еще в этой жизни и будет означать освобождение человечества от власти себялюбия».

В этой связи важное значение для перевода веры на язык этики имело изображение души человека в качестве арены борьбы между богом и дьяволом. Ибо, подобно богу, дьявол также не есть нечто внешнее по отношению к человеку, а в равной степени пребывает внутри его. И если дьявол — «плотское воображение» в человеке — столь долго торжествовал, то только в силу того, что человек не ведал, где пребывает бог, вследствие чего он оставался глухим к его голосу. Равным образом он не знал, что рай и ад также находятся не где-то на расстоянии от него, а внутри его самого. Иначе говоря, человека ждет внутренний «рай» или «ад» в зависимости от того, воцарится ли в его душе Король Справедливости или дьявол — себялюбие. *Итак, первый и конечный принцип веры, по Уинстенли, — это нравственный выбор между*

добром и злом, который в прошлом совершался человеком, заботившимся о плотских удовольствиях, по большей части по образу первого Адама.

Но менялись времена. Происходившие в Англии гражданские войны являлись для Уинстенли свидетельством того, что Король Справедливости грядет, растет и набирает силу в сердцах людей. Иначе, спрашивал он, почему люди поднимают такой шум (!) против этого могущественного короля «в человеках»?

Анализируя мировидение Уинстенли, как оно представлено в памфлетах 1648 г., нельзя не обратить внимание на явное приращение элементов рационализма в двух последних из них — «Рай святых» и «Истина, поднимающая голову» — в сравнении с двумя первыми.

Это выражалось не только в том, что Бог в последних из них, как правило, обозначается не евангельскими наименованиями «Отец», «Сын», а чаще всего словом «Разум» (к примеру: «Ибо это — Разум,— читаем мы в «Рае святых»,— кто сотворил все вещи, и это Разум, кто управляет всем творением»), но и в том, что вместе с усилиями переформулировать библейскую традицию в духе рационализма в них все отчетливее прорисовывается социально-этическая, т. е. мирская, подоплека этих усилий, т. е. самого обращения Уинстенли к этой традиции. Так, в «Истине, поднимающей голову» мы читаем: «Пусть Разум управляет человеком, и тогда он (человек) не осмелится нанести ущерба себе подобному, а будет поступать по отношению к нему так же, как сам пожелал бы, чтобы другие поступали по отношению к нему. Ибо Разум говорит ему: если сосед голоден и раздет сегодня, накорми и одень его, ибо может случиться, что завтра (ты сам окажешься в подобном положении), и он готов будет помочь тебе». Итак, Разум — это «закон справедливости», дух любви, который должен восторжествовать в сердце каждого человека и тем самым в его отношении к ближнему, в человеческом общежитии.

### **Коммунистическое откровение Уинстенли**

Если духовное развитие Уинстенли, как оно отразилось в памфлетах 1648 г., завершилось превращением не только веры, но и самого божества — Разума — в социально-этический принцип, олицетворяемый «духом любви и справедливости», пронизывающим все творение и делающим человека способным

жить в мире и согласи со своими ближними, то в первом же памфлете 1649 г. «Новый закон справедливости» (он помечен 28 января) указанный принцип уже раскрывается как требование определенно коммунистическое: «Работайте вместе и вместе ешьте свой хлеб». В главе VIII этого памфлета Уинстенли сообщает, что он услышал этот призыв «не столь давно», находясь «в транс»\*, т. е. состоянии полной отвлеченности от окружающего мира и во власти сил неземных. Далее, пишет он, я услышал такие слова: «Кто обрабатывает землю для другого лица или лиц, которые мнят себя лордами и правителями над другими и не смотрят на себя как на равных по творению с другими, десница господа падет на такого работника».

В целом речь идет о сочинении, отличающемся по сути светским строем мысли и даже в сравнении с последними памфлетами 1648 г. более совершенной формой изложения воззрений, которые в итоге предстанут как наиболее глубокая социальная философия, вызванная к жизни революцией 40-х годов. Возникает вопрос: что же произошло в развитии Уинстенли как мыслителя за столь короткое время? Неужели столь разительными переменами даже в одной лишь лексике памфлетов, подписанных одним и тем же именем, мы обязаны только удивительной способности Уинстенли улавливать и перерабатывать текущий опыт революции? Не отрицая бесспорной гениальности этого мыслителя «из народа», мы все же будем ближе к истине, если допустим, что речь должна идти лишь о полном и все более открытом развитии им тех идей, которые сформировались в его сознании уже к моменту, когда он впервые взялся за перо. Однако форма их выражения — соотношение мистики и рационализма — зависела целиком и полностью от внешних, т. е. общественно-политических, условий, в которых ему приходилось их обнародовать.

Естественно, что в период, когда назревала и развивалась вторая гражданская война, мистический убор этих изначально роившихся в его голове идей был самым удобным, потому что он был наиболее безопасным. Однако стоило этой войне завершиться победой Кромвеля, и слог Уинстенли сразу же приобретает и более рациональный, и более откровенный социально-критический характер. Наконец, в условиях, сложившихся после суда

---

\* В этом вопросе я следую толкованию этого термина, близкому к толкованию его в Оксфордском английском словаре — состояние ментальной отвлеченности от внешних вещей.

и казни короля Карла I Стюарта \*, уже можно было почти полностью снять мистические уборы с вопросов и ответов на них, которые, по его признанию, давно уже «жгли его огнем», и заговорить на языке рационалистически и критически мыслящего идеолога самых обездоленных низов английского народа. Всякое иное объяснение этого по видимости удивительного феномена — быстрого, почти молниеносного превращения религиозного мистика в рационалиста и пантеиста — в свою очередь представляется родом мистики многим современным исследователям идейного наследия Уинстенли.

Весьма вероятно, что перенос центра тяжести содержания «Нового закона справедливости» на почву общественно-политическую был обусловлен не в малой степени и крайне тяжелыми условиями, в которых оказались беднейшие слои зимой 1648/49 г., когда в результате ряда недородов цены на хлеб поднялись так высоко, что он стал для низов практически недоступным. То же следует сказать и о топливе. Нищенство приобрело поистине эндемический характер. Голод и холод делали свое дело: смертность в среде бедных, особенно в Лондоне, резко возросла. Ежедневно на улицах и площадях города, на дорогах подбирали трупы людей, умерших голодной смертью. Отмечается также вероятное влияние на содержание данного памфлета, появившегося в декабре 1648 г., анонимного левеллерского памфлета «Свет, воссиявший в Бекингемшире»\*\*. В частности, Уинстенли мог позаимствовать из него понятие «королевская власть» применительно к власти лордов маноров, теорию нормандского ига, объяснявшую появление этой власти в результате нормандского завоевания Англии, и ряд других.

Однако все это не меняет вывода о том, что ключ к пониманию столь быстрого духовного «развития» Уинстенли, «поворота» его от религиозной мистики и теологических наитий к вопросам чисто мирского порядка все же заключается в развитии самой революции по восходящей, в расцвете у обездоленных надежд на то, что с падением монархии откроется возможность переустроить жизнь народа на более справедливых основаниях.

Отсюда следует еще одно наблюдение, подтверждающее ранее сделанный вывод: более чем ошибочно в духовном развитии Уинстенли придавать решающее значе-

---

\* Памфлет был опубликован вскоре после этого события.

\*\* На это указывали Д. Петергорски, Кр. Хилл и др.

ние его религиозному опыту, при этом заходя столь далеко, что именно в нем доискиваться до истоков его социально-утопических идей и начинаний, положивших начало широко распространившемуся по стране движению диггеров. Вообще если рассматривать систему воззрений Уинстенли «поэлементно», то нетрудно прийти к заключению, что как в религиозных, так и в социально-утопических воззрениях он не был уж столь оригинальным, как это нередко изображается. Поскольку речь идет о первых, то он, несомненно, как уже было показано, многое почерпнул из мистических учений радикальных сект 40-х годов, в особенности фамилистов. Что же касается таких коммунистических по смыслу воззрений, как Декларация общенародной (ничейной) собственности на землю \*, как основы устройства («программа-максимум») всего общества, то они были впервые сформулированы самим Уинстенли. Требования же признать за бедными людьми право обрабатывать только общинные (ничейные) земли и пустоши как их общую собственность, с тем чтобы они могли питаться плодами рук своих («программа-минимум»), то они, прежде чем были сформулированы столь отчетливо и открыто Уинстенли, неоднократно звучали в петициях и памфлетах радикально настроенных левеллеров, в ряде анонимных памфлетов, принадлежащих перу приверженцев упомянутых религиозных сект.

Но если в религиозных исканиях и в социальной философии Уинстенли немало элементов, созвучных тому, что уже было произнесено до него, то позволительно спросить, в чем же заключается его своеобразие как мыслителя, чем определяется его выдающееся, по общему признанию, место в истории Английской революции, почему, наконец, в его лице современная наука увидела великого сына английского народа, не уступающего по

---

\* В частности, в уже упомянутом памфлете «Свет, воссиявший в Бекингемшире» (его полное название — «Свет, воссиявший в Бекингемшире, или Открытие главного принципа — первопричины всякого рабства в мире, но главным образом в Англии, изложенное в форме Декларации многих благонамеренных в этом графстве ко всем бедным и угнетенным сельским жителям Англии») идея уничтожения частной собственности на землю еще отсутствует. Принцип равенства реализуется в нем иным образом: все люди равны; ни один человек не может быть лордом другого; каждый должен есть хлеб, добытый собственным трудом. Кто не работает, тот не ест; если все равным образом трудятся, то справедливо, чтобы все одинаково ели и владели равным имуществом; горе тому, кто прибирает к рукам дом за домом, так что бедному негде и приютиться.



значимости его духовного наследия родоначальнику социальной утопии Томасу Морю?

Представляется, что ответ может быть довольно кратким: Уинстенли удалось из хаотического скопления разрозненных радикальных идей своего времени, религиозных и светских, социальных и политических, этических и образовательных, в таком изобилии выдвинутых в ходе революции 40-х годов, создать довольно стройную систему подлинно революционной идеологии народных низов. Объективно эта задача оказалась для него посильной только потому, что он единственный среди мыслителей и деятелей революционной эпохи увидел в положении плебса, прежде всего сельского, не просто одну, пусть даже, учитывая его удельный вес в обществе тех дней, наиболее животрепещущую, социальную проблему революции. Таких реформаторов и создателей различного рода филантропических проектов до и после Уинстенли было в Англии немало. В том-то и проявилась неординарность Уинстенли как социального мыслителя, что он создал не просто очередную филантропическую утопию и в положении плебса усмотрел не просто гуманитарную проблему, которую надлежит решать в рамках существующего строя собственности. Выдающееся место системы воззрений Уинстенли в истории общественной мысли объясняется именно тем, что в положении обезземеленных и пауперизованных масс он усмотрел социально-этический принцип коренного переустройства общества, отказа от системы частной собственности как его основы.

Этот принцип, будучи сформулирован как практическая программа текущей революции, мыслился им как способ радикальной чистки страны от системы лендлордизма и ее воплощения — манориального строя и тем самым решения аграрного вопроса в пользу тех, кто землю обрабатывает. В сугубо предварительной форме заметим: то обстоятельство, что в условиях Англии середины XVII века крестьянская аграрная программа — антагонистическая по отношению к системе лендлордизма — могла быть сформулирована уже только с позиции обезземеленного сельского плебса, как нельзя лучше объясняет ее слабость и историческую обреченность. Однако к этому важному вопросу мы еще вернемся. Что касается социальной утопии Уинстенли в целом, основанной на принципе «земля — общая сокровищница всех детей божьих», то ее преимущества должны были сперва продемонстрировать на практике так называемые копатели, обосновавшиеся на неподеленных пустошах. В остальном

же оставалось дожидаться времени, когда в сердцах людей восторжествует Король Справедливости.

В первом случае речь шла, как уже упоминалось, о программе, которая должна была быть безотлагательно реализована, а во втором же случае — скорее о коммунистическом идеале, чем о практической программе ближайшего будущего. Социальная утопия Уинстенли несомненно одно из крупнейших творений в истории утопического социализма в Англии.

Следует только заметить, что в «Новом законе справедливости» оба этих аспекта еще выступают в такой степени в своей нераздельности, что «программа-минимум» — признание за пауперами права коллективно обрабатывать пустоши — оказывалась требованием, в чем-то производным от всеобщего и абсолютного коммунистического идеала в целом.

Своеобразие «Нового закона справедливости» заключается в том, что в нем как бы в сжатой форме представлена история «духовного странствия» Уинстенли от мистики радикальных сект до рационализма, предвосхищающего Просвещение. Сама замена понятия «Бог» термином «Разум» означала завершение Уинстенли процесса перевода всей библейской истории в своеобразный критический комментарий существующего в Англии мирского порядка. В результате — мы это уже наблюдали в последних памфлетах 1648 г. — все библейские события в нескончаемой драме добра и зла, бога и дьявола, плоти и духа удивительным образом осовременивались, становились жгучей человеческой актуальностью каждого текущего дня с той лишь особенностью, что отдельные акты этой драмы разыгрывались сначала не вне человека, а внутри его и уже затем проявлялись в мире. Так, о грехопадении Уинстенли писал: «Не оглядывайтесь... на Адама, человека, умершего 6 тыс. лет назад... а воззритесь на Адама внутри самих себя». Точно так же и все другие «акты» библейской истории, такие, как искупление, воскресение Христа, второе пришествие, Страшный суд, — все они акты духовной драмы человека. В итоге «вера по книге» (т. е. по Библии) заменяется верой по индивидуальному опыту, а в последнем, как выразился Уинстенли, «беднейший человек, который видит своего творца и живет в свете (его), хотя он никогда не мог и буквы прочесть в книге, осмеливается бросить перчатку всей человеческой учености в мире», ибо он говорит по внутреннему знанию, а не по внешнему. Отсюда бескомпромиссный антиклерикализм Уинстенли. Поистине из всех инструментов, удер-

живающих «божий народ» в рабстве, служители внешней, видимой церкви вызывали у него наибольшее возмущение (впрочем, наравне с законниками).

Оно объясняется, во-первых, тем, что знатоки «внешнего слова», наставляющие по книге, т. е. Библии, «проповедуют за плату, сеют среди людей раздоры и путаницу» и совершают это, опираясь на власти предержащие, с помощью которых они прибрали в свои руки немало земли. И, во-вторых, они — одно из главных орудий, при помощи которых человечество удерживается под властью Короля несправедливости. Недаром, продолжает Уинстенли, Христос объявил этих «мудрых и ученых» мужей очень тупыми людьми, наиболее невежественными, слепыми поводырями, разряженными могильщиками, пророками, прорицающими раньше того, чем им ниспослан дар прорицания, великими глупцами мира сего. Это они задерживают его второе пришествие.

Но из этого следовало убеждение Уинстенли в том, что путь к избавлению человечества от власти Короля несправедливости, т. е. неравенства и угнетения, призваны указать беднейшие люди, со времени грехопадения наиболее страждущие и бесправные. Само их положение в мире делает их наиболее способными услышать «внутренний голос» господень, заглушенный в сердцах голосом Короля тьмы (жадности и своекорыстия).

Происходившие на глазах Уинстенли события убедили его в том, что «Закон любви» прежде всего побеждает в сердцах отверженных. Христос, писал он, собирает вокруг себя людей из праха, т. е. из среды наиболее низкой и презираемой, людей, на которых смотрят как на прах земной, которых топчут ногами. В них и от них «Закон справедливости» пробуждается и распространяется раньше всего\*.

Именно бедные и презираемые в «царстве дьявола» должны показать миру образец отношения человека к себе подобному, пробным камнем которого является отношение к собственности.

Прежде всего обращает на себя внимание, что термин «собственность» Уинстенли применяет только для обозначения частной собственности, т. е. права, согласно которому кормилица-земля разделена на «мое» и «твое». Воз-

---

\*Обратим внимание на то, что сближение состояния бедности со «святостью» носит у Уинстенли, так же как в новозаветной традиции, инструментальный характер. Однако в отличие от этой традиции бедные призваны проложить дорогу к переустройству мира *посюстороннего*.

никновение этой собственности — проклятия рода человеческого — критической момент не только в его истории, но и в истории всего творения в целом. В начале времен в человеке царил «дух справедливости» и любви к ближнему, благодаря чему миром и гармонией было наполнено все живое на Земле. Однако с тех пор, как человек отпал от творца и стал искать удовольствие во внешних вещах, верх в нем одержала его низменная природа — «воображение плоти» — и ее атрибуты — гордыня и зависть, ненасытная жадность и жестокость, себялюбие и обман. Он начал скапливать в своих руках земли, деньги, титулы, власть, став зачинателем частного интереса в противовес интересу общему, купли и продажи земли — одним словом, порядка, при котором «это мое» превратило одну часть человечества в господ, властвующих над другой его частью. Посредством законов, защищающих эту частную собственность, ее обладатели лишали доступа к земле своих ближних, вынуждая их трудиться за небольшую плату на земле, которую те считали «своей». Установившаяся среди людей тирания собственников внесла порчу во все творения. И так же как человек отпал от «царя справедливости», творение отпало от человека и сделалось ему враждебным. И точно так же, как человек повел себя по отношению к себе подобному, звери повели себя по отношению к нему: чтобы сохранить себя, один пожирает другого. *«Пуускай все говорят что угодно, но до тех пор, пока правителями являются те, кто называет землю своей, отстаивая эту частную собственность моего и твоего, простые люди никогда не будут свободными...»* — заключал Уинстенли.

Не правда ли, насколько глубже постигал Уинстенли суть понятия «свобода» в сравнении с Лильберном? Поистине истолкование этой категории с позиции плебса позволяло добраться до основания, сути вещей, скрывавшейся от взоров мелких самостоятельных производителей, от имени которых отстаивал свободу Лильберн.

*Для Уинстенли в отличие от Лильберна сохранение системы лендлордизма исключало возможность достижения свободы.*

Ныне человечество, продолжал он, под властью «проклятия». Между тем живущие по закону «царя тьмы» считают справедливым именно порядок, при котором богатые люди, «независимо от того, каким путем они свое богатство накопили — праведным или неправедным, являются правителями, господствуя над бедными, а бедные должны быть слугами, более того — рабами богатых».

Однако те, кто судит о вещах в духе Справедливости и Разума, сознают, что все люди созданы для того, чтобы жить свободными, а не для того, чтобы один был рабом другого и нищим. Торжествующая несправедливость порождает смуты. «Не считайте поэтому странным, наблюдая войны и... видя народные волнения, поднимающиеся повсюду, словно наводнения... видя королей, идущих войной против собственных подданных, видя богатых людей и джентри, в высшей степени враждебных бедным, угнетая их и топча их, подобно мусору на улице». «В чем причина всего этого? — спрашивает Уинстенли и отвечает: — В том, что плотский человек должен умереть, день его (Страшного) суда настал, он должен уступить правление на земле своему соседу — более справедливому, чем он... Бедный да унаследует землю». Разум требует, чтобы каждый жил на земле в довольстве, ибо она является общим источником средств существования для всех. Само выражение «мое» и «твое» должно исчезнуть, ибо «все должны жить как братья, поступая по отношению к другому так же, как сами желают, чтобы другие поступали по отношению к ним».

Итак, положение «земля — общая сокровищница всех детей божьих» выступает в социальной философии Уинстенли отправным и конечным аргументом, при помощи которого он, во-первых, обосновывает коммунистический идеал общества будущего и, во-вторых, намечает конкретную программу решения проблемы пауперизма в стране, причем не в далеком будущем, а немедленно. Если реализацию первого Уинстенли ставил в зависимость от распространения «света истины», уже воссиявшего в сердцах бедных, на весь род человеческий — процесса спонтанного и медленного, то за проведение в жизнь второго он вступил в борьбу не только словом, но и делом. Он отлагательств больше не терпит.

Рассмотрим самым сжатым образом ход мыслей Уинстенли в обоих случаях. «Когда этот универсальный закон справедливости воспрянет в каждом мужчине и в каждой женщине, тогда никто не будет претендовать на какое-либо творение, говоря: «Это мое, а это ваше», «Это — моя работа, а это — ваша», а каждый приложит свои руки к обработке земли... и благословение земли будет общим для всех. Когда человек нуждается в зерне... пусть возьмет его из первого встретившегося ему амбара». В этом смысл знаменитого коммунистического откровения Уинстенли — «работайте вместе, вместе ешьте свой хлеб». Не следует только снова-таки упускать из виду, что его

предпосылкой является признание земли «общей сокровищницей человечества».

Таково первое и решающее условие освобождения угнетенных и униженных. «И все слезы, вызываемые рабством, не прекратятся до тех пор, пока земля не станет общей сокровищницей тех, кто трудится на ней». В этом случае земля не имеет собственников, и понятие «общая сокровищница» уже не содержит ничего общего с понятием «собственность», у которого, по Уинстенли, лишь один смысл — частная собственность. Земля в «царстве справедливости» имеет только одного лорда — творца, людям же, всем без исключения, дарован свободный доступ к их общей кормилице и тем самым возможность питаться плодами своего труда. Применительно к своим соотечественникам Уинстенли писал: «Все мужчины и женщины в Англии являются детьми этой страны, земля же божья, а не отдельных людей, претендующих на особый интерес к ней в сравнении с интересом других».

Однако, сознавая, что, поскольку «свет истины», хотя и занимается уже в сердцах обездоленных, еще даже не коснулся сердец имущих, постольку, опираясь на «естественное», «прирожденное» право всех англичан, Уинстенли требует отдать бедным их «законную долю» и в общем «наследстве» признать за ними право свободного доступа к неподеленным, общинным землям и пустошам, на которых они могли бы «вместе трудиться» на общее благо\*. Вторая предпосылка этой «программы-минимум» — отказ бедных наниматься на работу на земле имущих. Своим трудом по найму бедные обеспечивают имущим вольготную жизнь, превращая их в лордов и властителей над другими. Отсюда слова, «услышанные» Уинстенли в транс: «Кто обрабатывает землю для какого-либо лица или лиц, рука господа достигнет такого работника». В итоге для реализации плана Уинстенли, учитывая, что насилие над кем-либо полностью исключалось, оставался лишь один путь: убеждение, и в частности указание бедным на общинные земли как на их «справедливую долю», и призыв к тому, чтобы они повсеместно и явочным порядком приступили к их обработке. Иными словами, «если богатые все еще желают удерживать эту

---

\* Это заключение, как день и ночь, разнится с суждением на эту тему, высказанным «шелковым индеей» Айртоном на конференции в Пэтни в октябре 1647 г. По его мнению, «прирожденное право англичан-бедняков ограничивалось лишь «правом» дышать воздухом Англии», но не более того.

собственность «моего» и «твоего» нерушимой, пусть они обрабатывают свою «собственную» землю собственными руками. И пусть «простой народ», т. е. беднота, утверждающая, что земля «наша», а не «моя», пусть бедные работают вместе, сеют вместе хлеб на общинных землях и совместно пользуются плодами своих трудов».

Уинстенли искренне верил в реальность этого плана, поскольку фонд все еще сохранившихся неподделенными общинных и пустошных земель был столь обширен, что его с лихвой хватило бы для «освобождения бедных» от унижительного рабского труда по найму и отведения от них угрозы голодной смерти, если в найме им отказывали.

«Поделите Англию на три части,— писал он,— едва ли одна из них обрабатывается, следовательно, здесь земли достаточно для поддержания всех ее детей, между тем многие умирают из-за нужды или живут под тяжелым гнетом бедности всю жизнь».

### **Колония диггеров близ Кобхема**

Весной 1649 г., когда народные низы, уверовав в то, что отныне Англия, как значилось в парламентской декларации, стала «свободной республикой», и по-своему истолковав эту свободу, повсеместно пришли в движение, Уинстенли решился на необыкновенный, ставший позднее историческим шаг: он встал во главе немногочисленной группы бедняков, решивших явочным порядком приступить к коллективной обработке «общинных земель и пустошей». В «Законе справедливости» он об этом замысле писал: «Когда Господь укажет мне место и способ, каким образом он желает, чтобы мы, именующиеся простолюдинами, обрабатывали общинную землю, я объявлю это своими действиями». Почти два месяца потребовалось, чтобы «узнать» соответствующую «волю Господа». И вот, в воскресенье 1 апреля 1649 г. «указание было получено», и более двух десятков копателей во главе с Уинстенли и бывшим солдатом Уильямом Эверардом появились на холме Св. Георгия близ Кобхема (графство Серри). Вооруженные лопатами и мотыгами, они начали вскапывать почву для посева и возводить дом, что свидетельствовало об их намерении здесь поселиться. Вскоре в округе их называли «диггерами», сами же они предпочитали именовать себя «истинными» левеллерами, тем самым противопоставляя себя «политическим» левеллерам типа Лильберна.

*Итак, в ходе борьбы английского плебса за землю гор-*

стка смельчаков бросила вызов только что конститутировавшей себя в форме Республики Англии собственников, основав первую в новой истории «коммунистическую колонию». История ее полна драматизма, неравной борьбы и удивительного мужества ее основателей. И хотя их численность на холме Св. Георгия никогда не превышала нескольких десятков человек, они самой необычностью, «неслыханностью» своего начинания посеяли настоящую панику среди зажиточных землевладельцев округи. Уже через несколько дней диггеры были схвачены слугами лорда манора Уолтона и заключены в приходскую церковь, но вскоре их освободили за отсутствием «состава преступления». Затем по наущению того же лорда толпа зависимых от него держателей сожгла дом, построенный диггерами, и уничтожила орудия труда. Однако, верные наставлениям своего предводителя, Уинстенли, — «победить любовью», диггеры безропотно сносили чинимые над ними насилия, снова и снова возвращались на прежнее место и все начинали заново.

Через две недели в преследование диггеров включились столичные власти Республики. 16 апреля в Государственный совет поступило донесение некоего Сандерса: «Сообщаю, что неделю назад некий Эверард \*, ранее служивший в армии, затем уволенный из нее, именующий себя пророком, некий Стиуэр, Колтен и еще двое — все они жители Кобхема — пришли к холму Св. Георгия в [графстве] Серри и начали взрыхлять почву на той стороне холма, что примыкает к огороженному полю, и посеяли турнепс, бобы и морковь. На завтра, в понедельник, они опять появились, уже в большем количестве, во вторник они подожгли кустарник [на площади] по крайней мере в 40 руд \*\*. В прошлую пятницу они опять появились, [на этот раз] 20—30 человек, и весь день вскапывали [пустошь]. Они намерены иметь в работе два или три плуга, но не запаслись семенами, что сделают в четверг в Кингстоне. Они приглашают прийти к ним на помощь (всех желающих), обещая пищу, питье и одежду. Они говорят, что вскоре, в [ближайшие 10 дней], их будет 4—5 тысяч...» И чтобы подчеркнуть всю опасность, исходящую от диггеров, Сандерс доверительно добавил, будто

---

\* Хотя подпись Эверарда значится в первом манифесте диггеров, его имя не найти во всех последующих документах, опубликованных от их имени. В мае 1649 г. он, по-видимому, покинул колонию близ Кобхема.

\*\* 1 руда — мера длины, равная 5 м.



они грозят соседнему населению, что вскоре снесут все изгороди вокруг парка, что заставят всех явиться на пустошь для работы, и, наконец, следовала совсем уж пугающая фраза: «Опасаются, что у них что-то на уме».

Сообщение Сандерса показалось Государственному совету столь важным и неотложным, что в тот же день его председатель Бредшоу препроводил его главнокомандующему парламентской армией генералу Ферфаксу, приложив письмо от своего имени: «Хотя повод [для собрания] покажется смехотворным, тем не менее скопление народа может послужить началом (событий) более далеко идущих, тяжелых и опасных для мира и спокойствия Республики». Бредшоу требовал направить в Кобхем подразделение конницы с приказом рассеять диггеров и сделать невозможным что-либо подобное в будущем. Ферфакс не замедлил действовать. Капитан Глэдмен, которому было поручено выполнить приказ генерала, оказался куда более здравомыслящим, нежели Бредшоу и Ферфакс. Явившись во главе отряда конницы в Кобхем и узнав все обстоятельства дела, он 19 апреля донес Ферфаксу о выполнении приказа, но сделал это в такой форме, которая лишь слегка скрывала злую иронию в адрес пугливых лондонских властей.

Прибыв в Кобхем, сообщал Глэдмен, и побеседовав с главарями диггеров Эверардом и Уинстенли, он убедился в том, что всему отряду нет необходимости двигаться дальше (т. е. к холму Св. Георгия). Обещая в сопровождении двух-трех солдат лично посетить диггеров на месте их работы, чтобы попытаться убедить их мирно разойтись, он заканчивает: «Удивляюсь, в какой степени Государственный совет введен в заблуждение (ложными доносами)». Перед возвращением Глэдмена в столицу он взял с Эверарда и Уинстенли слово, что они лично явятся в Лондон к Ферфаксу для объяснения своих действий и изложения своих намерений.

20 апреля, в день, когда от имени диггеров Уинстенли опубликовал первую публичную декларацию под названием «Знамя истинных левеллеров поднято», призванную объяснить их действия, состоялась знаменательная встреча представителей диггеров с генералом. Главным оратором на этой встрече был, по-видимому, Эверард. В изложении Уайтлока его декларация гласила: «Намерение диггеров заключается в том, чтобы вернуть творение в его прежнее состояние, (т. е.) в том, чтобы восстановить древнюю общность в пользовании плодами земли, накормить голодных, одеть голых». Они не намерены

затрагивать чью-либо собственность, ломать чьи-либо изгороди, а намерены только ограничиться тем, что является общинной землей и пустошью, сделав ее плодоносящей для пользы человека. Даже в целях самообороны, заявили диггеры генералу, они не прибегнут к оружию и вообще не будут защищаться; в то же время они готовы погибнуть, но не отступят от начатого дела. Господь открыл бедным, что час их избавления близок. Они не только получают свою долю земных благ, но свет, воссиявший в их сердцах, озарит всех, и вскоре настанет время, когда все люди добровольно явятся к ним, сдадут свою землю и имущество в общее владение и объединятся с диггерами в деле разрушения царства фараонова.

Точно так же и упомянутый манифест диггеров, опубликованный в Лондоне в тот же день, заканчивался знаменитыми словами: мы стремимся к тому, чтобы «избавить человечество от (этой) проклятой вещи, называемой частной собственностью, которая является причиной всех войн, кровопролитий, воровства и порабащивающих законов, удерживающих народ в нищете». Уинстенли, обращаясь, по-видимому, к генералу, писал: «Я не прошу Вас, ибо Вы неумолимы. Именем господа... я приказываю Вам освободить угнетенных, давая возможность мирно собраться в месте, которое я укажу». Это был язык пророка!

Любопытно, что в лондонской прессе был опубликован краткий отчет об этом удивительном свидании полунитских диггеров с генералом, свидании, сама возможность которого в другое время показалась бы нереальной, выдуманной, сказочной. Начинание диггеров в том отчете было представлено едва ли не как затея умалишенных, их замысел казался слишком диким, фантастическим, чтобы его принимать всерьез, их речи — галлюцинацией наяву, наконец, их поведение вызывало только улыбку снисхождения. Дело в том, что диггеры отказывались снимать шляпы перед генералом, обращаясь к нему на «ты», мотивируя это тем, что он ведь их «ближний» и «равный» по творению. В итоге Ферфакс, по-видимому, согласился с мнением капитана Глэдмена, что все это начинание диггеров не стоит «государственного внимания», пообещав, что войска не будут впредь вмешиваться в конфликт диггеров с местными земельными собственниками, считая его делом местных властей. Впрочем, это обещание было вскоре нарушено.

Однако, прежде чем мы последуем за Эверардом и Уинстенли, возвращавшимися из Лондона в колонию

диггеров на холме Св. Георгия, нам надлежит на время вернуться к памфлету «Знамя истинных левеллеров поднято». Дело в том, что в нем помимо изложения целей их движения Уинстенли впервые приводит основные аргументы в оправдание их начинания — доказательства правого дела бедных обрабатывать общинные земли и пустоши, не испрашивая у кого-либо разрешения. Характерно, что помимо признания за всеми англичанами прирожденного права на долю в «общей сокровищнице» — матери-земле, предназначенной для пропитания всех родившихся в этой стране («каждый родившийся в стране должен иметь возможность питаться плодами матери-земли в соответствии с разумом, пребывающим в творении»), Уинстенли приводит два политических аргумента, которые сыграли важную роль в выработке им плебейско-крестьянской аграрной программы революции. Первый из них гласил: *Республика должна выполнить обещания, данные парламентом простому народу в начале гражданской войны, а именно: сделать его свободным народом — принести свободу каждому человеку.* Поверив «декларациям», «договорам» и «клятвам», столь щедро раздававшимся Долгим парламентом в те дни, когда ему нужна была поддержка простолюдинов в борьбе с королем, последние пожертвовали своим имуществом, своей кровью, обеспечив ему желанную победу. Однако условия договора с простым народом были нарушены — свою долю в победе он так и не получил. *«Вплоть до сегодняшнего дня, — подчеркивал Уинстенли, обращаясь к властям Республики, — простой народ, которому вы обещали свободу, ввергнут в рабство и угнетение более тяжелое, чем прежде».*

Заметим, что мотив совершенного Республикой 1649 года обмана простого народа мы находим не только в публицистике Уинстенли, но и в памфлетах Лильберна 1649 г., в частности в его памфлете «Новые цепи Англии». Однако между сравниваемыми памфлетами нельзя не заметить принципиальное различие: Лильберн усмотрел суть обмана, совершенного грандами, с позиции мелких собственников, Уинстенли же увидел тот же обман глазами плебеев. Вот почему в первом случае Лильберн видел суть его прежде всего в том, что вместо демократического государственного устройства Республика 1649 года оказалась всего лишь прикрытием всевластия офицерской верхушки; во втором случае обман усматривался Уинстенли прежде всего в том, что *Республика сохранила в неприкосновенности систему лендлордизма.* До тех пор,

писал Уинстенли, пока один называет землю своей, а другому ничего не остается, как наниматься к нему, творение удерживается в рабстве. К тому же многие, в том числе офицерская верхушка, разбогатевшие на войне, скупили земли и превратились в лендлордов. Но, став лендлордами, они возвысились, заняв место судей, правителей и государственных мужей.

Наконец, в обоснование требования диггеров открыть бедным свободный доступ к общинным землям Уинстенли приводит также один историко-политический аргумент: лендлорды — наследники нормандских завоевателей Англии. Удерживая целый народ под властью манориальных лордов, новые правители страны сохраняют «нормандское иго» и порабощающую тиранию, которая восходит к Вильгельму Завоевателю \*. «Запомните, что англичане не станут свободным народом до тех пор, пока бедным, лишенным земли, не будет разрешено свободно обрабатывать общинные земли, с тем чтобы они жили столь же вольготно, как живут лендлорды в своих огороженных землях».

Вернемся, однако, на холм Св. Георгия. Манориальные лорды продолжали терроризировать горстку копателей. В конце апреля они снова спровоцировали очередное нападение на их колонию. Однако и на этот раз диггеры, рассеянные толпой подстрекаемых лордом держателей, через несколько дней вновь собрались на пустоши, продолжая свой труд с упорством и мужеством людей, вдохновленных истинно высокой идеей. В конце мая на вскопанной лопатами и мотыгами земле (всего несколько акров) появились первые всходы ячменя и бобов.

Между тем Лондон на время оставил диггеров в покое. По правде говоря, ему было не до них — армия грозила выйти из повиновения. В мае вспыхнуло восстание ряда полков, выступавших под знаменем левеллеров, — событие неизмеримо более опасное для судеб независимой Республики, чем начинание нескольких десятков дигге-

---

\* Перед нами любопытный факт: различные общественно-политические течения в лагере революции использовали один и тот же исторический миф — гибели древней свободы англосаксов в результате нормандского завоевания — для обоснования совершенно различных целей. Так, представительство так называемой политической нации — парламент обосновывал, опираясь на него, свое верховенство в конституции страны по отношению к короне; политические левеллеры требовали проведения в жизнь своего проекта конституции — «Народного соглашения»; диггеры прибегли к тому же мифу для обоснования требования уничтожения системы лендлордизма.

ров, настолько безобидных, что даже в целях самозащиты не оказывали сопротивления, когда над ними чинили открытое насилие. Их единственным оружием оставалось слово. Когда 29 мая Ферфакс по пути в Лондон посетил колонию диггеров, он нашел на полевых работах всего 12 человек. На этот раз главным оратором выступил уже Уинстенли. Ферфакс попытался убедить их разойтись, на что Уинстенли снова указал на право бедных обрабатывать общинные земли — на то они и именуются «общинными», а не «частными».

Не усмотрев в делах диггеров непосредственной опасности для Республики, генерал уехал, предоставив их на время собственной судьбе. 1 июня Уинстенли опубликовал от их имени «Декларацию бедного и угнетенного народа Англии», в которой снова разъяснялись цели начинания диггеров. Это был своего рода акт конституирования рядом с миром частной собственности другого мира, основанного на общей, точнее — ничейной, земельной собственности и коллективном потреблении произведенного коллективным трудом. Эти две формы человеческого общежития в трактовке Уинстенли были четко разграничены, как мир несправедливый, основанный на угнетении одной части народа другой, и мир подлинной свободы для всех детей божьих. В «Декларации» значилось: «Мы... от имени бедного и угнетенного народа Англии заявляем вам, именуящим себя лордами маноров и лордами земли, что перед лицом Короля Справедливости, творца нашего, получив от него свидетельство любви, освободившей наши сердца от рабского страха перед людьми, подобными вам, мы нашли в себе решимость вскапывать и распахивать пустоши по всей Англии... чтобы ваши законы больше не могли угнетать нас, если только вы не решитесь пролить нашу невинную кровь» \*. Таким образом, уход пауперов на пустующие общинные земли, рассматриваемые в качестве их законной доли в общенациональном достоянии, и обработка их с целью получить независимый от чужой власти источник существования — единственный для них способ обрести свободу.

Далее шло изложение порядка вещей, который будет

---

\* Этот пассаж имел глубокий смысл. С одной стороны, уход бедноты на общинные земли означал освобождение от угнетавшего ее мирского порядка, основанного на частной собственности, в котором ей отводилась участь наиболее обездоленных и презираемых. С другой стороны, обрабатывая общинные земли и пустоши, диггеры не нарушали законов, охранявших частную собственность, и, следовательно, они не были подсудны этим законам.

отличать мир «общности земли», устанавливаемый на пустоши Св. Георгия диггерами, от порядков мира частной собственности, господствующих по соседству, за изгородями частных владений. И основное, чем определялось все остальное как производное коллективного труда на ничейной земле, — коллективное потребление произведенного, что исключало из обихода диггеров куплю-продажу и деньги как ее инструмент.

Нетрудно заключить, что общая тональность анализируемой «Декларации» диггеров свидетельствует о том, что жестокость врагов, каждый раз уничтожавших плоды их труда, не сломила их волю, а закалила ее. В этой связи характерен следующий ее пассаж: нуждаясь в плугах, телегах, хлебе и семенах, копатели не могут мириться с тем, что лорды соседних с колонией маноров Уолтон и Кобхем спешно рубят и свозят с занятой ими пустоши лес, который мог бы дать им необходимые средства просуществовать до первого урожая. Они предупреждают лордов маноров, что впредь будут задерживать их телеги, груженные общинным лесом, который предназначен для пользы тех, кто не щадит себя на благо ближнего.

Разумеется, диггеры были не одиноки. У них было немало сочувствующих их делу, и не только в близлежащих селениях, но и в других графствах \*. Без их явной и тайной поддержки горстка копателей не продержалась бы в условиях обрушившегося на них жестокого террора местных лендлордов и несколько дней, не то что долгие месяцы. Но именно поэтому о численности приверженцев дела диггеров нельзя судить по числу действительно поселившихся на пустоши колонистов или даже по числу лиц, подписывавших составленные от их имени декларации. Пришел в движение плебс и в ряде других графств. Имеются основания считать, что общее число колоний в Англии в 1649—1650 гг. приближалось к десяти. Учитывая общенациональный резонанс того, что случилось на холме Св. Георгия, Уинстенли и его соратники с целью вдохновить бедных в других графствах на аналогичные выступления считали важнее всего продержаться как можно дольше, какие бы муки ни выпали на их долю.

Таким образом, колония близ Кобхема была лишь

---

\* В начале июня 1649 г. Уинстенли в письме Ферфаксу отмечал: «Мы сознаем, что начатая нами обработка пустоши — предмет интереса всей страны; некоторые ее одобряют, другие — нет, некоторые являются друзьями, исполненными любви, и считают, что она преследует благо нации... другие являются врагами, полными негодования, и распространяют ложь о нас...»

наиболее выдающимся эпизодом самостоятельного движения сельского плебса. К сожалению, на самый интересный вопрос — как была организована повседневная жизнь колонии — сохранившиеся источники ответа не дают. Вероятнее всего, что на пустоши постоянно находились лишь считанные колонисты, большая их часть продолжала жить в соседних приходах, лишь время от времени появляясь на ней для участия в общих работах. В самом деле, под первой декларацией диггеров (конец апреля) значится пять подписей; под второй декларацией (июнь) — 45 подписей; между тем Глэдмен сообщает, что на холме их никогда не было более 20 человек; Ферфакс застал в конце мая 12 человек. Остальные были, вероятно, скорее сочувствующими делу Уинстенли, нежели его действительными участниками. По-видимому, лишь те бедняки, которые были лишены не только работы и хлеба, но и крова, составляли постоянное ядро колонии, в то время как другие оказывали им помощь кто трудом, кто лишь скудными средствами.

Между тем на колонию обрушивались все новые удары врагов. В начале июня лорды добились того, что на пустоши появились пехотинцы, расквартированные в Уолтоне, во главе с капитаном Стрэви. Они тяжело ранили одного из диггеров, избили работавшего с ним подростка и сожгли дом. 9 июня Уинстенли обратился к Ферфаксу с жалобой на действия солдат. В письме, лично врученном генералу, он снова подчеркивал готовность, если это будет неотвратимо, умереть, выполняя «нашу обязанность перед создателем — освободить его творение от рабства».

В этом письме Уинстенли сделал еще один шаг в развитии доктрины нормандского ига \*, о которой уже упоминалось. Как известно, этой доктриной в своих сиюминутных целях пользовались идеологи различных политических течений в лагере революции. Однако только в социальной философии Уинстенли она служила обоснованием крестьянско-плебейской программы радикальной чистки страны от феодализма. Следуя логике, в которой эта доктрина предстает в анализируемом «Письме к Ферфаксу», она вкратце может быть изложена следующим образом. Вильгельм Завоеватель, став королем Англии, лишил англичан их прирожденного права — владения

---

\* В этой доктрине переплелись элементы подлинной истории с мифологией, восходившей не только к фольклорной традиции, но и к сообщениям тогдашней историографии.

землей, сделав их тем самым слугами нормандских солдат, превратившихся в лордов маноров. С тех пор английская корона оказалась в руках завоевателей. Следовательно, и король Карл I Стюарт унаследовал свою корону от Вильгельма Завоевателя. Само собой разумеется, что все издававшиеся с тех пор законы только то и делали, что закрепляли результаты нормандского завоевания. Опираясь на эти королевские законы \*, джентри и клирики продолжают удерживать общины Англии в рабстве.

Вначале Уинстенли по сути излагал точку зрения по этому вопросу, общую для всей демократической оппозиции Республике 1649 г., требовавшей введения «всеобщего» избирательного права, кодификации действующего права, судебной реформы, изменений в уголовном законодательстве. Однако то, что следовало дальше в рассуждениях Уинстенли о «нормандском иге», было абсолютно оригинальным — развитие этого сюжета и составило саму суть плебейско-крестьянской аграрной революции. Так, в указанном «Письме» Уинстенли мы читаем: «Не являются ли лорды маноров наследниками полковников и высших офицеров Вильгельма Завоевателя.. (а) власть меча была и поныне остается печатью (т. е. узаконением) их титула?» И далее следовал вопрос, правда сугубо риторический, но по важности решающий в цепи аргументов Уинстенли: «Не лишились ли лорды маноров своих владельческих титулов (полученных по наследству от Завоевателя), с тех пор как простой народ Англии, а также некоторая [часть] джентри одержали победу над королем Карлом и освободили себя от [ига] нормандского завоевания?» Таков был решающей важности политический аргумент Уинстенли в обосновании правоты дела диггеров. Из него следовало: так как нормандский завоеватель лишил свободы весь английский народ, отняв у него землю, таким же образом «каждый англичанин ныне, после уничтожения монархии — освобождения страны от (ига) завоевания, должен снова вернуться к свободе, невзирая на его сословную принадлежность, в противном случае какую пользу извлечет для себя простой народ (больше всего пострадавший от гражданских войн) из победы, одержанной над королем?».

Обращает на себя внимание одно принципиально

---

\* Уинстенли не ошибался не только по сути вещей, но и формально, именуя свод законов Республики 1649 г. «королевским», поскольку после казни короля было официально объявлено о том, что законы, действовавшие ранее, остаются в силе и при новом режиме.



важное обстоятельство: в данном контексте понятие «свобода» в толковании Уинстенли значительно расширено: оно отражает не только интересы безземельных (безразлично, оставались они в деревне или покинули ее), требовавших свободного доступа к неподеленным землям (общинным угодьям и пустошам), но и интересы надельных, феодально-зависимых держателей — так называемых копигольдеров, требовавших освобождения своих наделов от произвольной по сути власти лордов маноров и тем самым превращения их держаний в свободную собственность.

Об этом важном сдвиге в программе диггеров не трудно заключить хотя бы по тому, что термин «commons» — общинные земли — в данном контексте противопоставлен термину «inclosures», т. е. огороженные земли, как собственность лордов противопоставлена всем неогороженным в маноре землям, как пахотным (так называемым открытым полям), так и неподеленным (общинным угодьям), на которые право собственности лордов не должно распространяться. Этот сдвиг находит параллель и в том, что джентри (лордам маноров) в данном контексте противопоставляются не бедные, как это имело место раньше, а социальная категория более широкая — «простой народ», «общины Англии», включавшая всех, кроме титулованных дворян. Иными словами, аграрная программа плебса сожмнулась с аграрной программой массы крестьян-копигольдеров в единую крестьянско-плебейскую, поскольку решение одной из них невозможно было без того, чтобы не решить «попутно» другую.

Естественно, что в условиях далеко зашедшего социально-имущественного расслоения английской деревни объединение в одной программе требований копигольдеров и безнадельных плебеев могло быть реализовано только в результате действительно массовых крестьянских выступлений. Между тем коллективистские принципы землепользования и потребления, которых придерживались диггеры, не только не способствовали консолидации революционных сил деревни, но и, более того, могли в тех условиях только насторожить и оттолкнуть от них зажиточную часть надельных копигольдеров. Однако в данном случае важно отметить другое: сколь глубоко вскрыл Уинстенли основное классовое противоречие в лагере революции на почве аграрного вопроса и в какой степени политико-экономически верно (эта мысль недавно была подтверждена специальными исследованиями) был им указан водораздел, размежевавший англий-

скую деревню на два лагеря: буржуазно-дворянский и крестьянско-плебейский.

Иными словами, положение, выраженное еще в самой общей форме в «Новом законе справедливости», — «каждый создан творцом быть лордом над творением — землей... а не для того, чтобы один был крепостным-рабом и нищим у себе подобного» — теперь было раскрыто в терминах оппозиции, которую не встретишь больше ни у одного другого политического философа или деятеля периода Революции. Так, один только Уинстенли вскрыл классово-эгоистическую суть парламентского акта об отмене рыцарского держания (февраль 1646 г.) как одностороннюю (исключительно в пользу лендлордов) отмену феодального строя землевладения, в то время как феодально-зависимое крестьянство оставлено было под игом того же строя, так как по отношению к нему полностью сохранилась вся власть лендлордов.

Так, в «Обращении к палате общин» (июль 1649 г.) Уинстенли писал: «Если вы нашли, что Палата по делам опеки являлась обременительной, и освободили лордов маноров и джентри от уплаты фэйнов королю, и освободили их детей от рабства опеки, пусть и беднейший народ будет освобожден от принесения омажа \* лордам маноров... и, видя, что вы уничтожили волю короля, порабоцавшую лордов, уничтожьте же волю лордов маноров, порабоцавшую простой народ». Поскольку, и это было общеизвестно, копигольдеры по букве права являлись держателями «на воле лорда», то в этом призыве Уинстенли содержалось уже прямое требование «отменить держание по копни», превратив его в свободное от воли лордов, независимое, т. е. во фригольд... Еще раз подчеркнем, что трудно переоценить все историческо-познавательное значение проведенной Уинстенли параллели.

Этим Уинстенли вскрыл суть различий между буржуазно-дворянской и крестьянско-плебейской аграрными программами революции.

Выше уже отмечалось, что в сравнении с первой декларацией диггеров практическое истолкование содержания положения «земля — общая сокровищница чело-

---

\* Учреждение, основанное на признании всех держателей земли от короля на рыцарском праве его вассалами, вследствие чего король осуществляла над их владениями право сюзерена, в частности право опеки над малолетними наследниками (в случае смерти их отца) и распоряжения — до их совершеннолетия — доходами с их земельных владений.

вещства» в публицистике Уинстенли июня и июля 1649 г. значительно расширилось. Нет сомнения, что это было результатом исторического опыта диггеров, их столкновения лицом к лицу с терроризировавшими их лордами соседних маноров и поддержки их начинания многими надельными держателями \*. Вместо ограниченного требования разрешить бедным обрабатывать общинные земли и пустоши теперь появилось и требование освободить надельную землю от власти лендлордов. Испытав на себе их тираническую власть, диггеры ясно себе представили и положение копигольдеров, и взаимосвязанность собственной борьбы за право обрабатывать общинные угодья с чаяниями копигольдеров об отмене их полукрепостного по своему характеру держания.

Неудивительно, что ясное понимание всей меры этой взаимосвязанности было достигнуто Уинстенли лишь в ходе и к концу печального опыта колонии диггеров на холме Св. Георгия. Так, в обращении к англичанам (март 1650 г.) требования копигольдеров не косвенно, как в прошлом, а прямо уже упоминаются в программе диггеров. Так, ссылаясь на акты парламента об отмене монархического правления и об упразднении палаты лордов, а также обязательство о верности Республике (подписание которого требовалось от всех магистратов Англии), Уинстенли писал: «Теперь да будет ведомо всем англичанам, что в силу этих двух законов и обязательств держатели копигольда свободны от подчинения лордам маноров, и все бедные люди могут строить (жилища) и культивировать общинные угодья... Равным образом лорды маноров не могут заставить копигольдеров ни посещать их манориальные суды... ни присягать на верность им, ни платить им *файны*, *герюоты*, *ренты*... как это было прежде, когда король и лорды находились у власти. И если (эти) держатели восстанут с целью отстоять свою свободу против угнетающей их власти лордов, они не преступят законы, а [наоборот], они защищены законами и обязательствами».

Мы не случайно столь подробно остановились на роли, которую сыграл Уинстенли в формулировании аграрно-крестьянского вопроса как стержневого вопроса рево-

---

\* Вот что сообщал Уинстенли в письме к Ферфаксу 9 июня 1649 г.: «Когда Вы посетили нас на холме (Св. Георгия), мы сказали Вам, что многие сельские жители, которые вначале были обижены на нас, теперь благорасположены к нам, видя справедливость нашего начинания, действуют нам».

люции. И здесь следует подчеркнуть, что к пониманию неразрывной связи борьбы плебса за право обрабатывать общинные земли с требованиями освободить копигольд от власти лендлордов его подвела драматическая история колонии диггеров близ Кобхема. Так или иначе, но Уинстенли единственный из деятелей демократического крыла революции осознал эту связь, и в этом заключена уникальность его теоретической и политической позиции.

Дело в том, что в литературе, посвященной Уинстенли, он предстает либо как религиозный мыслитель, либо как создатель «коммунистической утопии» и руководитель «коммунистического» эксперимента диггеров на холме Св. Георгия. Однако сами масштабы этого эксперимента превращают его в малозначительный эпизод, хотя и вызванный революцией, но оказавшийся в стороне от нее, от главного ее течения и прямого отношения к ее объективным целям не имевший. Не случайно и в одном и в другом случае Уинстенли предстает либо не от мира сего религиозным мыслителем, либо зачинателем движения, в зародыше осужденного на неудачу, хотя и благородного по его гуманитарной цели. Между тем только знамя диггеров, поднятое Уинстенли, вскрыло односторонний, буржуазно-дворянский характер свершений революции, указав на задачу, от решения которой она отвернулась, но которая *единственно заключала в себе предпосылку обеспечить Республике 1649 года поддержку народных масс.* Итак, то обстоятельство, что Уинстенли не только теоретически обосновал, но и практически возглавил борьбу за решение этой задачи, позволяет видеть в нем наиболее выдающегося деятеля революции на высшем, республиканском этапе ее развертывания.

Разумеется, тот факт, что на этом этапе два течения революционной демократии — мелкобуржуазное (во главе с политическими левеллерами) и плебейско-крестьянское (во главе с «истинным» левеллером) — не слились в единый поток, а оставались разрозненными, осуждало каждое из них на неизбежное поражение. В частности, судьба колонии диггеров на холме Св. Георгия хорошо иллюстрирует эту истину, впрочем, так же, как и исход солдатского восстания под знаменем левеллеров весной 1649 г. Правда, колония диггеров — парадоксально, но, может быть, именно по причине их отказа от сопротивления насилию — оказалась более долговечной. Однако ее существование, хотя и длилось без малого год, все же было скорее призрачным, нежели реальным. После нескольких нападений на диггеров в июне, в ходе которых

посевы уничтожались, скот калечился, имущество захватывалось, дома сжигались, а их обитатели до смерти избивались и сгонялись с пустоши, против них было начато судебное преследование по иску лорда соседнего манора Фрэнсиса Дрейка. Выслушав только сторону истца (диггеры выслушать отказались на том основании, что они пренебрегли услугами платного адвоката), жюри, соответствующим образом настроенное, вынесло обвинительный приговор. Каждый из привлеченных к ответу, в том числе и Уинстенли, должен был уплатить штраф в 10 ф. ст., а также покрыть судебные расходы. Так как заранее было известно, что диггеры ничего не имели для конфискации в покрытие столь больших для них сумм, то очевидно, что главная цель суда заключалась в том, чтобы создать юридическую основу для их дальнейшего преследования. И оно продолжалось беспрерывно вплоть до глубокой осени.

Когда стало очевидно, что непрерывный и жестокий террор, развернутый лордами маноров, сделал невозможным дальнейшее пребывание диггеров на пустоши манора Уолтон, они перенесли свою колонию на ту часть пустоши, которая находилась в маноре Кобхем, являвшемся собственностью пастора Джона Плэтта. Но приближалась зима, жить под открытым небом было уже невозможно. К тому же пастор Плэтт оказался врагом еще более жестоким и коварным, чем светский лорд Уолтона. Мировые судьи тотчас же явились к копателям с требованием покинуть пустошь. Их поддержал своим авторитетом шериф графства. Когда же диггеры отказались подчиниться, в Лондон снова посыпались доносы, в которых их называли и роялистами, и атеистами, и многоженцами... Наконец, их арестовали и держали под замком пять недель.

10 октября Государственный совет вторично распорядился направить против диггеров вооруженный отряд. 27 и 28 ноября диггеры снова подверглись нападению со стороны наемников лорда манора: они разрушили дом, построенный на пустоши, и унесли обнаруженное в нем имущество. Сами диггеры были ранены. Однако вопреки ожиданиям врагов они снова вернулись. Вместо дома они выкопали землянки, засеяли несколько акров пшеницей и рожью, заявив преследователям, что скорее погибнут, чем прервут начатое дело. В этих условиях Уинстенли пишет два письма генералу Ферфаксу с жалобой на действия солдат в нарушение его обещания о невмешательстве армии, он апеллирует к Лондонскому совету, к докторам богословия английских университетов, наконец, пи-

шет полный горечи обвинительный памфлет «Новогодний дар парламенту и армии». «Почему вы столь ненавидите копателей?» — обращается он с вопросом к власти имущим, все еще пытаюсь убедить их в лояльности своих соратников к Республике, в том, что они не затрагивают чью-либо собственность. Он призывает: «О, дайте им жить... некоторые из них были солдатами, другие — сельские жители, являвшиеся всегда сторонниками дела парламента».

Правда, в этом памфлете уже прозвучали первые ноты усталости и разочарования. «Англия — тюрьма... бедные люди ее — арестанты». И это неудивительно: прошло уже много месяцев с тех пор, как ими было поднято знамя этого своеобразного восстания беднейших общин Англии против власти лендлордов, и тем не менее у них все еще не оказалось тех многочисленных последователей, которых они ждали весной. Движение так и не стало подлинно массовым, диггеры на холме Св. Георгия боролись в одиночку. Они потеряли все, чем располагали в начале работы. Урожай им так и не удалось собрать. Шла зима, они остались без средств, без жилья, гонимые и затравленные — горстка страдальцев. И тем не менее диггеры не сдавались. Вынужденные покинуть первоначально разрушенный ими участок пустоши, они переходили на другой ее клочок.

Как прошла для них зима, неизвестно. Во всяком случае весной 1650 г. их деятельность оживилась. К этому времени по их примеру появились колонии бедных и на пустошах в ряде других графств. Для распространения правды об их положении среди населения зачинатели колонии близ Кобхема направили своих представителей в графства Бекингем, Гертфорд, Бедфорд, Мидлсекс, Гентингдон, Норсемптон \*. Они взяли с собой письмо Уинстенли, подписанное 25 диггерами Кобхема. Подчеркивая, что они полны решимости продолжить начатое дело — освобождение страны от тирании, Уинстенли предупреждает своих единомышленников по всей Англии, что крайняя нужда, которую диггеры близ Кобхема испытывают вот уже целый год, может вынудить их прервать работу и это будет равносильно крушению

---

\* Эта акция была ускорена одним обстоятельством. Воспользовавшись растущей среди малоимущих слоев населения симпатией к началу Уинстенли и его соратников, неизвестные лица разъезжали по графствам и, предъявляя поддельное письмо за подписью Уинстенли, собирали средства, которые, разумеется, ими же и присваивались.

надежд всех бедняков Англии на свое скорое избавление. Однако эмиссары диггеров Кобхема были вскоре арестованы в г. Уэллингборо (Норсемптоншир). В руках властей оказались письмо Уинстенли и запись с перечнем посещенных ими мест.

В марте 1650 г. «бедные жители» Уэллингборо объявили в своей «Декларации», что приступили к обработке общинной пустоши, именуемой Баршенк, и что некоторые фригольдеры согласились отказаться от своих прав на эту пустошь в пользу диггеров, в то время как другие обещали снабжать их семенами для посева. В «Декларации» диггеров Уэллингборо сообщалось, что около 300 человек готовы последовать примеру Уинстенли. Неудивительно, что Государственный совет был не на шутку встревожен. В письме к мировым судьям графства Норсемптон им были одобрены меры, принятые последними против «левеллеров»\*, и содержался совет использовать в полном объеме закон против тех, «кто вторгается в частную собственность».

Подобное же выступление диггеров произошло в Коксхолме (графство Кент) и в ряде других графств. Естественно, что наибольшую ненависть властей вызывал вдохновлявший бедных пример колонии, возглавлявшейся Уинстенли. В конце февраля 1650 г. Государственный совет сообщал Ферфаксу о непрекращающихся жалобах на диггеров Кобхема, подчеркивая при этом, что их безнаказанность «вдохновляет распущенную и беспорядочную толпу к большой смелости», тем самым побуждая его на военную акцию против безоружных копателей. Почувствовав поддержку Лондона, осмелели и местные лорды. В конце марта наемники местного лорда манора Плэтта прогнали диггеров — в какой уже раз — с холма Св. Георгия. Однако после ухода гонителей те снова обосновались на клочке пустоши неподалеку. В пятницу на пасхальной неделе благочестивый Плэтт явился в сопровождении 50 человек и приказал сжечь все найденное здесь имущество. С целью предотвратить возвращение разогнанных наемниками диггеров он оставил на пустоши несколько стражей для круглосуточного дежурства.

Так закончилось это полное драматизма «мирное» восстание сельского плебса против системы лендлордиз-

---

\* Так именовались во время крестьянского восстания 1607 г. те, кто сносил возведенные на общинных землях изгороди. Как мы убедились в отношении диггеров, подобный стигмат являлся образчиком сознательной клеветы.

ма. Выступив против земельной монополии лендлордов под знаменем борьбы за действительную свободу простого люда, Уинстенли предпринял попытку противопоставить миру алчности и угнетения, пусть в миниатюре, «царство справедливости», хотя последнее было воздвигнуто всего лишь на клочке пустоши в несколько акров. Так полагал Уинстенли. Разумеется, выступление диггеров было с самого начала осуждено на неудачу. И дело не только в их малочисленности, но и в самой форме их восстания. Как был убежден Уинстенли, диггерам не было необходимости прибегать к силе даже в целях самозащиты: «То, что силой воздвигнуто, силой будет разрушено». Справедливость в ней не нуждается. Она торжествует с помощью оружия духовного. Правда победит любовью!

Выше уже были изложены религиозно-философские предпосылки этой тактики, которая при всей кажущейся наивности и фатальности тем не менее в тех условиях и при том соотношении сил имела одно несомненное преимущество — она определенным образом сковывала подавляющую силу врагов. Именно благодаря этой тактике горстка диггеров продержалась на холме Св. Георгия почти целый год, бросая открытый вызов режиму независимой Республики, — срок при такой тактике фантастический. Нужно ли более очевидное доказательство этой истины, чем судьба майского вооруженного восстания солдат под знаменем левеллеров (1649 г.)?

В своем «прощальном слове», именуемом «Смиренная просьба к служителям обоих (Оксфордского и Кембриджского) университетов», Уинстенли, признавая по существу неудачу возглавляемого им движения, вместе с тем утверждал, что цели его имеют непреходящее значение — они непобедимы. Уинстенли ни в малейшей степени не переоценивал историческое значение выступления диггеров, когда он утверждал, что *борьба бедного люда против манориальных лордов из-за общинных земель — величайшая из контрверз, которые имели место (в Англии) за последние 600 лет*».

Тем самым он отчетливо поставил движение диггеров в связь с многовековой борьбой английского крестьянства за свободное от власти лендлордов землепользование. Следовательно, смысл движения диггеров он сам истолковал как *борьбу за аграрный переворот в пользу тех, кто трудится на земле*. Наконец, то, что Республика 1649 года выступила на стороне лендлордов против диггеров, Уинстенли расценил как предательство дела, во имя которого



общины Англии вели гражданские войны против короля и его приверженцев. И он предупреждал, что, *выступив против диггеров, Республика бросилась в объятия своих заклятых врагов — роялистов*. «Мы знаем, — писал он, — что Англия не может быть свободной республикой, если только бедные общины не получат свободного доступа и пользования землей». Ибо, хотя монархия объявлена несуществующей, *уничтожение королевской власти невозможно до тех пор, пока она оставлена в руках манориальных лордов*. Это было по сути самое серьезное предупреждение Республике о грозящей ей опасности — оттолкнув от себя бедные общины, она лишается оплота, и ее падение станет неминуемым: «Англия, берегись, ты в опасности оказаться под нормандской властью в еще большей мере (чем прежде), хотя ты и свергла короля... хотя парламент и уничтожил монархию... тем не менее... армия Завоевателя начала снова поднимать голову». *Сохранение власти лендлордов предсказывает неминуемое падение этой Республики*.

И тем не менее Уинстенли в отличие от Лильберна, понимая не хуже его всю меру антинародной политики Республики, не колебался в вопросе, с кем ему по пути: с монархией или с Республикой? Недавно обнаруженный неизвестный памфлет Уинстенли \* «Английский дух... раскрытый, или Побуждение взять на себя обязательство» если и расширил в чем-то наши представления об Уинстенли как о мыслителе-революционере, то только постольку, поскольку это относится к его политическим воззрениям. Хотя точная датировка этого памфлета оказалась невозможной (вероятнее всего он был опубликован ранней весной 1650 г.), Уинстенли в нем выступает на стороне существующей Республики, рассматривая республиканский режим как единственную оставшуюся еще надежду на улучшение положения народных низов.

Призывая поддержать «новое обязательство» (своего рода присягу на верность Республике), Уинстенли отдавал себе отчет в том, что сохранение республиканского правления является предпосылкой хотя бы самой возможности устно и печатно привлечь внимание властей к положению бедных, не говоря уже об ожидании мер, направленных на его улучшение. Правда, в последовавшем затем памфлете «Огонь в бусе» \*\* (1650 г.), опубли-

---

\* Его обнаружил и опубликовал английский исследователь У. Эйлмер.

\*\* Необработанная площадь, заросшая кустарником.

кованном, по-видимому, вскоре после трагического исхода социального эксперимента на холме Св. Георгия, Уинстенли бескомпромиссно изобличает Республику в предательстве, достигая, казалось бы, вершины в публичной критике новых распорядителей жизни в стране.

«Вы, угнетающие власти, полагающие, что на вас почил божье благословение, так как вы заняли кресла в правительстве, из которых изгнаны прежние тираны... вы, претендовавшие на то, чтобы быть спасителями народа... оказались лишь служителями своей собственной корысти... не обращая внимания на стоны бедных, воистину вы неминуемо испытаете в свою очередь падение (Overturning)».

В более широком плане Уинстенли предсказывал неминуемое уничтожение всех своекорыстных правительств на Земле.

Тем не менее в последнем своем памфлете — «Закон свободы», создание которого относится к осени 1651 г., Уинстенли поместил посвящение Кромвелю, остававшемуся его надеждой.

Итак, эпопея нескольких десятков диггеров завершилась. «Локальный эпизод», как воспринимали ее современники, в действительности был начинанием непреходящего исторического смысла и значения — такой она предстает в видении их далеких потомков. Долгие месяцы непрерывных преследований и физического террора со стороны соседних манориальных лордов, поощряемых лондонскими властями, сделали свое дело — диггеры были подавлены и рассеяны.

Что ждало впереди их предводителя, идеолога и вдохновителя Уинстенли? Иносказательно он сам ответит на этот волнующий нас вопрос: «Теперь мое здоровье [подорвано] и имущество пришло в упадок. Я состарился и должен либо просить милостыню, либо трудиться за поденную плату на другого, в то время как земля является в такой же мере моим наследством и прирожденным правом, как и того, на которого я вынужден работать. И если я не могу жить на заработанное моими слабыми силами и присвою необходимое, он повесит меня, как вора».

Разумеется, в данном пассаже обрисовано скорее всего типичное будущее состарившегося бедняка, судьба тысяч и тысяч таких же, каким себя признавал сам Уинстенли, бедняков, тем не менее личный мотив явно сквозит в каждом слове этого признания. Правда, судя по всему, сам Уинстенли в дальнейшем избежал подобной участи. По-

видимому, вскоре после окончательного подавления выступления диггеров вблизи Кобхема он с несколькими ближайшими соратниками покинул на время этот приход. По приглашению столь же состоятельной, сколь и экстравагантной леди Элеонор Девис, увлекавшейся проповедничеством, они обосновались в качестве наемных слуг в ее владении в графстве Гертфорд. На долю Уинстенли выпали функции не то сборщика рент, не то стюарда (управляющего) этого владения\*.

Однако и на этом поприще, как и ранее в торговле, Уинстенли вскоре обнаружил свою «деловую» непригодность: честность и совестливость, доверчивость и сострадание в человеческих отношениях не были теми чертами характера, которые обеспечивали хозяйственное преуспевание. Более чем вероятно, что именно на этой почве у него в конце 1650 г. возник конфликт с «сердобольной» леди, что вынудило его вернуться в прежний приход.

Осенью 1651 г. Уинстенли завершил свое последнее и наиболее выдающееся произведение — «Закон свободы» (посвящение Кромвелю датировано 5 ноября 1651 г.). При этом Уинстенли указывает, что намеревался представить этот памфлет на усмотрение Кромвеля около двух лет назад (т. е. в 1649 г.). Однако по причине «смутного времени» он все откладывал его завершение. Вероятно, он ждал, чем же завершится выступление диггеров. Имело значение и иное. Вопреки достаточным свидетельствам того, сколь узкими рамками было ограничено свободолюбие Кромвеля, сколь беспощадным он выказал себя в 1649 г. во время восстания армейских левеллеров, в среде народных низов все еще не угасла надежда на то, что справедливость в его действиях в конечном счете еще восторжествует. Имя «главного цареубийцы» Кромвеля все еще ассоциировалось в сознании низов с непримиримой враждой к монархии, явным и тайным ее приверженцам. К концу 1651 г. эти надежды заметно оживились по мере роста недовольства Кромвеля политикой «охвостья» Долгого парламента. Побуждаемый указанными надеждами на возможное «возрождение Кромвеля» и многочисленными проектами, каким образом надлежит устроить дела в Республике, дабы она заслужила доверие

---

\* Один из ведущих проповедников секты так называемых рантеров, Лоуренс Кларксон, рассматривал функции Уинстенли в этой должности как «постыдное отступление» от его начинаний на холме Св. Георгия. На этом основании он обвинил Уинстенли в «самолюбии и тщеславии».

граждан, Уинстенли отважился выступить со своим проектом, названным им «Закон свободы».

## Социальная утопия Уинстенли

В своем обращении к Кромвелю Уинстенли писал: «Всевышний отметил Вас высочайшим почетом, который когда-либо выпадал на долю человека... быть главой народа, сбросившего с себя иго фараоново». С поразительной остротой исторического прозрения Уинстенли предупреждал Кромвеля: дальнейшая судьба Республики зависит от поддержки ее народными массами. «Теперь, [когда] вся власть в стране находится в Ваших руках, Вы совершите одно из двух: либо объявите землю свободной для угнетенных общинников, либо лишь смените лиц, [стоящих] у кормила правления, оставив нетронутыми старые законы, и тогда Ваша мудрость и почет будут развеяны навеки, и Вы либо погибнете сами, либо заложите основание еще большего рабства потомков».

Публицистика Уинстенли 1649 г. не оставляет сомнения в том, что он не только отвергал имущественное неравенство между людьми, но и был, вероятно, одним из немногих или даже единственным мыслителем своего времени, столь глубоко проникшим в эксплуататорское происхождение и сущность этого неравенства.

«Ни один человек, — писал он в «Законе свободы», — не может разбогатеть иначе как либо собственным трудом, либо при помощи труда других людей. Если человек не пользуется трудом другого, он никогда не накопит состояния в сотни и тысячи фунтов дохода в год \*». И далее: «Но все богатые люди живут праздно, питаюсь и одеваюсь трудом других, а не трудом собственным... Богатые люди получают все, чем владеют, из рук труженика». И наконец, «воистину простой народ с того момента, как восторжествовали частные интересы, возвысил (своим трудом) лордов, превратив их в своих тиранов и угнетателей».

Неудивительно, что именно он задумался не только над условиями возникновения этого строя, но и над путя-

---

\* Состояние можно было оценивать двумя способами: либо указывая его совокупную (разовую) стоимость, либо оценивая его по тому, какой доход оно приносит в год (проценты на деньги, отданные займы, годичный доход с земли, дома). В данном случае речь идет именно о последнем способе оценки.

ми избавления от него человечества. Поскольку частная собственность на землю — этот исторически отправной источник имущественного неравенства людей — обусловила саму возможность существования строя эксплуатации человека человеком (или, как Уинстенли писал, давала возможность одному человеку «быть лордом по отношению к себе подобному»), постольку предпосылкой установления строя справедливости в глазах Уинстенли должно было явиться *признание земли ничейной собственностью, общей сокровищницей народа Англии*. Среднего пути между этими двумя правопорядками, подчеркивал Уинстенли, нет. Этим полярным формам собственности, убеждал он Кромвеля, соответствуют столь же противоположные формы политического устройства страны — истинно республиканское правительство в первом случае и монархическое, по сути королевское (если даже оно именуется Республикой) — во втором, и, следовательно, в государственном строе также нет и не может быть «среднего пути». Ибо дело не *во внешних, юридических определениях самих государственных институтов, а в том, какую форму земельной собственности и землепользования они олицетворяют и отстаивают*.

Неудивительно поэтому, что Уинстенли озаглавил свой проект переустройства общества на основе отмены частной собственности на землю и частного землепользования «Закон свободы, или Истинное правление восстановленное». Выше уже было отмечено, что, представляя на «суд Кромвеля» этот памфлет, Уинстенли рассматривал его в качестве своего рода «конституции» — подробного описания всех сторон жизни граждан рисовавшегося его воображению идеального государственного устройства. По признанию самого Уинстенли, этот идеал, почерпнутый им, как мы уже знаем, не из книг, «жег его огнем» с того самого момента, когда он был «подсказан» ему «внутренним голосом». По этой причине он «собрал вместе столько разбросанных его набросков, сколько ему удалось обнаружить, и, сведя их воедино, решился наконец представить их Кромвелю и тем успокоил «свой дух»».

Как мы видим, социальная утопия Уинстенли — плод нелегких, мучительных раздумий над претворением в жизнь строя равенства и свободы. Она — результат глубокого проникновения в основные противоречия, раздиравшие изнутри Республику 1649 г. — эту откровенную олигархию индипендентского джентри и находившейся в союзе с ним буржуазии. Это в то же время и *программа*,

составленная для этой же Республики (если она в лице Кромвелля окажется еще способной «прозреть» и возродиться для дела свободы), и, наконец, *завещание* потомкам тех, кто пытался собственными силами вопреки Республике эту программу претворить в жизнь.

Вот почему Уинстенли сопроводил свое обращение к Кромвеллю словами: «Теперь я поместил лампаду у Вашей двери, ибо Вы обладаете властью действовать во имя народной свободы... если Вы [этого] пожелаете. Я же сил не имею».

Важность этого произведения, отразившего завершающую фазу духовных исканий Уинстенли, для понимания его места не только в истории социальной и политической мысли Английской революции середины XVII века, но и в истории социально-утопической мысли в целом столь велика, что мы вынуждены несколько подробнее остановиться на его структуре. По своему содержанию «Закон свободы» легко расчленяется на три части: 1) критика современной автору действительности (и перечень жалоб бедных общин); 2) рассуждения о природе государства и права и 3) собственно утопия — описание экономической, социальной и политической организации идеального, в представлении Уинстенли, общества, включающего (помимо некоторых космологических наблюдений) и кодекс основополагающих законов этого общества. Наконец, вряд ли после всего предшествующего требуется напоминать, что перед нами не ученый трактат, а *произведение народной литературы*, лишенное четкого внутреннего плана и последовательного изложения предмета. Но тем непостижимее оказывается та высота мысли, на которую в ходе социальной революции оказалась способной подняться, в лице Уинстенли, эта литература в сравнении с ученой литературой этого периода.

Начать с того, что Уинстенли — первый в ряду великих социалистов-утопистов — отступил от традиционного со времени Мора изображения якобы уже существующего «где-то» идеального общества — своего рода утопического «романа». Для него эти гармонические формы человеческого общежития предстали не «заморской былью», не «прекрасным далеко», а «планом» общественного устройства, который при желании может быть немедленно осуществлен здесь и тотчас же — в современной ему Англии. Поэтому он и создал не коммунистическое повествование об «увиденном» или «услышанном», а проект конституции такого общества, практически охватывающего все стороны его жизни, ведь Республика все еще су-

ществовала и Кромвель, скорее имя его, все еще вселял надежды...

И еще одна особенность рассматриваемой утопии: в отличие от утопических социальных систем, являвшихся выводом из более или менее абстрактных постулатов разума и морали, автор «Закона свободы» исходил в описании деталей справедливого общественного устройства из тех конкретных условий, которые имелись налицо в Англии 40-х годов. Таким образом, задача будто бы сводилась к тому, чтобы, сохранив существующее, очистить его от пороков, привносимых в него наследием «королевского правительства», а именно сохранением власти лордов над землей, равно как и денег, торговли, несправедливых законов и судов и т. п. Итак, Уинстенли создавал утопическую систему, опираясь на исторические реалии данной страны и данного времени. По этой причине содержание его утопии — не только выдающийся памятник утопической мысли, но и важное свидетельство исторического характера этих реалий.

Однако, прежде чем мы перейдем к рассмотрению содержания отдельных частей «Закона свободы», следует заметить, что мышление автора претерпело значительный сдвиг не только в сравнении с его памфлетами 1648 г., но даже с памфлетом «Новый закон справедливости» (начало 1649 г.). В «Законе свободы» пред нами предстает не только мыслитель-рационалист, ставящий по существу разум на место веры, но и близкий к материализму пантеист — в объяснении окружающего его мира. Вместе с тем обнаруживается, что уже ранее отмечалось, в какой степени Уинстенли в качестве социального критика современного ему общества опередил свое время — социально-политическую мысль Англии XVII века в целом. Вместе с тем «Закон свободы» свидетельствует о том, что помимо логической стройности в компоновке материала его автору явно недоставало историзма в представлениях о человеке как о развивающемся индивиду, равно как и обществе в целом. Кстати, все социальные утопии ориентировались на статику, недаром в них, как правило, предусматриваются меры, предупреждающие возможность изменений в будущем.

Как нам уже известно, оригинальность Уинстенли в истолковании понятия «свобода» заключалась в том, что она отождествлялась им со всеобщей свободой землепользования (и тем самым с запретом присваивать в чью-либо частную собственность какую-либо часть этого основного источника средств существования человека). Следова-

тельно, в отличие от индипендентов и левеллеров истинно свободным в глазах Уинстенли является только то общественное устройство, при котором каждому индивиду, независимо от ранга и его сословной принадлежности, обеспечены свободный доступ к земле и пользование ею.

В обществе, в котором царит «воровское искусство» торговли, и прежде всего купли-продажи земли, неизбежно устанавливаются роскошь немногих и нищета тех, чьим трудом эта роскошь создается и поддерживается. «Вот рабство,— пишет Уинстенли,— на которое бедные жалуются: они живут в нищете в стране, где так много изобилия для каждого». Из условий социальной несправедливости и угнетения, царящих в обществе, основанном на частной собственности на землю, Уинстенли выводит нравственные пороки людей: «рабство духа», алчность, гордость, лицемерие, зависть, страх, горе, отчаяние. «Я уверен,— читаем мы в «Законе свободы»,— что, будучи надлежащим образом рассмотренным, окажется, что внутреннее рабство духа... причиняется рабством внешним, на которое один род людей осуждает другой».

Очевидно, что под пером Уинстенли идея «прирожденных прав» (вытекавшая из учения о так называемом естественном праве) наполнилась именно тем содержанием, которого так страшился оратор индипендентов на конференции в Пэтни Айртон: каждому человеку, родившемуся в Англии, принадлежит право поддерживать свою жизнь плодами рук своих, возвращенными на свободной от чьей бы то ни было власти земле. Но в такой же мере, в какой Уинстенли не устает подчеркивать, что земля — коллективное достояние народа, он почти полностью обходит вопрос о форме собственности на неземледельческие орудия труда.

Исследователи, обратившие внимание на этот факт, склонны были объяснить его узостью экономического кругозора Уинстенли, его неосведомленностью о природе общественного производства в Англии той поры. В действительности же ключ к этому «упущению» следует искать в общественных условиях народной жизни того времени. Сельское хозяйство (а не промышленность), в восприятии современников, еще в такой степени олицетворяло сферу производства материальных благ как таковых, что даже Петти и Локк десятилетия спустя все еще отождествляли собственность с земельной собственностью, а ренту — с нормальной формой прибавочной стоимости. Неудивительно, что земледелие и в глазах Уинстенли являлось источником всех ремесел в обществе.



Ремесла как бы только продолжают и завершают труд земледельца. Садовник вызывает к жизни винодела, пастух — ткача и кожевника и т. п. \*

Иными словами, ремесло лишь видоизменяет форму продукта, доставляемого земледельцем, оно только разнообразит элементы общественного богатства, но не увеличивает его сумму, ничего к нему не прибавляя. К тому же, поскольку в основе промышленности все еще лежал ручной труд, постольку решающим условием производства, по крайней мере в традиционных отраслях, должна была по-прежнему оставаться профессиональная сноровка труженика при относительно простых и доступных орудиях труда, не выступавших еще в общественном сознании того времени в качестве капитала.

Итак, «ничейная», т. е. общенародная, собственность на землю и природные ресурсы — краеугольный камень в построении свободной республики. Никто не сможет в ней владычествовать над себе подобным только потому, что обладает избытком жизненных благ, которых другие лишены. На этой же основе будет покончено с пауперизмом и трудом по найму, за плату. В описании форм общественного производства Уинстенли по сути проецирует на грядущее существующий уровень общественного производства как в земледелии, так и в промышленности. В этом, подчеркнем еще раз, отразился определенный примитивизм (или недостаточный историзм) в понимании исторического движения английского общества его времени. Не следует, однако, забывать, что и 100 лет спустя, в условиях уже начавшейся промышленной революции, создатели коммунистических утопий, в том числе величайшие и оригинальнейшие из них — Мелье и Морелли, в этом вопросе недалеко ушли от Уинстенли. И это потому, что социально-утопическая мысль все еще отталкивалась от преобладания ручного труда, т. е. традиционных форм «домашнего» производства. Но помимо этого, хотя утопия Уинстенли наряду с Кромвелем адресовалась еще и «потомкам», тем не менее она мыслилась им как план немедленного переустройства общества. Следовательно, и общественные условия данного момента должны были — собственно, только и могли — служить отправным моментом в обрисовке реальных.

В целом «Закон свободы» должен был ответить на

---

\* Единственное исключение из этого представления делалось для горнодобывающей промышленности.

вопрос: как именно, отталкиваясь от существующих условий производства в сельском хозяйстве и промышленности, переустроить жизнь людей на основах справедливости и взаимности? Этой тесной связью мечты и реальной действительности была обусловлена одна из характернейших черт утопии Уинстенли — переплетение в ней элементов антифеодальной крестьянской революции с элементами предвосхищения антибуржуазного общественного переворота. Это явно «неестественное» с точки зрения логики истории соседство в одной и той же «платформе» требования освободить землю от власти лендлордов и призыва «Работайте вместе и вместе ешьте свой хлеб», принадлежащих двум историческим эпохам, между которыми пролегли нередко столетия, являлось, однако, отражением специфики английских условий тех дней: *несоразмерно большой в канун буржуазной революции удельный вес плебса в сочетании с сохранением феодальной зависимости класса крестьян-копигольдеров.*

Именно поэтому мы находим в «Законе свободы» тесное переплетение, с одной стороны, идеологии «хозяйственных крестьян» («Каждый свободный человек должен обладать свободой землепользования... не уплачивая ренту какому-либо лендлорду») и с другой — идеологии плебса («Ни земля, ни какие-либо плоды ее не должны живущими на ней покупаться или продаваться друг другу, поскольку земля и ее плоды являются общим достоянием»). *Если очевидно, что в плане реально-историческом подобное сочленение устремлений могло только оттолкнуть владельческое крестьянство от движения сельского плебса (хотя последний, как мы видели, включал в свою программу требования крестьянской революции), то в плане отвлеченного проекта «идеального общества» оно неизбежно наделяло его настолько зримыми чертами существовавшего в Англии тех дней хозяйственного и общественного обихода, что читателю нетрудно было заключить: речь шла либо о конституировании двух временно сосуществующих рядом миров, либо — в близкой перспективе — об их полном слиянии. Достаточно было, по мысли Уинстенли, изменить форму собственности и на этой основе форму распределения, даже оставив неизменной форму организации производства, и последний нищий окажется почти немедленно в обществе изобилия и привольной жизни для всех.*

Следует, однако, заметить, что столь бросающаяся в глаза «заземленность» коммунистического идеала, отличающая утопию Уинстенли от спекулятивных построений,

заполняющих, к примеру, «Утопию» Томаса Мора, проистекает не только из различия уровней и истоков их образованности, но и из целей, ими преследовавшихся.

Мор создавал гуманистическое философское и близкое к художественному повествование, предназначавшееся для медитаций одних и «захватывающего» чтения для других, одним словом, в *целях просветительных и нравственно назидательных*; Уинстенли же, как уже отмечалось, составлял «проект» конституции справедливого общества, который, в случае его «одобрения» Кромвелем, должен был вступить в силу *немедленно* и не где-то, а в Англии. Иными словами, он создавал сугубо практическое руководство к действию.

Каковы же его основные идеи? Базисной публичной ячейкой общества в «Законе свободы» выступает община, именуемая то селением, то городом, то приходом, но никак не деревней. В качестве же производственной ячейки общества выступает «семья», обособленно живущая и обособленно ведущая свое домашнее хозяйство \*. Свой труд на «общее благо» семья, в случае занятий ремеслом, осуществляла на дому, получая из общественных складов (магазинов) необходимое сырье и инструменты и сдавая в другие (приемные) магазины готовые изделия. «Каждый ремесленник, — читаем мы, — будет получать материалы, к примеру кожу, шерсть, лен, зерно и т. п., из общественных складов для переработки, не покупая и не продавая их. Когда же изделие изготовлено, к примеру сукно, обувь и т. п., ремесленники сдадут его в соответствующие магазины, как это практикуется ныне, но снова-таки без купли-продажи. Что же касается потребления, то каждая семья в случае нужды в таких вещах, которые не могут быть ею изготовлены, обратится к услугам этих магазинов и получит их «без денег», точно так же как они это делают ныне, только за деньги».

Нетрудно заметить, что процесс промышленного производства в «идеальном обществе» Уинстенли буквально «списан» с организации этого производства в Англии тех дней. Перед нами *очень подробное описание так называемой рассеянной мануфактуры*, в которой работник полу-

---

\* С целью отвести от своего «проекта» выдвигавшиеся против диггеров их врагами обвинения в стремлении ввести не только общую собственность на земле, но и «обобществление жен» Уинстенли в своей утопии несколько раз подчеркивает: «Каждая семья будет жить отдельно, как она теперь живет».

чал в начале недели в *раздаточной* конторе сырье для переработки, в конце ее сдавал готовый продукт на *примные* пункты. Впрочем, различие между идеалом Уинстенли и практикой, им наблюдавшейся, при всей технологической аналогии оказывалось фундаментальным. В капиталистической мануфактуре работник трудился на собственника, которому принадлежало сырье, а зачастую инструменты (станки), получая за свой труд грошовую плату, едва хватавшую, чтобы не умереть с голоду. В справедливом обществе, где орудия труда и сырье — общая собственность всех тружеников, тот же ремесленник вознаграждается обществом «по потребностям». Разумеется, вопрос об отношении меры труда и меры потребностей в утопии Джерарда Уинстенли оставлен открытым, точнее, даже не поставлен, важен был сам принцип.

Таким образом, в системе распределения, обрисованной в «Законе свободы», воплощена система *опосредованного общиной* продуктообмена между тружениками. Поскольку труд еще носит вполне конкретный характер, речь идет о производстве только потребительной стоимости. Ремесленники различных специальностей производят те или иные изделия прежде всего для удовлетворения своих собственных потребностей, произведенное сверх того они сдают в общественные магазины, получая из них необходимые продукты и изделия, произведенные другими. Так, работая на всех, каждый трудится в конечном счете на себя. Поражает, насколько простым и легким казался Уинстенли переход от одного способа распределения к другому: все может остаться по-старому, по крайней мере на время, стоит только отказаться от денег, т. е. купли-продажи, и скачок совершен. В этом отразилось одно из проявлений распространенной в то время фетишизации денег, в частности плебейская ее версия. В последнем случае деньги — основной источник социального зла. Поэтому, вместо того чтобы боготворить волшебную силу золота, Уинстенли ее проклиняет, уничтожение этой силы кажется ему вернейшим путем к социальному переустройству общества. «Все останется по-прежнему, только отпадет нужда в деньгах, — подчеркивает Уинстенли. — Точно так же как теперь в каждом городе и местечке мы имеем розничную торговлю в лице владельцев магазинов, которые должны остаться, как они есть, только изменив [способ] приема [продуктов] и выдачи их; ибо если по королевским законам они это делают путем купли и продажи... [то] теперь, по законам респуб-

лики, они принимают в свои магазины (продукты) и выдают из них свободно (без денег)».

Утопичность этой точки зрения очевидна, но реальной была подоплека ее. Вторжение денег разрушило традиционный уклад жизни патриархальных хозяев — крестьян и ремесленников. Деньги стали орудием концентрации собственности на одном полюсе и исчезновения ее на другом. Эта наблюдавшаяся Уинстенли изо дня в день практика не могла не породить представление о том, что уничтожение денег — реальное условие освобождения угнетенных.

Не может не вызывать удивление то обстоятельство, что, хотя земледелие оставалось занятием абсолютно преобладающей части населения Англии середины XVII века, его организация в «Законе свободы» описана в сравнении с ремеслом менее подробно и потому менее ясно обрисована. Вероятнее всего это случилось по той причине, что форма организации сельскохозяйственного производства была незадолго до этого (т. е. до написания «Закона свободы») наглядно продемонстрирована диггерами, обосновавшимися на холме Св. Георгия. Начать с того, что и в этом случае в «Законе свободы» фигурирует семья в качестве исходной производственной единицы. А вот на вопрос, каким образом трудится эта семья в сельском хозяйстве на «общее благо» — на отдельной, выделенной ей для обработки площади (по примеру того, как в занятиях ремеслом ей выдается из общего склада для переработки сырье), или она работает на общем, неподеленном общинном поле рядом с другими семьями, ответить нелегко\*. И тем не менее предпочтительным представляется именно последний вариант ответа. Так, в одном случае мы узнаем: «Земля... засеивается и (урожай с нее) убирается общими силами с участием каждой семьи». В другом случае: «Каждая семья должна хранить (в своем сарае) достаточно орудий для общего пользования, как, к примеру, плугов, телег, упряжи, в соответствии с числом мужчин от каждой семьи, участвующих в этих работах». И наконец: «Земля обрабатывается и плоды убираются и свозятся в общие склады с помощью каждой семьи. И если человек или семья нуждается в хлебе или

---

\* Настораживает то обстоятельство, что каждая семья является в поле с «достаточной рабочей силой» только во время посева, жатвы и доставки хлеба на склады, но чем же они занимаются, если речь идет о земледельцах, в остальное время? Может быть, правомерно допустить, что в каждой семье земледелие совмещалось с ремеслом.

другом продовольствии, они могут отправиться на склады и получить (необходимое) без денег. Если они нуждаются в лошади, пусть отправятся летом на пастбище или зимой в общественные конюшни и получают ее у хранителя и, когда поездка завершена, доставят ее обратно, и это без денег». Итак, не будет ошибкой предположить, что земля обрабатывается всеми семьями общины сообща и все произведенное хранится в общественных хранилищах. И то обстоятельство, что каждая семья получает продовольствие из них, служит подтверждением высказанного здесь предположения\*.

Разумеется, и Уинстенли неоднократно это подчеркивал, уничтожение денег как источника получения человеком необходимых средств для существования — следствие обобществления средств производства, и прежде всего основного из них — земли.

«И причина того, — значит в «Законе свободы», — что все богатства земли являются общим достоянием, заключается в том, что земля обрабатывается общими силами с участием каждой семьи без купли-продажи».

Заслуживает внимания и такой факт: в «Законе свободы» неоднократно подчеркивается, что дом, домашняя обстановка и предметы личного пользования являются индивидуальной собственностью семьи, нарушение неприкосновенности которой наказуемо. «Однако, — подчеркивает Уинстенли, — для каждого человека дом — его собственность, равно как и вся обстановка в нем, и продукты, которые он получил из общественных складов, — его собственность». Примечательно, что в нее включаются жена и дети. «И если кто-либо пытается отнять у него дом, обстановку, пищу, жену или детей, говоря, что все вещи общие, и, таким образом, нарушая закон, тот преступник и должен быть наказан».

*Производительный труд на благо общества — первая обязанность каждого работоспособного члена семьи до 40 лет. Лица, достигшие этого возраста, могут продолжать трудиться, если пожелают, или посвятить себя занятиям умозрительным, или, наконец, если будут из-*

---

\* Необходимо отметить, что наряду с продуктами национального производства в «Законе свободы» фигурируют изделия, доставляемые в страну из заморских стран. Они хранятся в каждом городе или местечке в так называемых общих складах, из которых каждая семья может получить необходимое для собственного пользования или для переработки. И хотя Уинстенли не уточняет, каким путем заморские продукты приобретаются, не будет далеким от истины допустить, что деньги сохраняются как средство международного обмена.

браны общиной, стать магистратами, начиная с должности надсмотрщика «за трудом других и кончая членством в парламенте» и должностью «министра» \*.

Как мы убедились, в системе распределения средств к существованию между членами общества в «идеальном государстве» Уинстенли не предусматривалось никаких ограничений «потребностей». Он даже мысли не допускал, что каких-либо продуктов могло не хватать. Полное торжество коммунистического принципа «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям» — лишнее тому свидетельство. Недаром Уинстенли подчеркивает, что «комфортная жизнь», жизнь «в удовольствие» обеспечена каждому \*\*.

В этом отношении «идеальное общество» Уинстенли прямо противоположно идеалу средневековых коммунистических сект — оно бесконечно далеко от их аскетического идеала равенства в бедности. Изобилие материальных благ, по мнению Уинстенли, гарантируется самим характером труда на общую пользу и улучшениями, привносившимися при этом во все искусства. Следует, однако, заметить, что отразившиеся в «Законе свободы» представления о характере человеческих потребностей были еще весьма неразвиты и ограничены. Они сводятся к обеспечению человека «пищей, одеждой и жильем», после чего Уинстенли восклицает: «Чего же большего может человек желать в этой (земной) жизни!» В этом, разумеется, Уинстенли — сын своего века и в еще большей мере представитель плебеев, для которых и этот минимум был в условиях Англии тех дней недостижимой мечтой.

Если судить по «Закону свободы», три «внутренние» опасности подстерегали «Истинную Республику» Уинстенли: праздность, хищение общественной собственности и нарушение запрета товарно-денежных отношений. «Если кто-либо откажется обучаться ремеслу или участвовать во время страды (сева или жатвы) в сельскохозяйственных работах и тем не менее будет питаться и одеваться за счет труда других», то он после безрезультатно

---

\* Об элементе патриархальности в этой последовательно демократической системе конституирования аппарата управления см. ниже, с. 382. Отец семейства включен в эту систему управления в качестве ее основания.

\*\* Единственное, о чем заботится «Закон свободы», — это обязанность глав семейств следить за тем, чтобы продукты не подвергались порче из-за того, что их заготовлено больше, чем семья способна потратить.

татных частных и публичных (перед всем народом) увещаний, наказаний кнутом передается в руки распределителя работ, определяющего его на принудительный труд сроком на один год. Если этим человеком оказывается глава семьи, то после подобных же, но безрезультатных увещаний он отстраняется от «управления семьей», превращается в принудительного слугу под началом распределителя работ до тех пор, пока он не согласится добровольно участвовать в коллективном труде.

Не менее любопытен закон против торговли: «Если кто-либо побуждает другого к купле-продаже и тот не послушается и заявит (об этом) надсмотрщику, первый теряет свободу на годичный срок», второй же заслуживает публичной похвалы перед всей общиной (конгрегацией) за верность истинной республике.

Тот же, «кто называет землю своей... должен быть посажен на стул с (соответствующей) надписью на лбу перед всей конгрегацией и затем превращается в принудительного слугу сроком на год».

«Если же кто-либо вступает в заговор с целью восстановить частную собственность, присуждается к смертной казни».

Наконец, запрещалась не только торговля, но и труд по найму. Одним словом, все гражданские акты, опосредуемые деньгами, были объявлены вне закона. Неудивительно, что и золото, и серебро лишены в «свободной Республике» Уинстенли иного употребления, чем медь, олово или железо, используемые для изготовления домашней утвари.

Утопия Уинстенли содержит подробное описание и политического строя. «Истинная Республика» основана на принципе «общего блага», так как в отличие от независимой Республики 1649 года *гарантирует* всем гражданам материальные условия свободы. В этом государстве нет места не только королям, знати, но и всем, чье благополучие основывалось на королевских законах, — лордам маноров, взимающему десятину духовенству, грабителям-юристам, вымогателям-чиновникам, торговцам и ростовщикам. Обязанности властей всех рангов — заботиться о мире и благополучии каждого гражданина, пресекать все проявления своекорыстия, проистекавшего из принципа «собственное благо — превыше всего». Благодаря этому новым содержанием наполнялось и традиционное общее право — оно по существу впервые становилось общим — равным для всех. Идеал Уинстенли — демократическая республика. Начать с того, что все



магистраты — сверху донизу — выборные люди. И поскольку «стоячая вода быстро портится», их ежегодно переизбирают. Этим достигается цель магистратуры — постоянно стоять на страже интересов общего блага. Среди лишенных избирательных прав не только сторонники монархии, но и, что знаменательно для Англии тех дней, спекулянты конфискованными владениями. Среди же пригодных быть магистратами те, кто на собственном опыте испытал гнет монархического режима, кто жертвовал своим имуществом и жизнью для избавления страны от рабства, кто обладает мужеством утвердить правду, поступать справедливо и ненавидеть жадность. Если магистратами могли становиться граждане, достигшие 40-летнего возраста, то возрастной ценз для избирателей остался неуказанным.

Как уже отмечалось, патриархальные черты в организации магистратуры проявляются в том, что отец семьи рассматривается в качестве низшего ее звена. Он считается по необходимости избранным с общего согласия детей. Равным образом и приход рассматривается как «единая семья», во главе ее стоят миротворец и надсмотрщики. Первый — не столько судья, сколько посредник между тяжущимися сторонами. Надсмотрщики же регулируют производство и потребление. Все они избираются на годичный срок.

По роду своей деятельности они делятся на четыре категории: 1) те, кто защищает неприкосновенность индивидуальной семейной собственности; 2) те, кто регулирует производство (по профессиональному принципу); 3) те, кто наблюдает за общественными магазинами; 4) те, кто составляет штат общественных контролеров.

Если магистраты первых трех категорий избирались сроком на год, то к последним могли быть причислены мужчины, достигшие 60-летнего возраста. Они следили за правильным отправлением функций всеми должностными лицами. Кроме того, в приходе предусматривался представитель «армии» (именуемый солдатом), исполнявший в мирное время функции милиции. Все они в совокупности составляли совет прихода. В совет («судебную палату», или «сенат») графства должны входить судьи, а также все надсмотрщики приходов данного графства. Он заседает 4 раза в год в четырех частях графства. Это инстанция как контрольная, так и апелляционная. Наконец, высшая магистратура страны сконцентрирована в парламенте (в котором сосредоточены власти законодательная, исполнительная и судебная).

Левеллерская идея о разделении властей не оказала на Уинстенли никакого влияния, так как была несовместима с универсализмом «отцовской власти». Так, суть власти парламента Уинстенли определяет следующим образом: «Парламент — отец страны», «парламент происходит из низшей должности в стране, т. е. от власти отца в семье». Хотя этот «отец» в прошлом вовсе не жаждал заботиться о своих угнетенных «детях», хотя каждый новый парламент только то и делал, что утверждал законы, защищавшие богатых и сильных, и оставлял нетронутым гнет, давивший бедных и слабых, Уинстенли, однако, надеялся на то, что будущие парламенты — парламенты «Идеальной Республики», представляющие всю страну, перейдут от «обещаний» и «слов» к делу и принесут свободу тем, кто остается угнетенным, предоставив им ту долю материальных благ, которая принадлежит им по праву рождения\*.

Большой интерес представляют разделы «Закона свободы», посвященные праву и законодательству. Уинстенли исходит из того, что народ может считать себя связанным правом только в том случае, если он является источником этого права. Перед нами принцип неизмеримо более демократичный, чем принцип, лежащий в основе левеллерского «Народного соглашения». Заботясь прежде всего о резервировании за народом так называемых неотчуждаемых прав, левеллеры по существу предоставляли парламенту возможность — за их пределами — законодательствовать по своему усмотрению. «Закон свободы» признает за парламентом в лучшем случае только законодательную инициативу, которая, прежде чем превратиться в закон, должна была получить согласие народа. Всенародное волеизъявление — такова решающая и завершающая процедура законодательства. Только по истечении месячного срока после своего обнародования законопроекты, не встретившие возражений, приобретают силу закона. Принудительная сила этого закона обеспечивалась такими инструментами, как суд, общественное рабство и, наконец, смертная казнь. Необходимость подобных мер принуждения объяснялась тем простым обстоятельством, что членами «идеального об-

---

\* Поскольку «идеальное общество» мыслилось как возможное ближайшее будущее Англии, в его изображение то и дело вторгаются обстоятельства, привнесенные в него из общества, реально существующего, и поэтому далеко не идеальные. На эту «непоследовательность» утопии Уинстенли мы уже обращали внимание.

щества» снова-таки мыслились современники самого Уинстенли, одолеваемые страстями, такому обществу чуждыми и враждебными, но унаследованными от старого порядка. Отсюда сохранение в нем смертной казни и должности палача. Что же касается предусмотренного в «Истинной Республике» института общественного рабства, то его знали также все утопии XVI — начала XIX века. Само наличие в обществе работ тяжелых и для свободных граждан «унизительных» как бы предполагало необходимость такого разряда людей, которые выполняют подобные работы по принуждению. Итак, свободные выполняют работы более легкие и «простые», рабы (общественные слуги) — работы тяжелые и неприятные (грузчики, возчики и т. п.).

Наконец, свободный мог с согласия «надсмотрщика» потребовать себе на время такого общественного слугу, и тот не вправе был отказываться ни от какой работы. Такие слуги носят опознавательную одежду из некрашеного сукна; в случае нерадивости «слуг» наказывают кнутом.

Как правило, «порабощение» длится только год. По истечении этого срока судья решает, заслужил ли такой «слуга» освобождения, или ему назначают вторичный срок.

Однако Республика Уинстенли не знает тюрем, и ее законы преследуют цель скорее предупредить проступки граждан, нежели наказывать их. «Если,— пишет Уинстенли,— законы будут малочисленными и краткими и если их будут часто зачитывать, чтобы предупредить зло, и каждый, их зная... будет очень осмотрителен в словах и действиях».

Особенно суров закон по отношению к юристам, «продающим» отправление правосудия за деньги; для них предусмотрено лишь одно наказание — смертная казнь. Снова-таки, смешивая реально существующие условия и условия, относящиеся к общественному идеалу, Уинстенли требует «равного суда» для бедных и богатых (!), как будто в «Истинной Республике» еще есть место для имущественного неравенства.

Нельзя не отметить также исключительное миролюбие этой Республики, несмотря на наличие в ней вооруженной силы. Внутри страны армия стоит на страже свободы, вне страны армия «Истинной Республики» не имеет иных целей, кроме миролюбия, поскольку она не является инструментом распространения справедливых порядков за ее пределы. Цель Республики — «перековать

мечи на орала», и она надеется на то, что эта цель будет достигнута только «светом разума».

Наконец, совершенно исключительный интерес представляют разделы «Закона свободы», касающиеся религии и просвещения. Здесь Уинстенли предстает перед нами истинным просветителем его времени, столь близким к рационалистическому и материалистическому истолкованию окружающего мира мыслителем, что трудно поверить в то, что еще совсем недавно тем же пером водила рука мистика.

Так, традиционному положению о познании мира посредством проникновения в его божественную сущность Уинстенли противопоставляет тезис прямо противоположный — *всякое истинное знание достигается посредством опытного познания мира материального*. Хотя Уинстенли сохранил идею бога-творца, но он в такой степени растворил его в творении, что познание последнего оказалось единственно реальным предметом, заслуживающим духовных усилий человека. Конечно, объективно Уинстенли был близок к деизму и свободомыслию, хотя субъективно он несомненно считал себя христианином, только совершенно отличным от христиан, сохранявших бога на устах и вскормивших дьявола в сердце. «И если кто-либо возьмется рассуждать, что есть бог вне творения... тот будет, согласно пословице, строить воздушные замки или рассказывать нам о мире, лежащем по ту сторону Луны и Солнца, просто для того, чтобы затемнить разум человека».

*Традиционный клир с его «воображаемым знанием» ненавистен Уинстенли, так как считает его причиной всех зол и горестей на Земле.* «Воображаемое знание» ослепляет человека, утверждая, что он должен уверовать в то, что другие некогда писали и утверждали, и не доверять своему собственному разуму и опыту. И пока эти хитрые обманщики находятся у власти, в обществе нет ничего, кроме словесных утверждений и отрицаний, страха, запутанных мыслей и неразрешенных сомнений. Но разве эти лжеученые, наставляющие других, что пользование земными благами низменно и греховно, разве сами они не домогаются этих благ? Разве все их проповеди не преследуют эту цель? Почему, считая небо миром посмертной славы, где проповеднику дано лицезреть лик божий, они сами вместо того, чтобы поторопиться туда, предпочитают задерживаться на Земле? Не превращают ли они Землю в место своего райского блаженства? «Почему вы накапливаете богатство? Почему же едите, пьете, носите

одежду, женитесь, рождаете детей? Разве все это не является (по вашему утверждению) низменным и греховным? Между тем вы жаждете этих благ, так же как и любой другой (или даже больше) из тех, кого вы называете светскими людьми».

Известно, что антиклерикализм широко распространился в среде народных низов — при активном содействии радикальных сект — в годы революции, и в особенности в 1647 — 1649 годах. Однако зачастую он принимал форму простого препирательства между различными религиозными вероучениями.

*Антиклерикализм же Уинстенли был проявлением подлинного просветительства, цель которого — раскрепостить дух широких масс, дабы их умственному взору открылись цепи, сковывавшие их дух, — цепи рабства земного и, как следствие, им стали доступны подлинные тайны природы. Уинстенли не только отрицал такие христианские догмы, как бессмертие души, ад и рай, он высмеивал проповедников морали самоотречения и аскезы. Он смог подняться на недостижимую для современников высоту и увидеть классовую подоплеку этой морали и всякого богословия вообще. «Эта доктрина, — подчеркивал он, — превращена в орудие хитрого старшего брата (т. е. богачей. — М. Б.), чтобы обмануть простодушного младшего брата (т. е. бедных. — М. Б.)...» «Земля моя, — говорит старший брат, — а не твоя, и ты не можешь обрабатывать ее, прежде чем не снимешь ее у меня за деньги, и ты не можешь пользоваться ее плодами, если не купишь их у меня... ибо, если поступишь по-другому, бог тебя не возлюбит, и ты не попадешь на небо после смерти, а (попадешь) к дьяволу и будешь мучиться в аду». Когда же младший брат, прибегнув к доводам разума, пытается возразить на это, что владение землей такое же прирожденное право его, как и старшего брата, ведь никто не может жить на Земле, не пользуясь плодами Земли, старший брат находит в религии последний аргумент. «Ты не должен, — утверждает он, — доверять своему разуму и пониманию, а должен уверовать в то, что написано и что говорят тебе... Неужели же ты хочешь быть атеистом и сектантом? [Неужели] не желаешь верить в бога?» И младший брат сражен, рабство торжествует!*

Поистине живость и образность диалога вводят нас в самую гущу того брожения умов, которое было вызвано революционным пробуждением масс. Однако Уинстенли не только раскрыл социальную функцию религии в обществе угнетения, как уже отмечалось, он выступил в

«Законе свободы» как рационалист-просветитель. Проповедники «воображаемого знания» лишают людей полезных знаний, необходимых для увеличения власти человека над окружающей его природой — единственного пути к умножению земных благ. Противопоставляя систему общественно полезных знаний — знаний тайн природы слепой вере, Уинстенли вслед за Бэконом \* защищал идею не только научного прогресса, но и связей его с более разумным общественным устройством. Только в справедливом обществе способности человека получают полный простор. Если земля будет освобождена от королевского рабства, т. е. от строя частной собственности, и каждый будет обеспечен средствами к существованию, «много тайн господ и Его чудес в природе будет открыто... Знания покроют Землю, как воды покрывают моря».

Неудивительно, что в «Истинной Республике» радикально меняется роль приходских проповедников. Из мнимых знатоков потустороннего мира они превратятся в распространителей подлинных знаний о мире подлунном. И только в этом качестве они получают свою долю общих благ наравне со всеми. Избираемые на год, приходские проповедники отправляют свои просветительские обязанности в седьмой день недели, когда собирается общая сходка прихожан. Сначала зачитывают сообщения наиболее важные о происшествиях в стране, рассылаемые еженедельно почтмейстером Республики в виде печатных изданий, затем зачитываются законы страны, знание которых должно каждого убедить в их справедливости и помочь избежать наказуемых деяний. В заключение произносятся «речи» по истории правительств и народов (чтобы все осознали благо свободы), по различным вопросам физики, астрологии, астрономии, навигации и, наконец, этики. Такого рода «речи» должны произноситься не только служителями по должности. Каждый из присутствующих, кто желает сообщить что-либо полезное о природе Неба и Земли, о травах и растениях, может выступить на очередной сходке. Благодаря этому полезные знания займут место пустой фантазии. Людям откроются тайны природы и творения, расширятся преде-

---

\* Призыв Уинстенли к опытному познанию тайн природы — единственный путь увеличить власть человека над ней — настолько близок лейтмотиву философии Бэкона, что вопрос о том, знал ли Уинстенли работы Бэкона понаслышке или читал их сам, не может не волновать науку. К сожалению, ответ на него останется, по-видимому, навсегда только гадательным.

лы их власти над ними, что является единственным путем к изобилию и счастью на Земле.

Воспитанию детей и юношества посвящена пятая глава «Закона свободы», озаглавленная «Народное обучение в школах и [обучение] ремеслам». Хотя в трактовке этих вопросов немало черт патриархальности (достаточно сказать, что отец семейства признается главным наставником ребенка не только в поведении, но и в начатках наук и ремесел), тем не менее многие черты педагогики Уинстенли прозорливо предвосхищали будущее. Образование в Республике, основанной на «Законе справедливости», — всеобщее, равное, обязательное и вместе с тем свободное в смысле выбора профессии.

Решительно отвергая схоластику современной ему школы, ее оторванность от жизни и слепое преклонение перед авторитетами, Уинстенли противопоставил ей науку, основанную на опыте. «Каждый, — писал он, — кто рассказывает о травах, растениях, существе или о природе человека, ничего не должен говорить умозрительно, а только то, что он открыл своим собственным прилежанием и наблюдением на опыте».

В опыте тружеников Уинстенли видел неиссякаемую сокровищницу полезных знаний. Недаром в земледелии, горнодобывающей промышленности, скотоводстве, лесоводстве и навигации он усматривал «пять источников, откуда все науки и искусство получают свои стимулы». Тот, кто работает в одной или во всех указанных областях, — «полезный сын человечества». «Тот же, кто только созерцает и говорит только о том, что вычитал или услышал, и не употребил свой талант в этой или иной форме физического труда с целью увеличения плодородия, свободы и мира на земле, — бесполезный сын».

Иначе говоря, соединение науки с производительным трудом Уинстенли рассматривал в качестве основного условия прогресса, в том числе и самой науки. Так, о лесоводстве он писал: «И здесь все плотники, столяры, токари... и все, кто трудится в лесу и обрабатывает дерево, могут открыть тайну природы, чтобы сделать леса более обильными, ускорить их рост, увеличить их пользу». Точно так же и во всех других отраслях хозяйства задача научных открытий возлагается в первую очередь на тружеников, опытным путем познающих природу вещей. *Недаром Уинстенли назвал новую науку трудовым знанием в противопоставление книжному знанию.* Уинстенли неоднократно подчеркивал практическую цель обучения и науки вообще, которая заключается в использовании ее

открытий на благо общества. Так, на вопрос, чему следует учить человека, он отвечал: «Каждому ремеслу, искусству и науке, при помощи которых... могут быть открыты тайны творения, с тем чтобы (человек) знал, как надлежащим образом управлять Землей».

Если верно, что подобного рода высказывания Уинстенли обнаруживают влияние наследия Бэкона, то это все же еще не вся истина. Идеолог плебса сделал дальнейшие выводы из естественнонаучного мировоззрения своего великого предшественника в данной области.

Если в основе познания лежит опыт, если критерием истины является практика, то правомерно было бы заключить, рассуждал он, что лишь производительный труд является основой полезных знаний. «Кто же лучше знает поведение сил природы,— рассуждал Уинстенли,— чем те, кто своим трудом на них воздействует». При этом, однако, речь идет о труде свободных членов справедливо устроенного общества: «Когда люди обеспечены пищей и одеждой, их разум (освободившись от тревог) созреет и станет способным погрузиться в тайны творения, ибо страх перед нуждой погубил много ценных открытий».

Наконец, в курс образования детей Уинстенли включил также языки и «истории предшествующих веков». После того как дети «укрепили свой разум» в школе под руководством учителей, они переходят на выучку в зависимости от склонностей в какую-либо мастерскую, где за их обучением следит не только мастер, но и «инспектор» данного ремесла. Обучаются не только мальчики, но и девочки, причем наряду с грамотой и музыкой последние усваивают портняжное искусство, а также прядение, вязание и др. Республика всячески поощряет молодых тружеников в поисках новых приемов труда, в изобретениях и научных открытиях, воздавая им почести. Почетные титулы украшают граждан либо по достижении определенного возраста, либо за открытия, невзирая на возраст.

Таковы основные черты «Закона свободы» Уинстенли — этой удивительной социальной утопии, созданной в ходе революции середины XVII века *социальным опытом и силой воображения английского плебса*. И если бы в этой утопии не было ничего другого, кроме одной-единственной мысли о том, что подлинная свобода и строй частной собственности — понятия взаимоисключающие, то и в этом случае — в условиях Англии середины XVII века — ее с полным основанием можно было бы причислить к величайшим творениям идеологов Английской



революции. Переплетение в «Законе свободы» социального идеала плебса и критики с этих позиций реальной действительности, «проекта» конституции «Истинной Республики» и лозунгов, отражающих специфику и требования момента, позволяет усмотреть в утопии Уинстенли *революционно-критический памфлет* и программу углубления демократического содержания происходящей в стране революции, доведения ее до реализации устремлений плебейских масс.

Завершая краткое изложение «Закона свободы», следует заметить, что для Уинстенли речь в нем шла не об установлении в Англии нового, до тех пор не известного в этой стране общественного строя. Наоборот, как свидетельствует второй заголовок этого памфлета — «Истинное правительство восстановленное», Уинстенли рассматривал обрисованное им справедливое общественное устройство как восстановление строя, уже однажды, на заре истории, существовавшего в Англии, но затем уничтоженного в результате нормандского завоевания. Как мы уже знаем, это был широко распространенный в годы революции миф, к которому прибегали с различными целями идеологи и политики различных классов и общественных слоев в лагере парламента. *Только один Уинстенли использовал его для обоснования коммунистической утопии плебса.* И то обстоятельство, что аргументами в пользу реальности достижения этого идеала в Англии середины XVII века послужили не доводы абстрактного разума и морали, а «история», связывает ее со средневековыми мечтаниями угнетенных о «правде» и «справедливости», якобы царившими среди людей в прошлом и затем утерянными в результате «грехопадения», «порчи» или «злого рока». Так воедино переплелись историческая реальность и исторический миф, мистицизм и рационализм, плоды воображения и глубочайшего социального анализа.

В заключение нам осталось выяснить только один вопрос: как сложилась дальнейшая судьба этого удивительного человека, великого сына английского народа? К сожалению, сведения, которыми на этот счет располагает наука наших дней, более чем отрывочны и противоречивы. Хотя после публикации «Закона свободы» (1652 г.) Уинстенли прожил еще 24 года, он, по-видимому, полностью отошел от политической деятельности и прекратил писать памфлеты. «Закон свободы» оказался его духовным завещанием своим соотечественникам. Как он прожил эти годы? На этот вопрос исследование отвечает

неоднозначно. То, с чем все согласны, заключается в следующем. Во-первых, охватившее его, по-видимому, глубокое разочарование в утверждении дела справедливости «самодеятельными» мирскими начинаниями снова обратило его к идее бога и сблизило на этой почве с квакерами, и, более того, по мере истечения XVII века Уинстенли неоднократно называли зачинателем их учения. Несмотря на то что в подобных суждениях отражалась лишь мера пренебрежения различиями между учением Уинстенли, с одной стороны, и учением ранних квакеров — с другой, сам по себе факт сближения Уинстенли с «Обществом друзей» подтверждается хотя бы тем, что он был похоронен как квакер, о чем имеется соответствующая приходская запись. И во-вторых, все исследовавшие интересующий нас вопрос согласны с тем, что материальные условия жизни Уинстенли в 60-х годах изменились к лучшему, что так или иначе означало житейское примирение с существующим порядком вещей. Настали времена реставрации с ее эйфорией роялизма и лоялизма, преданием анафеме «царубийц» и республиканцев. Но здесь начинаются разногласия. В одном случае Джерарда Уинстенли отождествляют с лицом, носившим это имя и фамильное прозвище, которое оставалось в приходе Кобхем (Серри) на протяжении 60-х и в начале 70-х годов. Так, между 1659 и 1668 гг. этот Уинстенли занимал различные приходские должности в Кобхеме\*, а в 1671—1672 гг. являлся одним из двух главных констеблей в сотне Элмбридж, что должно было означать по крайней мере формальную принадлежность его в эти годы к официальной церкви.

Эта версия основана на завещании Уильяма Кинга, как полагают, отца первой жены Уинстенли, Сюзен (составленном в 1664 г.), и записи о тяжбе, начатой неким Джерардом Уинстенли в Канцлерском суде и так и не доведенной до конца из-за его кончины в 1676 г. По этой версии само пребывание Уинстенли в Кобхеме объяснялось тем, что там находилось, по-видимому, небольшое земельное владение уже упоминавшегося Уильяма Кинга. По крайней мере в 1657 году пользование этими землями было передано Джерарду Уинстенли и его жене, хотя доходы с них должны были передаваться Уильяму Кингу

---

\* В 1660 г. Уинстенли все еще оставался в Кобхеме, о чем мы узнаем из предъявленного ему иска об уплате 144 ф. ст. долга наследникам лондонского купца, с которым Уинстенли в свое время (до своего разорения в 1643 г.) вел торговые дела.

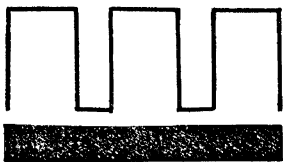
и его жене. Тем не менее имущественное положение Уинстенли настолько улучшилось, что в 1660 г. он удостоился приписки к фамилии «джентльмен». В 1664 г. упомянутые владения Кинга по завещанию последнего полностью перешли во владение Уинстенли. Здесь начинается вторая версия: к этому времени Уинстенли овдовел (запись о смерти его жены Сюзен не обнаружена), и он женился на некоей Элизабет Стенли, которая родила ему двух сыновей — Джерарда и Клементя. Характерно, что в записи о кончине этого Уинстенли он назван хлеботорговцем, проживавшим в Лондоне (приход Сент-Джайлс). Следовательно, около 1664 г. Уинстенли должен был оставить Кобхем и переехать в Лондон. Что в этой версии вызывает сомнения? Во-первых, возраст Уинстенли, указанный в похоронной записи квакеров, — 62 года, в то время как Уинстенли-диггеру в 1676 г. исполнилось уже 67 лет. Во-вторых, нет свидетельств о том, что Уинстенли когда-либо оставлял Кобхем и переселялся в Лондон. В-третьих, нет сведений о смерти первой жены Уинстенли и вторичной женитьбе его на Элизабет Стенли. В целом не исключено, что речь может идти о двух лицах, носивших одинаковые имя и фамилию.

Как бы то ни было, в обеих версиях Уинстенли предстает как материально преуспевший человек независимо от того, признаем ли мы его одним из старших констеблей сотни или торговцем зерном в Лондоне.

Наконец, заслуживает быть отмеченным, что сочинения Уинстенли, и прежде всего его «Закон свободы», не прошли бесследно для истории английской общественной мысли. С большой долей вероятности устанавливается влияние Уинстенли на так называемые кооперативные утопии Уильяма Ковелла «Декларация парламенту» (1659 г.) и Питера Корнелиуса Плокбоя «Путь, предложенный с целью сделать бедных этой нации счастливыми» (1659 г.). Имеются основания считать, что сочинения Уинстенли были известны и читались и в XVIII веке, в частности экземпляр «Закона свободы» был подарен Генри Филдингу.

Итак, среди деятелей и мыслителей Английской революции середины XVII века Уинстенли, несомненно, одна из наиболее примечательных и колоритных фигур. Вопреки зачастую вводящей в заблуждение религиозной фразеологии он изначально стремился выработать систему идеологии наиболее обездоленных народных низов своей страны и своего времени. Вершины на этом пути он достиг в «Законе свободы» — проекте социальной утопии, осно-

ванной на началах коллективизма и братского сотрудничества людей. В этом смысле Уинстенли — единственный среди радикалов эпохи революции — выступил достойным оппонентом Томасу Гоббсу. В противовес системе последнего, в которой выход из естественного состояния с его нескончаемыми войнами «всех против всех» и переход к цивилизации сопряжены с торжеством принципа неприкосновенности частной собственности, Уинстенли обосновал социальную систему, основанную на презумпции *изначальной, прирожденной социетарности человека и создающую условия для ее сохранения (возрождения)*. Решающие из этих условий — свободный труд на свободной земле.



## Заключение

Итак, перед нашим умственным взором предстали портреты трех выдающихся деятелей Английской революции середины XVII века — Оливера Кромвеля, Джона Лильберна и Джерарда Уинстенли. И хотя историческая память, отложившаяся в первоисточниках, не позволила с равной обстоятельностью высветить различные этапы их деятельности, однако во всех трех случаях годы революции оказались в центре внимания как современников, так и историков. Впрочем, эта объективная, обусловленная характером дошедшего до нас документального материала особенность повествования совпала с требованиями жанра исторического портрета. Последний в отличие от жизнеописания запечатлевает «живые черты» героя в моменты наибольшей его причастности к исторической драме своего народа, совпадения крутого излома национальной истории и звездного часа его личной судьбы. Собственно, именно в этот час и раскрывается с наибольшей полнотой характер подлинно исторической личности. Из этого следует, что портрет деятеля социальной революции определяется прежде всего его местом и ролью в ходе ее, видением ее причин и конечных целей, ставших смыслом его жизни.

Проиллюстрируем это положение на примере отобранных нами трех деятелей Английской революции с целью наглядно представить три основных типа революционности, характерные для ранних буржуазных революций XVI — XVII веков в целом. Известно, что в периоды социальных революций ход истории в громадной степени ускоряется, общественная жизнь в силу раскрытия ранее затаенных общественных противоречий становится необычайно богатой по содержанию и оригинальной событиями. Неудивительно, что в столь необычное время на сцене истории появляются лица, природные дарования которых по причине их большей или меньшей социальной приниженности в иное время ушли бы с ними в небытие, так и оставшись неведомыми не только миру, но, вероятно, и им самим.

Итак, необычному времени нужны необычные личности, и они, как будто этого только и дожидавшиеся,

появляются на сцене истории. Что же касается социальных кругов, их поставляющих, то в данном случае повторилось библейское: «Но бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал бог, чтобы посрамить сильное».

Специфика ранней буржуазной революции предопределила и характерные черты деятелей этой революции: их сословную силу и слабость, соотношение утопизма и реализма в их устремлениях, иначе говоря, меру понимания смысла происходящих событий и необходимых средств для поворота их в русло, с данной точки зрения единственно ведущее к достижению преследуемой цели.

Прежде чем попытаться взглянуть через эту призму на каждого из представленных здесь деятелей революции в отдельности, следует напомнить, что при всех особенностях характера, природных способностей и склонностей, наконец, при всем различии личных судеб каждый из них удивительно рельефно отразил в своих устремлениях *социальный и политический опыт того общественного слоя, который он объективно персонифицировал, вплоть до языка, на котором этот опыт выражался, не говоря уже о формах проявления этого опыта в их революционной практике.* В этом свете представляется, что изложенный выше материал позволяет сделать одно предварительное наблюдение общего характера, которое может оказаться полезным при переносе внимания на черты, индивидуализирующие каждого из привлечших наше внимание деятелей в отдельности.

Наибольшим реализмом в понимании смысла происходивших в Англии 40-х годов XVII века событий отличались характеры, исторически полярные: Оливер Кромвель и Джерард Уинстенли — сельский сквайр и плебей, в то же время в практических выводах, вытекавших из этого понимания сути вещей, Кромвель оставался сугубым реалистом, тогда как Уинстенли обнаружил сугубый утопизм. Что же касается Джона Лильберна, то его как далекого предтечу мелкобуржуазного революционаризма того времени отличало и плохое понимание политических реалий, и обусловленное этим более чем наивное представление о путях и средствах достижения преследуемых им целей.

Разумеется, в исторической перспективе политическая мысль левеллеров, так же как и социальная мысль истинных уравниателей, хотя и различным образом, высвечивала дорогу в будущее — и не только своего народа, — опережая движение колесницы реальной истории на

целые столетия. Кромвель же своей политической практикой был *весь в настоящем*, формируя его из наличного материала по образу и подобию грубой, повседневной практики своего класса, используя при этом политическую незрелость тех, кто в героических, но столь же бесплодных усилиях стремился вырваться за пределы этого настоящего и не находил еще для этого практических средств.

Итак, сила Кромвеля заключалась в экономическом весе и политическом опыте его класса — нового дворянства, равно как и в степени политической незрелости революционной демократии, шедшей до победы над роялистами за ним как будто бы только для того, чтобы в решающий момент быть преданной и отвергнутой им. Находясь политически в период гражданской войны на левом фланге в лагере революции, Кромвель по завершении ее в период подъема самостоятельного демократического движения народных низов сумел сохранить политическое преобладание своего класса, заняв позицию «уравновешивающего крайности» центра — между пугающими воображение лендлорда уравнительными тенденциями слева — левеллеров — и реставрационными тенденциями справа — пресвитерианского большинства парламента. Наконец, *вынужденный* пойти под давлением снизу на организацию суда и казнь короля, он полностью взял реванш, основав Республику 1649 года на полностью сохраненном фундаменте свергнутой монархии. Иначе говоря, согласившись на роль Робеспьера Английской революции, Кромвель проявил столь же великое дарование политика, как и в сражении при Несби — дарование полководца: он спас Англию собственников от революции подлинно демократической, народной. Однако если до этого момента эти дарования его так или иначе еще служили делу революции, то начиная с него они уже были употреблены только во имя целей сугубо охранительных и консервативных внутри страны и завоевательных за ее пределами. В результате историческая роль Кромвеля начиная с весны 1649 г. круто изменилась — он превратился в Наполеона Английской революции, только в силу неблагоприятного стечения обстоятельств остановившегося перед тем, чтобы возложить на себя королевскую корону.

Итак, лишь громадным перевесом политического опыта и искусственности классов-союзников над политическим опытом народных низов можно объяснить односторонний характер свершений этой революции — исключительно

в интересах этих классов. Однако то обстоятельство, что эти классы обязаны были Кромвелю подобным развитием событий, они уразумели далеко не сразу. Должно было миновать два столетия, прежде чем они осознали эту истину и, осознав ее, увековечили имя Кромвеля статуей, воздвигнутой перед святой святых национальной историей — парламентом.

Пронизана противоречиями и подлинно героическая, рыцарски благородная борьба Джона Лильберна, которую он вел под знаменем свободы и равенства всех сынов Англии независимо от их сословного и имущественного положения. Однако то обстоятельство, что он в конечном счете связывал демократический идеал с принципом собственности, что прозрение далекого политического будущего им обосновывалось ссылками на предания далекого прошлого или на столь же архаическую феодальную юридическую традицию, с достаточной полнотой обнаруживает меру политической незрелости социальных сил, в нем себя персонифицировавших. И разве не о том же свидетельствует и то печальное для судеб левеллерского движения в целом обстоятельство, что Лильберн и его сподвижники, находясь осенью 1648 г. на вершине своего политического влияния, передоверили Кромвелю и его окружению судьбу «Народного соглашения». Узник королевских казематов, Лильберн и в годы революции оставался по большей части в заточении как «опасный враг» новых хозяев жизни. Однако идеалы, отстаивавшиеся им ценой собственной жизни, не остались бесплодными. Они вошли в сокровищницу освободительной мысли человечества, из которой широко черпали народы, сражавшиеся за свою свободу в Европе и Америке.

О Джерарде Уинстенли как человеке мы знаем слишком мало, но как о мыслителе знаем почти все. И то, что нам известно, потрясает своей загадочностью из-за неожиданной глубины и прозорливости им созданного. Во всяком случае *ничего более глубокого и пронизательного о характере событий 40-х годов XV II века до него и столетиями после него не сказал ни один историк, ни один мыслитель, к этим событиям обращавшийся.* Поистине нужно было спуститься так глубоко в самую гущу жизни наиболее обездоленных масс, чтобы подняться духовно так высоко над всей ученостью своего времени. Однако и то, чему учил Уинстенли, не было лишено глубокой противоречивости. В самом деле, несоединимыми политически и социально являлись по сути коммунистический идеал сельского плебса об уничтожении частной соб-



# Содержание

От автора — 5

Введение

Европа в столетие революций — 8

## Часть I. Портрет времени — 29

Глава I

О чем спорят историки — 30

Глава II

Англия — колыбель капитализма — 52

Глава III

Английское общество — 68

Глава IV

Пуританизм — идеология революции — 81

Глава V

Английский абсолютизм при первых Стюартах — 99

Глава VI

Революция 1640—1653 годов — 121

## Часть II. Портреты деятелей революции — 151

Глава VII

Оливер Кромвель — Робеспьер и Наполеон Английской революции — 152

Глава VIII

«Свободнорожденный» Джон Лильберн — 252

Глава IX

Джерард Уинстенли — мыслитель, революционер и пророк — 327

Заключение — 394

**Барг М. А.**

**Б24** Великая английская революция в портретах ее деятелей.— М.: Мысль, 1991.— 397, [2] с., [16] л. ил.

ISBN 5-244-00418-2

Книга известного советского исследователя М. А. Барга посвящается истории Английской революции XVII в. Написанная в жанре политических биографий, она содержит исторические портреты наиболее выдающихся деятелей революции — Кромвеля, Лильберна, Уинстенли. Еще один портрет — «портрет времени» — представлен в книге: панорама социально-экономического и политического развития Европы, и в особенности Англии, позволяющая глубже понять человеческую драму в эпоху революции. Текст снабжен оригинальным иллюстративным материалом.

**Б** 0503010000-084 12-90  
004(01)-91

**ББК 63. 3(4Вл)51**

Научная

**Михаил  
Абрамович  
Барг**

**Великая  
английская  
революция  
в портретах  
ее деятелей**

ИБ № 3804

Сдано в набор 06.03.90. Подписано в печать 08.01.91. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага тип. № 1. Академическая гарн. Высокая печать. Усл. печатных листов 22,68 с вкл. Усл. кр.-отт. 24,78. Учетно-издат. листов 25,27 с вкл. Тираж 80 000 экз. Заказ № 574. Цена 5 р.

Редактор  
**Н. И. Калашникова**

Младший редактор  
**Т. М. Найденова**

Оформление художника  
**А. А. Брантмана**

Художественный редактор  
**Н. В. Илларионова**

Технический редактор  
**В. Н. Корнилова**

Корректор  
**Т. М. Шпиленко**

Издательство «Мысль». 117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

ственности и превращении всех материальных благ в общее достояние и требования мелких хозяев-крестьян об освобождении их собственности от феодальных пут и повинностей. Иными словами, то обстоятельство, что только плебс, лишенный собственности, был в Англии XVII века способен поднять знамя антифеодалного аграрного переворота во имя торжества трудовой крестьянской собственности, являлось признаком не силы этого переворота, а его роковой слабости. Цели сельского плебса в революции могли только оттолкнуть массу крестьянства от активных выступлений под знаменем, поднятым диггерами. Иначе говоря, если союз с буржуазией — будь он исторически возможен — сулил бы в тех условиях крестьянству признание его собственности на обрабатываемые наделы, то союз с плебсом ставил с самого начала под угрозу само ее существование. В этом противоречии трагедия и плебса, и крестьянства как класса в этой стране. В этом глубокий трагизм начинания Уинстенли на холме Св. Георгия. Однако это противоречие являлось в такой степени отклонением от исторической нормы, что даже гениальному Уинстенли не дано было его разгадать.

Имени Уинстенли пока что не найти на мраморных национальных памятниках Англии. Но в память человечества его имя вписано навечно наряду с именами величайших социальных мыслителей и борцов за свободу человечества.

НБ ПНУС



559051